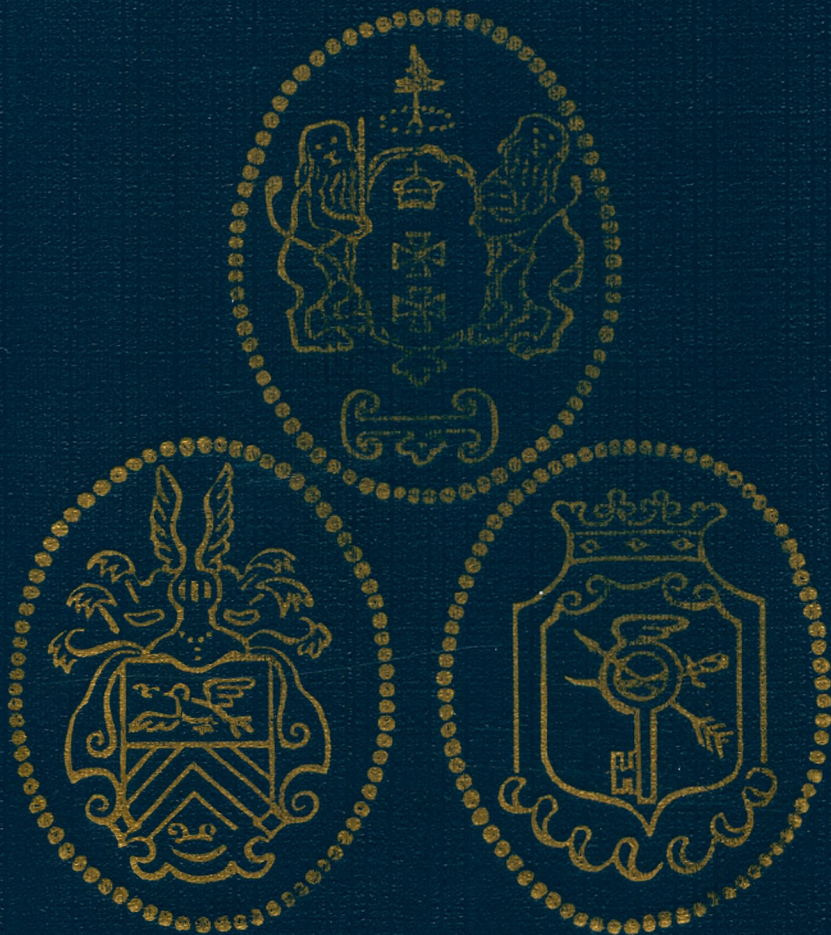


Н. И. ПАВЛЕНКО ДТЕНЦЫ ГНЕЗДА ПЕТРОВА

Н. И. ПАВЛЕНКО

ДТЕНЦЫ ГНЕЗДА ПЕТРОВА

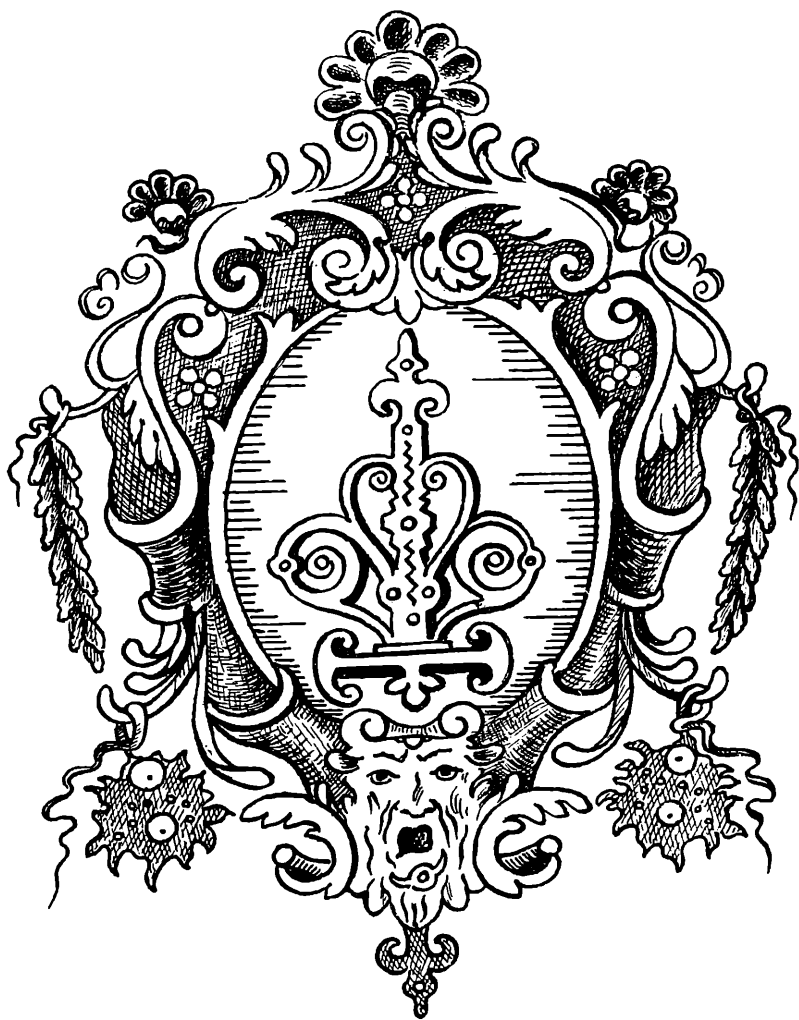




Н. И. ПАВЛЕНКО

ЛТЕНЦЫ
ГНЕЗДА ПЕТРОВА





Н. И. ПАВЛЕНКО

ЛТЕНЦЫ
ГНЕЗДА ПЕТРОВА

МОСКВА «МЫСЛЬ» 1985

ББК 63.3(2)46
П12

РЕДАКЦИИ ИСТОРИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Рецензенты —

доктор исторических наук Л. А. НИКИФОРОВ,
кандидат исторических наук В. А. АРТАМОНОВ

В оформлении форзацев использованы гравюры А. Ф. ЗУБОВА «Панорама Петербурга» и «Триумфальный въезд в Москву русских войск, одержавших победу под Полтавой»

П $\frac{0505010000-086}{004(01)-85}$ 160-84

© Издательство «Мысль». 1985

ВВЕДЕНИЕ

В истории дореволюционной России едва ли сыщется время, равное по своему значению преобразованиям первой четверти XVIII в. За многовековую историю существования Российского государства было проведено немало реформ. Особенность преобразований первой четверти XVIII в. состоит в том, что они носили всеобъемлющий характер. Их воздействие испытали на себе и социальная структура, и экономика, и государственное устройство, и вооруженные силы, и внешняя политика, и культура, и быт.

Общеизвестно, что степень проникновения новшеств в толщу старомосковского уклада жизни была различной. В одних случаях, как, например, в быту, преобразования коснулись узкого слоя общества, оказав влияние прежде всего на его «верхи». Множество поколений крестьян и после реформы не расставалось ни с бородой, ни с сермяжным зипуном, а башмаки окончательно вытеснили лапти только в советское время. Но в области строительства вооруженных сил, структуры государственного аппарата, внешней политики, промышленного развития, архитектуры, живописи, распространения научных знаний, градостроительства новшества были столь глубокими и устойчивыми, что позволили иным историкам и публицистам середины прошлого века возвести петровские преобразования в ранг «революции», а самого Петра считать первым в России «революционером», причем не ординарным, а «революционером» на троне.

Разительные перемены, бросавшиеся в глаза всякому, кто соприкасался с временем Петра Великого, дали основание дворянским историкам разделить историю нашей страны на два периода. Они называли их то Русью допетровской и Россией послепетровской, то Русью царской и Россией императорской, то, наконец, Русью московской и Россией петербургской.

Но преобразования не являлись революционными прежде всего потому, что они не сопровождались ломкой существовавших общественных отношений: экономическое и политическое господство помещиков, крепостниче-

ский строй не только не исчезли, но и еще более укрепились. В стране продолжали функционировать феодальные общественные отношения со всеми институтами, присущими этой формации как в области базисных, так и в области надстроечных явлений.

И тем не менее можно отметить три важнейших следствия преобразований, обеспечивших нашей стране новое качественное состояние: во-первых, значительно сократилось отставание экономической и культурной жизни России от экономической и культурной жизни передовых стран Европы; во-вторых, Россия превратилась в могущественную державу с современной сухопутной армией и могучим Балтийским флотом; возросшая военная мощь позволила России в ходе Северной войны сокрушить шведскую армию и флот и утвердиться на берегах Балтики; в-третьих, Россия вошла в число великих держав и отныне ни один вопрос межгосударственных отношений в Европе не мог решаться без ее участия.

Дворянская и буржуазная историография связывала успехи, достигнутые Россией в годы преобразований, с кипучей деятельностью Петра. Панегиристы еще при жизни царя в печатном слове и с амвонов не уставали твердить, что всеми переменами и новшествами Россия обязана Петру.

П. П. Шафиров, автор сочинения «Разсуждение о причинах Свейской войны», которое увидело свет в 1717 г. и в редактировании которого участвовал сам Петр, затруднялся найти в мировой истории монарха, равного по талантам русскому царю: «...не токмо в нынешних, но и в древних веках трудно сыскать такова монарха, в котором бы толикие добродетели и премудрости искусства в толиком множестве обретались, яко в пресветлейшем государе родителе нашем»¹.

Шафирову вторил Феофан Прокопович. «Много ли же таковых государей во историях обрящем?— задавал он слушателям риторический вопрос и отвечал:— А Петр наш есть и будет в последние веки таковая то история, а чудная во истину, и веру превосходящая»².

В таком же духе высказывался представитель иной социальной среды— купеческой— И. Т. Посошков. Он заявлял, что «нет у великого государя прямых радетелей». Ему же принадлежит известное высказывание об одиноких усилиях царя, которому противодействовали «миллионы»: «Видим мы вси, как великий наш монарх о сем трудит себя, да ничего не успеет, потому что пособников по его желанию немного, он на гору аще и сам-десять тянет, а под гору миллионы тянут, то како дело его споро будет»³.

Колоссальную роль Петра в преобразованиях, его

исключительную настойчивость в достижении поставленных целей отрицать не приходится. Его яркие и разносторонние дарования, темперамент и воля видны повсеместно. Но вместе с тем очевидно, что победа под Полтавой ковалась и в Туле, и на Урале, что роковое поражение шведам на поле брани нанесли рязанские, калужские, нижегородские, вологодские крестьяне, одетые в солдатские мундиры, а также жители Москвы, Ярославля, Твери и других губерний и городов страны. Это их подвиг славила солдатская песня:

Распахана шведская пашня,
Распахана солдатской белой грудью...
Посеяна новая пашня
Солдатскими головами;
Поливана новая пашня
Горячей солдатской кровью⁴.

Нет нужды также доказывать ошибочность тезиса Посошкова об одиночестве Петра, с удесятеренной энергией тянувшего воз преобразований в гору, в то время как «миллионы» тянули его под гору. В действительности у Петра было множество помощников, подвизавшихся на военном, дипломатическом, административном и культурном поприщах.

Как и всякая знаменательная эпоха, время преобразований выдвинуло немало выдающихся деятелей, каждый из которых внес свой вклад в укрепление могущества России. Называя их имена, следует помнить о двух обстоятельствах: об исключительном даре Петра угадывать таланты и умело их использовать и о привлечении им помощников из самой разнородной национальной и социальной среды.

Среди сподвижников Петра Великого помимо русских можно встретить голландцев, литовцев, сербов, греков, шотландцев. В «команде» царя находились представители древнейших аристократических фамилий и рядовые дворяне, а также выходцы из «низов» общества: посадские и бывшие крепостные. Царь долгое время при отборе помощников руководствовался рационалистическими критериями, нередко игнорируя социальную или национальную принадлежность лица, которого он приближал к себе и которому давал ответственные поручения. Основаниями для продвижения по службе и успехов в карьере являлись не «порода», не происхождение, а знания, навыки и способности чиновника или офицера.

Сказанное не исключает, что Петр на протяжении всего царствования испытывал острый недостаток в людях, располагающих к доверию и способных претворить в жизнь то, что многократно повторяли тщательно разработа-

тываемые им указы, регламенты и наставления. На этот счет имеется прямое свидетельство царя. В августе 1712 г. он писал Екатерине: «Мы, слава богу, здоровы, только зело тяжело жить, ибо я левшою не умею владеть, а в одной правой руке принужден держать шпагу и перо, а помощников сколько, сама знаешь»⁵.

В предлагаемом исследовании автор попытался показать события той эпохи сквозь призму жизни и деятельности трех сподвижников Петра: Бориса Петровича Шереметева, Петра Андреевича Толстого, предка Л. Н. Толстого, и Алексея Васильевича Макарова. Каждого из них природа одарила неодинаковыми способностями, разными были и сферы их приложения. Но при всех различиях меры таланта и знаний у них были и общие черты. Все они тянули лямку в одной упряжке, подчинялись одной суровой воле и поэтому должны были сдерживать свой темперамент, а порой и грубый, необузданный нрав. В портретных зарисовках каждого из них можно обнаружить черты характера, свойственные человеку переходной эпохи, когда влияние просвещения еще не сказывалось в полной мере. Именно поэтому в одном человеке спокойно уживались грубость и изысканная любезность, обаяние и надменность, под внешним лоском скрывались варварство и жестокость. Другая общая черта — среди видных сподвижников царя не было лиц с убогим интеллектом, лишенных природного ума. Наконец, бросается в глаза общность их судеб: карьера почти всех героев книги трагически оборвалась.

Несколько замечаний о составе исследования. Заголовок книги заимствован у Пушкина. Вспомним строки из его знаменитой «Полтавы»:

И он промчался пред полками,
Могуч и радостен, как бой.
Он поле пожирал очами.
За ним вослед неслись толпой
Сии птенцы гнезда Петрова —
В временах жребия земного,
В трудах державства и войны
Его товарищи, сыны:
И Шереметев благородный,
И Брюс, и Боур, и Репнин,
И, счастья баловень безродный,
Полудержавный властелин⁶.

Как видим, в «птенцы гнезда Петрова» Пушкин зачислил Меншикова, Шереметева, Брюса, Боура и Репнина. Из них читатель книги обнаружит только одного — генерал-фельдмаршала Б. П. Шереметева. Отсутствует А. Д. Меншиков, поскольку автор посвятил ему недавно опубликованную в издательстве «Наука» монографию.

Что касается Боура и Репнина, то Пушкин, видимо, имел в виду их роль в Полтавской битве. Это были военачальники, так сказать, второго эшелона. Лишь Я. В. Брюс оставил заметный след не только как один из создателей артиллерии и ее командующий, но и как государственный деятель. Велик его вклад и в области культуры. Продолжая работу над темой, автор в дальнейшем попытается восполнить пробел.

В книге прослежен жизненный путь трех названных сподвижников Петра от рождения до смерти, наступившей в двух случаях (Толстой и Макаров) после кончины царя. Биографии Толстого присуща захватывающая интрига, у Шереметева и Макарова напряженность жизненной канвы скрыта от постороннего взгляда и она менее динамична. Но независимо от того, в какой мере жизнь героев насыщена драматическими событиями, читатель, как надеется автор, обнаружит в книге немало нового. Новизна эта обусловлена широким привлечением неопубликованных источников. Впрочем, степень их использования в книге неодинакова.

Богаче всего опубликованными источниками обеспечена биография Б. П. Шереметева⁷. Что касается П. А. Толстого и А. В. Макарова, то их биографии написаны преимущественно на основе архивных материалов, хранящихся в Центральном государственном архиве древних актов, в Центральном государственном архиве Военно-Морского Флота, в архиве Ленинградского отделения Института истории и в Рукописном отделе Государственной Публичной библиотеки имени М. Е. Салтыкова-Щедрина. Среди архивных фондов самым важным и богатым по содержанию бесспорно является фонд «Кабинет Петра I» в ЦГАДА, в котором отложились письма многочисленных корреспондентов кабинет-секретарю А. В. Макарову. Деятельность Петра Андреевича на дипломатическом поприще отражена в фонде «Сношения России с Турцией» в ЦГАДА.

Особый вид документов представляют дела следственных комиссий. Макаровым занимались три комиссии, Толстым — одна. Следственные материалы содержат массу колоритных подробностей бытового плана, а также выпукло характеризуют личные качества как следователей, так и подсудимых. Особую ценность этим документам придает то обстоятельство, что подсудимые оказались в экстремальных условиях, обнажающих и слабые, и сильные стороны личности.

Однако характер сохранившихся источников не всегда позволяет написать полнокровную биографию. Первостепенное значение в данном случае могли бы иметь эпистолярное наследие героев в их, так сказать, частном

аспекте, а также мемуарная литература — свидетельство о них современников. К сожалению, львиную долю документов, находившихся в распоряжении автора, составляла служебная переписка и делопроизводственный материал. Хотя оба вида источников незаменимы для раскрытия существа деятельности героев, но в них приходилось выискивать крупницы сведений, характеризующих их личность объясняющих побудительные мотивы поступков и действий.

Литература о жизни и деятельности Б. П. Шереметева, П. А. Толстого и А. В. Макарова бедна. Б. П. Шереметев удостоился отдельной книги, опубликованной, впрочем, так давно, что она безнадежно устарела. Написана она в апологетическом ключе, характерном для сочинений этого жанра начала XIX в. В недалеком прошлом была опубликована с блеском написанная статья о Шереметеве, принадлежащая перу А. И. Заозерского⁸.

Биография А. В. Макарова еще не написана, а о жизненном пути П. А. Толстого имеется несколько публикаций документов, а также статей, среди которых наибольшей основательностью отличается работа Н. П. Павлова-Сильванского⁹. Внимание исследователей привлекали дипломатическая деятельность Толстого в Османской империи и его участие в деле царевича Алексея. Первый сюжет освещен в монографии С. Ф. Орешковой и в ряде статей Т. К. Крыловой, а второй — в «Истории царствования императора Петра Великого» Н. Г. Устрялова¹⁰. Служба А. В. Макарова в Кабинете Петра в известной мере изучена в коллективной монографии, посвященной истории Кабинета е.и.в. за 200 лет его существования¹¹.

При написании предлагаемых читателю биографических очерков автор руководствовался призывом К. Маркса изображать исторических деятелей «суровыми рембрандтовскими красками во всей своей жизненной правде», без котурнов на ногах и ореола вокруг головы¹².

Не автору судить, как выполнены его намерения, но он стремился изобразить своих героев не иконописными, а живыми людьми — без нимбов, с их добродетелями и пороками. Встречающаяся в тексте разговорная речь не выдумана автором, а заимствована из источников.

В заключение считаю своей приятной обязанностью выразить искреннюю признательность товарищам, оказавшим мне помощь при работе в архивах: Н. М. Пегову, Л. А. Ястребцовой, М. И. Автократовой, Н. М. Васильевой, Н. С. Агафонову, В. И. Мазаеву, И. Н. Соловьеву. Благодарю за советы и ценные замечания Л. А. Никифорова, Е. П. Подъяпольскую и В. А. Артамонова.



БОРИС ПЕТРОВИЧ
ШЕРЕТЕВ

НАЧАЛО ПУТИ

Борис Петрович Шереметев — полная противоположность Меншикову. Всякий раз, когда мы сравниваем черты характера и детали биографий этих сподвижников Петра, у нас появляется все больше оснований для их противопоставления. Меншиков не мог похвастаться предками — ему пришлось изобретать себе родословную, достойную уважения. Родословие Шереметева было блистательным. Меншикова природа наградила талантами полководца и администратора. Шереметева мы не можем назвать бездарным, но его способности были значительно скромнее. Светлейший был подвижен, энергичен, отважен и даже бесшабашен; ему ничего не стоило очертя голову броситься в пекло сражения либо совершить лихой и неожиданный налет на неприятеля. Шереметев, напротив, отличался медлительностью и крайней осторожностью. Он — сама рассудительность, остерегающаяся неожиданных поворотов; наперекор рассудку он не шел. Первый любил рисковать — второму риск противопоказан. Шансы свои и своего противника Шереметев досконально взвешивал и чувствовал себя уверенно, когда располагал превосходством в силах. Он не из тех полководцев, кто под воздействием эмоций мог бросить судьбу вверенного ему войска на волю случая.

Но вместе с тем в чертах характера обоих деятелей нетрудно обнаружить некую общность. Их роднили тщеславие, страсть к стяжательству, оба были равнодушны к лошадям. Правда, при ближайшем рассмотрении оказывается, что эта общность была чисто внешней. Они руководствовались в своих начинаниях разными побудительными мотивами и потворствовали своим слабостям разными средствами.

Так, Меншиков, умножал свои богатства тем, что запускать руку в казенный сундук, не различая личное достояние и государственное. Не брезговал светлейший и скользкими финансовыми операциями, если они сулили изрядные барыши. Борис Петрович бескорыстием не отличался — иначе бы он не был сыном своего времени, но не отваживался красть в масштабах, которые позволял себе Меншиков. Представитель древнейшего аристократического рода если и воровал, то настолько умеренно, что размеры украденного не вызывали зависти у окружающих. Во всяком случае, крупных хищений за ним не значилось. Шереметев умел попрошайничать. Он не упускал случая напомнить царю о своей «нищете», и его стяжания являлись плодом царских пожалований: вотчин он, кажется, не покупал.

Подоплека интереса к лошадям тоже была различной. Для Меншикова порода лошадей конюшни имела престижный характер — княжеское тщеславие не позволяло ему довольствоваться скромным выездом. Борис Петрович проявлял подлинную любовь к лошадям и знал в них толк. Только человеку, безгранично симпатизирующему коню, могли принадлежать слова, напоминающие крик души. В 1710 г. он изливал свое горе Якову Вилимовичу Брюсу в связи с гибелью лошадей: «Где мои цуги, где мои лучшие лошади: чубарые и чалые и гнедые цуги? Всех марш истратил: лучший мерин, светло-серый, пал»¹.

Свою родословную Шереметевы ведут с XIV столетия. Основателя рода называли Кобылой. Фамилия Шереметевых возникла от прозвища Шеремет, которое носил один из их предков в конце XV в. Потомки Шеремета встречаются в качестве военачальников уже в документах XVI в. С этого же времени род Шереметевых стал поставлять бояр.

Борис Петрович родился 25 апреля 1652 г. Поначалу его карьера ничем существенным не отличалась от карьеры родовитых отпрысков: в 13 лет он был пожалован в комнатные стольники. Этот придворный чин, обеспечивавший близость к царю, открывал широкие перспективы для повышения в чинах и должностях. У Шереметева, однако, стольничество затянулось на долгие годы. Только в 1682 г., т. е. в возрасте 30 лет, он был пожалован в бояре. В дальнейшем он подвизался на военном и дипломатическом поприщах. В 1686 г. в Москву прибыло посольство Речи Посполитой для заключения договора о мире. Русских дипломатов на переговорах возглавлял фаворит царевны Софьи князь Василий Васильевич Голицын. В числе четырех представителей русской стороны находился и Борис Петрович. Успешные переговоры завершились подписанием 26 апреля 1686 г. «Вечного мира». Шереметев был пожалован позолоченной чашей из серебра, атласным кафтаном, получил прибавку жалованья и крупную единовременную награду — 4 тыс. руб.

Летом того же 1686 г. Шереметев продвинулся на дипломатическом поприще еще на одну ступеньку: он возглавил посольство, отправленное в Речь Посполитую для ратификации «Вечного мира». В Варшаве он выказал галантность — испросил аудиенции у королевы, чем польстил ее самолюбию и обеспечил поддержку своим начинаниям.

Из Польши Шереметев направился в Вену, где он должен был заключить договор о совместной борьбе против общего неприятеля — Османской империи. Однако император Леопольд I решил не обременять себя союзническими обязательствами, и поэтому переговоры не приве-

ли к желаемому результату. Во время встреч с австрийскими дипломатами энергия сторон тратилась на изнурительные споры о церемониале приема русского посольства, о титуле царя и т. д. Впрочем, одного успеха Шереметеву все же удалось достичь: он был первым русским представителем, вручившим грамоту непосредственно австрийскому императору. До этого такие грамоты принимали министры.

В Москве результаты посольства Шереметева были оценены положительно, и боярин получил в награду крупную вотчину в Коломенском уезде.

В 1688 г. мы встречаем Шереметева на военной службе: ему было поручено командование войсками в Белгороде и Севске, которые должны были преградить путь набегам крымских татар. В те времена дипломатическая служба перемежалась либо сочеталась с военной, ибо считалось, что чин боярина мог обеспечить успех как на поле брани, так и за столом переговоров.

Пребывание вдали от Москвы избавило Шереметева от необходимости участвовать в событиях 1689 г. Если бы он жил в столице, то перед ним непременно встал бы вопрос: к кому примкнуть и на чью чашу положить авторитет ближнего боярина — к Петру, заводившему в потешных войсках иноземные порядки и дружившему с иностранцами из Немецкой слободы, или к Софье, ориентировавшейся на аристократические фамилии. Сословная принадлежность Бориса Петровича должна была склонить его симпатии к Софье. Вместе с тем Шереметев, будучи не в ладах с фаворитом царевны Голицыным, оказался на вторых ролях и как бы в почетной ссылке. В этих условиях захват власти царевной не сулил боярину никаких выгод.

Характерно, что, после того как Софья была повержена, Шереметев долгие годы не был призван ко двору. Продолжительное пребывание на Украине предоставило ему возможность изучить польский язык. Знал он его настолько прилично, что в случае нужды даже брался переводить с русского на польский. Об этом говорит письмо, отправленное Борисом Петровичем Меншикову много позже — 9 апреля 1705 г. Будучи в Дубровне, он писал ему: «В переводе универсала doskonaлова человека не сыскал, что б умел на польский язык тем же сенцьем (смыслом.— Н. П.) слово в слово перевести. В Дубровне таких людей ученых, також школ нет, и, сколько мог, трудился сам и переводил»².

В первом Азовском походе 1695 г. он участвовал на отдаленном от Азова театре военных действий: царь поручил ему командование войсками, которые должны были отвлекать внимание османов от главного направле-

ния русского наступления. Уже сам факт, что Шереметев не находился в числе трех главнокомандующих (Лефорт, Головин, Шеин) армией, двигавшейся для овладения Азовом, свидетельствует о том, что Борис Петрович не пользовался особым расположением царя. Это расположение надлежало завоевывать делом, и Шереметев не жалел сил, чтобы добиться успеха: он без особого труда разорил османские крепости по Днепру. В следующем году Азов пал. Османы попытались компенсировать потерю Азова захватом ранее отнятых на Днепре крепостей, а также вновь построенной крепости Таван, но Шереметев пресек эти попытки.

Овладение крепостью в устье Дона не обеспечивало России морским путем сообщения со странами Европы. За право свободного плавания русских кораблей по Черному и Средиземному морям предстояла длительная и напряженная борьба с Османской империей, контролирувавшей Керченский пролив, а также Босфор и Дарданеллы. В поисках союзников для совместной борьбы с южным соседом в марте 1697 г. на Запад отправилось так называемое Великое посольство, в составе которого находился сам Петр.

Три месяца спустя после отъезда из Москвы «Великого посольства» двинулся в путь и Шереметев. Какие обязанности возлагались на Бориса Петровича? Почему выбор пал именно на него? Эти вопросы задавали и современники, и историки, но известные в настоящее время источники не позволяют дать на них удовлетворительный ответ. Один из современников, секретарь австрийского посольства И. Корб, рассуждал так: «Нет ничего обыкновеннее, как высылать под личиной почета из столицы тех лиц, могущество которых или всеобщее к ним расположение внушают опасение». Поручение, выполнение которого было связано с выездом за границу, Корб объясняет стремлением Петра обезопасить трон на время своего отсутствия от возможных покушений на него со стороны Б. П. Шереметева³.

Вряд ли, однако, догадка Корба имела под собой прочные основания. Переворот в пользу новой династии при живом царе, временно покинувшем пределы страны, исключался. Столь же сомнительным является его предположение, что Борис Петрович мог действовать в интересах Софьи. Конфликт между ее фаворитом и Шереметевым был настолько глубоким, что позволил одному из современников назвать боярина «смертельным врагом» Голицына⁴.

Находящиеся в распоряжении историков документы придают путешествию Шереметева даже некоторую загадочность. В указе Шереметеву цель его поездки формули-

ривалась так: «...ради видения окрестных стран и государств и в них мореходных противу неприятелей креста святого военных поведений, которые обретаются во Италии даже до Рима и до Мальтийского острова, где пребывают славные в воинстве кавалеры». Во время аудиенции у польского короля и саксонского курфюрста Августа II Шереметев заявил, что его позвала в путь благодарность к апостолам Петру и Павлу, которые патронировали его победы над неприятелем. Вслед за победоносными сражениями он дал клятву отправиться в Рим, чтобы поклониться мощам апостолов. В Вене Борис Петрович заявил, что его путь лежит на остров Мальту, в лоно мальтийских кавалеров, «дабы, видев их храброе и отважное усердие, большую себе восприяти к воинской способности охоту»⁵.

Таким образом, если верить документам, то поездка Шереметева в дальние страны была продиктована отчасти религиозными мотивами, отчасти познавательными целями. Согласно версии «Записок путешествия», инициатива исходила от самого Шереметева, которому поездка обошлась в 20 500 руб.

Все эти рассуждения вызывают глубокие сомнения, которые подкрепляет и колоссальная по тому времени сумма издержек на вояж. Присмотревшись к «Запискам» внимательнее, нетрудно обнаружить, что и при выборе маршрута путешествия, и при выборе кандидата в путешественники царь руководствовался деловыми соображениями. Забегая вперед, отметим, что Шереметев посетил Речь Посполитую и Австрию, где встречался с польским королем и австрийским императором, дальнейший путь его лежал в Венецию. Совершенно очевидно, что маршрут Шереметева предварял маршрут царя и являлся частью общего плана русской дипломатии по сколачиванию антиосманского союза европейских держав. Петр тоже имел встречи с польским королем и австрийским императором. Намеревался он посетить и Венецию, но тревожные сведения о стрелецком бунте, полученные им, когда он находился в Вене, вынудили его прервать поездку и вернуться в Россию.

Для выполнения дипломатической миссии в этих странах у Петра не было более подходящей кандидатуры, чем Шереметев, в особенности если учесть, что весь цвет русской дипломатии был включен в состав «Великого посольства». Преимущество Шереметева состояло в том, что за его плечами был опыт дипломата и ему, как отмечалось выше, уже довелось побывать в некоторых из стран, куда он держал путь. Шереметев был, кроме того, военачальником, причем он успешно руководил военными действиями против неприятеля, являвшегося противником

номер один и для дворов, которые он намеревался посетить,—Варшавы, Вены, Неаполя. Имела значение и внешность Бориса Петровича. Голубоглазый блондин с открытым лицом и изысканными манерами, он располагал качествами, необходимыми дипломату: в случае надобности он мог быть и непроницаемым, и надменным, и предупредительно любезным. Петр при выборе кандидата, видимо, учитывал еще одно качество Бориса Петровича: он был не чужд восприятию западной культуры, во всяком случае ее внешних проявлений.

Интересна реакция князя-кесаря Федора Юрьевича Ромодановского на известие из Вены о том, что руководитель дипломатической службы России Федор Алексеевич Головин обрядился в европейский костюм. Если положить на свидетельство Корба, то Ромодановский будто бы воскликнул: «Не верю такой глупости и безумству Головина, чтобы он мог пренебречь одеждой родного народа»⁶. Правда, некоторое время спустя самому Ромодановскому пришлось расстаться и с бородой, и с древнерусским кафтаном, но сделано это было под давлением царя: князь-кесарь был вторым лицом, которого Петр собственноручно лишил бороды. Шереметев без всякого принуждения сам обрядился в европейский костюм и щеголял в нем на банкете в Вене. Появление боярина в немецком платье было столь необычным явлением, что его сочли необходимым отметить в «Записках путешествия».

Шереметев оставил Москву 22 июня 1697 г. По России он ехал не спеша и без приключений. Три дня Борис Петрович провел в своей коломенской вотчине, куда съехалась на проводы вся родня. Навестил он и кромскую вотчину, где пробыл свыше недели. Неприятности подстерегали путешественника с того дня, когда он пересек русско-польскую границу. Накануне его предупредили, что в Речи Посполитой начался очередной «рокош», сопровождавшийся, как сказано в «Записках», «мятежами и убийствами». Благожелательные к России представители католического духовенства рекомендовали Шереметеву продолжать путь «с великим опасением». Боярин решил ехать под именем ротмистра Романа, причем свита, состоявшая из царедворцев и слуг, была объявлена «равными товарищами». Полностью сохранить инкогнито ему не удалось: поляки заподозрили, что едет не «равное товарищество», а боярин со свитой. В связи с этим Шереметеву пришлось провести сутки в тюрьме.

«Записки путешествия» регистрировали каждое перемещение Шереметева. В них читатель обнаружит немало любопытных описаний того, что доступно обозрению всех,— например, рельефа местности, городских сооруже-

ний, явлений природы, церемоний и т. д. Напротив, автор «Записок» крайне скуп, когда надлежало сообщить подробности о существовании происходившего, и в частности о содержании разговоров с коронованными особами, или перейти к анализу увиденного и услышанного. Такая манера изложения дает основание полагать, что записи вел не сам Шереметев, а кто-либо из его свиты и, скорее всего, Алексей Курбатов, будущий прибыльщик, сопровождавший боярина в этом заграничном путешествии. Сказанное, однако, не колеблет высокой ценности «Записок» как источника для изучения биографии Бориса Петровича, ибо текст конечно же составлялся не без его ведома, а вполне возможно, и по его подсказке.

Автор «Записок» не упускал случая, чтобы отметить детали аудиенций, имевшие престижный характер. Он, например, не преминул упомянуть, что польский король прислал за Шереметевым карету, «зело богато позолоченную». Не ускользнул от его внимания и факт проводов боярина Августом II «до самых дверей». Зато надежда прояснить суть переговоров оказалась тщетной. Автор утаил их содержание, ограничившись интригующей фразой: «Король говорил с боярином много тайно». О чем?

О содержании переговоров в Вене, Риме и Венеции «Записки» тоже ничего не сообщают. Их автор становится словоохотливым, лишь когда заходит речь о церемониях, подчеркивавших уважительное отношение иностранных дворов к боярину. На торжественном приеме, устроенном цесарем, Шереметев стоял «на особливом месте при столе». Во время пребывания в Венеции Бориса Петровича, «отдавая почесть», угощали сахарами и конфетами «на сте осмидесяти блюдах», а вином — в 60 бутылках. Знаки внимания ему оказал и папа римский, приславший на подворье «рыб многих и сахаров и вин разных множество, блюдах на семидесяти». Упор на обилие угощений как на свидетельство уважения к гостю сделан и при описании церемонии вручения Шереметеву мальтийского креста и посвящения его в кавалеры ордена: «...в кушанье и питье многое было удовольствие и великолепность, также и в конфектах».

Интересны зарисовки того, что изумляло русского человека, оказавшегося далеко за пределами родной страны. Жителей равнины, естественно, удивили горы, и автор «Записок» выразил свои эмоции эпитетами, назвав их «великими, превысокими» и «предивными». Незабываемое впечатление на путешественников произвели последствия землетрясения, от которого «многие палаты совсем попадали, иные попортились», а также действующие вулканы Везувий и Этна. Об Этне на Сицилии сказано, что она «горит великим пламенем» и, кроме того, выбрасывает на

поверхность «огненные превеликие камни», а по склонам вулкана текут «источники огненные».

На обратном пути путешественники стали свидетелями таинства природы, потрясшего их. В красочном и эмоциональном описании извержения Везувия передана гамма чувств автора «Записок» — страх, беспомощность, обреченность, изумление: «В бытность боярскую в Неаполе тутошние жители два дни были в великом страхе и ужасе от горы Везувий, горящей непрестанно, потому что в те два дни превеликой из оной горы исходил огонь, был гром, треск и шум и кидало вокруг горы мили на три и на четыре большие огненные каменя, многие же с той горы протекли огненные лавы, причем живущих около сей горы пожгло, побило и переранило каменьями многих людей, так же и всякие пожгло заводы, от чего в город Неаполь збежалось народу с тритцать тысяч».

Менее содержательны описания городов, госпиталей, церквей и т.д. О монастыре св. Франциска в Риме сказано, что в нем живут «всех знатных особ дочери-девицы». В монастыре — церковь, она «весьма украшена мраморами (мраморными статуями.— Н. П.), резьбами и обитьями, и келии преизрядные». Как было организовано обучение «дочерей-девиц», какие «мраморы» предстали взору путешественников — об этом ни слова, как ни слова об архитектурных достопримечательностях Неаполя. Об облике города написано так: «...строение в нем палатное хорошее, а паче церкви преизрядные украшением всяким, предорогими живописьми, а больше мраморами». Столь же лаконична запись о Падуе: «...город великий, и строение в нем старинное... академии докторские преславные».

Даже описание крепости на Мальте, представлявшей для человека военного, каким был Шереметев, особый интерес, не отличалось подробностями и дано в том же ключе, что и описание городов или храмов. Крепость, осмотренная Борисом Петровичем в сопровождении мальтийских кавалеров, «зело искусно зделана и крепка и раскатами великими окружена, а паче же премногими и великими орудиями снабдена».

В Риме путешественникам показали госпиталь и приют. И тем и другим они были удивлены и в то же время не проявили интереса к организации этих учреждений, их финансированию и т. п. Их поразило то, что в госпитале «всякому особливые учинены постели мягкие и всякая нужда больным и за всяким ходит особливый человек». В приюте находилось более 2 тыс. «девок больших и малых», у каждой из них «особая постеля с белыми простынями». Все здесь трудились: девочки вязали чулки, а взрослые ткали сукно.

Любопытны дорожные происшествия посольства. Альпы ему довелось преодолевать в неблагоприятное время, когда путь преграждали снежные заносы. Для расчистки дороги пришлось нанимать до сотни людей, они же тащили на себе и кладь. Сам боярин, как повествуют «Записки», «пошел пеш чрез те великие горы и чрез те великие опалые с гор сугробы, и шли они с великою трудностью и опасностью от снега с гор верст с семь и ночевали в деревнишке Доня, в которой и есть добыть не могли»⁷.

Едва ли не самым опасным отрезком пути был морской путь от Италии до Мальты. Накануне прибытия Шереметева в Мессину четыре османских корабля напали на два купеческих судна и одно из них захватили в плен. Поэтому Шереметев проявил осторожность: в Неаполе он нанял два корабля, один из которых был разведывательным, а на втором находилось посольство. В море фелюгу Шереметева встретили семь мальтийских галер, командование которыми хозяева любезно предложили гостю. У Шереметева появилась мимолетная надежда отличиться в морском сражении—вдали маячили четыре османских корабля. Началась погоня, впрочем, безрезультатная, ибо настичь их и вступить с ними в сражение не удалось.

К дорожным приключениям следует также отнести способ въезда боярина в Венецию. Одолеваемый любопытством Шереметев решил поглядеть на устроенный в городе карнавал и поэтому прибыл туда ранее назначенного времени, «тайным способом». К сожалению, автор «Записок» в отличие от Петра Андреевича Толстого, о котором речь впереди, не поделился впечатлениями от увиденного зрелища.

2 мая 1698 г. был достигнут конечный пункт путешествия—Шереметев вступил на Мальту. В Москву он возвратился 10 февраля 1699 г. Корб так отметил прибытие Бориса Петровича в столицу: «Князь Шереметев, выставляющий себя мальтийским рыцарем, явился с изображением креста на груди; нося немецкую одежду, он очень удачно подражал и немецким обычаям, в силу чего был в особой милости и почете у царя»⁸.

За более чем полуторагодовое отсутствие Шереметева в России произошло два важных события. Одно из них было внутренним—в Великих Луках взбунтовались стрельцы четырех полков и двинулись к Москве, чтобы вместо Петра посадить на трон Софью, находившуюся в заточении в Новодевичьем монастыре. В июне 1698 г. стрельцы были разбиты верными правительству войсками. Начался жесточайший стрелецкий розыск с участием возвратившегося из-за границы Петра и его окружения, а затем последовала кровавая расправа с участниками бунта. Первая казнь состоялась 30 сентября, когда на висели-

цах погиб 201 стрелец. Казни продолжались и в последующие месяцы 1698 и даже 1699 г.—они унесли в общей сложности 1598 жизней. Заметим, что Шереметев оказался не причастным ни к стрелецкому розыску, ни к стрелецким казням. Другое важное событие носило внешнеполитический характер.

Попытка «Великого посольства» привлечь морские державы, прежде всего Голландию и Англию, к совместной борьбе против Османской империи не привела к желаемому результату: оба государства сами лихорадочно готовились к войне против Франции. Потерпев неудачу в организации антиосманской коалиции, Петр достиг значительных успехов в сколачивании антишведского союза, в который помимо России вошли Дания и Саксония. Такой поворот событий означал крутое изменение в направлении внешней политики России: вместо борьбы за выход к Черному и Средиземному морям предстояла война со Швецией за морской путь по Балтике. Речь шла о возвращении России исконно принадлежавшей ей части Балтийского побережья (Ижорской земли), отторгнутой Швецией в конце XVI—начале XVII в.

Переговоры об организации антишведской коалиции Петр начал еще во время заграничного путешествия, а завершились они в Москве летом 1699 г. оформлением так называемого Северного союза. По условиям заключенных договоров первыми должны были начать военные действия против Швеции Дания и Саксония. Что касается России, то она обязалась выступить сразу же после подписания мирного договора с Османской империей. Этот договор по замыслу русской дипломатии должен был обеспечить безопасность южных границ и освободить Россию от необходимости вести войну на два фронта.

ПЕРВЫЕ ПОБЕДЫ

Начало Северной войны не предвещало никаких катастрофических последствий для союзников. Как только османы согласились уступить России Азов и были получены вести из Константинополя о заключении мира, русская армия двинулась к шведским рубежам добывать Нарву — древнерусский Ругодив. Преодолевая бездорожье, первые конные и пешие полки, сопровождаемые огромным обозом, достигли Нарвы 23 сентября 1700 г. Сосредоточение армии под стенами крепости было завершено к середине октября.

Гарнизон Нарвы был невелик: 1300 человек пехоты и 200 — конницы. Хотя он был обеспечен годовым запасом

продовольствия, а толстые стены крепости с девятью бастионами, окруженные рвом, надежно укрывали защитников, в русском лагере тем не менее считали, что крепость не способна долго сопротивляться: достаточно было пробить брешь, чтобы завершить дело штурмом.

Начавшаяся бомбардировка не наносила сколь-либо значительного урона осажденному гарнизону: в войсках не доставало осадной артиллерии, ядер и бомб. Ниже всякой критики находилась и боевая выучка войск: сильную крепость осаждали полки, большая часть которых не имела опыта ведения войны. Армия, кроме того, испытывала нехватку продовольствия и фуража.

Пока русская армия двигалась к Нарве, король Карл XII, в свои 18 лет уже проявивший себя как незаурядный полководец, успел вывести из строя союзника России — Данию: он во главе войска внезапно высадился под Копенгагеном и вынудил датского короля капитулировать. Эта новость стала известна Петру еще в дни продвижения русских войск к Нарве. А во время осадных работ в русском лагере была получена весть хуже прежней: шведский король, не мешкая под Копенгагеном, посадил свое войско на корабли, пересек Балтийское море и высадился в Ревеле и Пярну. Относительно намерений короля не могло быть двух мнений: Карл XII спешил на помощь осажденному гарнизону Нарвы.

Царь решил отправить навстречу шведским войскам разведывательный отряд нерегулярной конницы численностью 5 тыс. человек. Командовал конницей Борис Петрович Шереметев. Три дня Шереметев двигался на запад, углубившись на вражескую территорию на 120 верст. Здесь ему встретились два небольших шведских отряда, по терминологии того времени, «партии». Сначала шведы, имея дело с русским авангардом, нанесли ему урон, но затем подоспевшие главные силы окружили неприятеля и разбили его. Пленные показали, что к Нарве движется шведская армия в 30 тыс. человек. Шереметев отступил. 3 ноября 1700 г. он донес о своем решении царю: «В такое время без изб людям быть невозможно, и больных zelo много, и ротмистры многие больны». Петр выразил недовольство отступлением Шереметева. В несохранившемся письме царь, видимо в резких выражениях, велел ему возвратиться на прежнее место. Боярин оправдывался: «И я оттуда отступил не для боязни, для лучшей целости и для промыслу над неприятели; с сего места мне свободно над ними искать промыслу и себя остеречь».

Шереметев выполнил указ царя. «Пришел назад,— писал он Федору Алексеевичу Головину,— в те же места, где стоял, в добром здоровьи. Только тут стоять никакими мерами нельзя для того: вода колодезная безмерно худа,

люди от нее болят; поселения никакова нет — все пожжено, дров нет. Кормов конских нет»¹.

Между тем шведские войска 4 ноября 1700 г. двинулись из Ревеля на восток. Первым вступил в соприкосновение с неприятелем Шереметев, причем действовал он, как и во время первой встречи со шведами, не лучшим образом. Он занял удобную для обороны позицию: оседлал единственную дорогу, лежавшую между двумя утесами; ее никак нельзя было обойти, ибо кругом лежали болота и кустарники. Однако, вместо того чтобы разрушить два моста через речушку и изготовиться для сражения со шведскими войсками, Шереметев предпринял спешное отступление к Нарве. Прибыл он туда рано утром 18 ноября, сообщив, что по его пятам двигалась к крепости армия Карла XII.

Петр оставил лагерь под Нарвой до прибытия туда Шереметева. Командование армией он поручил недавно нанятому на русскую службу герцогу фон Круи. Шереметеву царь писал: «Приказал я ведать над войски и над вами арцуху фон Крою; изволь сие ведать и по тому чинить, как написано в статьях у него, за моею рукою, и сему поверь»².

Сражение началось в 11 утра артиллерийской перестрелкой. Сразу же заметим, что дислокация русского войска ослабляла силу его сопротивления. Полки в соответствии с канонами осадных работ тех лет расположились у стен Нарвы полукольцом общей протяженностью семь верст. Это облегчало собранным в кулак шведам прорыв тонкой линии русской армии. Другим условием, благоприятствовавшим шведам, был густой снег, поваливший в два часа дня. Видимость не превышала 20 шагов. Этим воспользовался неприятель, чтобы незамеченным подойти к русскому лагерю, засыпать ров фашинами и овладеть укреплениями вместе с расположенными в них пушками.

Среди русских войск началась паника. Крики «Немцы нам изменили!» еще больше усилили смятение. Спасение видели в бегстве. Конница во главе с Шереметевым в страхе ринулась вплавь через реку Нарову. Борис Петрович благополучно переправился на противоположный берег, но более тысячи человек пошло ко дну. Пехота тоже бросилась наутек через единственный мост. Началась давка, мост рухнул, и Нарова приняла множество новых жертв паники.

«Немцы» действительно изменили. Главнокомандующий фон Круи первым отправился в шведский лагерь сдаваться в плен. Этот вояка-наемник, к своим 49 годам успевший сменить четыре двора Европы, которым он бездарно служил, был обласкан Карлом XII, вполне оце-

нившим его измену. Тем не менее фон Крузи после Нарвы донимал царя и Меншикова просьбами о выдаче ему вознаграждения и пытался доказать свою невиновность. Примеру фон Крузи последовали другие офицеры-наемники, которых было немало в русской армии.

Не все, однако, поддались панике и бежали. Три полка: Преображенский, Семеновский и Лефортов — не дрогнули, проявили стойкость и умело оборонялись от наседавших шведов.

С наступлением темноты сражение прекратилось. Карл XII готовился возобновить его на следующий день, но надобность в нем отпала. Поздно вечером начались переговоры. Шведский король дал обещание пропустить русское войско на противоположный берег Наровы со знаменами и оружием, но без артиллерии.

Всю ночь русские восстанавливали мост через реку, а утром начался выход из окружения. Шведский король вероломно нарушил условия перемирия. Беспрепятственно с оружием и знаменами прошли гвардейцы: шведы не рискнули их трогать. Но как только начали перебираться на другой берег прочие полки, шведы напали на них, обезоружили и разграбили обоз. Более того, в шведском плену оказалось 79 генералов и офицеров.

Итак, катастрофа под Нарвой нанесла значительный урон русской армии: она утратила всю артиллерию, лишилась командного состава и потеряла не менее 6 тыс. солдат. Много лет спустя, вспоминая случившееся, Петр писал: «Но когда сие нещастие (или, лучше сказать, великое щастие) получили, тогда неволя леность отогнала и ко трудолюбию и искусству день и ночь принудила». Действительно, история того времени сохранила множество фактов, подтверждающих, как «неволя», т. е. крайняя нужда, вынудила царя развить бешеную энергию по устранению последствий Нарвы, а страну мобилизовать ресурсы для продолжения борьбы с могучим и коварным противником.

Нарва не прибавила славы и к полководческой репутации боярина Шереметева. По крайней мере дважды его действия вызывают порицание: он отказался от сражения со шведами, когда командовал 5-тысячным отрядом конницы, чем лишил войско, осаждавшее Нарву, возможности подготовиться к встрече с основными силами шведского короля, а затем вместе с конницей в панике бежал с поля боя.

Правда, поражение под Нарвой являлось данью общей отсталости России. Послушаем, как объяснял причины неудачи сам Петр: «Итак, шведы над нашим войском викторию получили, что есть безспорно; но надлежит разуметь, над каким войском оную учинили, ибо только

один старый полк Лефортовский был (который перед тем назывался Шепелева); два полка гвардии только были на двух атаках у Азова, а полевых боев, а наипаче с регулярными войсками, никогда не видали. Прочие ж полки, кроме некоторых полковников, как офицеры, так и рядовые, самые были рекруты, как выше помянуто, к тому ж за поздним временем великий голод был, понеже за великими грязями провианта привозить было невозможно, и единым словом сказать, все то дело яко младенческое игране было, а искусства ниже вида. То какое удивление такому старому, обученному и практикованному войску над такими неискусными сыскать викторию?»³

«Неискусным рекрутом» по сути дела был и Шереметев. Он успешно действовал против османов и крымцев, но не мог устоять против великолепно вымуштрованной и столь же великолепно вооруженной регулярной армии Карла XII.

У Петра, потерявшего под Нарвой почти весь офицерский корпус, выбора не было, и он вновь прибегнул к услугам Шереметева. Две недели спустя после Нарвы царь поручает ему принять командование конными полками и с ними «итить в даль для лучшего вреда неприятелю». Тут же последовало предупреждение: «...не чини отговорки ничем». Петр считал: войск достаточно да и реки и болота замерзли — следовательно, препятствий для марша не было.

Справедливости ради отметим, что Шереметев конечно же не располагал ни силами, ни средствами, чтобы «итить в даль» и начать активные боевые действия в широких масштабах. Требовалось время для восстановления морального духа армии, деморализованной неудачей под стенами Нарвы. Еще больше времени надобно было для того, чтобы армия овладела современным военным искусством. Поэтому единственной возможной формой ведения боевых операций была так называемая малая война — действия небольшими отрядами, наносившими локальные удары.

На ведение «малой войны» в Восточной Прибалтике молчаливо согласились обе стороны. Петру генеральное сражение не сулило никаких надежд на успех, ибо предстояло восстановить артиллерийский парк, укомплектовать новые полки, а главное, превратить необстрелянных новобранцев, пока еще представлявших толпу вооруженных людей, в подлинных воинов. Не стремился к генеральному сражению и Карл XII. Король уверовал в крайне низкие боевые качества русской армии, выведенной из строя, как он полагал, на долгие годы. После победы под Нарвой он считал главным своим противником саксонское войско Августа II, против которого и двинул

свои основные силы. В пограничных с Россией районах Прибалтики Карл XII оставил корпус полковника Шлиппенбаха, поручив ему оборону этих районов, издавна являвшихся житницей Швеции, а также овладение Гдовом, Печорами и в перспективе Псковом, Новгородом. Поход на восток король откладывал до той поры, когда он разгромит саксонскую армию и тем самым обеспечит безопасность своих тылов.

Борис Петрович, получив царский приказ «итить в даль», не спешил его выполнять. Внутренне он, надо полагать, не был готов немедленно откликнуться и на второй призыв царя, обращенный к нему 20 января 1701 г.: действовать активно, «дабы по крайней мере должность отечества и честь чина исправити потщились»⁴.

Обращение Петра к патриотическим чувствам боярина было обусловлено тем, что после Нарвы престиж России и царя в глазах Европы пал настолько, что они стали предметом зубоскальства остряков. Петру не терпелось реабилитировать реноме своей армии. У нас нет оснований полагать, что Шереметев не разделял этого желания царя. В одном из писем Бориса Петровича, отправленном, правда, чуть раньше описываемых событий, есть слова, звучащие как клятва: «...сколько есть во мне ума и силы с великою охотою хочу служить; а себя я не жалел и не жалею»⁵. Однако на риск ради сиюминутного успеха он не шел.

В конце 1700 и в первой половине 1701 г. инициатива в Прибалтике принадлежала шведам. Правда, выгод из этой инициативы Шлиппенбах не извлек: он пытался овладеть Гдовом, но успеха не достиг; его отряд атаковал Печору, но был отброшен. Шведам пришлось довольствоваться опустошением окрестных деревень.

В свою очередь Шереметев тоже наносил шведам мало чувствительные уколы: его полки, пытавшиеся в декабре 1700 г. захватить Алысту (Мариенбург), вынуждены были отступить. Успешнее действовали небольшие отряды, совершавшие рейды ради опустошения окрестностей. Урона живой силе они не нанесли, но чувствительно ослабляли продовольственную базу шведов.

Первую более или менее значительную операцию Шереметев предпринял в начале сентября 1701 г., когда двинул на неприятельскую территорию три отряда общей численностью 21 тыс. человек. Командование самым крупным из них, насчитывавшим свыше 11 тыс. человек, Борис Петрович вручил своему сыну Михаилу. Этот отряд был нацелен на Ряпину мызу. Его действия принесли успех: шведы потеряли три сотни убитыми, две пушки, свыше ста фузей; русских полегло всего девять человек. Военное значение этой операции было невелико, однако ее

прежде всего оценивали в плане повышения морального духа русских войск. После Нарвы это была первая победа над шведами. В Печорском монастыре победителям была организована пышная встреча. Современник описал ее так: «Наперед везли полон, за полоном везли знамена, за знаменами пушки, за пушками ехали полки ратных людей, за полками ехал он, Михайла Борисович. А в то время у Печерского монастыря на всех раскатах и на башнях распущены были знамена, также и во всех полках около Печерского монастыря, и на радости была стрельба пушечная по раскатам и по всем полкам, также из мелкого ружья»⁶.

К командирам двух других отрядов военная фортуна была менее благосклонна. Один из них, несмотря на многократное численное превосходство, не одолел противника, причем под пером Шлиппенбаха в донесении королю сражение у мызы Рауге было подано как победа огромного значения. Карл XII, склонный к мистификации и охотно веривший всему, в том числе и небылицам, лишь бы они прославляли шведское оружие, произвел полковника в генерал-майоры. Новоиспеченный генерал донес королю, что он предпочел бы повышению в чине полученные подкрепления в 7—8 тыс. солдат.

В связи с эпизодом при мызе Рауге в голландской газете появилось сообщение, что на 1200 шведов напало около 100 тыс. русских. Они были отброшены, оставив 6 тыс. трупов. В действительности в отряде Корсакова, совершившего нападение на Рауге, насчитывалось 3717 человек, а потери исчислялись несколькими десятками солдат⁷.

Вслед за сентябрьским походом наступила передышка. Оба полководца готовились к решительному сражению «малой войны». По указу царя еще 2 октября Шереметев должен был предпринять генеральный поход «за свейский рубеж». Борис Петрович, как и всегда, медленно, но основательно готовил свою армию к предстоящему походу — понадобилось почти три месяца, чтобы она двинулась в путь.

От предшествовавших боевых действий поход Шереметева в конце 1701 г. отличался многими особенностями, которые были обусловлены появлением в войсках некоторых черт регулярной армии. Сентябрьские вылазки отрядов Шереметева по своему характеру и целям более напоминали действия партизан, нежели регулярных войск. Они были столь локальными и ограниченными по задачам, что ни успех, ни поражение не оказывали влияния на ход войны, «понеже,— как сказано в «Истории Свейской войны», составленной кабинет-секретарем А. В. Макаровым по поручению Петра и лично им выправленной,—

более опасались наступления от неприятеля, неже сами наступали»⁸.

Новому походу предшествовал основательный сбор данных о противнике. Шереметеву было точно известно, что Шлиппенбах сосредоточил у мызы Эрестфер 7—8 тыс. конницы и пехоты. Знал он и о намерении противника атаковать Печорский монастырь и прочие пункты, где на зиму расположились русские полки. Шереметев решил упредить противника и взял инициативу наступательных действий в свои руки.

Наконец, изменился качественный состав русских войск. В осенних операциях драгуны и пехотинцы составляли только треть занятых в них войск — 7 тыс. человек, тогда как в декабре из 18 800 человек, участвовавших в походе, на их долю падало две трети. Русская армия уже начинала пожинать плоды своей реорганизации: за год после Нарвы было создано 10 новых драгунских полков.

Корпус под командованием Шереметева выступил из Пскова в поход «за свейский рубеж» 23 декабря 1701 г. Три дня спустя он оставил обоз и далее продвигался «тайным обычаем» в надежде напасть на противника врасплох. Шведы, не ожидая прихода русских по глубокому снегу, беспечно предавались разгулу, празднуя рождество, и обнаружили приближение противника только 27 декабря.

Сражение, начавшееся в 11 утра 29 декабря у мызы Эрестфер, на первом этапе складывалось не совсем удачно для русских, ибо в нем участвовали только драгуны. Оказавшись без поддержки пехоты и артиллерии, не подоспевших к месту боя, драгунские полки были рассеяны неприятельской картечью. Однако подошедшие пехота и артиллерия резко изменили соотношение сил и ход сражения. После 5-часового боя Шлиппенбах, полностью разгромленный, вынужден был спасаться бегством. С остатками кавалерии он укрылся за стенами крепости в Дерпте. В руках русских оказалось около 150 пленных, 16 пушек, а также провиант и фураж, впрок заготовленные противником в Эрестфере.

Шереметев пытался было организовать преследование беглецов и поимку дезертиров, укрывшихся в лесах, но потом отказался от этого намерения. Изменение решения он объяснял Петру так: «...нельзя было итить — всемерно лошади все стали, а пуще снега глубоки и после теплыни от морозов понастило; где лошадь увязнет — не выдеретца; ноги у лошадей ободрали до мяса». Задачу свою Шереметев считал выполненной, ибо, как он доносил царю, шведы от поражения «долго не образумятца и не оправятца»⁹.

4 января 1702 г. войска возвратились в Псков, где в

честь победителей «после молебного пения из пушек и из мелкого ружья за щастливую викторию стреляли»¹⁰.

Успех отметили и в столице. Извещение о победе Борис Петрович отправил 2 января «с сынишкою своим Мишкою». В Москве впервые с начала Северной войны в честь победителей раздались пушечная стрельба и звон колоколов, народ угощали вином, пивом, медом. На кремлевских башнях развевались захваченные у шведов знамена и штандарты. Современник Иван Афанасьевич Желябужский записал: «А на Москве, на Красной площади, для такой радости сделаны государевы деревянные хоромы и сени для банкета; а против тех хором на той же Красной площади сделаны разные потехи и ныне стоят»¹¹. Эрестферская победа, таким образом, дала повод организовать первый в России общедоступный театр.

В Псков скакал поручик Меншиков с наградами. Шереметеву он привез орден Андрея Первозванного, а также весть о пожаловании его чином фельдмаршала. Примечательно, что этим званием царь отметил подлинные заслуги Бориса Петровича на поле брани.

Доморощенные поэты поднесли царю тяжеловесные вирши, смысл которых состоял в том, что Орел, символ России, одолел шведского Льва:

Гордый Лев, мня Орла поглотити,
Восхотя на ся пред временем лавров венец возложить,
Но Орел премудре знает крыла и кохти употребляти,
Что оный близ Дерпта понужден храбрость потерять.
Европа удивися и рече: я есмь прельщенна и поистинне
О львовой храбрости лживым известии отяхченна.

Последние строки виршей предназначались для ушей иностранных наблюдателей, которые, как рассчитывали, должны были сообщить европейским дворам о поражении шведов. Европа, однако, еще долгие годы продолжала находиться под впечатлением нарвской катастрофы русской армии. Молву о непобедимости шведов ловко поддерживали Шлиппенбах и сам король. Шлиппенбах оправдывал свое поражение колоссальным превосходством русских войск: по его донесению, их будто бы было 100 тыс. человек. Бодрился и король. Раз русские отошли к Пскову, значит, шведская армия сохранила боевой дух и способность держать в страхе неприятеля.

Численность русских войск, непосредственно сражавшихся у Эрестфера, превосходила численность шведов примерно в 3 раза—соответственно 10 тыс. и 3200 человек. Боеспособность русской армии еще уступала шведской. Но на этом этапе войны важен был конечный результат. Значение победы царь оценил лаконично и выразительно, как это он умел делать, восклицанием: «Мы можем наконец бить шведов!»

Появился и первый полководец, научившийся их побеждать,—русский фельдмаршал Шереметев.

Россия в то время не располагала необходимыми ресурсами для ведения непрерывных наступательных операций. Царь, как и его фельдмаршал, понимал, что русские войска до сих пор имели дело не со всей шведской армией (самая боеспособная ее часть находилась под командованием короля в Польше), а всего лишь с корпусом Шлиппенбаха. У северных союзников не было уверенности, что Карл XII станет последовательно осуществлять раз выбранный план борьбы с ними и не прибудет с главными силами к Пскову или Новгороду столь же неожиданно, как он оказался под стенами Нарвы, вместо погони за войсками Августа II.

Именно поэтому русскому командованию, до тех пор пока шведский король основательно не «увязнет» в Польше, надобно было не только держать в кулаке свои силы, но и не изнурять войска и в то же время обучать их военному ремеслу.

Фельдмаршал многократно спрашивал у Петра, «как весну нынешнюю войну весть, наступательную или оборонительную». Ответ царя гласил: «...с весны поступать оборонительно». Впрочем, оговаривался Петр, если представится возможность совершить успешную акцию, то такой случай не упускать. Так рассуждал Петр в конце марта 1702 г. Но два месяца спустя обстановка на ингерманландском театре изменилась: царю, находившемуся в то время в Архангельске, стало известно, что король двинулся к Варшаве и, следовательно, Шлиппенбах не мог рассчитывать на подкрепление. Наступил, как писал Петр, «истинный час» для нового похода в Лифляндию. Его подготовка достаточно выпукло выявила особенности характера фельдмаршала, на которые нам часто придется обращать внимание.

Основательность подготовки и крепко сбитую организацию дела Шереметев проявил еще во время зимнего похода. Он и теперь был озабочен подбором офицерских кадров. Послушаем, как аттестовал фельдмаршал некоторых своих своих подчиненных полковников: «Федор Новиков стар и увечен; князь Иван Львов стар и вконец беден, и несносно ему полком править»; у князя Никиты Мещерского «сухотная болезнь», а Михаил Жданов «несносно свое дело правит». Вместо негодных он назвал кандидатов, которым бы «не стыдно было полковниками называться», но они находились под покровительством «своих добродеев» и, вместо того чтобы воевать, пристроились «в покойные дела и прибыточные»¹².

Другая забота фельдмаршала состояла в укомплектовании полков людьми и лошадьми. Шереметев соглашался

с царем, что следовало ускорить подготовку похода, но его одолевали опасения, что поступление пополнений задержится: казаки, татары и калмыки еще не прибыли, не ожидалось в скором времени и получение драгунских лошадей. Между тем фельдмаршал был глубоко убежден — и этим убеждением он руководствовался неизменно, — что залогом успеха является достижение численного превосходства над противником. Ради этой цели он даже осмелился игнорировать царский указ. Петр велел ему выделить в распоряжение Петра Матвеевича Апраксина, действовавшего в районе Ладоги, три драгунских полка. Шереметев посчитал, что откомандирование трех полков ослабит его корпус, и передал только один. Апраксин жаловался царю, но безуспешно.

Но наряду с основательностью фельдмаршал проявлял и медлительность, и порой эти качества так тесно переплетались, что их невозможно отделить друг от друга.

Шереметев отправился в поход только 12 июля. В его распоряжении находилось около 18 тыс. человек, в то время как Шлиппенбаху удалось наскрести чуть больше 7 тыс. Качественный состав корпуса Шереметева стал еще выше, чем в зимнем походе. Теперь уже не две трети, а пять шестых войска фельдмаршала состояло из регулярной конницы и пехоты.

Начало кампании 1702 г. как две капли воды напоминало военные действия зимнего похода. Передовые части русских войск вступили в соприкосновение с противником у мызы Гуммельсгоф (по русским источникам, у Гумуловой мызы) 18 июля, когда Большой полк Шереметева находился на марше. Шведам удалось не только потеснить авангард, но и отбить у него несколько пушек. Подоспевшая пехота решила исход дела. Как и при Эрестфере, шведская конница, не выдержав напора, ринулась наутек, расстроила во время бегства ряды собственной пехоты и обрекла ее на полное уничтожение. Незадачливый Шлиппенбах бежал в Пярну, где ему удалось собрать остатки своих разгромленных и деморализованных войск в количестве 3 тыс. человек. Остальные полегли у мызы Гуммельсгоф. Потери русских были в 2—3 раза меньше. Эта победа превратила Шереметева в полновластного хозяина Восточной Лифляндии. Успех Шереметева был отмечен Петром: «Зело благодарны мы вашими трудами»¹³.

В отличие от зимнего похода, продолжавшегося 10 дней, летом 1702 г. Шереметев задержался на неприятельской территории почти на два месяца. В разные концы Лифляндии фельдмаршал отправлял отряды для опустошения края. Но, кроме того, русские овладели двумя крепостями. Одна из них, у мызы Менза, представляла собой каменное строение, которое неприятель использовал

для обороны. Гарнизон ее во главе с подполковником дважды отклонял требования о капитуляции и согласился сдать лишь после подхода основных сил армии Шереметева. Фельдмаршал доносил царю: «...увидя меня, тот полуполковник замахал в окно шляпою и велел бить в барабан и просил милосердия, чтобы им вместо смерти дать живот»¹⁴.

С мызой Менза удалось покончить в два дня. Зато с Мариенбургом, крепостцей со слабыми фортификационными сооружениями, осаждавшим пришлось возиться 12 суток. Трудность овладения Мариенбургом объяснялась его островным положением. Шереметев оставил описание крепости: «...стоит на острове, около вода, сухова пути ни с которой стороны нет». Подъемный мост был разрушен. Шереметев уже было отчаялся овладеть городом и собирался отойти от него, но кто-то посоветовал соорудить плоты, на которых осаждавшие преодолели 200-метровое расстояние, отделявшее берег от острова. Под угрозой штурма осажденные сдались.

9 сентября фельдмаршал вернулся в Псков и принялся подсчитывать трофеи: было захвачено свыше тысячи пленных, в том числе 68 офицеров, 51 пушка, 26 знамен. Царь остался доволен действиями фельдмаршала. «Борис Петрович в Лифляндии гостил изрядно довольно», — писал он Федору Матвеевичу Апраксину. Самого Бориса Петровича царь вновь поздравил с викториями¹⁵.

Одному из мариенбургских трофеев волей случая суждено было войти в историю. Речь идет о пленнице, позже ставшей супругой царя, а затем императрицей Екатериной I. О ее происхождении ходили различные слухи. Согласно одному из них, мать ее была крестьянкой и рано умерла. Марту взял на воспитание пастор Глюк. Накануне прихода русских под Мариенбург она была обвенчана с драгуном, которого во время брачного пира срочно вызвали в Ригу. По другой версии, пленница была дочерью лифляндского дворянина и его крепостной служанки. Третьи считали ее уроженкой Швеции и т. д.

Достоверным является лишь факт, что девочка, рано оставшись без родителей, воспитывалась в семье пастора Глюка, где она выполняла обязанности служанки. С семьей пастора она попала в плен, ее взял к себе Шереметев, у того пленницу выпросил Меншиков, у последнего ее заметил Петр. С 1703 г. она стала его фавориткой, а в 1712 г. вступила в церковный брак с ним¹⁶.

Столь же достоверным является суждение о нерусском происхождении Марты. Похоже, что она родилась в шведских владениях. Свидетельства на этот счет, правда косвенные, исходят от самого царя.

Петр, как известно, ежегодно отмечал взятие древне-

русского Орешка, по-шведски Нотебурга, переименованного им в Шлиссельбург. 11 октября 1718 г., находясь в Шлиссельбурге, царь писал супруге: «Поздравляю вас сим счастливым днем, в котором русская нога в ваших землях фут взяла, и сим ключом много замков открыто». В десятую годовщину Полтавской виктории, 27 июня 1719 г., Петр писал: «Чаю, я вам воспомянем сего дня опечалил». Оба письма недвусмысленно намекают на прибалтийское происхождение пленницы. Эту версию подтверждает также шуточный разговор царя с супругой, будто бы состоявшийся в 1722 г., т. е. после заключения Ништадтского мира.

— Как договором постановлено всех пленных возвратить, то не знаю, что с тобой будет,— начал царь.

Екатерина нашла что ответить:

— Я ваша служанка—делайте что угодно. Не думаю, однако же, чтоб вы меня отдали; мне хочется здесь остаться.

— Всех пленников отпущу, о тебе же условлюсь с королем шведским,— закончил разговор Петр¹⁷.

Он происходил в то время, когда бывшая пленница давно сама пленила сердце русского царя и стала его супругой. Но в 1702 г. чернобровая красавица была прачкой фельдмаршала и затерялась в толпе гражданских пленников и пленниц, которые в источниках того времени естественно остались безымянными.

Две победы фельдмаршала, будучи по существу локальными, в ближайшем будущем оказали огромное влияние на военные действия в Ингерманландии. Разгром корпуса Шлиппенбаха создал благоприятные условия для осуществления плана возвращения земель по течению Невы, устранив угрозу нападения на русские войска с тыла. Походы, кроме того, были своего рода школой практического овладения военным ремеслом как для армии, так и для самого фельдмаршала. Обе кампании озарили Бориса Петровича лучами славы первого победителя шведов.

В жизни полководца эти кампании примечательны еще и тем, что Шереметев оба раза выступал в роли фактического главнокомандующего войсками. Он определял цели походов, он их и осуществлял. Петр, находившийся в то время вдали от театра войны, естественно, не мог вмешиваться ни в детали организации походов, ни тем более в боевые действия войск. Царь в данном случае ограничился лишь определением сроков вторжения на неприятельскую территорию. Сказанное нуждается в пояснении.

Петр, как известно, руководил операциями на театре военных действий через лиц, номинально значившихся командующими, предпочитая оставаться в тени. Во время

первого Азовского похода русской армией, осаждавшей крепость, командовали Головин, Лефорт и Гордон. Царь, фактически руководивший этим неудачным походом, подвизался в роли «бомбардира Ритера». Во втором Азовском походе, закончившемся овладением крепостью, Петр тоже не возложил на себя обязанностей главнокомандующего, хотя, как и во время первого похода, все решения исходили от него, а не от генералиссимуса боярина Алексея Семеновича Шеина, занимавшего этот высокий пост. Характерно, что на его долю выпали и все почести, следуемые победителю: когда возвратившиеся из-под Азова войска проходили торжественным маршем через Москву, то Шеин ехал верхом на богато убранной лошади в сопровождении 30 всадников в панцирях и музыкантов, а Петр шел в пешем строю в черном немецком платье с белым пером на шляпе. Впрочем, успешное завершение кампании отразилось и на царе: бомбардир был повышен в чине и стал капитаном.

В сражении под Нарвой Петр вручил командование русскими войсками наемнику фон Крузу. Традиции действовать через подставных лиц царь не изменил и в последующие годы, независимо от того, находился ли он при армии или за тридевять земель от нее.

В то время, когда Шереметев громил Шлиппенбаха и гарнизоны двух крепостей в Лифляндии, царь находился в Архангельске. На этом путешествии царя на север страны и поныне лежит печать загадочности. Ради чего он туда направился в сопровождении двух гвардейских полков и пышной свиты, насчитывавшей около 50 персон? Прихватил он с собой и 12-летнего сына — царевича Алексея. Отправился в Архангельск и фаворит царя Алексашка Меншиков, накануне отъезда назначенный воспитателем царевича.

Официальная цель поездки состояла в том, чтобы оградить Архангельск — единственный морской порт России, соединявший ее с Европой, — от нападения шведов. О намерении неприятеля атаковать в мае 1702 г. Город, как тогда называли Архангельск, Петр узнал в апреле. Это известие и заставило его 18 апреля покинуть Москву, чтобы организовать достойный отпор неприятельскому флоту.

Но не лишена некоторых оснований и высказанная в литературе мысль, что поход Петра в Город был не чем иным, как отвлекающим маневром, призванным замаскировать его подлинное намерение овладеть Нотебургом и течением Невы.

Намерение вернуть России древнерусский Орешек — крепость, запиравшую Неву у самого ее выхода из Ладожского озера, — возникло у Петра в конце 1701 г. В

январе следующего года он поручил Шереметеву навести справки о времени, когда Нева бывала скована льдом, а также о состоянии двух крепостей — Нотебурга и Ниеншанца, стоявшего у места впадения Невы в Балтийское море. Интерес царя к этим данным был связан с его планом организовать нападение на крепости зимой, по льду.

Операция, однако, не состоялась отчасти из-за рано наступившего половодья. От плана пришлось отказаться еще и потому, что к тому времени не удалось обеспечить безопасность тыла: сохранивший силы Шлиппенбах мог напасть на войска, осаждавшие Нотебург, и тем самым перерезать коммуникации. Угроза повторения Нарвы вынуждала царя и его генералов проявлять крайнюю осторожность.

Одно из условий успеха, заложенное в план операции, состояло в полной внезапности нанесения удара. В этом случае неприятель не успел бы оказать гарнизонам этих крепостей надлежащей помощи. Январский наказ Шереметеву царь заключил словами: «Все сие приготовление зело, зело хранить тайно, как возможно, чтоб нихто не дознался». Точно такой же призыв к сохранению тайны Петр выразил и в письме к Шереметеву, отправленном из Архангельска 5 августа 1702 г., т. е. в день, когда он выехал из Города: «...и мы к вам не зело поздно будем, но сие изволь держать тайно»¹⁸.

Расстояние от Москвы до Архангельска царь преодолел за 30 дней. В Городе он провел около трех месяцев. За это время он спустил на воду два фрегата, а затем, убедившись в том, что непосредственной угрозы нападения шведов на Архангельск нет, двинулся во главе гвардейских полков к Онежскому озеру. Это был поход беспримерной трудности, ибо совершался он по нехоженным местам: приходилось в дремучих лесах прорубать просеки, в болотах настилать гати, а через речки возводить мосты. 120 верст тяжелого пути от Нюхчи на Белом море до Повенца на Онежском озере были преодолены в короткий срок — менее чем за две недели. В середине сентября царь уже находился в Старой Ладоге.

Еще до прибытия в Ладугу Петр направил Шереметеву два приглашения явиться туда на военный совет. «А без вас не так у нас будет, как надобно», — писал он Борису Петровичу 3 сентября. Еще большее уважение к авторитету полководца звучало в повторном приглашении: «...зело нужно, и без того иначе быти не может»¹⁹.

На совещании в Старой Ладоге был выработан и принят к исполнению план овладения Нотебургом. Командование собравшимися войсками численностью свыше 10 тыс. человек царь передал фельдмаршалу Шереметеву.

Размеры крепости, которой надлежало овладеть, были невелики. Гарнизон ее насчитывал всего 450 человек. Но оборона крепости значительно облегчалась ее островным положением. Почти у самой воды были возведены стены в четыре сажени высотой и две сажени толщиной. Гарнизон был обеспечен достаточной артиллерией: в его распоряжении находилось 142 ствола.

Осадные работы русские войска начали 27 сентября, а через три дня, когда окружение крепости было завершено, Шереметев отправил к коменданту парламентаря, чтобы разведать, «намерен ли он эту крепость на способной договор здать». Комендант потребовал четверо суток на размышления. Осаждавшие ответили на «сей комплимент» интенсивной бомбардировкой, так как усмотрели в нем хитрость. Обстрел продолжался непрерывно вплоть до сдачи крепости.

3 октября в лагерь Шереметева прибыл барабанщик с письмом от супруги коменданта. От имени всех офицерских жен она обратилась к фельдмаршалу с просьбой «ради великого беспокойства от огня и дыму и бедственного состояния» выпустить их из крепости. Отвечал на это письмо сам бомбардирский капитан, т. е. Петр. Барабанщику было сказано, что ему, капитану, доподлинно известно нежелание фельдмаршала разлучить жен с мужьями. Поэтому капитан советовал женам, чтобы они, оставляя крепость, захватили с собой и «любезных супружников».

Дамы не вняли этому совету, и бомбардировка продолжалась. 7 октября начались приготовления к штурму: были выявлены охотники, розданы штурмовые лестницы, распределены лодки. 11 октября, когда в крепости начался очередной пожар, русские предприняли отчаянный штурм. Только через 13 часов сражения гарнизон крепости сдался. Потери победителей исчислялись 564 убитыми и 928 ранеными солдатами и офицерами. Это, однако, не омрачило неподдельную радость царя. «Токмо единому богу в славу сие чудо причесть»,— делился Петр новостью с одним из своих корреспондентов. В письме к другому корреспонденту царь даже каламбурил, используя созвучие слов «орех» и «Орешек»: «Правда, что зело жесток сей орех был, аднака, слава богу, счасливо разгрызен. Алтилерия наша зело чюдесно дело свое исправила»²⁰.

Оставив в Шлиссельбурге гарнизон под командованием Меншикова, царь отбыл в Москву, а Шереметеву велел на зиму расположиться в Пскове. Оттуда фельдмаршал собирался совершить новый «генеральный поход», но царь отсоветовал. Шереметев согласился: «...всесовершенно бы утрудили людей, а паче же бы лошадей»²¹.

4 декабря 1702 г. победы Шереметева в Лифляндии и овладение Нотебургом были отмечены торжественным шествием войск через трое триумфальных ворот, сооруженных в Москве. Сам Шереметев не принимал участия в празднествах, так как прибыл в столицу лишь в конце декабря — начале января.

На пути из Москвы к театру военных действий с Шереметевым приключилось дорожное происшествие, красочно описанное им в цидулке к Федору Алексеевичу Головину. Подъезжая к Твери, он настиг обоз матросов-иноземцев, ехавших из Воронежа. Когда возница фельдмаршала стал кричать матросам, чтобы те уступили дорогу, один из них начал его избивать. Шереметев послал улаживать конфликт своего денщика. Дальнейшие события, по словам фельдмаршала, развертывались так: «Видю, что все пьяни, и они начали бить и стрелять, и пришли к моим саням, и меня из саней тащили, и я им сказывался, какой я человек». Шереметев, видимо, назвался фельдмаршалом и боярином, но это не произвело на разбушевавшихся матросов никакого впечатления. Более того, один из них назвал его шельмой, приставил к его груди пистолет и выстрелил.

Смерти «без покаяния» не последовало: пистолет по счастливой случайности был заряжен не пулей, а пыжом.

Происшествие потрясло фельдмаршала: «Отроду такого страху над собою не видал, где не обретался против неприятеля. А ехал безлюдно, только четыре человека денщиков и четыре извозчика... А русские, которые с ними были, матросы и извозчики, никто не вступился. А я им кричал, что вас перевешают, если вы меня дадите убить». Заканчивая цидулку, Борис Петрович отметил: «Сие истинно пишу, безо всякого притворства. А что лаен и руган и рубаху на мне драли — о том не упоминаюся»²².

Описание инцидента, едва не закончившегося трагически, не датировано. Определить более или менее точно время происшествия было бы затруднительно, если бы не письмо царя. Кто-то из корреспондентов Петра — быть может, тот же Ф. А. Головин — известил его о случившемся. В письме Петра к фельдмаршалу есть такие слова: «Слышал я, что некоторое зло учинил вам некоторой матрос, а кто именем и как было — не ведаю. Изволь меня о том уведомить»²³.

Не подлежит сомнению, что Петр имел в виду случай, о котором шла речь выше. Письмо царь отправил из Шлиссельбурга 20 марта 1703 г. Следовательно, дорожное происшествие произошло в конце февраля — начале марта этого года.

1 февраля Петр из Москвы отправился в Воронеж, где проверил ход строительства кораблей. В начале марта он

уже в Шлиссельбурге руководил подготовкой к кампании по изгнанию неприятеля из устья Невы. Шереметев в это время делил свои заботы между Псковом и Новгородом. По плану его полки должны были сосредоточиться у Шлиссельбурга к середине апреля, причем два из них фельдмаршалу надлежало посадить на малые суда, специально для этой цели построенные. Однако строительство лодок задерживалось, следовательно, прибытие полков по первой воде запаздывало. Царь торопил фельдмаршала: «Здесь (в Шлиссельбурге.— Н. П.) за помощью божиею все готово, и больше не могу писать, только что время, время, время, и чтоб не дать предварить неприятелю нас, о чем тужить будем после»²⁴.

Тужить на этот раз не пришлось. Шереметев хотя и запоздал, отправившись из-под Шлиссельбурга 22 апреля, но появился под стенами Ниеншанца во главе 20-тысячной армии совершенно неожиданно для неприятеля. Более того, передовой отряд мог бы на плечах застигнутых врасплох шведов ворваться в крепость и овладеть ею без осады, но, согласно версии Петра, «командир о том указа не имел, и послан был только для занятия поста и взятия языков». На следующий день, 26 апреля, в лагере русских войск появился Петр.

Подготовка к обстрелу Ниеншанца завершилась в полдень 30 апреля. В соответствии с обычаем тех времен Шереметев накануне бомбардировки отправил к осажденным трубача с предложением сдаться. Комендант отказался капитулировать, но начавшегося обстрела не выдержал — на рассвете 1 мая с крепостного вала дали знать, что гарнизон готов склонить знамена. В тот же день царь составил проект договора о капитуляции. Он исходил от «генерала фельдмаршала и кавалера святого Андрея и Малтийского господина Бориса Петровича Шереметева».

После овладения Ниеншанцем, близ которого Петр 16 мая 1703 г. основал Петербург, Шереметев двинулся к Копорью. На обычное требование о сдаче комендант высокомерно известил: «Сами не уйдете».

Фельдмаршал полагал, что овладеть Копорьем будет трудно. «Если от бомб не сдадутся,— делился он своими сомнениями с царем,— приступить никоими мерами нельзя: кругом ров самородный и все плита». Опасения относительно стойкости шведского коменданта оказались напрасными. Его надменность обернулась трусостью, как только началась бомбардировка. На следующий же день он согласился капитулировать. В письме Петру фельдмаршал иронизировал: «Слава богу, музыка твоя, государь,— мортиры бомбами — хорошо играет: шведы горазды танцовать и фортеции отдавать; а если бы не бомбы, бог знает, что бы делать»²⁵.

Другой отряд русской армии овладел Ямом. Как и Копорье, Ям располагал хорошими естественными возможностями для успешной обороны. Чтобы покорить его гарнизон, потребовалось две недели, после чего два месяца целая армия трудилась над совершенствованием укреплений.

Вслед за этим новое задание царя — отправиться к Пскову, но не ближним путем, а через Лифляндию и Эстляндию для разорения края и изгнания оттуда войск Шлиппенбаха. В конце августа фельдмаршал во главе драгунских и рейтарских полков двинулся в путь.

Шлиппенбах, проведав о приближении русских войск, спешно отступил на запад, не проявляя никакого желания еще раз встретиться с Шереметевым. На пути своего бегства он разорил край, уничтожил мосты. То же самое в соответствии с правилами ведения войны тех времен делал и Шереметев, ибо одна из целей похода состояла в том, чтобы лишить шведов опорных пунктов и базы снабжения продовольствием. Описав дугу, обращенную своей выпуклой частью на неприятельскую территорию, Шереметев в течение месяца хозяйничал в Лифляндии и Эстляндии и в конце сентября прибыл в Печоры на зимние квартиры.

Итогами 1703 г. мог быть доволен и царь, и его фельдмаршал. Петр умело воспользовался стратегическим просчетом Карла XII и в то время, как тот «увяз в Польше», сравнительно легко овладел землями, ради которых начал войну, — Ингрией с ее выходом в Балтийское море.

Судьба была благосклонной и к Борису Петровичу: он совершил несколько удачных операций. Под его командованием русские войска овладели Ниеншанцем, Копорьем и Ямом, а также осуществили успешный марш по вражеской территории. В трех из этих операций он действовал самостоятельно, без вмешательства царя. В итоге он не дал Петру ни единого повода для выражения недовольства или раздражительности.

НОВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ

К началу кампании 1704 г. армия настолько окрепла, что могла одновременно вести осаду двух мощных крепостей: Нарвы, под стенами которой четыре года назад она потерпела сокрушительное поражение, и Дерпта. Руководство осадой Нарвы Петр взял на себя, а к Дерпту направил корпус в 21 тыс. человек под командованием Шереметева.

Указом 30 апреля 1704 г. Петр повелел Шереметеву: «Извольте, как возможно скоро, иттить со всею пехо-

тою... под Дерпт». 12 мая последовало напоминание: «Конечно, не отлагая, с помощью божью, подите и осажайте», а вскоре — новое: «Еще в третье подтверждая, пишу: конечно, учини по вышеписанному и пиши немедленно к нам». Шереметев 16 мая ответил: «...в поход я к Дерпту собираюсь и, как могу скоро, так и пойду». Царь, явно недовольный медлительностью фельдмаршала, отправляет ему письмо с нотками раздраженности: «...немедленно извольте осаждать Дерпт, и за чем мешкаете — не знаю»¹.

Передовые отряды подошли к Дерпту в ночь с 3 на 4 июня. «Город велик, и строение полатное великое, ратуша вся крыта жестью», — делился Шереметев с одним из своих корреспондентов визуальными наблюдениями о крепости. Действительно, крепостные стены имели шесть бастионов и 132 пушки разных калибров. Число защитников крепости вместе с жителями города, которым было выдано оружие, достигало 5 тыс. человек.

Осадные работы велись под непрерывным огнем крепостной артиллерии. «Как я взрос, такой пушечной стрельбы не слыхал», — писал Шереметев. Впрочем, артиллерийская дуэль не наносила существенного урона ни осажденным, ни осаждавшим, хотя, как доносил Шереметев, «пушки их больше наших», да и по количеству крепостная артиллерия в 2,5 раза превосходила русскую.

Комендант крепости полковник Шютте — по отзыву шведских офицеров, «великой фурыя и безпрестанно шумен и буен» — решил усилить помехи осадным работам организацией вылазки. 27 июня неприятельские пехотинцы и драгуны напали на осаждавших и достигли временного успеха, но оправившиеся от внезапности удара русские войска отбили нападение. Неприятель не выполнил главной своей задачи — не сумел засыпать апроши землей.

2 июля из-под Нарвы к Дерпту прибыл царь. Какая необходимость вынудила Петра оставить Нарву? Прежде всего слухи о крупном подкреплении, которое якобы ожидал осажденный гарнизон Нарвы из Швеции. Угроза повторения первой Нарвы крайне беспокоила царя, и он решил побыстрее достичь успеха под Дерптом, чтобы освободившиеся силы бросить против Нарвы. Слух о подкреплениях, усердно распространявшийся комендантами обеих крепостей — Шютте и Горном, оказался ложным. Это была обычная в те времена форма дезинформации противника. В отличие от Петра Шереметев не поддался слухам. «Я о том веры нейму», — писал фельдмаршал Меншикову 27 июня².

Но у Петра был еще один повод ускорить овладение Дерптом: под Нарвой ощущался недостаток в осадной артиллерии, без чего трудно было рассчитывать на успех.

Ознакомившись на месте с ходом осадных работ, царь не скрыл своего недовольства. «Все негодно, и туне людей мучили» — такова была общая оценка осадных работ. Какие же действия фельдмаршала привели царя в состояние крайней раздраженности?

Прежде всего неправильный, по его мнению, выбор направления атаки крепости и, следовательно, неразумное определение места для подготовки к ней. Шереметев распорядился подводить апроши к наиболее мощным стенам крепости, усиленным бастионами, на том основании, что там было сухо. Петр же во время рекогносцировки обнаружил «мур» (стену), который «только указу дожидается, куды упасть». Изливая свое недовольство Меншикову, царь писал: «Когда я спрашивал их, для чего так, то друг на друга, и больше на первова (который только ж знает)»³. Под «первым» подразумевался Шереметев.

Советский историк Х. Палли, обстоятельно изучивший систему осадных работ, проводившихся Шереметевым, полагает, что к середине июня, когда они начались, болотистая местность, еще не освободившаяся от полых вод, исключала возможность рыть землю и возводить укрепления. Условия для таких работ в пойме реки Эмбах улучшились три недели спустя, т. е. к приезду Петра. Впрочем, и сам Шереметев начал вести подкопы со стороны реки Эмбах, но, видимо, не считал это направлением главным⁴.

Как бы то ни было, но в лагере осаждавших с приходом царя началась перегруппировка сил, связанная с изменением направления главного удара. Интенсивный обстрел крепости, возобновившийся с 6 июля, дал свои плоды: было пробито три бреши, через которые двинулись атакующие. «Огненный пир», так называл Петр штурм Дерпта, продолжался всю ночь с 12 на 13 июля. За грохотом сражения не слышно было ударов барабанщиков неприятеля, бивших «шамад» (сигнал к сдаче). Лишь сигналы трубы приостановили сражение, и осажденные обратились «со упросительными от всего дерптского гарнизона пунктами», составленными комендантом капитулировавшей крепости. Комендант просил разрешить гарнизону выход «с литаврами, с трубами и со всею музыкаю», с распущенными знаменами, шестью пушками и всем огнестрельным оружием и месячным запасом продовольствия. Царь от имени фельдмаршала отправил коменданту иронический ответ: «Зело удивляется господин фельдмаршал, что такие запросы чинятца от коменданта, когда уже солдаты его величества у них в воротах обретаютца». Подобные условия были бы уместны до штурма, а не тогда, когда осажденные лишились выбора.

Гарнизону было разрешено покинуть крепость с семьями, пожитками и месячным запасом продовольствия, но без артиллерии. Победителям достались огромные трофеи: 132 пушки, 15 тыс. ядер, запасы продовольствия.

Петр после овладения Дерптом спешил к Нарве. Туда он выехал 17 июля, захватив с собой трофейные знамена. Под Нарву был вызван и Шереметев. Царь отправил ему один за другим три указа о немедленном выступлении из Дерпта, но фельдмаршал не двинулся с места. Наконец, в четвертом указе, от 23 июля, Петр велел Шереметеву «днем и ночью итить». Приказ сопровождался угрозой: «А есть ли так не учинишь, не изволь на меня пенять впредь». На этот раз Борис Петрович все-таки привел войска. Они подошли к Нарве до начала штурма, но в деле не участвовали. Совершить поход к Нарве стоило Шереметеву больших усилий, ибо он был болен. Зная, что царь никаких отговорок не примет, он изливает жалобы третьему лицу. 24 июля Александр Данилович прочитал следующие строки письма Шереметева: «А я останусь на день для крайней своей болезни и велю себя как ни есть волочь... Зело я, братец, болен и не знаю, как волотца, рад бы хотя мало отдохнуть»⁵.

9 августа после 45-минутного штурма русские овладели Нарвой. Царь ликовал и каламбурил. Используя созвучие слов «Нарва» и «нарыв», он одному из своих корреспондентов писал: «Инова не могу писать, только что Нарву, которая 4 года нарывала, ныне, слава богу, прорвало».

Десять дней спустя, 19 августа 1704 г., под стенами отвоеванной Нарвы был заключен русско-польский союзный договор, определивший на ближайшие годы главное направление военных действий русской армии. Союзники обязались воевать с неприятелем на суше и на море «истинно и непритворно» до заключения победоносного мира. Петр обязался выделить в помощь польскому королю 12-тысячный корпус русских войск, а также ежегодно до окончания войны выдавать Польше субсидию 200 тыс. руб.

Выполнение условий договора повлекло перемещение театра военных действий из Ингерманландии в Литву. Шереметев получает указ от 16 ноября 1704 г.: «когда реки станут», отправиться во главе конницы против шведского генерала Левенгаупта. Борис Петрович отвечал 26 ноября: «Пойду изо Пскова немедленно». Одновременно он отправил слезливое письмо Меншикову. Фельдмаршал жаловался на утрату царского расположения: «Всем милость, а мне нет!» Овладение Дерптом и Нарвой сопровождалось раздачей вотчин, а он, Шереметев, обойден — ни вотчин, ни даже жалованья. Далее следуют фразы, свидетельствующие о взаимоотношениях между

аристократом Шереметевым и безродным выскочкой Меншиковым: «У тебя милости прошу: если уж вотчин, обещанных мне, не дадут, чтоб мне учинили оклад по чину моему»⁶.

Петр, видимо, был твердо уверен, что Шереметев, хотя и не обладал выдающимися полководческими дарованиями, зря не погубит армию. Одно из достоинств фельдмаршала — основательность. Отправлялся он в поход лишь тогда, когда убеждался в том, что последняя пуговица была пришита к мундиру последнего солдата. Но Борис Петрович, пожалуй, правильно уловил изменение к себе отношения со стороны царя. Эти отношения никогда не были близкими, их, скорее, можно назвать официальными.

У Петра была так называемая компания — группа его сподвижников, с которыми он поддерживал приятельские отношения. В состав компании входили А. Д. Меншиков, Ф. Ю. Ромодановский, Ф. М. Апраксин, Ф. А. Головин, Г. И. Головкин, А. А. Виниус, А. Вейде и др.

Одной из примет близости того или иного сподвижника к Петру является содержание и тональность переписки между ними. Только члены компании в письмах царю позволяли себе шутливые упоминания о Бахусе, или, на русский лад, об Ивашке Хмельницком. Иногда корреспондент ограничивался короткой информацией о своей встрече с Ивашкой типа «потпивали добре». В большинстве случаев корреспонденты описывали баталии с Хмельницким и поражения лиц, вступивших с ним в единоборство. Так, Адам Вейде, получив от Петра известие о его прибытии к Азову 15 июня 1699 г., отвечал, что по этому поводу состоялась встреча с Ивашкой, завершившаяся тем, что ее участники «принуждены были силу свою потерять и от того с полуночи по домам бежать». Другим показателем близости корреспондента к царю была форма обращения. Однажды Петр выговаривал Федору Матвеевичу Апраксину за то, что тот, обращаясь к нему, использовал титул. Он внушал ему: «Тебе можно знать (для того, что ты нашей компании), как писать»⁷.

Действительно, в письмах и донесениях царю, исходивших от членов компании, фигурировали обращения, ничего общего с царским титулом не имевшие. «Господине бунбандире Петр Алексеевич» или «Господин каптейн Петр Алексеевич» — так начинал свои послания царю князь-кесарь Ромодановский. Примерно такие же слова обращения употреблял и Г. И. Головин: «мой асударь каптейн Петр Алексеевич», «благодетелю мой и господине». Как к частному лицу к царю обращался Андрей Андреевич Виниус: «приятнейший мой господине» или «господин мой прелюбезнейший». Тихон Никитич Стреш-

нев обращался так: «господин первой капитан Петр Алексеевич», «господин мой милостивой комендир». Со временем, однако, фамильярное обращение к царю постепенно исчезает, уступая официальному «премилостивейший царь государь». Лишь А. Д. Меншиков и в 1712 г. позволял себе писать: «Высокоблагородный господин контра-адмирал».

Шереметев не принадлежал к числу тех людей, которые считали нормой фамильярное обращение к царю. Лишь единственный раз он осмелился начать послание Петру словами: «Превысочайший господин, господин капитан». Это была попытка изъясняться языком членов компании. Как правило, Борис Петрович, обращаясь к царю, писал «премилостивейший государь» либо реже, упреждая события, «самодержавнейший император, всемилостивейший государь», ибо в 1711 г., когда писалось это обращение, Петр еще не имел титула императора.

Петр, как отмечалось выше, в общении с членами компании не терпел упоминаний своего титула. Но он не терпел и велеречивых донесений, в которых из-за витиеватого стиля и словесной шелухи трудно было уловить существо дела. Однажды Савва Лукич Рагузинский был свидетелем царского гнева, когда тот читал донесение Петра Матвеевича Апраксина, брата адмирала Федора Матвеевича. Рагузинский деликатно намекнул адмиралу, чтобы тот посоветовал своему брату быть в письмах предельно лаконичным и избегать многословия, вызвавшего раздражение царя.

Письма Шереметева царю по их тону и содержанию существенно отличались от корреспонденции членов компании прежде всего тем, что их автор крайне редко выходил за пределы деловой информации и переступал грань официального. Лишь в исключительных случаях «раб твой Барись Шереметев», как подписывал свои донесения фельдмаршал, вкрапывал фразы, бывшие в ходу у членов компании. 28 марта 1703 г., т. е. в год наибольшей близости к царю, он в несвойственной ему манере писал Петру: «Пожалуй, государь, попроси от меня благословения у всешутейшего (князь-папы Никиты Зотова.— *Н. П.*) и поклонися коморатом моим Александру Даниловичю, Гаврилу Ивановичю, и про здоровье мое извольте выпить, а я про ваше здоровье обещаюся быть шумен»⁸.

Второй раз подобный тон Шереметев позволил себе 12 лет спустя, когда получил личное извещение царя о рождении наследника Петра Петровича. 27 ноября 1715 г. он сообщил Петру, что приятной новостью поделился с генералами Репниным, Лесси, Шарфом, приглашенными им на военный совет. «И как о той всемирной радости

услышали,— писал он,— и бысть между нами шум и дыхание бурно; и, воздав хвалу богу и пресвятой его богоматери благодарение, учили веселиться, и, благодаря бога, были зело веселы».

Далее Шереметев живописал, как одного за другим Ивашка выводил из строя: «И умысля над нами Ивашко Хмельницкой, незнаемо откуда прибыв, учал нас бить и по земле волочить, что друг друга не свидали. И сперва напал на генерал-маеора Леси, видя его безсильна, ударил ево в правую ланиту и так ево ушиб, что не мог на ногах устоять. А потом генерала маеора Шарфа изувечил без милости». Затем наступил черед Аникиты Ивановича Репнина: «Репнин хотел их сикуровать (оказать помощь.— Н. П.), и тот—Хмельницкой воровски зделал, под ноги ударил—и на лавку не попал, а на землю упал. И я з Глебовым, видя такую силу, совокупившия, пошли на него, Хмельницкого, дескурацией и насилу от него спаслися, ибо, по щастию нашему, прилучилися дефилеи надежные. Я на утрее опамятовался на постели в сапогах без рубашки, только в одном галстухе и парике. А Глебов ретировался под стол и, пришедши в память, не знал, как и куда выгитить»⁹.

Кстати, это описание сражения с Хмельницким, пожалуй даже превосходившее по колоритности аналогичные упражнения членов компании, запоздало на много лет: оно было сделано в то время, когда компания практически распалась, на смену прежним отношениям между ее членами и царем пришла сдержанность, официальность и Хмельницкий вышел из обихода в их эпистолярных сочинениях. Приведенное описание, как и шутка, отпущенная фельдмаршалом в 1703 г., стоит одиноко в потоке скучных и заурядных писем его Петру.

Итак, Шереметев не входил в компанию близких к Петру людей. Вряд ли причиной тому являлась только разница в годах: фельдмаршал был старше царя на два десятилетия. Ромодановский тоже был старше Петра, что не помешало ему не только занять видное место в компании, но и стать главным действующим лицом в игре царя в князя-кесаря. Быть может, на отчужденность Шереметева от царя оказало влияние неумение фельдмаршала пить. Во всяком случае, источники не донесли до нас сведений об активных возлияниях фельдмаршала на пирушках. В веселой компании он, видимо, чувствовал себя чужаком.

Скорее всего, Борису Петровичу не было уютно в компании Петра потому, что нравам аристократа претило многое: и то, что царь совершал поступки, не соответствовавшие царскому сану, и то, что он окружил себя подлородными выскочками, и, наконец, его непочтитель-

ное отношение к родовитым людям. И хотя фельдмаршалу пришлось сделать вид, что он смирился со всеми чудачествами и нелепыми выходками царя и его шутовского двора, но по-настоящему приспособиться к этим порядкам, поступиться с детства усвоенными привычками и взглядами было выше его сил. Шереметев был человеком другой эпохи, точнее, человеком, в котором черты аристократического воспитания причудливо переплелись с новшествами в поведении царя.

С конца 1701 до 1704 г.— время наибольшей близости царя к фельдмаршалу. Правда, их взаимоотношения нельзя поставить рядом с отношениями между Петром и Меншиковым. В последнем случае налицо дружба, в первом— уважение к военному опыту, одержанным победам. За ратные подвиги Шереметев часто выслушивал от царя слова благодарности. «Зело благодарны мы вашими трудами», «Поздравляем вам толики виктории»,— писал Петр Борису Петровичу в связи с его успехами в Лифляндии. «За уведомление добрых вестей благодарствую»,— отвечал царь фельдмаршалу на известие об овладении Копорьем¹⁰.

Можно умножить число примеров поощрения царем усердия своего фельдмаршала. Но по мере того как Петр набирался полководческого опыта, как приходили к нему успехи в военных действиях, которыми он сам руководил, происходила переоценка ценностей. Главная слабость Шереметева— медлительность носила хронический характер и не раз вызывала раздражение у царя. Поначалу он выражал недовольство в мягкой форме: в письмах почти отсутствуют резкие выражения. Но со временем выговоры стали сопровождаться угрозами и больно ударяли по самолюбию фельдмаршала.

Итак, Шереметев получил в конце ноября 1704 г. повеление царя отправиться в поход против Левенгаупта, «когда реки станут». Реки «стали», но поход не состоялся. Шереметев выехал из Пскова в последних числах декабря и прибыл в Витебск три недели спустя. Здесь он обнаружил отсутствие фуража для конницы и посчитал выступление нецелесообразным: «...ныне застою в Витепске и никуды без указа не пойду».

Петр остался недоволен безынициативным поведением фельдмаршала. Последнему пришлось прочитать следующие иронические слова царя в свой адрес: «И сие подобно, когда слуга, видя тонущего господина, не хочет его избавить, дондеже справитца, написано ль то в его договоре, чтоб его из воды вынуть». Для ускорения организации похода Петр отправляет в Литву Меншикова. Тот, прибыв в Витебск в конце февраля 1705 г., привез царский указ, страшно обескураживший фельдмаршала.

В распоряжении Петра с 1704 г. находилось два фельдмаршала. Вторым был барон Георг Огильви, нанятый на русскую службу летом этого года. Под Нарву Огильви прибыл 20 июня, и Петр, отправляясь к корпусу Шереметева, осаждавшему Дерпт, назначил наемного фельдмаршала командующим русскими войсками под Нарвой. Огильви сумел себя подать и произвел благоприятное впечатление на русских вельмож. Руководитель Посольского приказа Федор Алексеевич Головин аттестовал Огильви так: «Господин Огильвий, кажетца, государь, человек изрядной». Головину вторил Меншиков: новый фельдмаршал «зане во всем зело искусен и бодро опасен есть»¹¹.

У Петра возникло намерение вручить Огильви командование пехотными полками, а Шереметеву оставить кавалерию. Царь исходил из того, что «пеший конному не товарищ». Поскольку генеральной баталии не намечалось и предполагалось производить боевые действия налегке, то, естественно, для таких наскоков целесообразнее было использовать мобильную конницу.

Новость настолько расстроила Шереметева, что он даже заболел. Фельдмаршал терялся в догадках: за что такая немилость? Дело удалось уладить. Меншиков посоветовал Петру оставить все без изменений. Царь обратился к фельдмаршалу со словами утешения: то «зделано не для какого вам оскорбления, но ради лучшего управления»¹².

Инцидент был исчерпан, и фельдмаршал возобновил подготовку к походу, так и не состоявшемуся в зимние месяцы. Цель похода оставалась прежней — отрезать корпус Левенгаупта от Риги и разгромить его. Поначалу дела у Шереметева складывались лучшим образом. Передовой отряд русских войск совершил удачное нападение на Митаву. Застигнутый врасплох внезапным нападением драгун, гарнизон был почти полностью уничтожен. Предстояла встреча с главными силами Левенгаупта. Тот успел занять хорошо укрепленную позицию в окрестностях Гемауертгофа, по русским источникам — у Мур-мызы.

15 июля 1705 г. созданный Шереметевым военный совет решил воздержаться от лобовой атаки укрепленных позиций противника, сопряженной с большими потерями. Хитроумный план русского командования состоял в том, чтобы ложным окружением выманить противника из лагеря и ударить по нему с фланга спрятанной в лесу кавалерией. Элемент аналогичной хитрости включал и план Левенгаупта, причем шведскому генералу удалось обмануть некоторых русских полковников. Один из них, Кропотов, обнаружив перемещения в шведском лагере, прискакал к Шереметеву с сообщением, «что будто непри-

ятель уходит». Ему показалось, что победа, а вместе с нею и добыча ускользают из рук, и он, не дождавшись распоряжений Шереметева, двинул свой полк в атаку. За ним пошли и другие полки. Так стихийно завязался бой. Шереметеву ничего не оставалось, как принять в нем участие, ибо надо было оказывать помощь полкам, очертя голову бросившимся в атаку.

Бой изобиловал острыми сюжетами и протекал с переменным успехом. Был момент, когда русская кавалерия смяла неприятеля и казалось, что победа не за горами. Однако драгуны, вместо того чтобы развивать успех, принялись грабить неприятельский обоз. Тем самым шведам была предоставлена возможность перестроить свои порядки и выправить положение.

С наступлением темноты сражавшиеся оставили поле боя и укрылись в обозах. Шереметев под покровом ночи отступил. Русские оставили 13 пушек и 10 знамен, подобранных шведами лишь на следующий день, 16 июля. Отступление русских Левенгаупт истолковал как свою крупную победу. Шведы праздновали ее две недели спустя. Лазутчик Шереметева, бывший свидетелем торжеств в Митаве, сообщал фельдмаршалу: «...та веселость была не от сердца, для того, что они много добрых людей потеряли». Много дней подряд церкви Митавы были забиты трупами умерших от ран: их не успевали отпевать. Действительно, о сокрушительном поражении Шереметева не могло быть и речи — обе стороны понесли огромный урон, причем военные историки считают, что шведы потеряли убитыми и ранеными больше, нежели русские.

Сражение у Мур-мызы было единственным, которое Шереметев проиграл за все долгие годы Северной войны. Оснований переживать неудачу было тем больше, что победу он уже держал за хвост и она ускользнула от него из-за нелепой случайности. Конечно же известие о результатах сражения не доставило радости Петру. Еще не улегся гнев по поводу действий фельдмаршала под Дерптом, как он дал повод для нового недовольства. Царь, однако, сдержался и обратился на этот раз к удрученному фельдмаршалу со словами утешения, ставшими знаменитыми: «Не извольте о бывшем нещастии печальны быть (понеже всегдашняя удача много людей ввела в пагубу), но забывать и паче людей ободривать»¹³.

Урок из поражения был извлечен. Петру было ясно, что «нешастный случай учинился от недоброго обучения драгун». Царь велел фельдмаршалу довести до сведения каждого солдата и драгуна, что впредь не следует под страхом смертной казни «скакать за неприятелем» очертя голову, но преследовать с оглядкой, непременно шагом.

Неудача под Мур-мызой имела значение досадного

эпизода, вклинившегося в серию непрерывных побед, предшествовавших ей и наступивших после нее. Ближайшие из них — овладение Митавой (4 сентября) и Бауском (13 сентября) — были достигнуты войсками под командой царя. Шереметев не принимал непосредственного участия в этих операциях: по распоряжению Петра его корпус был размещен между Ригой и Митавой на тот случай, если бы Левенгаупт, находившийся в Риге, вздумал оказать «сикурс» (помощь) осажденным крепостям.

В дни, когда в ставке праздновали успешное завершение кампании, было получено известие, ошеломившее царя: в Астрахани вспыхнуло восстание. Из скупых строк донесения, отправленного из Москвы Борисом Алексеевичем Голицыным, следовало, что восставшие стрельцы и горожане перебили около 300 начальных людей и намеревались идти на Москву. Петр не скрывал крайней озабоченности: «Князь Борис сумасбродным письмом зело нас в сумнение привел».

Проследим кратко за астраханскими событиями, которые привели царя «в сумнение».

В начале XVIII в. Астрахань была одним из крупнейших городов России. Город, как центр пограничной округи, имел кремль с мощными стенами и семью башнями. Так называемый Белый город тоже был обнесен каменной стеной. В кремле располагались воеводские и митрополичьи хоромы, пороховой погреб, Троицкий мужской монастырь. В Белом городе размещались административные здания, каменные гостиные дворы, харчевни. За Белым городом находился Земляной город, в котором, собственно, и размещались дворы жителей Астрахани.

Население Астрахани было пестрым как по социальному, так и по национальному составу. Едва ли не самую многочисленную часть горожан составляли стрельцы и солдаты. Среди первых было немало участников стрелецких бунтов 1682 и 1698 гг., высланных сюда из Москвы.

В городе и округе были развиты два вида промыслов: рыбная ловля и добыча самосадочной соли. Промыслами занимались не только местные жители, но и пришлые, которых было особенно много в летние месяцы. Значительную прослойку пришлого населения составляли бурлаки, сплавлявшие в Астрахань хлеб из городов Среднего Поволжья и тянувшие вверх по Волге барки, нагруженные рыбой, солью и восточными товарами.

Астрахань — важнейший центр России в ее торговле с Востоком. Именно поэтому там существовали довольно многочисленные колонии, населенные армянскими, гялянскими, бухарскими, индийскими купцами.

Астраханцы, как и все население России, несли бремя увеличившихся в начале XVIII в. налогов и повинностей.

Окраинное положение города открывало широкие возможности для безнаказанного произвола местной администрации и стрелецких полковников. Особенно усердствовал воевода Тимофей Ржевский, человек столь же алчный и жестокий, как и тупой. Он участвовал в спекуляции хлебом — продавал его по вздутым ценам в месяцы, когда по Волге прекращалась навигация. Все виды городской торговли, в том числе и мелочная, подлежали обложению, причем нередко сумма налоговых сборов превышала стоимость продаваемых товаров. Особенное возмущение астраханцев вызвало ретивое и суровое выполнение воеводой царских указов о брадобритии и немецком платье. Наряды из солдат и стрельцов под командованием офицеров ловили на оживленных улицах бородачей и тут же отрезали у них бороды, иногда прихватывая и кожу. Ножницами они пользовались и для укорачивания старорусской одежды.

Не отставали от воеводы солдатские и стрелецкие полковники. Они рассуждали так: «Воевода-де сидит в городе, хочет з города сыт быть, а я-де полку полковник, завсегда хочу с полка сыт быть и напредки, покуда поживу в полку, буду сыт и стану брать»¹⁴. Опальное положение стрельцов превращало их в беззащитных людей. В 1705 г. им уменьшили жалованье на 40 процентов и в то же время увеличили поставку дров на селитряные заводы близ Астрахани. Полковники и офицеры истязали стрельцов, присваивали их жалованье, накладывали штрафы, использовали для личных услуг и т. д.

Среди астраханцев возник заговор, его участники призвали горожан к восстанию. В ночь на 30 июля 1705 г. собравшиеся по набату стрельцы и горожане убили воеводу, а также казнили ненавистных полковников и начальных людей общей численностью 300 человек. Власть в городе перешла к кругу, который избрал исполнительный орган — старшину во главе с ярославским купцом Яковым Носовым и астраханским бурмистром Гавриилом Ганчиковым.

Получив известие о восстании в Астрахани, царь велел ехать подавлять его Шереметеву. Почему именно ему? Разве в армии был так велик избыток в опытных военачальниках, что Петр мог спокойно снять единственного русского фельдмаршала с театра военных действий и отправить в глубокий тыл? Или царь придавал этому восстанию столь большое значение и считал его в такой степени опасным для трона, что, ни минуты не колеблясь, посчитал угрозу со стороны астраханцев более сильной, чем со стороны шведов?

Приходится согласиться с выбором царя. В его распоряжении действительно не было лучшей кандидатуры для

руководителя карательной экспедицией, чем Шереметев. Для этой роли не подходили ни Меншиков, ни Головин, ни Апраксин, ни тем более Ромодановский. Все они являлись друзьями царя и людьми, непосредственно причастными ко всем новшествам, вводимым в стране. Сами восставшие считали виновниками нововведений жителей Немецкой слободы и Меншикова: «Все те ереси от еретика Александра Меншикова»¹⁵. Поскольку астраханцы выступали за бороду и длиннополое платье, назначение карателем, скажем, Ромодановского не только бы лишило царя надежд на мирное урегулирование конфликта, но и подлило бы масла в огонь.

В этом плане Шереметев, всецело занятый борьбой с внешними врагами и стоявший как бы в стороне от преобразовательных начинаний Петра по гражданской линии, был самой подходящей фигурой. Но Борис Петрович обладал еще рядом преимуществ, ставивших его вне конкуренции при назначении на этот пост. К ним прежде всего относится репутация Шереметева среди населения как полководца, научившегося побеждать шведов. Имело значение и то, что руки фельдмаршала не были обгарены кровью казненных стрельцов: в казнях, как упоминалось выше, он не участвовал. Особой популярностью Шереметев пользовался у дворян: чин боярина и принадлежность к древнему аристократическому роду способствовали консолидации вокруг него дворянства.

Похоже, Петр, отправляя Шереметева против астраханцев, руководствовался еще одним соображением. Вспомним о намерении царя разделить командование русской армией между Огильви и Шереметевым и об отношении к этой затее русского фельдмаршала. Теперь царю представилась возможность осуществить этот замысел безболезненно, не рана самолюбие Бориса Петровича. Совершенно очевидно, что Петр, принимая это решение, предпочел опыт, знания и таланты иноземца опыту, знаниям и талантам отечественного фельдмаршала.

Шереметев отправился в Астрахань наперекор своему желанию, повинувшись царскому указу. Он получил указ не позже 12 сентября 1705 г., ибо в этот день царь отправил письмо одному из своих корреспондентов с извещением, что Борис Петрович «с конницею к вам будет в две недели». Фельдмаршал не спеша, как и все, что он делал, начал подготовку к походу. Царь его торопил: «Для бога не мешкай, как обещался, тотчас пойдя в Казань». Не очень надеясь на расторопность Шереметева, царь в тот же день, 21 сентября, отправил указ и Ф. Ю. Ромодановскому с предписанием: «...как прибудет господин фельдмаршал к Москве, чтоб немедленно его со удовольствием людей отправить в Казань»¹⁶.

Попытки Петра форсировать поход оказались безрезультатными: Шереметев прибыл в Москву почти на месяц позже—20 октября, причем вместе с ним вступили в столицу лишь батальон солдат да эскадрон конницы. Теперь уже спешить было некуда, ибо два полка, выделенные для подавления восстания, двигались и того медленнее и находились далеко от Москвы.

Выпроводить фельдмаршала из столицы оказалось делом нелегким. С одной стороны, наступило осеннее бездорожье. «Путь застал злой,—сообщал он Меншикову 2 ноября,—ни санями, ни телегами итить нельзя»¹⁷. С другой стороны, двигаться ускоренным маршем не было резона, так как время было упущено и надежда на прибытие правительственных войск под Астрахань до начала ледостава рухнула. К тому же активные действия астраханцев после их неудачной попытки овладеть Царицыном и тем самым расширить район восстания прекратились и, следовательно, район движения локализовался Астраханью, Гурьевым, Черным и Красным Яром и Терками.

В Москве Шереметев задержался до середины ноября и в Нижнем появился в конце месяца. 18 декабря он был уже в Казани. По всему видно: здесь он рассчитывал переждать зиму и полагал, что его присутствие в городе необязательно. Именно поэтому он стал настоятельно ходатайствовать о своем отзыве из Казани в Москву. Посредником в этих хлопотах он просил быть Федора Алексеевича Головина. «Только прошу,—писал Шереметев Головину 28 декабря,—учини и мне братцки, как возможно, домогайся, как бы ни есть меня взяли к Москве, хотя на малое время». Через неделю повторная просьба. В этом письме он сообщал: обращался «к самому капитану (к царю.—*Н. П.*), чтобы указал мне быть к себе»¹⁸.

Настойчивые просьбы Бориса Петровича вызвали у царя реакцию, противоположную той, на которую он рассчитывал: вместо разрешения отправиться на побывку в Москву Шереметев получил предписание двигаться к Саратову, переждать там зиму и «по весне рано итить до Царицына». Более того, царь, изуверившись в способности Шереметева проявить расторопность, пошел на чрезвычайную меру: к фельдмаршалу в качестве соглядатая и толкача, призванного стимулировать его активность, был приставлен гвардейский сержант. Со временем подобная мера мало кого удивляла, ибо по воле Петра гвардейские сержанты и офицеры держали «в железзах» губернаторов и понукали сенаторов, но в годы, о которых идет речь, такая практика была в диковинку.

Борису Петровичу доводилось даже чрезмерно часто выслушивать упреки царя, но такого еще не бывало.

Можно себе представить, как был удивлен, огорчен и удручен фельдмаршал, когда в его ставке в Казани 16 января 1706 г. появился гвардии сержант Михаил Иванович Щепотьев с таким царским указом: Щепотьеву «велено быть при вас некоторое время; и что он вам будет доносить, извольте чинить». Фельдмаршал оказывался в положении подчиненного у сержанта. Один из пунктов царской инструкции предписывал Щепотьеву: «...смотреть, чтоб все по указу исправлено было, и, буде за какими своими прихоти не станут делать и станут да медленно, говорить, и, буде не послушает, сказать, что о том писать будеш ко мне»¹⁹. Старый служака конечно же считал для себя унижительным выполнять распоряжения желторотого сержанта.

Из-за отсутствия данных мы не можем дать обстоятельной характеристики Щепотьева. Со слов Шереметева, Щепотьев был человеком грубым и необузданным. Как и всякий недалекий человек, волей случая получивший огромную власть, он не знал, как этой властью рационально распорядиться, пустился в разгул и становился «шумным» настолько, что терял контроль и над поступками, и над словами. Таким Щепотьева представил нам Шереметев. Его отзыв, естественно, был пристрастным.

Борис Петрович жаловался своему свату Ф. А. Головину: «Он, Михайло, говорил во весь народ, что прислан он за мною смотреть и что станет доносить, чтоб я во всем его слушал. И не знаю, что делать». В другом письме, отправленном в начале мая тому же корреспонденту, Шереметев повторил жалобу: «Если мне здесь прожить, прошу, чтоб Михайло Щепотева от меня взять... непрестанно пьян. Боюсь, чево б надо мною не учинил; ракеты денно и ночью пущает; опасно, чтоб города не выжег». Головин был солидарен с аттестацией Щепотьева Шереметевым: «О Щепотева я известен; знают его все, какой человек»²⁰.

Что касается царя, то в его глазах Щепотьев заслуживал всяческого уважения. Об этом прежде всего свидетельствует его назначение. Перед ним благодаря царскому покровительству открывалась блестящая карьера, но сержант героически погиб в 1706 г. во время атаки шведского бота пятью лодками. Примитивные лодки с экипажем 48 человек были отправлены в море для нападения на неприятельские торговые корабли. Ночью они напоролись на адмиральский бот, вооруженный четырьмя пушками, с командой в пять офицеров и 103 солдата. Русские смело вступили в сражение и, несмотря на неравенство сил, одержали победу. На захваченном у шведов боте в лагерь вернулось лишь 18 человек, из них только четверо не имели ранений.

Находясь под впечатлением от подвига Щепотьева, царь писал: «А ныне посылаю некоторою реляцию о некогда слышанном партикулярном морском бою, которой господин Щепотеф, быф командиром, при сей не кончаемой славе живот свой скончал»²¹. Отважный поступок Щепотьева описал сам царь в «Гистории Свейской войны».

В окружении царя знали, что медлительность фельдмаршала в любой момент могла вызвать вспышку царского гнева. 26 января 1706 г. Головин предупреждал Шереметева о возможных последствиях его нерасторопности: «А самому, мой государь, по указу, конечно, надлежит быть на Саратов, чтоб тем его величество не раздражить». Шереметев отвечал: «...а что жалуешь меня, остерегаешь, чтоб я шел в Саратов, и я никогда того не отлагал, чтобы нейтить, и пошел, и, если каких препон не будет и случай позовет, пойду и далее»²².

В феврале Шереметев прибыл в Саратов. Вопреки своему обыкновению фельдмаршал долго в Саратове не задержался и двинулся к Царицыну. С дороги он отправил астраханцам послание, оказавшее едва ли не решающее влияние на дальнейший ход событий.

Читатель помнит, что царь, получив известие о восстании в Астрахани, велел Шереметеву держать путь к месту событий, чтобы вооруженной рукой подавить движение. Но Петр не исключал и разрешение социального конфликта мирными средствами. Для мирного урегулирования представился удобный случай: в Москве оказалась депутация астраханцев во главе с конным стрельцом Иваном Григорьевичем Кисельниковым. Астраханцы отправили ее на Дон с целью убедить казаков примкнуть к восстанию, но верхушка казачества осталась верной правительству — посланцы были схвачены и отправлены в столицу. Их ожидала суровая расправа, но спасло вмешательство Петра. Он велел доставить депутацию в Гродно, где в то время сам находился, чтобы вручить ей грамоту с призывом к восставшим выдать зачинщиков и обещанием помиловать всех остальных.

Это было третье по счету обращение царя к астраханцам с призывом проявить смирение и покорность, причем именно оно оказалось наиболее эффективным. Психологическое воздействие непосредственного общения с Петром столь укрепило царистские иллюзии у конного стрельца Кисельникова, что тот превратился едва ли не в самого рьяного сторонника прекращения вооруженной борьбы астраханцев с правительством.

Общение с Кисельниковым и доставленными в Москву членами депутации на Дон вселило в бояр и в самого царя надежду на мирный исход событий в Астрахани. Обраща-

ет на себя внимание следующая деталь: в распоряжении Ф. Ю. Ромодановского об отправке астраханцев к царю в Гродно они названы ворами. Точно так же их называл и Петр в указе от 21 сентября 1705 г.: «Как вороф з Дону, которые бунтовались в Астрахани, привезут к Москве, изволь тотчас послать их за крепким караулом сюды». После того как Кисельников побывал в Астрахани и доставил в столицу повинную, мнение о нем в правящих кругах резко изменилось. Головин отзывался о Кисельникове и его товарищах так: «...все кажутца верны и мужики добры»²³.

Превращение «вороф» в благонадежных сторонников правительства зарегистрировано и в указах царя. 1 декабря 1705 г. Петр после разговора с Кисельниковым отправил указ Ромодановскому, чтобы тот организовал возвращение депутации в Астрахань в сопровождении «добрых провожатых», оговорив при этом, «чтоб те провожатые их не как колодничоф, но как свободных правожали, понеже оные посланы ради уговору». В середине февраля следующего года, когда Кисельников со стрельцами возвращался в Астрахань после повторной встречи с царем, Петр вновь велел «вести их в почтении», правда лишив их возможности общаться с населением.

Короче, Петр и его окружение были твердо убеждены в том, что дело в Астрахани, начавшееся в столь неуместное время, когда неприятель намеревался вторгнуться в пределы России, завершится мирным исходом. Об этом свидетельствует и многократно повторенное предписание царя проявлять к повстанцам великодушие. На вопрос Щепотьева, как поступить с черныярцами, если они принесут повинную, царь ответил: «...кроме прощения и по-старому быть, иново ничего; также и везде не держайте не точию делом, ни словом жестоким к ним поступать под опасением живота». Шереметеву было велено поступать с астраханцами так: «...всеконечно их всех милостию и прощением вам обнадеживать; и, взяв город Астрахань, отнюдь над ними и над заводчиками ничего не чинить»²⁴.

Мы столь подробно остановились на этом плане царя и правительства относительно ликвидации астраханского восстания с той целью, чтобы явственнее выглядели действия Шереметева, шедшие вразрез с ним. Фельдмаршал сознательно провоцировал обострение обстановки и толкал восставших на противодействие правительственным войскам.

Еще в феврале 1706 г., когда Шереметев выступил из Саратова, астраханцы получили от него послание ультимативного содержания, свидетельствовавшее о его отнюдь не миролюбивых намерениях. Текст послания не сохранился, но, судя по передаче его содержания, оно не

содействовало умиротворению повстанцев. Фельдмаршал потребовал от них прибытия в Царицын с повинной двух-трех астраханских старшин, предоставления ему сведений о численности сословных групп населения города, о наличных запасах фуража и провианта. Ультимативный характер требований Шереметев подкрепил сведениями о численности карательных войск, двигавшихся к Астрахани. Эти данные должны были внушить повстанцам мысль о тщетности сопротивления.

2 марта Шереметев вступил в Черный Яр. Несмотря на то что черноморцы не оказали никакого сопротивления правительственным войскам, фельдмаршал обошелся с ними круто. Это видно из царского указа, упрекавшего Шереметева в том, что тот повинен в намерении астраханцев оказать сопротивление. «У астраханцев,—писал Петр,—сумнение произошло от некоторых к некоторым присланным их и черноморцам показанной суровости, в чем для бога осторожно поступайте и являйте к ним всякую склонность и ласку»²⁵.

Другим свидетельством стремления Шереметева обострить обстановку в Астрахани явилось игнорирование им просьбы повстанцев о том, чтобы он воздержался от входа в город до возвращения делегации с грамотой царя, прощавшей им все вины. Фельдмаршал, напротив, форсировал занятие Астрахани под тем предлогом, что ему стало известно о замысле повстанцев разрушить и поджечь город, а затем уйти в Аграхань.

Сведения о карательных действиях Шереметева—штурме Астрахани и сопротивлении, оказанном ему повстанцами, мы черпаем из его собственных донесений. Проверить их достоверность не представляется возможным, ибо другими источниками историки не располагают. Бесспорно одно: донесения Шереметева являются крайне тенденциозными. Их цель, в частности, состояла в том, чтобы убедить царя и его окружение в отсутствии шансов для мирного урегулирования взаимоотношений между астраханцами и правительством. С этой целью фельдмаршал либо сгущал краски, либо умалчивал о фактах, противоречивших его версии хода карательной операции.

Выше говорилось о том, что астраханцы просили Шереметева не вступать в город до прибытия туда депутации с грамотой царя, прощавшей им вины. Ясно, что царская грамота усилила бы позиции тех, кто соглашался впустить фельдмаршала в город без сопротивления. В своем донесении Шереметев сообщал, что он отпустил депутацию 9 марта. По другим сведениям, приводимым исследователями Астраханского восстания, следует, что фельдмаршал задержал в обозе выборных, возвращавшихся из Москвы, и те вошли в город вместе с правитель-

ственными войсками. Фельдмаршал далее доносил, что астраханцы выступили против него «с пушки и знамены», т. е. со всеми своими силами. Это тоже передержка, явно нацеленная на то, чтобы оправдать военные действия против астраханцев (раз они ринулись в атаку, следовательно, надобно было от них отбиваться) и подчеркнуть свою воинскую доблесть. В действительности, как установила Н. Б. Голикова, «основная масса защитников города осталась на стенах»²⁶.

В целом события в Астрахани в последние дни, когда город находился в руках восставших, развивались не по плану, разработанному боярами и царем, а по сценарию фельдмаршала. Под его пером они выглядели так. Сначала правительственные войска одолели астраханцев, совершивших вылазку: «...их, изменников, побили, и в Земляной город вогнали, и пушки и знамена побрали». Затем войска «Земляной город взяли приступом и гнали за ними даже до Белова города». Укрывшихся в Белом городе восставших Шереметев подверг бомбардировке, после которой они сдались на милость победителя²⁷.

Действия Шереметева не вызвали одобрения у Ф. А. Головина. В письме царю он считал, что «великую безделицу зделали», и сетовал: «Токмо тово жаль, что зделанное испорчено». Под «испорченным» делом подразумевались усилия его, Головина, и царя уладить конфликт мирным путем.

Какими мотивами руководствовался Шереметев, когда вел линию на обострение отношений с астраханцами и действовал в нарушение инструкций царя?

Источники на этот счет немые, и можно высказать лишь догадки. Представим себе, что астраханцы впустили бы Шереметева без всякого сопротивления, т. е. поступили бы так же, как и черноморцы. Тогда Шереметев, вероятно, отправил бы донесение того же содержания, какое он отправил Головину с Черного Яра: «Пришел я на Черный Яр марта 2 дня с полками, и черноморцы вышли на встречу с ыконами, и вынесли плаху и топор, и просили милосердия»²⁸. Шереметеву, таким образом, была бы уготована роль человека, пожинавшего плоды усилий людей, подготовивших сдачу города без сопротивления. Подобная роль не сулила Шереметеву ни почестей, ни наград.

Риск вызвать недовольство царя штурмом Астрахани был невелик: победителей, как говорят, не судят. В конечном счете правительственной верхушке был важен конечный итог. Что касается способов его получения, то расхождения не носили принципиального характера. Шереметев мог накликасть на свою голову беду, если бы штурм оказался неудачным и штурмовавшие понесли большие

потери. Но такой ход событий был исключен: в победе правительственных войск фельдмаршал не сомневался, так как хорошо знал о противоречиях, раздиравших лагерь восставших.

Успешное завершение астраханской экспедиции было отмечено царем. В грамоте о пожаловании Шереметеву Юхоцкой волости и села Вошажниково наряду с перечислением его заслуг в Северной войне было сказано и об успешном руководстве карательной операцией в Астрахани. В мятежном городе к Шереметеву пристала то ли настоящая, то ли притворная хворь. «За грехи мои пришла мне болезнь ножная: не могу ходить ни в сапогах, ни в башмаках; а лечиться не у кого. Пожалуй, не оставь меня здесь»,— просил он Головина. Стоило, однако, Меншикову объявить Шереметеву о пожаловании 2400 дворов, как тут же исчезли все симптомы болезни. Меншиков доносил царю, что фельдмаршал «зело был весел и обещался больше не болеть»²⁹.

Шереметев выехал из Астрахани вместе с участвовавшими в восстании стрельцами только в конце июня. Отъехав на некоторое расстояние от города, он, согласно указу царя, «пущих заводчиков» отправил в Москву, где над ними чинил жестокий розыск руководитель Преображенского приказа князь Федор Юрьевич Ромодановский. Остальные стрельцы должны были продолжить службу в солдатских полках.

ВНОВЬ В ДЕЙСТВУЮЩЕЙ АРМИИ

В конце 1706 г. грузную фигуру фельдмаршала можно было вновь встретить в действующей армии. Здесь, в западноукраинском местечке Жолкве, на военном совете в присутствии царя был принят знаменитый план дальнейшего ведения войны со шведами.

Шесть лет, в течение которых армия Карла XII «увязла» в Польше, не прошли даром для шведского короля. Ему в конце концов удалось достичь своего: лишить Августа II польской короны и водрузить ее на голову своего ставленника Станислава Лещинского, а также вынудить Августа порвать союзнические отношения с Россией. Богатая Саксония, сохраненная за Августом, в течение года сыто кормила и вдосталь одевала и обувала шведскую армию, которая там отдыхала, набираясь сил перед своим броском на восток, чтобы разделаться с оставшимся в одиночестве последним участником Северного союза—Россией.

В одном из писем Ф. А. Головину Шереметев обнаружил глубокое понимание обстановки на театре войны и

выразил свое мнение о ближайших намерениях Карла XII. «А я так рассуждаю,—делился фельдмаршал своими мыслями,—что швед... пошел в Шленскую границу и тут будет зимовать для того, что ему в Польше не прокормить». В Саксонии король пополнит свои войска рекрутами, армия «набогатитца», отдохнет, и только после этого Карл XII «будет наш гость», т. е. отправится в поход на Россию¹.

Догадаться русскому командованию об этом намерении шведского короля было легче, чем здраво взвесить силы противника и свои собственные возможности, чтобы принять единственно правильный план действий. Он и стал предметом обсуждения на военном совете, или, как тогда говорили, конзилии, состоявшейся в Жолкве. Конзилия решила генеральной баталии в Польше не давать, «понеже ежели б какое нещастие учинилось, то бы трудно иметь ретираду». Русским войскам надлежало отступать до своих границ и только на своей территории, «когда того необходимая нужда требовать будет», отваживаться на генеральное сражение. Отступавшей армии, как сказано в постановлении военного совета, надо было «томить неприятеля», т. е. устраивать засады, внезапные нападения на переправах, уничтожать запасы провианта и фуража, чтобы они не достались противнику.

1707 год прошел в ожидании шведского вторжения. Основные силы русских — так называемая полевая армия численностью 57,5 тыс. человек под командованием Шереметева — были нацелены на главную армию шведов, насчитывавшую 30—35 тыс. человек, во главе с самим Карлом XII. Помимо этого существовало еще две группировки войск. Шестнадцатитысячному корпусу Левенгаупта в Риге противостоял равной численности корпус русского генерала Боура, расположенный между Дерптом и Псковом. Действия финляндского корпуса Либекера (15 тыс. человек) должен был парализовать ингерманландский корпус Ф. М. Апраксина (24,5 тыс. человек).

Карл XII покинул Саксонию в августе 1707 г. Полевая армия Шереметева начала откатываться на восток. Отступление было нелегким. В конце февраля 1708 г. фельдмаршал извещал Меншикова: «Нужда велика, взять негде; деревни, которые есть, все пусты; не токмо что провианту сыскать невозможно, но и жителей никого нет». Еще больше испытаний выпало на долю армии противника: она двигалась по территории, опустошенной отступавшими.

Карл XII страстно желал генеральной баталии. Русское командование, напротив, всячески уклонялось от нее: во-первых, потому, что неприятель, по мнению царя, еще недостаточно был подвержен воздействию «томле-

ния», а во-вторых, потому, что Петр в своей стратегии строго руководствовался правилом: «Искание боя генерального суть опасно — в единый час все испровержено, — того для лучше здоровое отступление, нежели безмерный газард»².

В начале февраля 1708 г. шведская армия достигла Сморгони. Здесь Карл XII простоял свыше месяца. Петр рассуждал так: «ежели до 10 марта неприятель не тронетца, то уже, конечно, до июня не будет»³. Карл XII, однако, «тронулся» 17 марта, но находился на марше лишь сутки. На следующий день он вошел в Радошковичи, чтобы задержаться там еще на три месяца. На квартирах расположились и русские войска. Жизнь на театре военных действий как бы замерла. Наступило затишье, прерываемое лишь разведывательными операциями.

Куда направит король свою армию с наступлением летней кампании? Этот вопрос задавали не только в русской, но и в шведской ставке. Ни там, ни здесь на него не могли дать точного ответа: король не любил делиться с окружающими ни сомнениями, ни планами.

Один из возможных маршрутов шведской армии лежал к Пскову, а затем в Ингрию, чтобы там одним ударом вернуть то, что русские добывали в течение шести лет: Шлиссельбург, Нарву, а заодно и Дерпт. Этот план хотя и не самый блестящий по своим конечным результатам, ибо даже успешное его выполнение не обеспечивало окончание войны, тем не менее был для шведов самым надежным и менее всего рискованным. Есть основания полагать, что, находясь в Саксонии, король ориентировался на осуществление именно этого плана. В минуты, когда Карл XII бывал разговорчивым, он сказал своему генерал-лейтенанту Гилленкроку: «Мы можем иметь другой план: выгнать неприятеля из нашей земли и овладеть Псковом. На этом основании вы должны составить диспозицию к атаке». По свидетельству того же Гилленкрока, в ставке короля изучались крепостные сооружения Пскова и составлялись планы овладения им.

Но в голове короля созрел и другой план, более всего импонировавший складу его военного дарования и характеру: надо идти на Москву. Карл XII полагал, что здесь, в столице России, ему удастся продиктовать поверженному царю свои условия мира. Мысль эта настолько овладела королем, что ни предупреждения о возможных пагубных последствиях этого похода, ни доводы о его трудности, ни, наконец, рассуждения об огромном риске, которому подверглась бы армия, вторгшаяся на неприятельскую землю, не могли поколебать убеждений шведского полководца. В этой связи приведем в записи Гилленкрока его разговор с Карлом XII:

Гилленкрок. Неприятель употребит, вероятно, все средства к воспрепятствованию нашего похода.

Король. Неприятель не может остановить нас.

Гилленкрок. Полагаю, что неприятель не отважится вступить в сражение с вашим величеством. Но русские будут для лучшей обороны окапываться на всех трудных для нас местах.

Король. Все эти окопы ничего не значат, и они не могут мешать нашему движению.

Гилленкрок. Когда неприятель увидит, что не может остановить движение нашей армии, то непременно начнет жечь в своей земле.

Король парировал и этот довод. Если он не выжжет своей земли, то я сожгу все.

Гилленкрок. Со временем, ваше величество, убедитесь, как опасно углубляться в неприятельскую землю, не имея прочных сообщений с отечеством.

Противопоставить этому предупреждению какие-либо разумные доводы Карл XII не смог. Он изрек: «Мы должны отважиться на это, покамест нам благоприятствует счастье». Слова Гилленкрока о том, что опасно полагаться на счастье, не возымели никакого воздействия на короля. «Тут нет никакой опасности. Будьте покойны!» — такими словами Карл XII подвел итог диалогу⁴.

Сам Петр в январе — феврале 1708 г. был убежден, что Карл XII двинется на Псков. 29 января он делился своими суждениями с Меншиковым: «...хотя о неприятельском подвиге, в которую сторону к нашим рубежам будет, и неведомо, однако ж, чаю, совершенно ко Пскову». Этого мнения царь придерживался и в середине февраля, причем допускал, что шведский король мог свои намерения маскировать ложными движениями: пехоту направить на северо-восток, а конницу — на восток, в сторону Москвы; после того как король убедится, что ему удалось ввести в заблуждение русское командование, он немедленно соединится с пехотой. «Я и теперь болши в том мнении, что пойдет к Левенгаупту в случение», — писал Петр Меншикову 18 февраля⁵.

Известно, что Карл XII не пошел ни на северо-восток, ни на восток. Москву он решил добывать кружным путем — через Украину. Притягательность этого направления возрастала по мере притока в ставку короля новых данных о событиях на Дону и Украине. С Дона поступали бодрившие его сведения о вспыхнувшем там восстании, из которого он рассчитывал извлечь для себя немалые выгоды. Атаман Кондратий Булавин, его сподвижники Семен Дранный, Никита Голый и другие подняли казаков на борьбу с правительством. Еще более обнадеживающие новости сообщили королю эмиссары украинского гетмана Мазепы — тот был близок к осуществлению своего коварного намерения изменить России и переметнуться в лагерь шведов.

Окончательное решение идти на Украину Карл XII принял в сентябре 1708 г., а до этого Петру и его

генералам пришлось решать головоломное уравнение со многими неизвестными. Любое решение могло стать роковым, ибо концентрация русских войск в том или ином ошибочно предполагаемом направлении движения армии Карла XII к русским рубежам могла создать шведам оперативный простор и открыть им путь для беспрепятственного движения к цели; и напротив, если бы план короля был разгадан, она была способна создать огромные и даже непреодолимые препятствия для противника. Трудность решения этой стратегической задачи усугублялась также и некоторыми приводящими обстоятельствами.

Ранее отмечалось, что главнокомандующим полевой армией Петр назначил Шереметева. В месяцы, когда на театре войны присутствовал царь, он и осуществлял руководство боевыми действиями. Ни Меншиков, ни тем более Шереметев, разумеется, не осмеливались игнорировать его повелений. Но весну и половину лета Петр провел в Петербурге. На театре военных действий лицом к лицу оказались фельдмаршал Шереметев и генерал-лейтенант Меншиков, благодаря фавору позволявший себе действовать вопреки воле главнокомандующего и далеко не всегда выполнявший его предписания. В итоге размолвки между главнокомандующим и его подчиненным создалась ситуация, чреватая тяжелыми последствиями. В этой связи дадим краткий обзор их взаимоотношений в прошлом.

Проникнуть в суть отношений между Борисом Петровичем и Александром Даниловичем затруднительно прежде всего потому, что их взаимоотношения были достаточно сложными и не отличались постоянством. К тому же наличные источники отражают преимущественно внешнюю сторону этих отношений, так сказать видимую часть айсберга, умалчивают о побудительных мотивах тех или иных поступков и лишают возможности уловить то, что они тщательно друг от друга скрывали.

Меншиков, как известно, был окружен разноголосым хором льстецов, всегда готовых ласкать ухо фаворита словесными изъявлениями любви и преданности. Среди них, разумеется, друзей не было. Стоило светлейшему оступиться и попасть в немилость, как отношение к нему круто менялось. Борис Петрович не составлял исключения в этом плане, хотя его, конечно, нельзя причислить к людям, готовым ради карьеры раболепствовать и терпеть любые унижения перед всесильным фаворитом. Шереметев себе цену знал, как, впрочем, хорошо знал и цену Меншикову. Пышные чины и звания, украшавшие по воле царя титул Меншикова, в глазах таких аристократов, как Шереметев, Голицыны, Долгоруковы, Куракины и другие, не могли заменить породы. Тем не менее Шереметев, не

питая искренних симпатий к надменному выскочке, смирял боярскую спесь и скрепя сердце нередко заискивал перед ним.

Если судить об отношениях между Меншиковым и Шереметевым по их переписке, то они почти всегда выглядели равными и взаимно уважительными. Кстати, из переписки сохранились лишь письма Шереметева к Меншикову и утрачены письма светлейшего к фельдмаршалу. Но и выдержавшие испытание на сохранность письма Бориса Петровича дают основания для некоторых бесспорных наблюдений.

Пересылались они письмами настолько часто и систематически, что более или менее продолжительное молчание воспринималось как чрезвычайное событие, требовавшее объяснений. В письме от 22 апреля 1705 г. Борис Петрович так объяснял наступивший перерыв: «А на меня не имей гневу, что я ни о каких ведомостях не пишу, понеже ниоткуда сам не имею». И тут же сожаление о невозможности лично повидать Александра Даниловича: «...не допустила меня болезнь... А верхом, чаю, не доехать. Ей, государь, братец, кроме любви твоей и надлежащих нужд рад к тебе ехать от самой скуки». Майское письмо в том же духе: «Не погневайся, государь, что я к тебе не писал по се время... Ей, приболел. Ведомостей у меня ниоткуда никаких нет»⁶.

Примечательна форма обращения Шереметева к Меншикову. В ней можно обнаружить элементы как близости, так и фамильярности. Последняя, надо полагать, не оскорбляла, а, напротив, льстила фавориту. «Государь мой и брат Александр Данилович» — так начинал свои послания фельдмаршал. Борис Петрович часто употреблял слово «братец», звучавшее в известной мере покровительственно: «Преж сего я писал к тебе, братец...» или «Пожалуй, государь мой, братец, дай мне знать...» Но вот в 1706 г. Меншиков становится князем Священной Римской империи. С приобретением нового титула исчезло фамильярное «братец». Прежнюю форму обращения сменяет новая, повторяющаяся десятки раз: «Светлейший князь, мой крепчайший благодетель и брат».

Оба с готовностью оказывали друг другу услуги. Правда, они располагали неравными возможностями: многое из того, что делал светлейший, было просто недоступно Шереметеву. Поэтому услуги последнего чаще всего были ничтожными. Лишь однажды фельдмаршал одарил Меншикова натурой — трофейным скотом: «...челом бью тебе, братец, десять коров галанских да бык большой же галанский на завод». В основном услуги фельдмаршала выражались либо в форме добрых советов, либо в форме знаков внимания.

Шереметев, например, предостерегал Меншикова от опрометчивых решений. Когда Александр Данилович хотел использовать какого-то офицера для учета в Пскове артиллерии и припасов к ней, Борис Петрович высказал сомнение в его пригодности для этого дела: «А которой есть у меня поручик остался во Пскове, ей, малоумен, не токмо что такое дело управить и себя одново не управит». В другой раз Шереметев писал: «Ведомо мне учинилось, что изволил твоя милость князя Волконского оставить у полку. Ей, великая твоя к нему милость, только истинно тебе доношу, что он болен и такова дела ему не снесть». Вместо Волконского он рекомендовал взять у него «самово доброго человека». А вот другого рода любезность. В январе 1708 г., перед приездом светлейшего на военный совет в Бешенковичи, Шереметев извещал его: «Домы для прибытия вашей светлости отведены, которых лутче нет, и я свой двор очистил»⁷.

Меншиков одаривал Шереметева более существенно. Фельдмаршал понимал, что царские пожалования могут быть весомее, если о них станет хлопотать любимец царя. Борис Петрович, не стесняясь, часто докучал своему «брату и крепчайшему благодетелю» просьбами. Одарив Меншикова голландскими коровами и быком, он в этом же письме обратился к нему с просьбой: «Всею его, государева, милость и жалованье, а мне нет. И вины мне никакой не объявлено». Если верить Шереметеву, то он оказался в безысходной нищете и нуждался в срочной помощи: «Умилосердися, батька и брат, Александр Данилович, вступиися ты за меня и подай руку помощи. А я, кроме бога и пресвятые богородицы и премилостивейшего государя да тебя, моево батька и брата, никою помощника не имею». Письмо содержит любопытное признание: «...прежнюю всякую милость получал чрез тебя, государя моего».

Следующее пожалование — Юхотскую волость и село Вожажниково Шереметев получил тоже при посредничестве Меншикова. Сразу же после подавления восстания в Астрахани, 16 марта 1706 г., перо Шереметева вновь искусно живописало о его «бедности». Он жаловался, что его «службишка забвенна учинилась», что ему приходится жить «нищенска», что фельдмаршалу не престижно: «...не мне то будет стыт, знают, что мне взять негде».

В иных случаях Меншиков мог сам, не обращаясь к царю, облагодетельствовать Шереметева. Борис Петрович не упускал и эту возможность. В сентябре 1705 г. он плакался: «...покажи надо мною отеческую милость, не дай мне разоритца». Суть просьбы состояла в том, чтобы Меншиков велел приостановить перепись беглых, поселившихся в вотчине фельдмаршала близ Белгорода, в селе

Борисовка: «А естли ее будут описывать, ей, все разбрѣдѣтца и будет пуста».

Когда Шереметеву надлежало принимать какое-либо решение, он тоже обращался за советом к «крепчайшему благодетелю»: «Пожалуй, братец, вразуми меня, как мне обходитца з господином генералом Шанбеком». Этот генерал был только что нанят на русскую службу, но уже успел проявить высокомерие. В другой раз Шереметев, затрудняясь решить, какой полк отдать под команду генерал-поручика Розена, опять просил Меншикова: «И вразуми меня, как с ним обходитца»⁸.

Среди писем Шереметева, кстати умевшего скрывать свои обиды, встречаются и такие, в которых вместо слов о любви и преданности можно обнаружить отражение подозрительности, соперничества и даже враждебности.

Вспомним в этой связи случай с указом царя об изъятии из-под команды Шереметева пехотных полков. Фельдмаршал расценил его как выражение царского гнева и так расстроился, что занемог. Меншиков, доставивший указ, взялся утешать Бориса Петровича, но тот сомневался в искренности своего «крепчайшего благодетеля» и поделился сомнениями с Ф. А. Головиным. В письме свату Шереметев писал, что, несмотря на долгие разговоры, Меншикову не удалось убедить его в своем доброжелательном к нему отношении. Фельдмаршал остался при своих сомнениях и после того, как Меншиков показал ему отправляемое царю письмо с теплыми словами в его адрес. Читая это письмо, Шереметев, видимо, вспомнил, как Меншиков несколько ранее поступил с Виниусом. Он принял от Виниуса взятку, взамен полученного куша показал ему свое письмо царю с благожелательным отзывом о нем и тут же с нарочным отправил другое, в котором с головой выдал взяткодателя.

На этот раз подозрения Шереметева относительно козней Меншикова оказались необоснованными. Утешать фельдмаршала пришлось и царю. Тот разъяснил обиженному, что разделение армий было предпринято «не для какова вам оскорбления, но ради лучшего управления», и тут же добавил, что он приостановил исполнение указа. Петр не лукавил. Это видно из его письма Меншикову. Царь заверял фаворита, что у него нет намерений ущемлять фельдмаршала.

Описанный выше эпизод во взаимоотношениях двух военачальников носил, если можно так выразиться, личный характер. Три года спустя между ними возник конфликт, в основе которого лежали более существенные расхождения — несхожие взгляды на способы ведения войны со шведами.

В начале марта 1708 г. военный совет в белорусском

местечке Бешенковичи, что юго-западнее Витебска, обсуждал представленный Меншиковым план летней кампании. Светлейший полагал, что полевая армия независимо от того, в каком направлении двинется Карл XII, должна отступить, производя полное опустошение края. Особую роль в этом маневре князь отводил коннице: она должна была действовать изолированно от пехоты и следовать по пятам шведов. Задача регулярной конницы — нанесение противнику ударов с тыла, в то время как нерегулярная кавалерия должна была атаковать его фланги.

Против плана Меншикова решительно выступил Шереметев. Впрочем, в главном фельдмаршал был согласен с князем: русской армии надлежало отступить, т. е. действовать в соответствии с жолквиевской стратегией. Но Борис Петрович считал крайне опасным раздельное расположение пехоты и кавалерии, ибо в этом случае невозможно было выручать друг друга из беды. Фельдмаршал далее задавал отнюдь не риторический вопрос: «Наша кавалерия как возможит по тем пустым и разоренным местам путь свой править?» Вопрос резонный, ибо кавалерии пришлось бы двигаться по территории, дважды опустошенной: сначала русской пехотой, а затем шведской армией⁹.

Мнение Шереметева о плане Меншикова как бы подводило черту их неприязненным отношениям — выползло наружу то, что подспудно накапливалось до военного совета. Отзвуки конфликта докатились до Москвы, и английский посол Витворт, как всегда, хорошо осведомленный не только о придворных интригах, но и о событиях на театре войны, доложил своему правительству: «Раздор между любимцем царским и фельдмаршалом возрос до того, что Шереметев заявил при целом военном совете, будто готов отказаться от своего поста, так как и его репутации, и самой армии государевой грозит гибель, если князь не будет удален от начальства над кавалерией»¹⁰.

Ссору мог погасить царь, отозвав светлейшего в Петербург. Но он этого не сделал, уповая на способность военных советов сглаживать острые углы. Два медведя были оставлены в одной берлоге. В командовании полевой армии Петр оставил все без изменения, хотя фактически он разделял взгляды Шереметева на план Меншикова. «Старший полковник», как называли царя в армии, допускал раздельные действия пехоты и кавалерии только зимой, когда кавалерия располагала простором для маневра: в случае надобности она без труда могла преодолеть скованные льдом реки и болота и соединиться с пехотой.

11 марта 1708 г. Петр выехал из Бешенковичей в Петербург. Распри между Меншиковым и Шереметевым

не способствовали согласованным действиям, что не ускользнуло от внимания современников. 19 марта генерал А. И. Репнин писал начальнику артиллерии Я. В. Брюсу: «Я сколько ни служил, а такого порядку не видал, как ныне». Брюс был вполне с этим согласен и со своей стороны добавил: «...хотя много читал, однакож, в которой кронике такой окоlesiны не нашел».

Летом 1708 г. русской армии предстояло оборонять два водных рубежа: сначала Березину, а в случае если шведы переправятся через нее, то и Днепр. Какими силами надлежало защищать Березину?

Меншиков полагал, что с обороной Березины лучше всего справится кавалерия, дополненная пехотой. Шереметев придерживался иного мнения, изложенного им 7 мая в донесении царю: отряд надлежало комплектовать из кавалерии и пехоты, посаженной на коней. Свое предложение фельдмаршал мотивировал тем, что конница в случае неприятельского наступления могла быстро отойти, в то время как менее мобильные пехотные полки могли стать легкой добычей неприятеля; не исключено, что, обороняя пехоту, армия постепенно втянется в генеральное сражение, не входившее в расчеты русского командования.

Меншикову не удалось помешать Карлу XII преодолеть Березину — король без особого труда обманул светлейшего. Шведы инсценировали активную подготовку к переправе у Борисова, где и сосредоточил свою кавалерию Меншиков, но 14 июня неприятель вопреки расчетам князя переправился намного южнее Борисова. Царь весьма снисходительно отнесся к оплошности своего фаворита и лишь слегка его пожурил, предупредив, чтобы он впредь не давал себя обмануть.

Оплошность князя дала фельдмаршалу повод для иронических замечаний. Он спрашивал у Меншикова, каким образом неприятель «столь легко перешел» Березину. В другой раз, получив известие от светлейшего, что тот поручил чинить препятствие наступлению шведов команде во главе с майором, Шереметев не без ехидства замстил: «Передаем вашей светлости в разсуждение, как может один майор с малою партиєю все неприятельское войско держать?» Князь не оставался в долгу и отвечал тоже колкостями. Когда Шереметев высказал опасение, что противник может отрезать пехоте пути к отступлению, он возразил: между шведами и пехотой стоят кавалерийские полки и «неприятель не крыласт, прямо через нас не перелетит»¹¹.

Преπειрательства, надо полагать, сыграли свою роль и при Головчинском сражении, состоявшемся 3 июля. Это сражение, запланированное военным советом как частное столкновение со шведами, закончилось для русских

неудачно: дивизия Репнина уступила поле боя и оставила противнику полковую артиллерию. Тактический успех шведов, ничтожный по своим конечным результатам, тем не менее был превращен Карлом XII в грандиозную победу. По ее поводу король распорядился выбить медаль с хвастливой надписью, совершенно не соответствовавшей реальному значению сражения: «Побеждены леса, болота, оплоты и неприятель»¹².

После Головчинского сражения русские войска отошли к Днепру. Настала пора составлять реляцию царю, находившемуся в пути из Петербурга в действующую армию. Реляция, подписанная Шереметевым, Меншиковым и другими военачальниками, была составлена искусно и обтекаемо: она будто бы и ничего не утаивала из случившегося и в то же время не давала подлинной картины сражения и его итогов.

Читая реляцию где-то между Великими Луками и Смоленском, Петр не обнаружил в ней ничего настораживающего. В самом деле, там было написано, что наша конница «неприятеля многократно с места сбивала» и если бы местность позволила полкам, прибывшим на помощь, участвовать в сражении, то «конечно б неприятельское войско могло все разориться», но полки, не желая «в главную баталию вступать», сами «без всякого урону» оставили поле боя. Царя не могло не утешить то обстоятельство, что противник «вдвое больше нашего потерял» и что, «кроме уступления места», ему «из сей баталии утехи мало»¹³.

Реляция хотя и не создавала впечатления о полной победе русских войск, но вселяла в царя уверенность в несомненной полезности сражения как репетиции генеральной баталии. Именно так оценил Петр случившееся у Головчина. Адмиралу Апраксину он писал: «Однакож я зело благодарю бога, что наши прежде генеральной баталии виделись с неприятелем хорошенько и что от всей ево армии одна наша треть так выдержала и отошла». Слова одобрения были высказаны и Шереметеву: «В протчем паки прошу господа бога, дабы меня сподобил к сему вашему пиршеству и всех бы вас видеть в радости здоровых»¹⁴. Реляция о Головчинском сражении дала основание Петру считать полевую армию достаточно подготовленной и для более серьезных действий. Фельдмаршала царь напутствовал не упускать благоприятного случая, чтобы помериться силами с неприятельской армией.

Сведения о сражении у Головчина уточнялись по мере приближения царя к ставке Шереметева в Горках, и соответственно менялась его общая оценка случившегося. Какой разговор состоялся между Петром и фельдмарша-

лом — осталось тайной. Думается, однако, что царь изрекал слова упреков, а не похвалы. В конечном счете за промахи пришлось расплачиваться. 16 июля Петр издает два указа: один адресован Шереметеву, другой — Меншикову. Борису Петровичу, командовавшему пехотой, было поручено председательствовать в военном суде, рассматривавшем действия генерал-лейтенанта Гольца, в подчинении которого находилась кавалерийская дивизия. Гольц обвинялся в том, что некоторые его полки потеряли знамя и несколько пушек, а «иные не хотели к неприятелю ближе ехать».

Александр Данилович должен был председательствовать в суде над Репниным. Светлейшему надлежало «со всякою правдою» выяснить, как многие полки Репнина «пришли в комфузию»: оставив пушки, «непорядочно отступили». Приговор суда под председательством Меншикова отличался крайней суровостью. В нем сказано, что Репнин «достоин быть жития лишен». Но проявленная Репниным личная храбрость на поле боя дала основание для снисхождения: жизнь ему была сохранена, но он лишился чина и должности. Разжалование сопровождалось взысканием с Репнина штрафа за пушки, утраченные на поле боя. Репнин обратился к царю с просьбой о помиловании. Он доказывал, что удержать рубежи, на которые наступали превосходящие силы противника, без «сикурса» было невозможно, писал о бесплодных призывах о помощи.

Царь оставил приговор в силе, хотя в ходе разбирательства было выяснено, что помощь Меншикова запоздала, а Шереметев не сдвинулся с места из опасения быть втянутым в генеральную баталию. В то же время приговор не был приведен в исполнение в полном объеме. Два месяца спустя Репнин в чине полковника командовал полком в сражении у Лесной и за проявленную на поле битвы храбрость был восстановлен в чине и должности. Что касается Гольца, то ему приговор так и не был вынесен.

Возникает естественный вопрос: ради чего царь создавал «кригсрехт»? Не выглядела ли вся эта затея за счет военного судом фарсом, призванным пощекотать нервы лицам, привлеченным к ответственности?

На поставленные вопросы можно ответить лишь предположительно. Совершенно очевидно, что в головчинском деле круг виновных не исчерпывался генералами, привлеченными к суду. В числе виновных должны были находиться и сами судьи — Меншиков и Шереметев. Репнин в данном случае — козел отпущения. Суровые кары по отношению к нему имели воспитательное значение: царь внушал высшим офицерам мысли о воинском долге,

дисциплине и необходимости безупречно вести себя на поле боя.

Неудача под Головчином имела значение досадного эпизода. Она была вскоре забыта, ибо на смену ей пришли две блистательные победы, в которых, правда, Борис Петрович не участвовал. Первая из них связана с операцией 30 августа под селом Добрым, стоившей шведам потери 3 тыс. человек. «Как я почал служить, такова огня и порядочного действия от наших солдат не слышал и не видал»,— писал царь с поля боя 31 августа 1708 г.

Вторая победа, которую Петр с полным основанием называл матерью Полтавской виктории, произошла 28 сентября у деревни Лесная. Как только русскому командованию стало известно о движении 16-тысячного корпуса Левенгаупта из Риги на соединение с главными силами Карла XII, державшими в то время путь на Украину, Петр созвал военный совет. Он принял знаменитое решение о выделении из полевой армии летучего отряда под командованием царя для нападения на корпус Левенгаупта. Основные силы полевой армии под началом Шереметева должны были двигаться на юг впереди шведов. Задача оставалась прежней— «томить» неприятеля.

В победе у Лесной Петр отмечал три момента. Русские одержали верх над более многочисленным противником: 16-тысячному корпусу Левенгаупта противостоял лишь 10-тысячный отряд русских. Имело значение и то, что разгрому подверглись «природные» шведы. Наконец, царя порадовала организация управления боем. Именно четкие команды и перестроения позволили разгромить неприятеля, располагавшего превосходством в силах. Царь сам признавал, что если бы сражение происходило на открытой местности, то наверняка победили бы шведы.

Результаты победы обнадеживали: Карл XII лишился не только существенной подмоги в личном составе, но и обоза с боеприпасами, снаряжением, обмундированием и артиллерией. Нагруженные всяческим добром 2 тыс. телег стали трофеями русских войск. На поле битвы у Лесной полегло 8 тыс. шведов. В ставку Карла XII стекались спасшиеся от уничтожения деморализованные отряды и единичные солдаты—остатки некогда грозного корпуса.

Король не хотел верить солдату, доставившему известие о разгроме Левенгаупта. Окружающих и прежде всего самого себя он пытался убедить, что солдат все перепутал и наговорил от страха несуразностей, что корпус во главе с опытейшим генералом Левенгауптом не мог потерпеть поражение. Когда последние сомнения относительно катастрофы у Лесной развеялись, король

утратил покой. Его одолела бессонница, он не мог находиться в одиночестве и сам искал общества приближенных, развлекавших его разговорами в ночные часы.

Любопытны обстоятельства получения информации о победе у Лесной в ставке Шереметева. Она размещалась в районе Стародуба, и шведский майор, посланный с печальной вестью к королю, был настолько уверен в действительности контроля Карла XII над всей Украиной, что без предварительной разведки сам заехал в Стародуб, где был схвачен казаками местного гарнизона и немедленно доставлен к Шереметеву. От него, а не от курьера царя фельдмаршал и получил известие о торжестве русского оружия в лесах Белоруссии.

Поражение у Лесной еще более укрепило Карла XII в мысли следовать на Украину. Только там он рассчитывал восполнить понесенные потери: изменник Мазепа сулил ему подкрепление в живой силе, а также многочисленную артиллерию и запасы продовольствия, впрок заготовленные в своей резиденции Батурина.

27 октября 1708 г., когда Петр получил первую весть об измене Мазепы, шведы находились на правом, а русские — на левом берегу реки Десны. На военном совете было решено отправить Меншикова добывать Батури́н, а полевую армию использовать для удержания шведов на правом берегу Десны. С последней задачей русские войска не справились. Как писал Петр, благодаря «нерадению генерал-майора Гордона» шведы без особых помех преодолели Десну. Тем не менее к Батури́ну они все же опоздали. У стен гетманской резиденции первым оказался Меншиков. На предложение князя открыть ворота сторонники Мазепы, укрывавшиеся в крепости, давали уклончивые ответы, заявляя, что им ничего не известно об измене гетмана. Светлейшему стало ясно, что комендант Батури́на Чечел тянет время в надежде на подход Мазепы и главных сил шведов. Отряд Меншикова предпринял ожесточенный штурм и в ночь на 2 ноября овладел Батури́ном.

Армия Карла XII нуждалась в отдыхе и продовольствии. Ни того ни другого шведы на Украине не обрели. Они оказались в кольце русской армии и вместо покоя подвергались постоянным нападениям русской конницы и украинских партизан. В обстановке необычно суровой для этих мест зимы вместо теплых квартир им пришлось довольствоваться открытым небом. На Украине велась так называемая малая война. Крупных сражений царь избегал, оберегая главные силы от возможных неудач. В «деле» находились небольшие «партии», охотившиеся за языками и нападавшие на обозы и фуражиров. Во время одного из таких нападений шведский король едва не

оказался в плену. Не заметив отступления своих рейтар, он с несколькими солдатами вынужден был искать спасения в мельнице. Этот эпизод описан в «Журнале, или Поденной записке» Петра: мельница «нашими людьми была окружена и ежели б не застигла ночная темнота, то б он, конечно, тут взят был»¹⁵.

Жестокие морозы сменились внезапной оттепелью. 12 февраля 1709 г. разразилась гроза с сильным ливнем. Реки и речушки выступили из берегов, так что русской и шведской пехоте пришлось передвигаться в ледяной воде. Отсутствие запасов продовольствия вынуждало шведов постоянно менять свою дислокацию. Вокруг мест своего сосредоточения они намеренно создавали пустыню, превращая населенные пункты в пепел и развалины. Тем самым, рассуждали в ставке шведского короля, русские войска, испытывая лишения, оставят их в покое.

Между тем Петр не намеревался создавать захватчикам спокойную жизнь. Было решено сформировать достаточно сильный и мобильный отряд для нанесения молниеносных и дерзких ударов по неприятелю. Командование этим отрядом было поручено Меншикову, но светлейшего царь вызвал в Воронеж, и руководство операцией перешло к Шереметеву. Фельдмаршал с заданием не справился. Он был хорош и даже незаменим в операциях, где требовались осторожность, расчетливость, выдержка. Он умел педантично и с большим успехом «томить» неприятеля и изнувать его силы. Здесь же надлежало проявить качества, органически чуждые Шереметеву: азарт, дерзость, внезапность, риск.

Поначалу Борису Петровичу сопутствовал успех: он разгромил небольшой отряд шведов (около 450 человек) и захватил в плен полковника. Царь из Воронежа поздравил фельдмаршала, но предупредил, что с нетерпением ждет известий о победах над более значительными силами неприятеля¹⁶.

Ожидания оказались тщетными. Шереметеву предстояло уничтожить крупный отряд шведского генерала Крейца, но фельдмаршал проявил столько нерешительности и осторожности, что шведы благополучно оторвались от русских войск и ушли невредимыми. Царь был крайне недоволен действиями Бориса Петровича и свой гнев выразил тем, что отобрал у него Преображенский полк, передав его под начало Меншикова.

Уязвленный Шереметев стал оправдываться «великим разлитием реки Сулы», делал вид, что никак не может понять, в чем его вина, и спрашивал у Петра: «...за какое мое преступление перед вашим величеством» подвергнут каре? Однако фельдмаршал не добился ощутимых успехов и 22 апреля, когда предпринял атаку у местечка Решети-

ловка, где было сосредоточено семь полков шведской кавалерии. Собственно, атака не состоялась, ибо Шереметеву не удалось скрытно подойти к местечку. Шведы, своевременно обнаружив приближение главных сил русских, благополучно отошли, так что фельдмаршалу пришлось довольствоваться лишь трофеями — гуртом скота и провиантом.

С начала апреля 1709 г. внимание Карла XII было приковано к Полтаве. Он решил во что бы то ни стало овладеть этой крепостью, обнесенной всего лишь дубовыми стенами. В случае если бы королю удалось принудить гарнизон Полтавы к сдаче, облегчились бы коммуникации его армии с Крымом и особенно с Польшей, где находились значительные силы шведов под командованием генерала Крассау. Упомянувшийся выше Гилленкрок вновь передает свой разговор с Карлом XII, состоявшийся в 20-х числах апреля. Диалог выявляет столько же королевской самоуверенности, сколько полнейшего пренебрежения к русским. За это королю пришлось жестоко поплатиться, а пока он не принимал никаких доводов.

Гилленкрок. Разве ваше величество намерены осаждать Полтаву?

Король. Да, и вы должны составить диспозицию осады и сказать нам заранее, в какой день мы завладеем городом; так делает Вобан во Франции, а вы здесь маленький Вобан.

Гилленкрок. Я полагаю, что и сам Вобан, великий инженер и генерал, увидел бы себя в немалом затруднении, потому что не имел бы под рукой того, что нужно для осады.

Король. У нас довольно всего, что может быть нужно против Полтавы. Полтава — крепость ничтожная.

Гилленкрок. Крепость, конечно, не из сильных; но по многочисленному гарнизону из 4 тыс. русских, кроме казаков, Полтава не слаба.

Король. Когда русские увидят, что мы хотим атаковать, то после первого выстрела сдадутся все.

Гилленкрок долго убеждал короля, что осада Полтавы связана с огромным риском, что у стен города может полечь вся пехота, если дело дойдет до штурма. Король твердил свое: «Говорю наверное, что дело не дойдет до штурма. Они сдадутся».

Гилленкрок. Не вижу и не понимаю, как это может случиться без особенного счастья.

Король. Мы совершим необыкновенное дело и приобретем славу и честь¹⁷.

Дальнейшие события показали, что прогнозы короля были абсолютно беспочвенными. Сосредоточение шведской армии у стен Полтавы было завершено к концу апреля, а первый штурм крепости Карл XII предпринял 29 апреля. Уверенность короля, что ее гарнизон капитулирует, как только обнаружит подготовку к штурму, оказалась банальным бахвальством. Шведы чередовали осадные работы со множеством штурмов, но гарнизон устоял.

Шереметев, получив известие об осаде Полтавы шведами, в письме царю от 6 мая 1709 г. рассуждал так: «И еще

по се число ничего неприятель над Полтавой учинить не мог, и в войске их во взятии надежда слабая, понеже великой артиллерии и довольной амуниции неприятель у себя не имеет». Фельдмаршал решил беспокоить осаждавших Полтаву шведов нападениями мелких отрядов. Царь оказался более проницательным и рассудил иначе. Он велел Шереметеву двигаться к Полтаве на соединение с находившимися там войсками Меншикова. Необходимость соединения Петр мотивировал возможностью для неприятеля разбить русские армии порознь.

Ознакомившись на месте с организацией обороны Полтавы, Шереметев пришел к выводу, что осадные работы шведов в конечном счете принесут им успех и они овладеют крепостью. Чтобы облегчить ее оборону, фельдмаршал испрашивал у царя разрешения переправить часть пехоты и кавалерии через реку Ворсклу, организовать там укрепленный район и из него непрерывно беспокоить шведов, осаждавших Полтаву.

4 июня 1709 г. в русский лагерь под Полтавой прибыл царь. С этого дня он взял в свои руки непосредственное руководство армией. Петр не спешил воспользоваться советом Шереметева о переправе войск через Ворсклу. Решение на этот счет состоялось лишь 16 июня. В дневнике военных действий под Полтавой читаем запись: «Царское величество изволил иметь военный совет, на котором предложено перейти реку Ворсклу со всею армиею и иметь генеральную баталию»¹⁸.

Главными руководителями состоявшейся 27 июня Полтавской баталии были Петр, Меншиков и Брюс. Роль Шереметева была менее заметной. Объясняется это тем, что в битве участвовала не вся русская армия, а примерно ее третья часть. Фельдмаршалу царь велел наблюдать за маневрами неприятеля и «о вступлении в баталию ожидать указа». В чем выразилось участие Бориса Петровича в сражении, источники не сообщают. В реляции о Полтавской баталии сказано весьма глухо: сражением руководил «сам его царское величество высокою особою своею и при том господин генерал-фельдмаршал Шереметев, также господа генералы от инфантерии».

Участники Полтавской битвы получили щедрые награды: одним был вручен орден Андрея Первозванного, других царь повысил чином, усердие третьих он отметил пожалованием деревень. Штаб-офицерам было выдано полугодовое, а обер-офицерам — трехмесячное жалованье. Первым в наградном списке высших офицеров значился Борис Петрович, пожалованный деревней Черная Грязь. Это дает основание считать, что Петр был доволен действиями фельдмаршала.

После двухдневного отдыха, предоставленного вой-

скам, разбившим шведов, Петр велел Шереметеву во главе пехоты и небольшого отряда конницы двинуться на север добывать Прибалтику. Ближайшая задача — овладение Ригой. Туда Борис Петрович прибыл с войсками в начале октября 1709 г. На пути в Ригу ему пришлось испытать гнев царя.

Петру стало известно, что брат фельдмаршала — Василий Петрович Шереметев, вместо того чтобы отправить своего сына учиться за границу, намеревался женить его на дочери князя-кесаря Ромодановского. Торжество было устроено вопреки воле царя, поручившего Борису Петровичу предупредить брата, «чтоб того не чинить». Фельдмаршал не рискнул взять вину на себя и покрыть вину брата. Он мог, скажем, сообщить царю, что запамывал отправить письмо брату с царским повелением, но лукавить не стал и выдал с головой Василия Петровича, видимо не предполагая, сколь суровая кара его ждала. Борис Петрович оправдывался перед царем: «А когда ваш указ словесный через Тургенева под Полтавой получил, чтоб ему без указа вашего не женитца, того же дня писал; а для чего то не учинено, я не известен»¹⁹.

Крутой на расправу царь велел молодому супругу через неделю после получения им указа отправиться за границу для обучения, а его родителей наказать так: отца отправить бить свай, предварительно лишив его чина, а мать — на прядильный двор. Справедливости ради отметим, что Борис Петрович не оставил в беде своего брата и начал энергичные хлопоты в его защиту. Он обратился к Меншикову с просьбой «предстательство учинить» перед царем, а затем и сам ходатайствовал о его помиловании. Настойчивые заботы о ближнем в конечном счете принесли плоды: брат с супругой, вкусив пользу физического труда, были освобождены от дальнейшего наказания.

В июле 1709 г. в Потсдаме три короля: польский, датский и прусский — заключили антишведский союз, к которому в октябре присоединился и Петр. Царь поручил Шереметеву овладеть Ригой не штурмом, а осадой, полагая, что результаты будут достигнуты при минимальных потерях. Получилось, однако, наоборот: затяжная осада города и крепости стоила 9800 жизней русских солдат и офицеров, унесенных моровым поветрием.

Осаду Риги Шереметев начал в конце октября 1709 г. 9 ноября по пути из-за границы в Россию осаждавших навесил Петр. Он произвел первые три выстрела по городу и отбыл на родину. Для блокады Риги фельдмаршал оставил корпус Репнина, а остальные войска отвел на зимние квартиры. Последующий обстрел города наносил осажденным существенный урон. По свидетельству современника, он наводил «великий ужас». В декабре был

взорван пороховой погреб, в результате погибло множество людей.

В конце декабря, когда активных боевых действий не предвиделось, Шереметев, поручив командование войсками князю Репнину, с разрешения царя отправился в Москву. Прибыв в столицу, он заверил Петра, что войска обеспечены провиантом до июня. Каково же было удивление царя, когда Шереметев после двухмесячной побывки в своих вотчинах на обратном пути в Ригу уведомил его, что «не точию до июня, но и ныне провианту нет и обыватели не точию мертвечину едят, но и детей своих». Царь посылает в Ригу сына фельдмаршала Михаила Борисовича с поручением затребовать от отца письменное объяснение: когда он сообщал истину — по приезде в Москву или в ведомости, отправленной с пути. Над головой Бориса Петровича вновь сгустились тучи. Об этом свидетельствуют и организационные меры. В дни, когда страсти бушевали с особенной силой, царь отправил под Ригу Меншикова, а Шереметеву приказал во всем повиноваться светлейшему.

В середине апреля 1710 г. Меншиков прибыл под Ригу и принял дополнительные меры к более тесной блокаде: реку Двину пересекли бревнами, скрепленными цепями, так что возможность подхода кораблей со стороны моря была совершенно исключена, а кроме того, установили новые батареи.

Грозы, однако, не последовало. Мы не знаем причин смены царского гнева на милость, ибо ответ фельдмаршала на запрос царя не сохранился, но письмо Петра Шереметеву от 4 апреля 1710 г. содержало милостивую фразу: «Много толковать о прошедшем не надлежит»²⁰.

Меншиков оставил лагерь осаждавших 17 мая, спустя несколько дней после того, как были получены первые известия о начавшейся эпидемии чумы. В те времена самым радикальным средством против распространения заразы был строжайший карантин — устройство застав, следивших за тем, чтобы в расположение войск не допускались люди «из моровых мест». Курьеров, прибывавших в армию в случае крайней нужды, надлежало подлежать дымом можжевельника. Такому же окуриванию подлежали и письма. Шереметев распорядился изолировать больных, а также удалить из войска гражданских лиц. Повсюду в лагере дымились костры можжевельника²¹.

Эффективность принятых мер была, однако, ничтожной. Чума буквально косила как осаждавших, так и осажденных. Современник, находившийся в те скорбные месяцы в Риге, записал: «...кажется, не хватит живых, чтобы погребать умерших». В наглухо блокированном

городе стал ощущаться недостаток продовольствия. Шереметев еще 11 июня отправил к осажденным барабанщика с требованием сдать город. Любопытен ответ коменданта крепости. Он запросил на размышление четыре недели и потребовал, чтобы ему было разрешено отправить курьера в Динаминд для выяснения вопроса, может ли он надеяться на помощь²². Шереметев, разумеется, отказал коменданту и в том, и в другом.

Капитуляция гарнизона Риги была подписана 4 июля 1710 г. Важнейшими среди ее 65 пунктов следует считать предоставление генерал-губернатору, чиновникам и служащим права при выходе из города вывезти принадлежавшее им имущество, а также библиотеку и архив.

Царь получил известие о капитуляции Риги 8 июля и тут же отправил фельдмаршалу поздравительное письмо. Он был скуп на похвалы, когда дело касалось Шереметева, но в данном случае не мог скрыть своей радости. Победа предала забвению все инциденты, вызывавшие недовольство царя: «Письмо ваше о здаче Риги я с великою радостью получил (и завтра будем публично отдавать благодарение богу и триумфовать). А за труды ваши и всех, при вас будущих, зело благодарствую и взаимно поздравляю. И прошу огласить сие мое поздравление всем». От избытка радости царь даже шутил: «Что же пишете, ваша милость, о Риге, что она малым лутче Полтавы, правда, вам веселее на нее глядеть, как нам было за 13 лет, ибо ныне они у вас, а тогда мы у них были за караулом». Это был намек на посещение «Великим посольством» Риги в 1697 г., когда рижские власти не разрешили Петру осмотреть крепость и караульный даже грозил применить оружие, если он близко подойдет к крепостной стене.

Через 10 дней после капитуляции состоялся торжественный въезд Шереметева в Ригу. Триумфальное шествие открывали два офицера, за ними следовали верхом 38 пар гренадер с обнаженными шпагами, 36 лошадей, покрытых богато расшитыми чепраками, четыре коляски, запряженные цугом. В церемонии участвовали и рижане, ехавшие верхом с обнаженными шпагами. Процессию замыкала расписанная золотом карета, сопровождаемая гвардейцами. В карете восседал Борис Петрович.

Вслед за Ригой войска Шереметева овладели Динаминдом. 7 августа 1710 г. фельдмаршал утвердил условия капитуляции динаминдского гарнизона.

Жизнь, наполненная триумфальными победами и торжествами в Прибалтике, длилась для Бориса Петровича недолго. 23 июля царь отправляет ему указ с новым назначением: в сопровождении небольшого конвоя ехать в Польшу и принять командование над находившимися там

войсками. Отправляя Бориса Петровича в столь рискованное путешествие, Петр испытывал некоторую неловкость и излагал поручение как бы извиняющимся тоном: «Хотя б я не хотел к вам писать сего труда, однакож крайняя нужда тому быть повелевает, чтоб вы, по получении сего указа ехали своею особою в Польшу»²³. Какая же это была «крайняя нужда»?

В Москве было получено известие, что 40-тысячная осmano-крымская армия готовилась к вторжению в Польшу с целью восстановления на королевском престоле шведского ставленника Станислава Лещинского. Как и всегда, Петр торопил Шереметева: «Паки подтверждаю, чтоб не мешкая выехали в путь свой».

Отправляясь в Польшу, Шереметев подвергал себя смертельной опасности, ибо ему предстояло ехать по территории, на которой еще продолжала свирепствовать чума. «Николи такого страху и нужды не подносил и николи так беспокоен не был, как сего времени», — делился он своими переживаниями с Брюсом. Лично для Шереметева путешествие окончилось благополучно. Потерял он в пути несколько «людей дому своего» и лучших лошадей. Это по поводу утраты последних он обратился к Брюсу с полными драматизма словами: «Где мои цуги, где мои лучшие лошади...»

Шереметев выехал из Риги в Польшу 13 августа 1710 г., а неделю спустя Петр отправил вдогонку за ним курьера с предписанием возвратиться в Прибалтику. Прибыл он в Ригу 23 октября, по его словам, «к пущей печали». Выяснилось, что войска, находившиеся в Прибалтике, были обеспечены продовольствием всего на месяц и добыть его было негде, ибо «езде места опустелые и мертвые». Безутешные свои рассуждения о затруднительном положении Борис Петрович поведал близкому ему человеку, адмиралу Апраксину, и завершил письмо полубившимся ему сравнением себя с ангелом: «Повелено то делать, разве б ангелу то чинить, а не мне, человеку»²⁴.

От решения сложной задачи обеспечения армии провиантом Шереметева освободила резко изменившаяся обстановка на южных рубежах: в ноябре 1710 г. Османская империя объявила России войну. 23 декабря Петр велел расположенные в Прибалтике войска двинуть на юг, а Шереметеву указал: «...самому тебе остатца в Риге на время и трудитца, чтоб собрать провианту на рижской гарнизон на семь тысяч человек на год»²⁵. Следовательно, армия отправилась в путь ранее своего командующего примерно на месяц.

Сведений о том, как и с какой скоростью русская армия совершила грандиозный переход на юг, документы

не сохранили, зато имеется такой бесценный источник, как «Военно-походный журнал» Шереметева, в который изо дня в день заносились все перемещения фельдмаршала.

Поскольку армия вышла из Риги в январе 1711 г., можно предположить, что обозы и артиллерия на начальном этапе воспользовались санным путем. Что касается самого Шереметева, покинувшего Ригу 11 февраля 1711 г., то в пути ему пришлось пересаживаться из кареты в лодку и с лодки вновь в карету. Причина тому — необычайно рано наступившая весна и половодье. Дороги пришли в совершенную негодность: приходилось ехать либо по целине, либо ночью, когда морозец на время ослаблял таяние снега. В конце февраля «Военно-походный журнал» пестрит такими записями: «Великая теплота и снег и дождь». Наконец снегопады и дожди прекратились, но началось такое бурное половодье, что во многих местах единственным средством передвижения были лодки. Все это задержало фельдмаршала в Минске на 16 дней.

Между тем Петр торопил Шереметева. Начал он его понукать еще в январе, когда Борис Петрович находился в Риге, причем необходимость «поспешать» вначале была вызвана стремлением держать пехоту в постоянной близости от кавалерии. «А маршировать весьма нужно, — пояснял царь, — понеже, ежели пехота не поспекает, а неприятель на одну конницу нападет, то не без великова страху».

Отправляя армию к южным границам, Петр не имел детального плана кампании. Составление его стало предметом забот конзилии, состоявшейся в Слуцке 12—13 апреля 1711 г. На военном совете присутствовали кроме Петра два военных (Шереметев и генерал Алларт) и два гражданских лица (канцлер Головкин и посол в Польше князь Григорий Долгоруков). В соответствии с выработанным планом Петр велел Шереметеву не позже 20 мая достичь Днестра, имея трехмесячный запас продовольствия. Указ Петра заканчивался словами: «Сие все исполнить, не отпуская времени, ибо ежели умедлим, то все потеряем»²⁶.

План кампании был одобрен всеми, кроме фельдмаршала. В особом мнении, поданном царю, он убеждал его: «...к указным местам мая к 20 числу, конечно, прибыть я не надеюсь, понеже переправы задерживают, а артиллерия и рекруты еще к Припяти не прибыли, и обозы полковые многие назади идут». Фельдмаршал обращал внимание царя на то, что армия после Полтавской виктории, осады Риги и продолжительного марша изнурена и испытывает острую нужду в вооружении, обмундиро-

вании, лошадях, телегах и особенно в провианте. В связи с этим Шереметеву пришлось ломать голову, где заготовить трехмесячный запас провианта на 40-тысячную армию. По обыкновению продовольствие добывали в районах, где дислоцировалась армия, либо в местах, по которым она маршировала. В данном случае источником снабжения провиантом и фуражом должна была стать Украина, но ее ресурсы были ограниченными: недород предшествовавшего года и массовый падеж скота привели к тому, что «у многих крестьян,—как доносил киевский губернатор князь Дмитрий Михайлович Голицын,—ни хлеба, ни соли не обретаются»²⁷.

Петр настоял на своем. Его резолюция на докладные пункты Шереметева гласила: «Поспеть к сроку, а лошадей, а лутче волов купить или взять у обывателей». Как «поспеть к сроку»? У царя был ответ и на этот вопрос: «А стоять долго нигде не надобно ни недели».

Фельдмаршал хотя и не был согласен с планом, разработанным военным советом и утвержденным Петром, но, как умел, стал его выполнять. От него царь требовал «поспешать». В свою очередь Шереметев требовал того же от подчиненных генералов. «Поспешать» стало едва ли не главным словом, употреблявшимся Петром в указах Шереметеву. Царь не уставал твердить: «...как наискорые поспешать в указное место», «для бога не медлите в назначенное место».

Но Шереметев оставался самим собой—столь же медлительным, как и основательным. Продвижение на юг шло со скоростью, явно срывававшей намеченные сроки прибытия «в указное место». И тогда царь решил прибегнуть к мере, которой он уже однажды пользовался. Правда, в 1706 г. Петр приставил к Шереметеву сержанта Щепотьева, поручив ему стимулировать расторопность фельдмаршала в его движении к мятежной Астрахани. Теперь царь приставил к Шереметеву гвардии подполковника Василия Владимировича Долгорукова. Главная задача Долгорукова, как сказано в данной ему инструкции,—заставлять фельдмаршала двигаться вперед: «...понуждать, чтоб пойтить по приезде ево в три или четыре дни». Вместе с Долгоруковым к Шереметеву прибыл и Савва Лукич Рагузинский в качестве дипломатического советника.

Долгоруков прибыл в ставку Шереметева в местечке Немирово 12 мая и, как доложил царю, потребовал от фельдмаршала, «чтоб немедленно марш восприял в назначенный наш путь и ничем не отговаривался». Но присутствие Долгорукова мало что изменило. Шереметев все равно запаздывал. Срок прибытия его войск к Днестру (20 мая) не был выдержан, и армия переправилась через

Днестр только 30 мая. В итогестряслось то, чего так опасался Петр: османы успели перейти Дунай и теперь двигались навстречу русским войскам. «И ежели б по приказу учинили,—попрекал царь Шереметева,—то б, конечно, прежде туркоф к Дунаю были, ибо от Днестра только до Дуная 10 или по нужде 13 дней ходу. А ныне старые ваши песни в одговорках»²⁸.

Досталось и Долгорукову, не выполнившему возложенного на него поручения. «Зело удивляюсь,—укорял его Петр,—что вы так оплошно делаете, для чего посланы. Ежели б так зделали, как приказано, давно б были у Дуная». И далее упрек: «Я зело на вас надеелся, а ныне вижу, что и к тебе то ж пристала», т. е. нерасторопность Шереметева.

В настоящее время трудно судить, требовал ли Петр от Шереметева невозможного, или все-таки вся вина за несвоевременное прибытие русской армии к Дунаю лежала на старом и медлительном фельдмаршале. Столь же трудно ответить и на второй вопрос, вытекающий из первого: не могла ли русская армия, достигнув Дуная, оказаться в более тяжелом положении, чем у берегов Прута?

Достоверно можно утверждать одно: путь следования русской армии с самого начала ее движения на юг был крайне тяжелым. О трудностях, которые довелось испытать Шереметеву, проезжавшему по территории Белоруссии и Украины, речь уже шла. Само собой разумеется, что эти трудности умножились, когда двинулись не карета и сопровождавший фельдмаршала отряд драгун, а армия и громоздкий обоз.

Немало невзгод на пути из Москвы в действующую армию выпало и на долю царя, а также его спутников в апреле—мае 1711 г. Екатерина в письме Меншикову из Слуцка объясняла задержку ответа «злым путем, которой... до здешнего места имели, так и за болезнию господина контра-адмирала». Кстати, болезнь «контра-адмирала», т. е. Петра, по заключению медиков, «случилась от студеного воздуха и от трудного пути»²⁹.

То же самое сообщал и Макаров Ф. М. Апраксину, но уже о следующем отрезке пути. Кабинет-секретарь, как и Екатерина, оказался неисправным корреспондентом «ради двух причин: первое, что от злого пути нимало себе не имели времени, ибо от Слуцка до Луцка с 60 миль ехал, и не было такова дни, в которой бы по горло в воде на переправах не были»; вторая причина—болезнь царя³⁰.

В весенних документах самым употребительным словом было «поспешать». В июне спешить было уже некуда—все равно опоздали. И со страниц писем царя Шереметеву и переписки генералов между собой не

сходили слова «провиант», «хлеб», «мясо». 12 июня Петр полушутя, полусерьезно писал Шереметеву: «О провианте, отколь и каким образом возможно, делайте, ибо когда салдат приведем, а у вас не будет, что им есть, то вам оных в снедь дадим». Но фельдмаршалу было не до шуток. 16 июня он отвечал царю: «Я в провианте с сокрушением своего сердца имел и имею труд, ибо сие есть дело главное»³¹.

Однако между сознанием того, что обеспечение армии провиантом «есть дело главное», и возможностью раздобыть этот провиант — дистанция, как говорится, огромного размера.

Армия Шереметева испытывала недостаток в продовольствии уже в начале июня. «Оскудения ради хлеба начали есть мясо... Також zelo имею великую печаль, что хлеба взять весьма невозможно, ибо здешний край конечно разорен», — писал фельдмаршал царю. Еще хуже обстояло дело у генерала Алларта. Петр сообщал Шереметеву: «...уже пять дней как ни хлеба, ни мяса... Извольте нам дать знать подлинно: когда до вас дойдем, будет ли что солдатам есть?» Вся надежда была на молдавского господаря Кантемира, перешедшего на сторону России, но хлеба не было и у него. Кантемир снабдил войска только мясом, предоставив 15 тыс. баранов и 4 тыс. волов.

Недостаток продовольствия не единственное испытание, выпавшее на долю армии Шереметева. Его «Военно-походный журнал» за май — июнь изобилует записями типа «зело жаркий день». Жара выжгла траву, лишив лошадей подножного корма. То, что не успевали сделать палящие лучи солнца, довершала саранча. В итоге — гибель лошадей, усложнившая продвижение вперед. Войска, кроме того, страдали от недостатка воды. Вода была, «однакож, самая худая: не толико что людям пить, но и лошадям не мочно, ибо многий скот и собаки, пив, померли тут»³².

Запоминающуюся картину нарисовал датский посол Юст Юль со слов Петра: «Царь передавал мне, что сам видел, как у солдат от действия жажды из носу, из глаз и ушей шла кровь, как многие, добравшись до воды, опивались ею и умирали, как иные, томясь жаждою и голодом, лишали себя жизни»³³.

5 июня 1711 г. армия Шереметева подошла к Пруту. На военном совете было решено медленно идти вниз по течению реки и «вдаль не отдаляться». Это решение было принято в связи с сообщением Кантемира о том, что османы уже переправились через Дунай. Шереметев правильно счел, что двигаться им навстречу, не имея пехоты, было крайне рискованно. Вокруг маршировавшей армии маячила крымская конница, постоянно тревожившая обозы и препятствовавшая работе фуражиров.

Какова была численность неприятеля, сколь высоким был его боевой дух, какие планы он вынашивал? На этот счет русское командование на первых порах не располагало мало-мальски точными данными. Согласно сведениям Кантемира, переданным Шереметеву, на Дунае находилось около 40 тыс. османов и какое-то количество крымских татар. Кантемир полагал, что дней через десять количество османов достигнет 50 тыс. Эту цифру называли в письмах адмиралу Апраксину от 30 июня сразу два корреспондента: Головкин и Шафиров.

Шереметев располагал и другими сведениями. Два «шпига», направленные в Бендеры «для провеживания тамошнего состояния и взятая подлинной ведомости о турках и татарах», в расспросных речах 28 июня показали, что в распоряжении везира находилось «тысяч с двести» турок и татар. Правда, оба лазутчика тут же добавили, что «подлинно про то они не знают для того, что сами там не были». Они поручились за точность сведений о событиях в Бендерах, которые они сами наблюдали. Видимо, поэтому сообщениям «шпигов» не придали должного значения.

Итак, ни царь, ни фельдмаршал не располагали точными сведениями о численности неприятеля. Относительно планов османского везира и боевого духа его армии у русского командования тоже были смутные представления. Вице-канцлер Петр Павлович Шафиров, сопровождавший царя постоянно, был человеком в высшей степени осведомленным. Он писал адмиралу Апраксину: «О неприятеле имеем ведомость, что хотя великий везир с несколькими войсками к Дунаю пришел и по сю сторону Дуная транжамент сделал и некоторую инфантерию осадил, но перейдет ли сюда со всею своею армиею и будет ли при сближении войск его царского величества стоять (хотя многие в том зело сомневаются), о том время явит». Этими сведениями Шафиров располагал на 18 июня.

В уши царя и его главнокомандующего со всех сторон жужжали о страхе османов перед русскими войсками. Долгоруков в донесении царю от 30 мая 1711 г. писал, что взятые в плен османские шпионы сказывали, что «турки не имеют куражу и сами себе пророчествуют гибель». Двенадцать дней спустя Долгоруков, ссылаясь на Кантемира, подтвердил свое прежнее донесение царю: «...сказывал государь, что турки и татары в великом страхе»³⁴.

В конце июня русские «шпиги» в Бендерах засвидетельствовали: «...сами-де турки от войска царского величества в великом страхе».

Веру царя в победоносный исход кампании укрепляли также сведения, поступавшие от православных и христианских народов, томившихся под османским игом. 23 апре-

ля 1711 г. царь писал Шереметеву: «Для бога не медлите в назначенные места, ибо ныне от всех христиан паки письма получили, которые самим богом просят, дабы поспешать прежде турок, в чем превеликую пользу являют». Петр предупреждал фельдмаршала, что опоздание чревато тяжелыми последствиями: «...а ежели умешкаем, то вдесятеро тяжелее или едва возможно будет свой интерес исполнить, итакo все потеряем умедлением»³⁵.

В итоге в голове Петра сложился оптимистический план кампании. При подходе русских войск христианские народы восстанут и перейдут под покровительство России. В таких условиях везир не рискнет форсировать Дунай. Среди османских войск, пребывавших в страхе перед русскими, мог начаться бунт, или на худой конец, завидя русских солдат, янычары разбегутся.

Войска Шереметева, подошедшие к Пруту 5 июня, представляли примерно треть армии, находившейся в походе. Дивизии Вейде, Репнина, а также два гвардейских полка, сопровождавшие царя, вследствие затруднений с продовольствием и фуражом находились в разных местах. Собраться в кулак армию заставили полученные 7 июля сведения о том, что войска везира находятся в шести милях от лагеря Шереметева и что конница крымских татар во главе с ханом уже соединилась с османами. Тогда последовала команда всем дивизиям подойти к Шереметеву. 8 июля пленный татарин сообщил, что везир наметил сражение на 10 июля. В тот же день стала известна численность неприятельских войск — 140 тыс. человек.

Сражение, однако, началось 8 июля. С высот, окружавших русский лагерь, казалось, что достаточно небольших усилий — и он станет добычей янычар и крымцев. Действительно, русская армия занимала крайне неудобные позиции, и она под покровом ночи «ради тесного места отступила». Османы и крымцы сочли отступление бегством и предприняли «многие набег», от которых русские отбивались оружием и артиллерийской стрельбой. Пройдя милью, армия остановилась в долине реки Прут, «где место пространнее».

Здесь было дано сражение османо-крымским войскам. Оно продолжалось весь день и возобновилось вечером после двухчасового перерыва. Всю ночь продолжалась артиллерийская пальба. Бывали моменты, когда османы вплотную подступали к рогаткам и, казалось, были близки к тому, чтобы смять русский лагерь, благо их было вчетверо больше, чем русских. Однако губительный огонь артиллерии охлаждал пыл янычар и крымцев. Сражение продолжалось в общей сложности 36 часов.

Утром 10 июня по повелению Петра из Посольской канцелярии в османский лагерь был отправлен парламен-

тер, но ответа не последовало. Затем в распоряжение неприятеля отбыл П. П. Шафиров. Одновременно в русском лагере на тот случай, если везир откажется от переговоров, шла лихорадочная подготовка к генеральному сражению. Шафиров поначалу донес, что османы не склонны к перемирию, но затем сообщил о начале переговоров. Вследствие этого пальба к вечеру утихла, но османы всю ночь возводили укрепления, в то время как «от наших же ничего не сделано, но токмо наши стояли во фрунте со великою готовностью».

11 июля едва ли не кульминационный день Прутской эпопеи. В обоих лагерях не раздалось ни единого выстрела. Но эта тишина была обманчивой. За ней скрывались напряженное ожидание результатов переговоров и столь же напряженная подготовка к выходу из мышеловки, в которой оказались русские войска.

Сколь беспокойной и нервной была обстановка в русском лагере, свидетельствует то обстоятельство, что 11 июля состоялось два военных совета. На первом из них было решено: если неприятель потребует сдачи в плен, то это требование отклонить и двинуться на прорыв кольца блокады. Подпись Шереметева под этим постановлением, как старшего по чину, стояла последней. Второе заседание совета наметило конкретный план выхода из окружения: было решено освободиться от всего лишнего имущества, стеснявшего мобильность армии и ее боевые порядки, «за скудость дублек сечь железо на дробь», «лошадей артиллерийских добрых взять с собою, а худых — не токмо артиллерийских, но и всех — побить и мяса наварить или напечь», наличный провиант поделить поровну.

К счастью, этот план не пришлось проводить в жизнь. После окончания второго военного совета к царю прибыл Шафиров с известием, вызвавшим вздох облегчения: ему удалось заключить мир.

Если сопоставить катастрофичность положения русской армии на Пруте с условиями мирного договора, то следует признать, что везир во время переговоров мог выторговать значительно больше. В этой связи приведем содержание записки, отправленной Петром Шафирову, когда тот еще находился в османском стане: «Ежели подлинно будут говорить о миру, то стафь с ними на все, чево похотят, кроме шклафства», т. е. рабства. Царь считал, что османы будут представлять не только свои, но и интересы шведского короля, и поэтому он соглашался вернуть все отвоеванное у османов (Азов и Таганрог) и все приобретенное у шведов, за исключением выхода к Балтийскому морю и полюбившегося ему Парадиза, т. е. Петербурга.

Мир, подписанный Шафировым и везиром, подобных

жертв от России не потребовал: пришлось вернуть османам всего лишь Азов, срыть Таганрог и Каменный Затон. Россия обязалась не вмешиваться в польские дела. Русские, кроме того, должны были обеспечить безопасный проезд Карла XII в Швецию.

Условия договора привели шведского короля в бешенство. Как только ему стало известно о подписании договора, он прискакал в ставку везира и, распалившись, потребовал от него 20—30 тыс. отборных янычар, чтобы привести в османский лагерь пленного русского царя. Упрек шведского короля: «Для чего он без него с его царским величеством мир учинил?» — не вывел везира из равновесия. Он резонно намекнул королю на поражение, нанесенное шведам русскими войсками под Полтавой: «Ты-де их уже отведал, а и мы их видели; и буде хочешь, то атакуй их своими людьми, а он миру, с ними поставленного, не нарушит»³⁶.

Прутский договор больно отразился на личных интересах фельдмаршала. Дело в том, что везир затребовал в качестве «аманатов», т. е. заложников выполнения условий мирного договора, вице-канцлера Шафирова и сына Бориса Петровича — Михаила Борисовича. Почему выбор пал на Шафирова, понятно: он вел переговоры и скрепил договор своей подписью. Не вызывает удивления и то, что везир назвал вторым заложником Михаила Борисовича: все переговоры с османами — от послышки первого трубача до прибытия Шафирова с радостной вестью — велись не от имени царя, фактического командующего армией, а от имени ее номинального главнокомандующего — Б. П. Шереметева. Везир и рассудил, что именно он должен был поручиться судьбой единственного сына за соблюдение условий мира.

Чтобы утешить старого фельдмаршала, имевшего опыт общения с османами и знавшего, что значит находиться у них «аманатом», царь не поскупился на щедрые награды Михаилу Борисовичу: из полковников он был произведен в генерал-майоры, получил на год вперед жалованье, а также осыпанный бриллиантами царский портрет стоимостью 1 тыс. руб.

В тот же день, 11 июля, заложники отправились в османский лагерь, а русская армия, переночевав, 12 июля тронулась в обратный путь, соблюдая предосторожность на случай вероломного нападения со стороны неприятеля. Двигалась она медленно — со скоростью две-три мили в сутки — отчасти вследствие крайнего истощения лошадей, едва волочивших телеги, отчасти потому, что приходилось сохранять боевую готовность: за русской армией следовала крымская конница, всегда готовая мародерствовать.

Только 10 дней спустя, 22 июля, армия переправилась

через Прут, а 1 августа форсировала Днестр. Теперь ей уже ничего не грозило, и царь, отслужив благодарственный молебен, отправился сначала в Варшаву для встречи с польским королем, а затем в Карлсбад и Торгау для лечения и на свадьбу своего сына царевича Алексея. Список награжденных ограничивался тремя лицами, среди них находился и Шереметев—ему был пожалован дом в Риге.

Что означал этот жест царя? Запоздалую ли расплату за службу в Прибалтике или признание невинности Шереметева в запоздалом прибытии к Пруту? Ответить на эти вопросы не представляется возможным. Несомненно одно: царь и после Прутского похода не утратил доверия к фельдмаршалу. Если бы было наоборот, то Петр, отправляясь в чужие края, не оставил бы Бориса Петровича командующим Прутской армией. Она не отправилась на север, откуда пришла, а осталась на Украине, где Шереметев должен был бдительно наблюдать за ожидавшимся переездом Карла XII из Бендер в Швецию. Один из возможных маршрутов переезда короля проходил через Польшу, и русское правительство, естественно, опасалось, что пребывание Карла XII на территории этой страны чревато угрозой восстановления на польском престоле Станислава Лещинского.

Чтобы справиться с порученным делом, Шереметев должен был располагать исчерпывающей информацией о намерениях как османского султана, так и шведского короля. Сведения о том, что творилось в Стамбуле и в стане шведского короля в Бендерах, Шереметев черпал по крайней мере из трех источников: из донесений заложников при султанском дворе Шафирова и собственного сына; расспросных речей лазутчиков, засылаемых русским командованием в Бендеры, и показаний русских воинов, освободившихся из османского плена. Стекавшаяся информация носила противоречивый характер, нередко была фантастической и в целом создавала путаную картину происходившего в Бендерах, способную поставить в затруднительное положение даже многоопытного дипломата и человека с незаурядными аналитическими способностями.

Так, по одним данным, в Бендерах находилось 20 тыс. османов, присланных султаном для сопровождения Карла XII; по другим сведениям, их там насчитывалось около 60 тыс., по третьим—36 тыс., по четвертым—18 тыс. османов и 3 тыс. крымцев. По одним сведениям, король намеревался жить в османских владениях семь лет и дал согласие покинуть Бендеры только в том случае, если султан предоставит в его распоряжение 70 тыс. османов, 100 тыс. крымцев и 800 пушек. По другим данным, король

обуславливал свой выезд получением от султана денег на приобретение лошадей и выплату жалованья своим людям. Согласно последней версии, король будто бы заявил османам: «...разве-де его, короля, здесь умертвят и, умертвя, тело его отсюда повезут, тогда-де уж он и денег требовать не будет».

На Украине Борису Петровичу пришлось участвовать в тонкой дипломатической игре. Собственно, игру вел царь, но и роль Шереметева была немаловажной. Деликатность положения фельдмаршала определялась стремлением Петра оттяжкой в выполнении условий Прутского договора принудить султана отказать в гостеприимстве шведскому королю. Далее, по условиям договора русские войска подлежали выводу из Польши, а фактически они там все еще находились.

Канцелярист Иван Небогатов «божился с великою клятвою» султанскому представителю Гасан-паше, что никакого войска в Каменце нет «и быти не для чего», а если бы и было, то единственная цель его пребывания там состояла в предосторожности, чтобы «король, идучи через Польшу, какого коварства или факции с поляками не чинил». Но Гасан-пашу на мякине не проведешь. Небогатову он произнес тираду, свидетельствующую о хорошей осведомленности османов относительно обстановки в Каменце: «А он, Гасан-паша, мне говорил, что я конечно не божился и не клялся в неправде, понеже, кто про что подлинно ведает, а божбою клянется, что будто не ведает, грех есть, ибо они про то подлинно ведают, что, конечно, войско тамо есть».

Еще больше трений в русско-османских отношениях вызывал вопрос о передаче султану Азова и срытии Таганрога и Каменного Затона. Царь то велел передать Азов, то в отмену этого повеления требовал тянуть время. Султан болезненно реагировал на проволочку и все более склонялся к настойчиво внушаемой ему крымским ханом и шведским королем мысли, что везир, заключивший Прутский договор, был подкуплен русскими и изменил своей стране. Вскоре судьба его была решена: «Положа на шею ево чепь, пешего и босого через одного турка конного по улицам в Станбуле водили и потом удушен»³⁷.

Атмосфера накалялась, и султанский двор вновь стал помышлять о войне.

В распоряжении фельдмаршала находились войска, готовые дать османам отпор. Но вот его сын, как и Шафиров, был беззащитен. Драматизм их положения усугублялся тем, что оба они являлись заложниками соблюдения мирного договора. Султанский двор, никогда не отличавшийся деликатным обращением с русскими посольствами, всякий раз при обострении отношений

заклучал заложников в Семибашенный замок и мог в любой момент казнить их.

Можно представить чувства отца, когда он читал письма сына и Шафирова. 1 сентября 1711 г. заложники писали, что они, опираясь на заверения царя о готовности передать Азов, каждый раз при встрече с османами «крепко обнадеживали» их, что крепость уже передана или передается. «Буде можете,—обращались заложники к Шереметеву,—помогайте для бога, дабы не погибнуть нам». Об отчаянном положении заложников свидетельствуют слова письма: если договор выполнен не будет, «то, конечно, извольте ведать, что мы от них нарочно на погубление войску отданы будем»³⁸.

Более тревожные и обескураживающие известия были в другом письме, тайно доставленном Борису Петровичу: «Мы ежедневно ожидаем себе погибели, ежели от Азова ведомость придет, что не отдадут... Чаем, что еще с мучением будут нас принуждать писать об Азове к адмиралу... Извольте приказать быть, конечно, в осторожности от турок и от нас не извольте надеяться на весть, ибо обретаемся в тесноте и способа никакого не имеем писати... Разсудите, что мы в их руках... что можем чинити?»

Еще одно письмо, свидетельствующее о высоком патриотическом долге М. Б. Шереметева и П. П. Шафирова, готовых пожертвовать жизнью ради интересов родины, фельдмаршал получил 1 января 1712 г. Заложники советовали воздержаться от передачи османам Азова, ибо они, по их мнению, непременно начнут войну, даже если получат крепость. Заложники просили не верить их собственным письмам об отдаче Азова, ибо письма будут написаны по принуждению. В нескольких строках они поведали о своей нелегкой жизни и мрачных перспективах: «Мы чаем, что над нами, как над аманатами, поступит султан свирепо и велит нас казнить, а не в тюрьму посадить». И далее приписка Шафирова: «Мы уже весьма в отчаянии живота своего... Прошу чрез бога показать милость ко оставшимся моим, а мы с сыном твоим уже еле живы с печали».

Душевный покой Бориса Петровича тревожила не только судьба сына, но и напряженная ситуация, сложившаяся у него в ставке. За многие годы командования войсками фельдмаршал был приучен выполнять чужую волю: он постоянно получал указы царя, как ему поступать в том или ином случае, или сам испрашивал у него указаний, что и как ему делать. Но во второй половине 1711 г. фельдмаршал пребывал в растерянности: ему самому надлежало принимать решения и нести за них ответственность. Царь, уезжая в чужие края, велел

Шереметеву поступать сообразуясь с обстановкой и донесениями Шафирова. Сколь тяжелой и непривычной была для Шереметева новая роль, можно судить по его письму Апраксину от 23 октября 1711 г. Ранее, жаловался фельдмаршал, было «не так мне прискорбно и несносно, как сие мое дело за отлучением его самодержавства в такую дальность, також, что в скорости не могу получить указ, а к тому отягощен положением на мой разсудок, что трудно делать. Мню себе, что и вы в такой же тягости и печали застаешь»³⁹.

И все же Шереметеву не удалось избежать тягостной обязанности самому принимать решения. В ноябре он сообщил, что «восприял» осуществить вывод русских войск из Польши. Впрочем, эта мера не помешала султану в конце года объявить России войну. Военные действия, однако, не были открыты: конфликт удалось уладить, так как 2 января 1712 г. османы наконец получили Азов.

Показателем спада напряженности в русско-османских отношениях являлись изменения к лучшему в обращении с заложниками. В марте они доносили, что их переселили из подвала Семибашенного замка в посольское подворье и жизнь их стала вольготнее.

Шереметев расценил эту акцию как миролюбивый жест султанского двора и на этом основании 15 марта отбыл в Москву. Здесь он представил Сенату документы о состоянии украинской армии и ее нуждах, а затем отправился в Петербург, где на военных конзилиях в присутствии царя, Головкина, Меншикова, Апраксина, Д. М. Голицына участвовал в обсуждении дел на южной границе. Здесь Борис Петрович обратился к царю с необычной просьбой.

СЕМЕЙНЫЕ РАДОСТИ И ПЕЧАЛИ

Фельдмаршал счел, что напряжение походной жизни ему уже не под силу, пора на покой. Своей сокровенной мечтой он как-то поделился с адмиралом Ф. М. Апраксиным: «Боже мой и творче, избави нас от напасти и дай хотя мало покойно пожити на сем свете, хотя и немного жить»¹.

Но где обрести покой, если царь дает одно поручение за другим? Только в монастыре. И фельдмаршал решил схорониться в Киево-Печерской лавре. Именно там он рассчитывал на безмятежную жизнь, свободную от мирских треволнений и суровых выговоров.

У царя на этот счет было свое мнение. Вместо пострижения Петр велел ему жениться, причем сам подыскал 60-летнему вдовцу невесту. Ею оказалась дочь

Петра Петровича Салтыкова Анна Петровна — красавица с ласковым взглядом выразительных глаз. В 17 лет выданная замуж за Льва Кирилловича Нарышкина, она овдовела в 1705 г. Этот брак породнил Шереметева с царской фамилией, поскольку Лев Кириллович был дядя Петра.

Был ли счастлив старый фельдмаршал, обрел ли он покой у семейного очага, созданного по воле царя, мы не знаем. Доподлинно известно, что молодая супруга принесла ему много детей.

Первый сын от второго брака — Петр Борисович родился 26 февраля 1713 г. Шереметев поспешил известить о своей семейной радости царя. Как следует из царского ответа, отец новорожденного просил пожаловать младенца офицерским чином. 18 июня Петр писал: «При сем поздравляем вас с новорожденным вашим сыном, которому по прошению вашему даем чин фендрика. Пишешь, ваша милость, что оной младенец родился без вас и не ведаете где, а того не пишете, где и от кого зачался». В этих словах звучали и озорство, и грубая шутка, глубоко задевшая, надо полагать, мужское самолюбие Бориса Петровича. То был прозрачный намек на супружескую неверность Анны Петровны, которая была на 34 года моложе фельдмаршала.

Борис Петрович не оставил оскорбительного намека без ответа: он защищался от царских наветов, как мог. Поблагодарив Петра за награждение новорожденного чином, Шереметев отвечал: «И что изволите, ваше величество, мене спросить, где он родился и от ково, я доношу: родился он, сын мой, в Рословле, и я в то время был в Киеве. И по исчислению месяцев, и по образу, и по всем мерам я признаваю, что он родился от мене. А больше может ведать мать ево, кто ему отец»².

Анна Петровна помимо Петра родила Шереметеву еще четверых детей. Последний ребенок — Екатерина Борисовна родилась 2 ноября 1718 г., т. е. за три с половиной месяца до смерти фельдмаршала.

Никто из детей Шереметева не прославился ни на военном, ни на административном, ни на дипломатическом поприще. И все же двое потомков Бориса Петровича вошли в историю благодаря брачным связям. Петр Борисович, получивший, согласно закону о единонаследии, все вотчины фельдмаршала, женился на единственной дочери князя А. М. Черкасского. В результате этого брачного союза сложилось крупнейшее в России помещичье хозяйство, населенное, по данным на 1765 г., 73 500 крестьянами мужского пола. Эти богатства позволили внуку фельдмаршала, тоже Борису Петровичу, вести роскошную жизнь барина-мецената. Борис Петрович, современник Екатерины II, был основателем знаменитой подмосковной

усадыбы Кусково, с ее великолепно убранными дворцами, крепостным театром и крепостным оркестром.

К родившейся вслед за Петром дочери Наталье Борисовне судьба оказалась менее благосклонной. Ей довелось испытать до дна чашу суровых испытаний: не будучи супругой, а всего лишь нареченной невестой Ивана Долгорукова, фаворита Петра II, она согласилась отправиться вместе с ним в ссылку в Березов.

Петр II умер накануне церемонии бракосочетания с сестрой Ивана Екатериной Долгоруковой. Фаворит, ловко умевший подделывать руку умершего царя, сочинил фальшивое завещание в пользу его невесты. Подделка была тут же обнаружена.

Между тем на троне утвердилась курляндская герцогиня Анна Иоанновна, а Долгоруковы и Голицыны, пытавшиеся ограничить ее власть, поплатились ссылкой. Если бы брак между Иваном Долгоруковым и Натальей Борисовной был оформлен, то ее желание сопровождать супруга в ссылку мы бы оценили как верность супружескому долгу. Но поступок Натальи Борисовны по своему подвижничеству был выше супружеского долга.

Окружению императрицы ссылка «верховников» в Сибирь показалась недостаточным для них наказанием, и в 1739 г. Долгоруковы и Голицыны были свезены в Новгород для повторного суда. На этот раз их подвергли пыткам и предали жестокой казни. Среди четвертованных был и Иван Долгоруков. Вдова Наталья Борисовна поступила в монастырь под именем Нектарии. О своей безрадостно прожитой жизни она поведала в полных горечи и тоски «Своеручных записках». Она вспоминала: «За 26 дней благополучных (между помолвкой 24 декабря и смертью Петра II 18 января 1730 г.— *Н. П.*) или сказать радостных 40 лет по сей день стражду»³.

После свадебных торжеств Шереметев двинулся в обратный путь на Украину. Ехал он медленно, причем маршрут свой проложил так, чтобы хозяйским оком осмотреть свои вотчины. 13 июля 1712 г. он прибыл в село Мещериново и задержался там на три дня. По пути из Мещеринова в Каширу он заглянул в свою вотчину в Чернине, но ненадолго, всего лишь пообедать. 22 июля фельдмаршал навестил вотчину в деревне Алексеевской, Поречье тож, где «кушал и ночевали».

На Украине текла спокойная и однообразная жизнь. Некоторое оживление вносили сведения, получаемые из Стамбула и Бендер, где по-прежнему находился шведский король.

Султанский двор проявлял по отношению к непрощенному гостю удивительное непостоянство: месяцы почтительного обращения, снабжения короля и его свиты

роскошным рационом и выдачи немалых денежных сумм сменялись месяцами грубого отказа в самом необходимом. Шереметев получил следующее донесение из Стамбула от 8 августа 1712 г. «Король шведский еще обретается в Бендере и намерен там зимовать; шведы зело в худом состоянии пребывают, и турки им больше денег давать не хотят и отказывают и на ассигнации королевские, которая во сто ефимком, не хотят давать 20 ефимков, а простые шведы для поискания своих поживлений принуждены у турков вместо матрес употребляться»⁴.

Последующие месяцы не принесли улучшения отношений между шведским королем и султанским двором. Более того, они ухудшились настолько, что сопровождались кровопролитной схваткой между горсткой шведов, возглавляемых безрассудным королем, и многочисленным османским войском. Ей предшествовал султанский указ королю убираться восвояси на родину. На ультиматум Карл XII ответил, «что-де он над собою никакой державы, кроме одного бога, быть не признает, а естли кто будет его насиловать, то он станет себя оборонять до последней минуты своего живота». Это была не пустая похвальба. Король действительно вступил в схватку с гостеприимными хозяевами и отплатил им тем, что отправил на тот свет не менее 200 турок.

Существует немало описаний сражения, развернувшегося в окрестностях Бендер между шведами и османами. Среди них неопубликованное донесение П. П. Шафирова канцлеру Г. И. Головкину. Шафиров находился в Стамбуле и, естественно, не мог быть очевидцем событий: в его донесении есть неточности, опущены многие подробности. Тем не менее оно интересно. Его автор был человеком с ироническим складом ума и владел острым пером. Шафиров начинает свое донесение так.

Бендерский паша принуждал короля к выезду «по варварскому обычаю сурово. А он, по своей солдацкой голове удалой, стал им в том отказывать гордо, причем сказывают, что конюший ему и отсечением головы грозил и он на них шпагу вынимал и говорил, что он салтанского указу не слушает и готов с ними битца, ежели станут ему чинить насиле».

Поначалу османы решили оказать на короля давление, лишив его продовольствия и фуража. Но король нашел выход: он велел «побить излишних лошадей, между которыми и от салтана присланные были, и приказал их посолить и употреблять в пищу». Тогда султан велел доставить к себе короля живым или мертвым.

9 февраля 1713 г. «со обеих сторон у них война началась». Король, «учредя великое свое воинство, начал бить по ним из двух пушек, из мелкого ружья». Османы

тоже ответили артиллерийским огнем и выбили из окопов «сего храброго и твердого в совете солдата». Король засел в хоромах. Османы их подожгли, «что видя, сия мудрая голова восприял отходом в другие было хоромы людей своих ретираду, но в пути обойден от янычар, и один, сказывают, ему четыре пальца у руки отсек, в которой держал шпагу, а другой отстрел часть уха и конец самой нос, а третий поколол или пострелил ево в спину».

Сведения Шафирова о многочисленных ранениях короля оказались недостоверными. В действительности ему была нанесена легкая рана, «только-де он, король, пуще с печали зело занемог и в лице стал худ»³.

События февраля 1713 г. близ Бендер вызвали у Петра чувство радости — наконец, рассуждал он, будет выдворен за пределы Османской империи главный подстрекатель к обострению ее отношений с Россией. По мнению царя, опасность вооруженного конфликта с Турцией уменьшилась настолько, что можно было повелеть Шереметеву отправить с южных границ к Риге дивизию и один драгунский полк.

Фельдмаршал, однако, не спешил выполнять царский указ. Драгунский полк он откомандировал в Ригу, а дивизию оставил на месте, ибо счел, что оголенная граница облегчит нападение крымцев и будет беззащитен Киев. По сведениям Шереметева, «король швецкой у салтана и у сенаторей в респекте (почете.— *Н. П.*) обретается», а крымский хан готовит новый поход на города Слободской Украины.

События, связанные с маршем драгунского полка, оставили у Шереметева неприятные воспоминания.

Поначалу сюжет развивался столь банально, что вряд ли мог привлечь к себе внимание царя. Осенью 1712 г. драгунский полк Григория Рожнова совершал переход с Украины к Смоленску. Во время марша для нужд полка у населения изымались лишние лошади, что вызвало резкое недовольство и жалобы обывателей. Во время расследования этих жалоб было установлено, что вместо положенных по штату 200 лошадей было мобилизовано 789.

Полковник Рожнов, почувствовав угрозу быть осужденным военным судом, сначала попытался уклониться от ответственности путем оформления задним числом приказа по полку о строгом соблюдении установленных норм использования обывательских лошадей. Рожнов потребовал от всех офицеров полка подписей под этим приказом. Когда следствие изобличило полковника в фальсификации, он стал ссылаться на свою болезнь, случившуюся как раз в те дни, когда производилась мобилизация лошадей. Военный суд не счел болезнь смягчающим вину

обстоятельством, как не признал уважительным тот факт, что Рожнов во время болезни не мог ездить верхом, ибо, как сказано в приговоре, «команда в марше больше действует на бумаге, нежели на лошади»⁶.

Суд приговорил Рожнова к суровому наказанию: он был лишен полковничьего чина и должности, а также оштрафован на 500 руб. Понесли наказания и офицеры полка, обвиненные в том, что подписали «лживый» документ. Фельдмаршал согласился с мерой наказания Рожнову, а остальным офицерам значительно ее смягчил. Обозленный Рожнов решил восстановить свою репутацию подачей длиннейшего доноса на Шереметева.

Рожнов в извете обвинял в преступлениях не столько фельдмаршала, сколько его генерал-адъютанта Петра Савелова. Шереметев а уличал в том, что тот отнял у него «цук воронных немецких лошадей, одного аргамака» и приглянувшуюся ему конскую сбрую в серебряной оправе. Согласно версии Рожнова, Шереметев этим не довольствовался: гнев фельдмаршала вызвало нежелание полковника поделиться с ним немецкими кобылами.

Главным своим недоброжелателем Рожнов считал Петра Савелова. Это по его проiscaм «один полковник Рожнов сужен немилостивым судом и напатками, и штрафован, и паек отнят и в том ему, полковнику, обида пред другими». В адрес Савелова Рожнов выдвинул множество обвинений, из них два главных. Первое состояло в том, что Савелов получил от него, Рожнова, взятку в 40 червонных золотых и немецкого мерина за то, чтобы его «судили порядочно». Взятка оказалась Савелову недостаточной, и он потребовал дополнительно 200 руб., в которых ему Рожнов отказал. Неудовлетворенное мздоимство и явилось причиной бед и неправого суда. Второе и самое существенное обвинение тоже было связано с алчностью Савелова. За посулы он давал внеочередные чины и должности. Конечно, правом награждать чинами, как и назначать на должности, Савелов не располагал: он обдeldывал такого рода делишки за спиной фельдмаршала и его именем.

Донос не вызвал бы тревоги у Савелова и тем более у Шереметева, если бы им не заинтересовался царь. Он велел приговор о Рожнове в исполнение не приводить, а «того полковника и дело его прислать в С.-Петербург»⁷.

Шереметев и Савелов не на шутку забеспокоились. Их тревогу усилила угроза Рожнова обличить их во многих «язвах». Оба они обратились за заступничеством к кабинет-секретарю Алексею Васильевичу Макарову. Шереметев писал ему: «За благие поступки вас, моего государя, в моих интересах зело благодарствую и впредь прошу мене не оставить, а наипаче в деле плута Рожнова всякое

покажи вспоможение, за что я сам служить готов. И что будет по Рожнову делу отзываетца, пожалуй, уведоми меня». «Показать вспоможение» просил Макарова и Савелов. Их знакомство, видимо, было настолько близким, что Савелов без обиняков писал: «...ежели о имени моем что непотребное упомянетца, дабы я по вашей милости был охранен»⁸. Чтобы отвести обвинения Рожнова, Шереметев даже обратился к царю за разрешением прибыть в Петербург.

Между тем следствие по доносу Рожнова развернулось во всю ширь. В новую столицу был вызван Савелов, а от Шереметева затребовали подлинные книги о пожалованиях недорослей в офицеры, об отпусках офицеров «в дома» на побывку и т. п. К следствию намечалось привлечь множество людей: одних в качестве обвиняемых, других как свидетелей. По обычаю тех времен, следствие было рассчитано на многие месяцы, ибо лица, интересовавшие следователей, находились в разных концах страны: в Москве и Риге, в Твери и Новгороде, на финляндском театре военных действий, в вотчинах, расположенных в глубокой провинции.

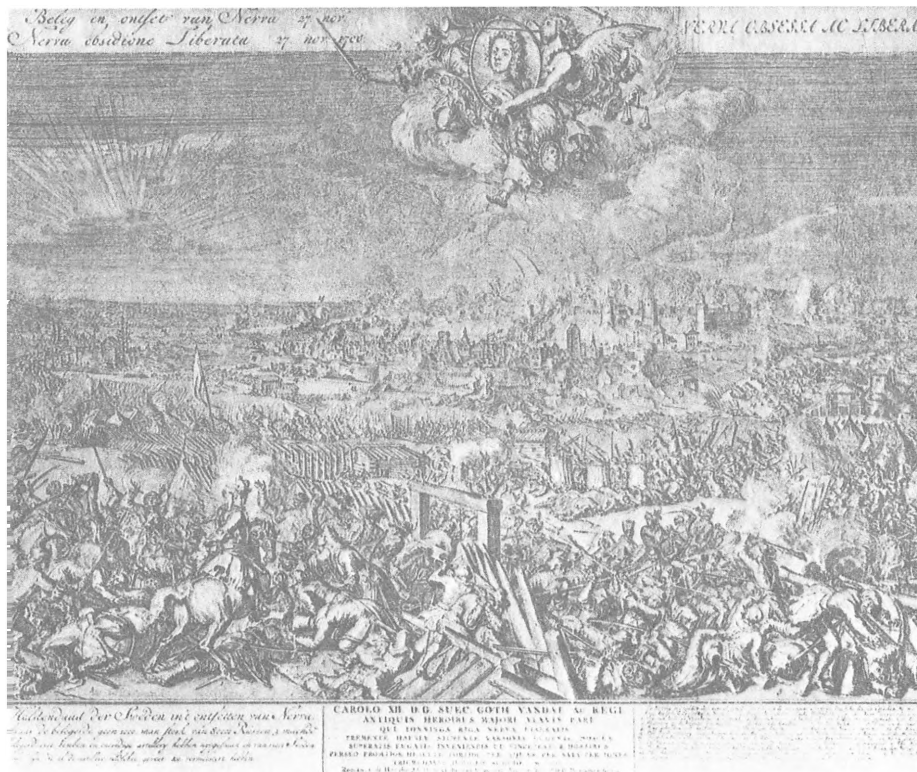
Следствие прекратилось так же внезапно, как и началось. Тщетно искать в официальных документах объяснение крутого поворота отношения царя к делу по доносу Рожнова. Некоторые соображения на этот счет оставили современники. Английский посланник Джон Мэкензи в донесении своему правительству от 11 февраля 1715 г. сообщал: «Мне из хороших источников передавали, что дня два тому назад царь вполне простил все прошлое фельдмаршалу Шереметеву и поручил ему русскую армию, расположенную в Польше». Мэкензи было также известно, что царь отклонил настойчивые просьбы фельдмаршала об отставке. «Напротив,— подчеркивал Мэкензи,—его ласкают больше, чем когда-нибудь, и уверяют, что к восстановлению его чести будут приняты все меры, доносчиков же накажут примерно»⁹.

Любопытной деталью поделился со своим правительством и саксонский посланник Лосс. Согласно его версии, дело занял князь Василий Владимирович Долгоруков: «Без него он (Шереметев.— Н. П.) поплатился бы дороже и никогда бы не выпутался так хорошо из следствия, которому он должен подвергнуться»¹⁰.

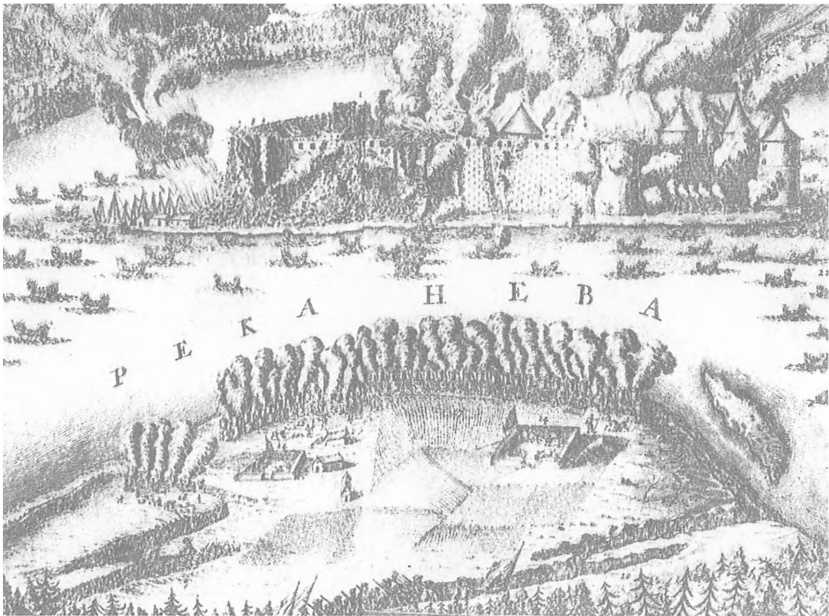
Оба современника, кажется, были близки к истине. Полковника Рожнова действительно подвергли более суровому наказанию, чем определил военный суд. У него были отняты не только чин и должность, но и вотчины, в которых было 92 двора. В суждении Д. Мэкензи о том, что Шереметева «ласкают больше, чем когда-нибудь», тоже есть резон. Отношение царя к фельдмаршалу было



Портрет Петра I. *И. Н. Никитин*

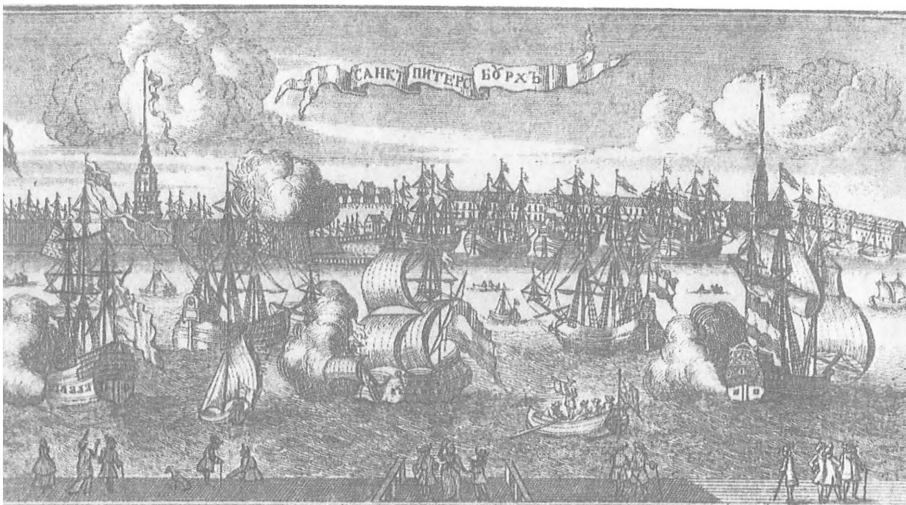


Сражение под Нарвой 19 ноября 1700 г.



Осада Шлиссельбурга в октябре 1702 г.

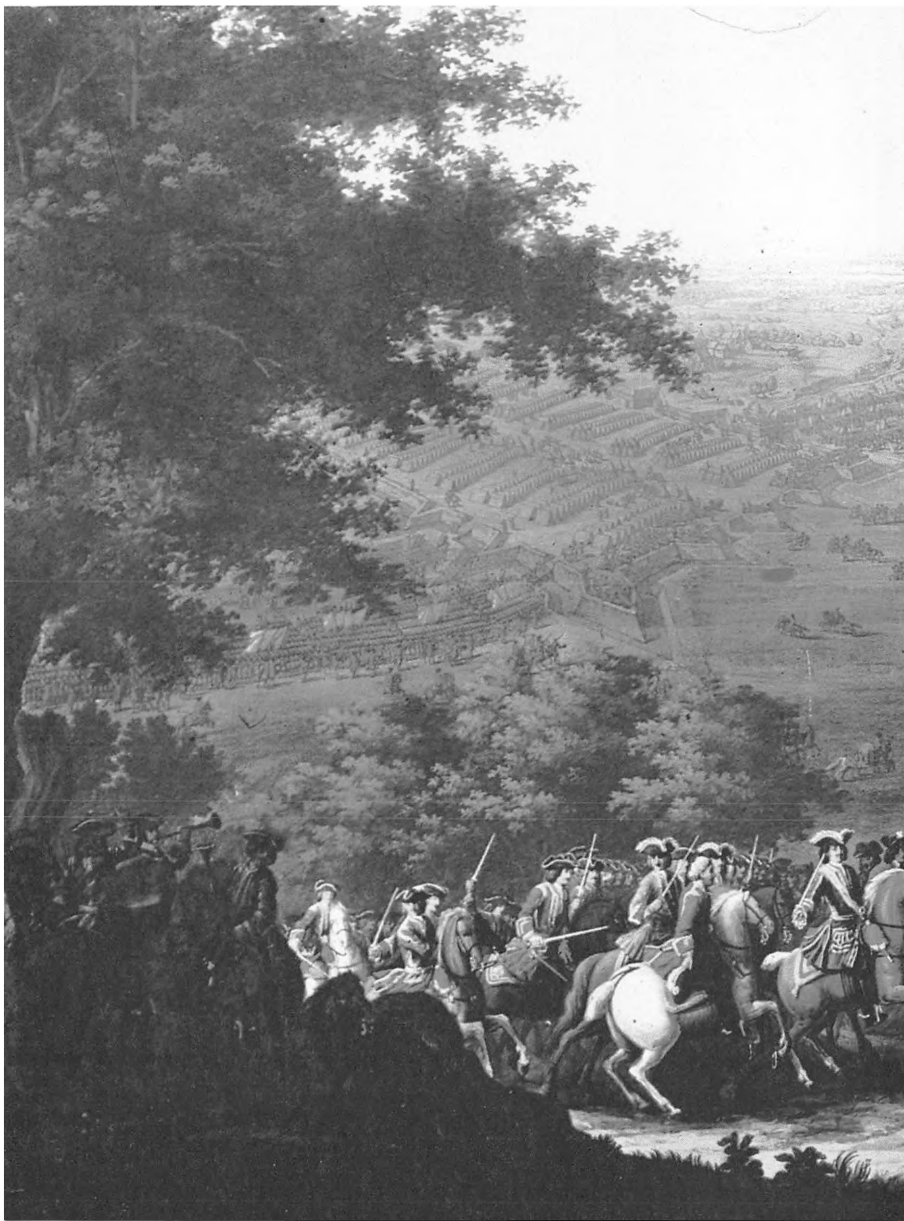
Петербург. Корабли на Неве





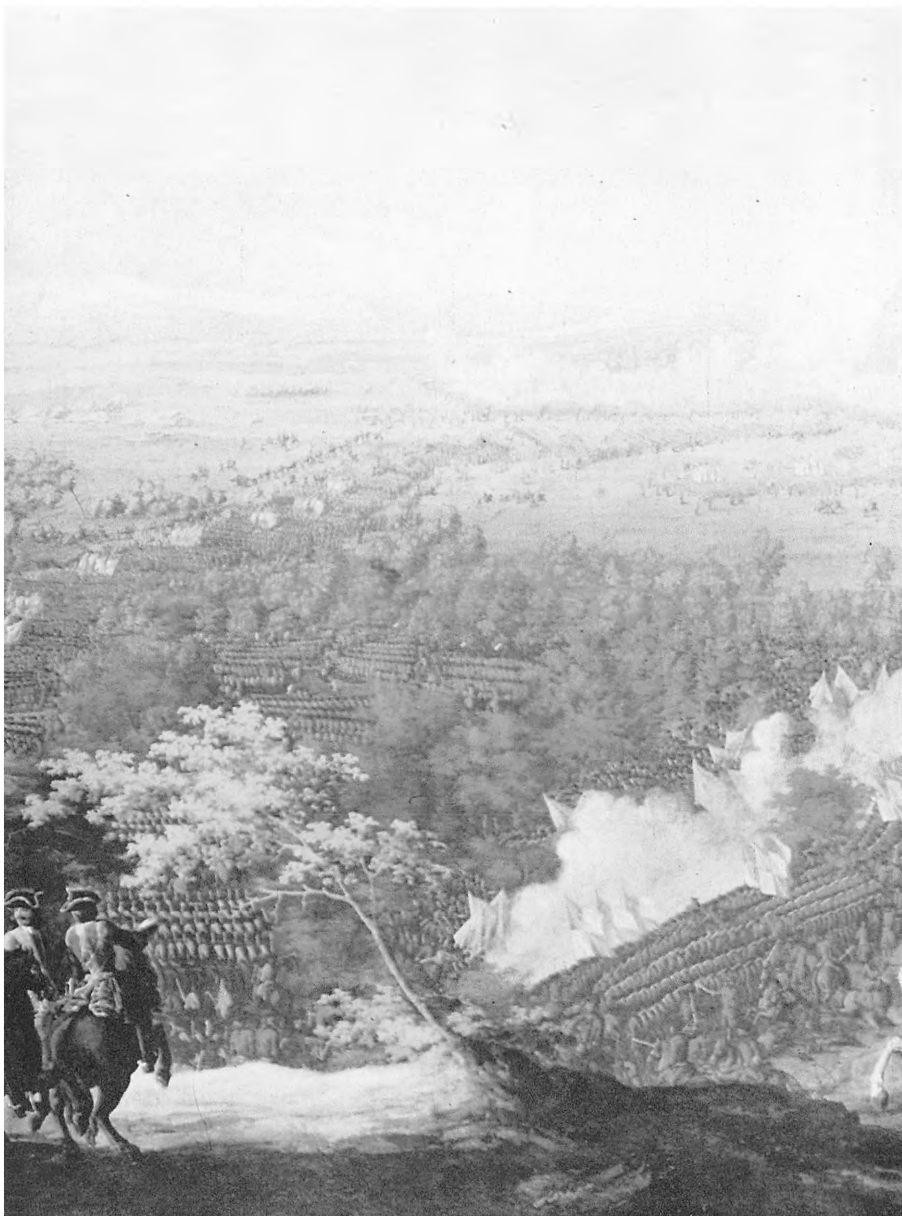
Взятие Азова в 1696 г. Гравюра А. Шхонебека



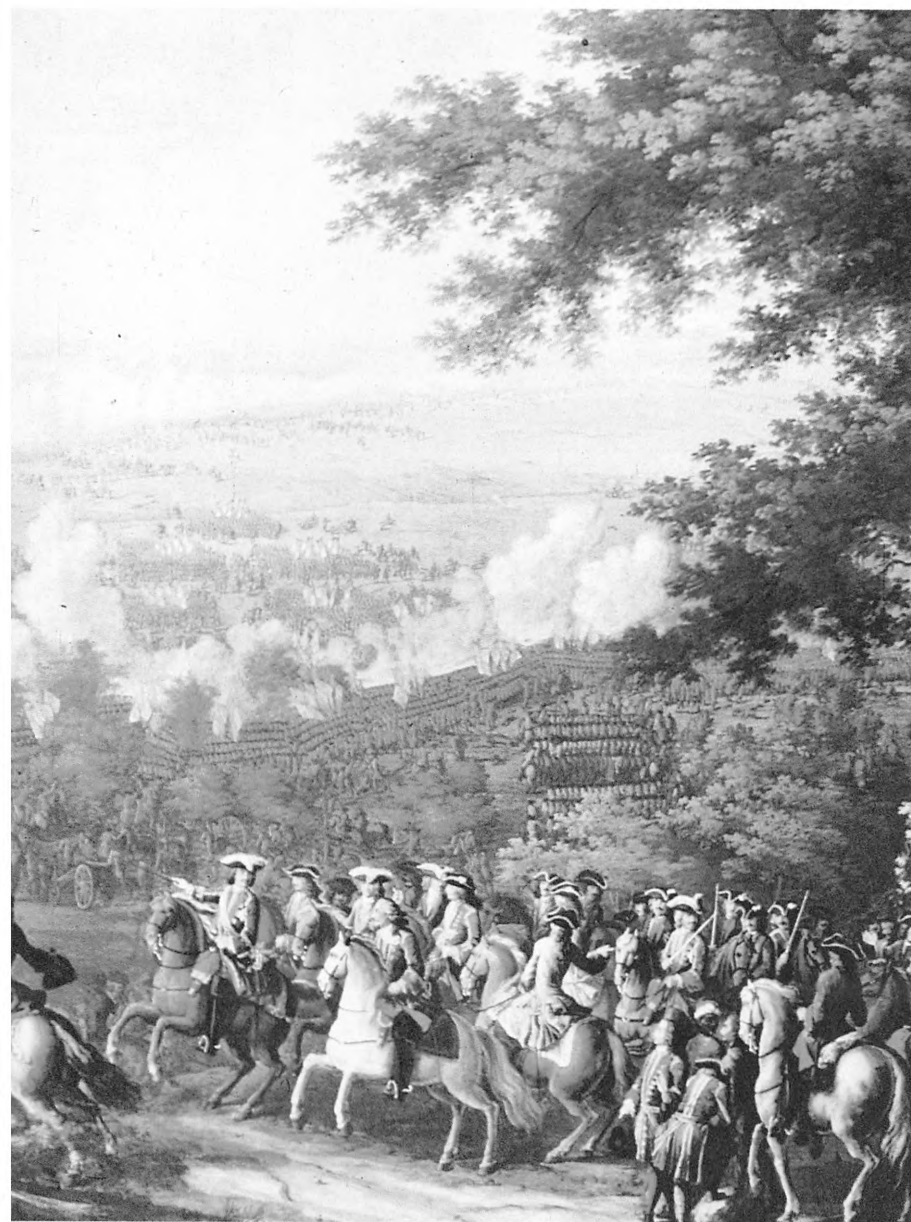


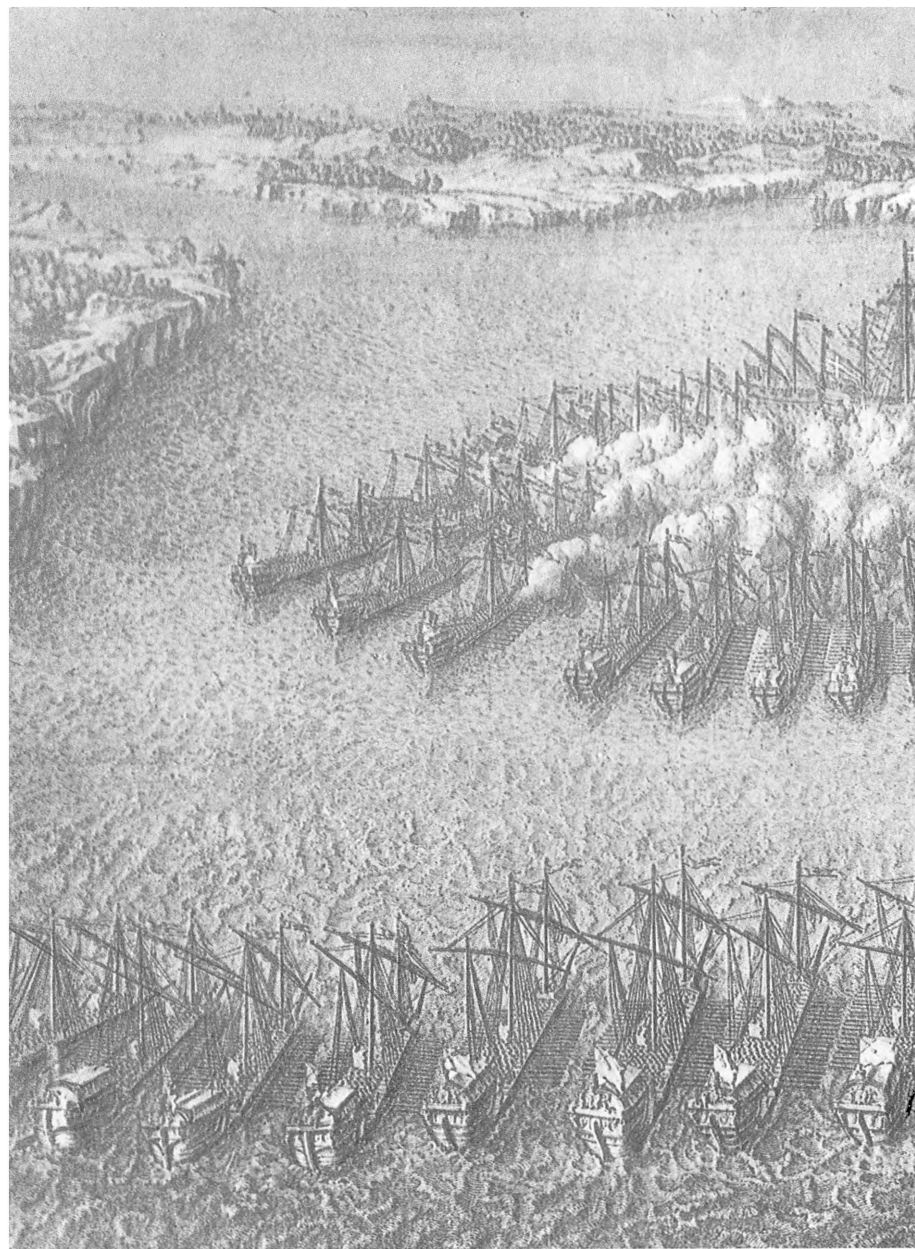
Битва под Полтавой 27 июня 1709 г. Гравюра Симоно





Битва у Лесной 28 сентября 1708 г. Гравюра Н. Лармессена





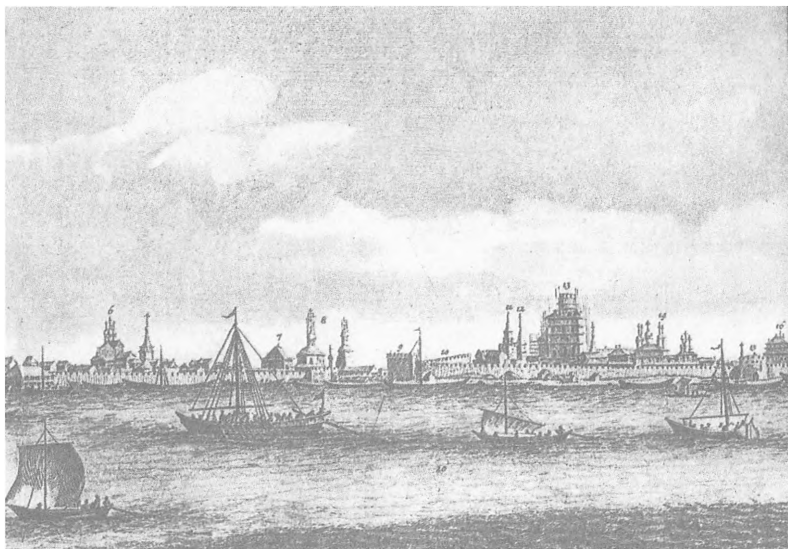
Сражение при Гангуте 27 июля 1714 г.



Писмо Пеликозъ Гля Торавы
 Пеликозъ и Восмаданъ и Пелина
 нымъ Люти Акизъ и Азотка За
 на нымъ Толева и Азиатинномъ
 ймиги земли и ипатта Тохой Сомисъ
 Свой похонъ войнамъ Земля
 Пилоу я Шуланецкомъ Апан. и пола
 нои алаиною нымъ Сми тпывъ
 Годананъ Да^н Сми Аотавы За Вапа
 роцетъ Годанонъ и хотимъ
 Порыной Акеме Араной Паше Сомисъ
 Силоу Педывомъ а Силхъ нымъ
 Сора тпывъ Ангиратъ По
 лисхъ нагаратъ и напаловъ ани
 Силы Сорок тпывъ атамъ нашъ
 войнамой Аппамъ Хозратте
 а Фонасти Булави Паше Подазо
 йпоттата а нымъ нымъ воронъ
 Пароцетъ й наши Розано Ана
 Да земли Азла нымъ нашъ Азла



Портрет Б. П. Шереметева. 1729 г. И. Н. Никитин



Вид Астрахани. Гравюра из «Путешествия» К. де-Бруина

Прием Б. П. Шереметева Мальтийским орденом





Гурь ко Федо Мелтоплинь Зурайтис

Оинтъ незатнади влико мистъ уединица
 насха я итпери мапирою Тврдуб по
 ронда Илпощинъ ко Котпоръ Тохъ уица
 напереди стиа прибавъ что бы они Пепри
 яий ветъ шоро Иадинъ Матиро Излещинъ
 дубинод Инаса бити Оя Покса Ену де
 шина РАЗапариланъ дурд сто дсе.
 Пвдани Иани Пвдани бити Итпери дпъ
 Итпери Имошь Сандиъ Именъ Иане
 Пвдани Иани шазпайд Канъ я Елинь
 Иадинъ Ианихъ казыша жемъ Тонъ ша
 шемо Итпери дпъ Итпери Испитолъ
 Изепнопо Иинос Мирне Фане помитъ
 Иинос Бѣполадниъ души Испитолъ
 Трешинъ Или Пвдани влико Пвдани
 Оро Пвдани Пвдани Иинос дпъ Итпери дпъ
 Тврдуб Необратадъ Тротиъ Испри дпъ
 Итпери дпъ Итпери дпъ Итпери дпъ
 Итпери дпъ Итпери дпъ Итпери дпъ
 Итпери дпъ Итпери дпъ Итпери дпъ

Из письма Б. П. Шереметева Ф. А. Головину



Портрет Екатерины I. 1717 г. Ж. М. Наттье

обусловлено изменением обстановки на южных границах и планами открыть военные действия на территории Швеции.

Сведения, поступавшие из Стамбула в начале 1714 г., вселяли уверенность, что султан не имел намерений обострять отношения с Россией. Свидетельством тому было изменение отношения к русскому посольству и заложникам: они «состоят в добром поведении». Наблюдатели далее отмечали, что у турок «к войне никакого приуготовления нет». У османского правительства хватало внутренних забот: во владениях султана подняли бунт два паши. Опасность с их стороны была тем большей, что их выступление поддерживал иранский шах.

Миролюбивые намерения османов подтверждались и некоторыми практическими мерами. Так, они выделили комиссаров в смешанную русско-османскую комиссию по определению пограничной линии. В Петербурге и в ставке Шереметева располагали данными о серьезном намерении султана выдворить из своих владений шведского короля. П. П. Шафиров и М. Б. Шереметев в январе 1714 г. извещали фельдмаршала: «...король швецкой отсюда ехать не хочет и министром своим на их предложение отвечал, что-де об отъезде и говорить еще не время». Кредит короля пал: «Турки над ним ни малого респекту не держат и про него слышать и говорить не хотят, а когда где и придет об нем говорить, то все сплошь лают, называя дураком и сумасбродным»¹¹. Далее, султан позволил себе миролюбивый жест: он отпустил на родину заложников.

Возвратился в Россию один Петр Павлович Шафиров, а Михаил Борисович умер в пути, не доезжая Киева. Смерть сына потрясла фельдмаршала. Он писал адмиралу Апраксину: «При старости моей сущее несчастье постигло». Старик тяжело переживал утрату: от «...сердечной болезни едва дыхание во мне содержится, а зело опасуюся, дабы внезапно меня, грешника, смерть не постигла»¹².

Перечисленные симптомы замирения позволили России перебросить часть войск с южной границы на север, дабы сосредоточить свои усилия на борьбе со Швецией. В октябре 1713 г. в войну против Швеции вступила Пруссия. В том же году войска союзников заняли всю Померанию; в руках шведов оставался лишь осажденный Штральзунд. Естественно, вставал вопрос, кому поручить командование русскими войсками, второй раз отправлявшимися в Померанию. Кандидатура фельдмаршала Меншикова отпадала: за время своего пребывания в Померании в 1712—1713 гг. он до такой степени обострил отношения с датским королем, что тот впредь отказался иметь с ним дело. Оставался Шереметев, которого Петр и назначил команду-

ющим экспедиционным корпусом. Царь прикинул, что человеку, подмочившему репутацию, находясь под следствием, неуместно командовать войсками и тем более представлять интересы России при иностранных дворах, и, надо полагать, поэтому распорядился прекратить следствие по доносу Рожнова.

4 февраля 1715 г. Борис Петрович прибыл в Петербург. Петр проявил внимание к фельдмаршалу тем, что вечером этого же дня навестил его. Сенат и генералитет под председательством царя 1 марта обсуждали план предстоявшей кампании в Померании. По поручению Петра фельдмаршал составил расчеты о численности войск, необходимых ему для развития успешных боевых действий, а также о кораблях для высадки десанта на шведской территории.

В столице Шереметев провел несколько месяцев. Кажется, впервые за свою жизнь он приобщился к придворной жизни: присутствовал на приемах у царя и его сына Алексея, сам принимал гостей по случаю своих именин и без всякого повода, участвовал в празднествах, посвященных Полтавской виктории. Надо полагать, что такая жизнь быстро наскучила Шереметеву, привыкшему к иному времяпровождению, и он, несмотря на возраст, очевидно, с охотой отправился к армии.

Марш войск через Польшу осложнялся многими привходящими обстоятельствами, и Шереметеву пришлось выступать в роли не только военачальника, но и дипломата. Затруднения, выпавшие на долю фельдмаршала, состояли в том, что интересы борьбы со Швецией требовали, чтобы он двигался в Померанию форсированным маршем. Но в это же время в самой Польше подняли голову поддерживаемые Францией сторонники Станислава Лещинского. В интересах сохранения короны за союзником России Августом II надлежало задержать русские войска в Польше.

Русский посол в Варшаве князь Г. Ф. Долгоруков требовал от Шереметева, чтобы его войска остались в Польше, «во которое время те факции успокоятца». К голосу Долгорукова присоединились и вельможи Речи Посполитой. На встрече Шереметева с русским послом они заявили, что от ухода корпуса из Польши в выигрыше останется шведский король, ибо в этом случае Август II будет вынужден отозвать свои войска из Померании для борьбы с «конфедератами». В итоге Карл XII получит передышку.

Иного мнения придерживались русские послы при датском и прусском дворах. Они настаивали на том, чтобы если не вся, то хотя бы часть русской армии к середине ноября находилась в Померании, у стен Штральзунда.

Свои доводы они подкрепляли рассуждениями о возможных последствиях опоздания: «И ежели позже туда притить, то короли могут озлобитца и нарушить все договоры и отказать в пропитании, и в фураже, и в зимних квартирах»¹³.

Наконец, надобно было считаться и с Османской империей — пребывание русских войск в Польше означало нарушение условий Прутского мира и было чревато конфликтом с султанским двором.

Пока корпус Шереметева черепашым темпом двигался через Польшу, совершая при этом продолжительные остановки, датские и прусские войска овладели островом Рюген. Оба короля были уверены, что они своими силами, без помощи русских овладеют Штральзундом. Датский король прислал к Шереметеву своего уполномоченного, чтобы тот предупредил фельдмаршала: союзники не нуждаются в услугах русских войск и пусть его корпус остается в Польше. В итоге сложилась ситуация, аналогичная той, когда в Померании русскими войсками командовал Меншиков: взаимная подозрительность союзников, игнорирование ими интересов России, эгоизм каждого из них лишали их возможности действовать согласованно и целеустремленно.

Шереметев был в недоумении. Оно усиливалось, по мере того как таяло продовольствие и в войсках наступал голод. Фельдмаршал отправляет запрос канцлеру Головкину, ибо от послов «известия не имеет, каких ради причин те отмены учинились и для чего требовать войск не стали». Для него было ясно одно: в данный момент он не должен уходить из Польши без царского на то указа. Между тем единственное средство облегчить положение войск и местного населения, обеспечивавшего армию провиантом, состояло в ее рассредоточении.

Царский указ был получен. Фельдмаршалу повелевалось ради укрепления «твердой дружбы» с прусским королем не выступать против его воли. Напротив, короля надлежало всячески «уласкать». Царь придумал подарить ему полсотни или даже сотню самых рослых гренадер из состава корпуса Шереметева.

В середине декабря 1715 г. Штральзунд, обороняемый шведскими войсками, предводительствуемыми самим королем, пал, и Карл XII, спасаясь, бежал на корабле. Это еще более усложнило положение Шереметева.

До тех пор пока Август II чувствовал себя на троне непрочно, он и его министры не только мирились, но даже упрашивали Шереметева оставить войска в Польше. Но как только король овладел положением, он потребовал от фельдмаршала вывода русских войск «так скоро, как возможно». Горькую пилюлю Август II решил позоло-

тить: накануне этого указа, 17 декабря 1715 г., он наградил Шереметева орденом Белого Орла. Это был второй иностранный орден, полученный Борисом Петровичем.

Созванный Шереметевым военный совет постановил выводить войска из Польши. Но тут был получен указ царя, видимо продиктованный изменившейся ситуацией: фельдмаршалу велено было идти «в Померанию с поспешением, несмотря на польские дела, в каком бы состоянии они ни были». Петр подчеркивал: «Буде же по саксонским интригам король прусской будет писать, чтоб в Польше остатца, то, несмотря на то, шол бы в Померанию и делал бы с совету министров наших, кои в Померании»¹⁴.

Ломать голову, как выполнить царское повеление, Борису Петровичу не пришлось: 3 января 1716 г. к нему прибыл генерал-лейтенант В. В. Долгоруков с указом: «...для лутчего исправления положенных на него, фельдмаршала, дел послан в помощь подполковник от гвардии князь Долгорукий». За время военной карьеры Шереметева это было третье прикомандирование к нему доверенного лица царя. Как тогда, так и теперь Шереметеву было велено исполнять все, что прикажет ему именем царя Долгоруков.

С чем было связано это назначение? Два предшествующих объяснялись медлительностью фельдмаршала. Теперь спешить будто бы было некуда. Просто Шереметев находился в плену старческой немощи и уже, видимо, был не способен работать в полную силу.

Борис Петрович безропотно выполняет царский указ. Кажется, он был даже доволен этим своим положением, ибо оно освобождало его от обременительной и крайне сложной обязанности лавировать между противоречивыми интересами союзников. Он сразу же распорядился, чтобы командиры дивизий беспрекословно подчинялись приказам Долгорукова.

Надо полагать, что острота восприятия назначения Долгорукова значительно притупилась не только оттого, что оно было третьим по счету, но и потому, что два аристократа — Долгоруков и Шереметев — быстро нашли общий язык еще в 1711 г., когда гвардии подполковник впервые был прикомандирован к фельдмаршалу и между ними установились приятельские отношения. Вспомним, саксонский посланник Лосс свидетельствовал, что своим постом главнокомандующего русскими войсками в Польше Шереметев был обязан Долгорукову. Василий Владимирович сумел тогда внушить Петру, что если на эту должность будет назначен Меншиков, то светлейший «пожертвует всем войском в угоду прусскому королю»¹⁵.

В феврале — марте Шереметев часто встречался с царем, направлявшимся в Копенгаген — для обсуждения с

союзниками плана высадки десанта на шведской территории, в Париж — чтобы уговорить французское правительство отказать Швеции в субсидиях и в Пирмонт — для лечения. В Гданьске помимо организации приемов царя и сопровождавших его вельмож, а также польского короля Борис Петрович участвовал в обсуждении «Устава воинского», составление которого Петр закончил, будучи в этом городе.

Жизнь Шереметева со второй половины 1716 г. и за весь 1717 г. не отражена в известных нам источниках. Ясно только, что в то время не произошло примечательных событий в биографии фельдмаршала — не было сражений ни на суше, ни на море. Эти годы не принесли ему ни радостей, ни огорчений. Зато следующий, 1718 год помечен крупными неприятностями. Они были связаны с делом царевича Алексея и глубокой убежденностью царя в том, что старый фельдмаршал в ссоре отца с сыном симпатизировал последнему.

Следует отметить, что Алексей Петрович явно преувеличивал свою популярность среди вельмож и высших офицеров, хотя вполне возможно, что те расточали ему комплименты и оказывали внимание: как-никак они имели дело с наследником престола и понимали, что их судьба будет зависеть от его прихотей, когда он этот престол займет. Петр, взявший в свои руки следствие о сообщниках царевича, прислушивался не к общим свидетельствам сына, бог весть на чем основанным. Царь удерживал в памяти показания конкретного характера, например советы царевичу, как поступать в тех или иных случаях. Именно такой совет, компрометирующий его автора, будто и подал царевичу фельдмаршал: «Напрасно-де ты малого не держишь такого, чтоб знался с теми, которые при дворе отцове; так бы-де ты все ведал»¹⁶.

В июне 1718 г. в новую столицу для суда над царевичем были вызваны сенаторы, вельможи и высшие офицеры, а также духовные иерархи. Под смертным приговором царевичу поставили подписи 127 персон. Список открывал светлейший князь Меншиков, далее стояли подписи адмирала Апраксина и канцлера Головкина. За ними, а быть может и впереди них, должна была стоять подпись Шереметева, но ее нет: фельдмаршал в Петербург не приехал. Почему?

Потому ли, что он действительно был болен или всего-навсего сказался больным, чтобы не ставить своей подписи под приговором? Царь склонен был объяснять отсутствие Шереметева в столице не болезнью, а ее симуляцией. Старик, полагал царь, разделял мысли царевича и не желал насиловать свою совесть. В этой убежденности Петра укрепляли слухи, а главное —

непреложный факт: за причастность к делу царевича поплатился В. В. Долгоруков — близкий Шереметеву человек. Вспомним, именно Долгоруков вытаскил из беды фельдмаршала, когда велось следствие по доносу Рожнова.

Думается, однако, что царь в данном случае ошибся и этой своей ошибкой лишил душевного покоя Бориса Петровича и омрачил последние месяцы его жизни. Они протекали невесело. К тяжелой болезни прибавились одиночество, чувство обиды, страха и трепета перед царем. Послушаем, как он, терзаемый тоской, изливал душу самому близкому ему человеку — адмиралу Апраксину: «К болезни моей смертной и печаль мене снедает, что вы, государь мой, присный друг и благодетель и брат, оставили и не упомянитися мене писанием братским, христианским посетить в такой болезни братскою любовью и писанием пользоваться». Главным содержанием прочих писем Шереметева — а отсылал он их царю, А. В. Макарову, Ф. М. Апраксину, А. Д. Меншикову — были известия о состоянии здоровья, жалобы на одиночество и попытки оправдаться перед царем.

14 июня 1718 г. фельдмаршал отправил два письма: одно царю, другое Меншикову. Почти одинаковыми словами описывает он свою болезнь. Она, сообщает фельдмаршал царю, «час от часу круче умножается — ни встать, ни ходить не могу, а опухоль на ногах такая стала, что видеть страшно, и доходит уже до самого живота, и, по-видимому, сия моя болезнь знатно, что уже ко окончанию живота моего». Шереметев сокрушался, что не мог выполнить царского указа о приезде в Петербург, и, догадываясь о сомнениях Петра относительно состояния своего здоровья, обращался к нему с просьбой: «...в той моей болезни повелеть освидетельствовать, кому в том изволите поверить». Меншикова он тоже просит при случае сказать Петру: «...дабы его величество в моем неприбытии не изволил гневу содержать»¹⁷.

Обращение Бориса Петровича к царю осталось без ответа. Тогда он отправил письмо Макарову с уверениями, что ему не доставляет радости жизнь в Москве: «Москва так стоит, как вертеп разбойничий — все пусто, только воров множество и беспрестанно казнят», и если бы он был здоров, то ни в коей мере не пожелал бы «жить в Москве, кроме неволи». И далее следуют слова, рассчитанные на уши не столько Макарова, сколько Петра: «Я имею печаль, нет ли его, государева, на меня мнения, что я живу для воли своей, а не для неволи, и чтобы указал меня освидетельствовать, ежели жива застанут, какая моя скорбь и как я, на Москве будучи, обхожусь в радости». Назначение последних слов очевидно: они должны были

опровергнуть кем-то нашептываемые царю сведения о его беззаботной и веселой жизни в Москве. Возможно также, что подобное представление сложилось у Петра и в результате того, что одно из писем (17 мая 1718 г.) Шереметев отправил не из Москвы, а из своего села Воцашникова. Следовательно, мог рассуждать царь, Шереметев располагал здоровьем, чтобы посетить свою вотчину, и не имел сил, чтобы приехать в Петербург.

Кстати, историкам почти не известны источники хозяйственного содержания, вышедшие из-под пера Шереметева. Быть может, они не сохранились, но, скорее всего, походная жизнь фельдмаршала не предоставляла ему условий для вмешательства в повседневную жизнь своих вотчин. Лишь на исходе дней своих Борис Петрович оставил документы, позволяющие взглянуть на него как на барина, владельца многих тысяч крепостных крестьян.

В одном из писем конца 1715 г. русскому послу в Копенгагене Василию Лукичу Долгорукову Борис Петрович бросил фразу: «...а мое и богатство в лошадях». Фельдмаршал явно приbedнялся. Его конюшня являлась, скорее, предметом гордости, а не богатства. Послушаем, с каким упоением и чванством он описывал состав конюшни: «Есть аргамаки турецкие и одна персическая да две арабских, и коней чистых имею, рослых и удалых и широких ногайских»¹⁸.

Главное богатство Шереметева составляли вотчины. Если верить Борису Петровичу на слово, то путешествие на Мальту обошлось ему в 20 500 руб.—сумму по тем временам колоссальную. Но из этого следует, что боярин принадлежал к числу весьма богатых людей. В конце 70-х годов XVII в. он владел 2910 дворами. В последующие десятилетия он свое богатство умножил.

Фельдмаршал обладал особым даром кланяться и жаловаться. Он нередко выступал в роли докучливого попрошайки и так умел живописать свое бедственное положение и слезно просить, создавая мастерски исполненную картину своей бедности, что, не удовлетвори его мольбы, он оскудеет настолько, что будет скитаться, как тогда говорили, «меж двор» и кормиться христовым именем. Приведем в качестве примера описание Шереметевым своего материального положения в письме Ф. А. Головину: «Также и о себе милости прошу—дайте мне, чем жить. А естли не дадите со удовольствием, ей, пойду нищетки». Если верить его словам, он был готов даже продать или заложить свои деревни: «А хотя ныне и купцов нет на деревни, и я крест бы Мальтийской и другой заложил. Не до кавалерства стало». На память ему пришла пословица: «Хотя мужиком слыть, только бы сыту быть». Мольба, обращенная к тому же Головину в

1706 г.: «...подай мне помощи о жалованье, не знаю, в чем прослужился, что в том имею обиду. Пью и ем хотя и все государево, а на иждивение домовое взять негде»¹⁹.

Реальные доходы Шереметева решительно опровергают его жалобы. В 1708 г. фельдмаршал владел 19 вотчинами. В них было 6282 двора, населенных 18 031 душой мужского пола, с которых он получал только денежного оброка около 11 тыс. руб. в год. Если к этому прибавить натуральный оброк (мед, мясо, птица, масло, яйца и т. д.), а также барщинные повинности, то общий доход помещика Шереметева с вотчин, надо полагать, составлял никак не менее 15 тыс. руб. в год. Фельдмаршал получал самое высокое в стране жалованье — свыше 7 тыс. руб. в год.

Владения Шереметева продолжали расти и после 1708 г. Как уже упоминалось, в 1709 г. царь в честь Полтавской виктории пожаловал фельдмаршала деревней Черная Грязь. Борис Петрович навел справки об этой вотчине и уже 19 июля, по горячим следам, обратился к Меншикову с просьбой ходатайствовать перед царем, чтобы к Черной Грязи была придана пустошь Соколово: «А ежели той пустоши отдано не будет, то и помянутая Черная Грязь не надобе». Шереметев проявил завидную настойчивость в домогательствах. Через неделю он отправил князю новое напоминание: без пустоши Черной Грязью. «не изволите меня отягчать»²⁰.

За успехи в Прибалтике Шереметев не успел исхлопотать себе пожалование, так как должен был срочно отправиться в Прутский поход. Фельдмаршал отличался практицизмом и после похода решил наверстать упущенное. 1 августа 1711 г. он обратился с просьбой к царю — «не за услуги мои, но из милости вашей» пожаловать домом в Риге и староством Пибалг в Лифляндии²¹. «Милости» он удостоился, став таким образом прибалтийским помещиком.

Знакомство с содержанием хозяйственной переписки Шереметева вызывает удивление. Можно подумать, что автор не смертельно больной старик, а человек в расцвете сил и его энергия направлена на реализацию планов, рассчитанных на многие годы. Удивляет и другое: перед читателем предстает совсем иной Шереметев — не робкий, всегда боявшийся царского гнева, заискивающий перед «нужными» людьми человек, а суровый и беспощадный крепостник, не знавший ни снисхождения, ни сострадания. Стоя уже одной ногой в могиле, он ожесточился настолько, что ему стало чуждо понимание чужого горя.

Крестьяне жаловались Шереметеву, что они «помирают ныне с голоду», и просили его освободить их от повинностей. Барин ответил, что если он предоставит им просимую льготу, то сам будет «скитаться по миру».

Крестьяне Вошажниковской волости попросили Бориса Петровича «обольготить для пожарного разорения». Щедрость барина не простиралась далее распоряжения приказчику о выдаче челобитчикам, оказавшимся без крова и хлеба, по четверти ржи на человека и освобождении их от барщинных и оброчных повинностей на год, «а подати великого государя велеть платить им без доимки». Резолюции фельдмаршала на крестьянские челобитные короткие, выразительны и безапелляционны: «Доправить неотлагательно» или «Старосту и выборных, бив кнутом, и велю доправить пеню деньгами немалыми»²².

Крестьянам вообще запрещалось обращаться к барину с жалобами: «...бить челом к Москве не приходили б ко мне, кроме необходимых самых нужных дел, которых приказной человек, кроме нашей персоны, судить не может». Тут же угроза подвергнуть ослушников жестокому наказанию: «...несмотря хотя б чье и правое челобитье было, только за одну противность указу моего». Это была не пустая угроза. За месяц до смерти Шереметев велит приказчику одной из вотчин: «...крестьянам на мирском сходе учинить жестокое наказание, для чего они, не явясь к тебе, из вотчин уезжают и оставляют тяглы свои впусте»²³.

Крестьяне, пострадавшие от двухлетнего подряд недорода, обратились к Борису Петровичу за послаблением в правее повинностей. «Оскудали вконец без остатку,— жаловались они,— пить и есть стало нам нечего, помираем ныне с голоду, и больши половины волости ходили с женами с ребятишками в мире, купить не на что, а хлебным денежным податям ныне платежи и наряды великие». На крестьянскую челобитную, заканчивавшуюся призывом «государь, смилуйся!», фельдмаршал 4 мая 1718 г. наложил резолюцию. Она выразительно высвечивает еще одну грань характера Бориса Петровича: «...слушав сего челобитья, во всем отказать, а впредь не бить челом: ведаете вы сами, что я сию волость купил кровью своей, и дана мне сия волость на всякое мне довольство, и челобитную вам сию нехто плут советовщик писал, и обальготить мне вам нельзя. Ежели вас обальготить, то разве мне самому скотатца по миру».

Как и многие вельможи петровского времени, Шереметев не чурался извлекать доходы из источников, не связанных с крепостным хозяйством. В 1719 г. он велит приказчику ржевской вотчины взять на откуп кабаки. Он поощряет усердие другого приказчика по сооружению мельницы: «...ты пишешь о построении мельницы и обещаешь в том нам прибыль, и за то тебя похваляю». Ему же он поручил скупать шкурки белки и рыси, но при одном условии: если цена на эти шкурки на месте скупки

ниже, чем в Москве, а если дороже — «какая нам в том будет прибыль», рассуждал помещик.

Содержание распоряжений Шереметева по Вожажниковской волости наводит на мысль, что он проявлял неизмеримо больше заботы о лошадях, чем о людях. Обычно распоряжения вотчинным приказчикам составляли служители домового канцелярии фельдмаршала в Москве. Шереметев не удостоивал такие распоряжения подписью собственной фамилии. Вместо нее он писал два слова, отражавшие высокомерие барина: «рука моя».

Когда же речь шла о лошадях, то Борис Петрович снисходил до сочинения собственноручных писем или приписок. «По отписки твоей мне извесно,—писал он приказчику,—что лошади, которые хромлют, вели их лечить и прикажи стремянному конюху Кастентину Докучаеву, чтобы их лечил неоплошна, а больши сам присматривай». Должный уход за лошадьми и строгий надзор за соблюдением их рациона — предмет особой заботы фельдмаршала. Нерадивые конюхи подлежали суровому наказанию. «Ежели от наказания не уймутся, то их присылать к Москве», — велит он приказчику. В другом письме он извещал, что отправил в вотчину две кобылы «агленские». Барин дотошно знал каждую лошадь своей конюшни, ее масть, приметы и сохранил цепкую память до конца дней своих. Судите сами. «Да пришли ко мне тотчас кобылу буланую, — велел он вожажниковскому приказчику 20 сентября 1718 г., — задняя нога по щотку беленька, которая была при мне отобрана итить со мною к Москве»²⁴.

Запоздалая хозяйственная активность вотчинника сокращалась по мере ухудшения здоровья — усилия докторов не приносили облегчения больному. Тогда Борис Петрович решил отправиться на Марциальные воды. Это была его последняя надежда на исцеление. Он так и писал Макарову в конце сентября 1718 г.: «А ныне для последнего искушения желаю ехать к Олонецким водам, где, ежели от болезни своей не освобожуся, то впредь какого к тому способа изобретать — не знаю». Отправил он и письмо царю с просьбой разрешить ему поездку на курорт.

Ответное письмо Петра в какой-то мере объясняет причину царского недоверия к пребыванию Бориса Петровича в Москве. 18 октября 1718 г. Шереметев прочел следующее послание царя: «Письмо твое я получил, и что желаешь ехать к водам, в чем просишь позволения, и се то вам позволяется, а оттоль сюда. Житье твое на Москве многие безделицы учинило в чужих краях, о чем, сюда как приедешь, услышишь»²⁵. Остается гадать, что подразумевал Петр под «многими безделицами», распространяемыми «в чужих краях». Скорее всего, «безделицы» не

что иное, как ходившие на Западе слухи о том, что Шереметев отсиживался в Москве в знак протеста против расправы отца над царевичем Алексеем.

Шереметев обещал прибыть в Петербург с Марциальных вод независимо от исхода лечения и в который раз пытался убедить царя, что он не обманывал его. Я, писал фельдмаршал царю, «милостию вашего величества вознесен и вами живу, то как на конец жизни моей явлюся пред вашим величеством в притворстве, а не в ыстине».

хлопоты о разрешении отправиться на Марциальные воды оказались напрасными: у фельдмаршала уже не было сил на столь дальнее путешествие. Бодрился он зря. Напрасными были и хлопоты о реабилитации себя перед царем. Подтверждением тому является царский указ обер-коменданту Москвы Ивану Измайлову, дабы тот доставил фельдмаршала в Петербург по зимнему первопутку.

20 ноября 1718 г. к крыльцу московского дома фельдмаршала были поданы карета и подводы, дабы везти Бориса Петровича в столицу. Выезд, однако, не состоялся. Измайлов извещал Макарова: «...болезнь его гораздо умножилась; опух с ног и до самого пояса и дыханье захватывает, и приобщали святых тайн, и ныне в великом страхе». Больного обследовали доктора и в заключении написали, что он страдает «водяною болезнию». Вывод медиков был таков: «...в такой скорби и в такую службу без великой беды ныне его отпустить невозможно». Заключение, видимо, рассеяло сомнения царя относительно здоровья Шереметева. Во всяком случае Макаров — конечно же не без ведома Петра — написал Измайлову, «дабы ево не трудить отъездом с Москвы».

Последнее письмо с автографом Бориса Петровича датировано 30 ноября 1718 г. Оно адресовано Макарову. Даже если бы Борис Петрович не сообщал в нем: «...по-прежнему зело в тяжкой болезни обретаюсь и с постели встать не могу», то подпись вполне выдает состояние больного. Она поставлена нетвердой рукой, без всякого нажима, так что ее едва можно разобрать²⁶.

Умер фельдмаршал 17 февраля 1719 г. В завещании, составленном 20 марта 1718 г., Борис Петрович распорядился похоронить себя в Киево-Печерской лавре, рядом с могилой своего сына Михаила: «Желаю по кончине своей почить там, где при жизни своей жительства иметь не получил», т. е. там, где ему не было разрешено пострижение.

Царь, однако, посчитал, что первый в России фельдмаршал не волен распоряжаться собой даже после смерти: он заставил служить «государственному интересу» и мертвого Шереметева.

Новой столице не доставало своего пантеона. Петр решил создать его. Могила фельдмаршала должна была открыть захоронение знатных персон в Александро-Невской лавре. По велению Петра тело Шереметева было доставлено в Петербург. Церемония торжественного захоронения состоялась 10 апреля 1719 г.

Смерть Шереметева и его похороны столь же символичны, как и вся жизнь фельдмаршала. Умер он в старой столице, а захоронен в новой. В его жизни старое и новое тоже переплетались, создавая портрет деятеля периода перехода от Московской Руси к европеизированной Российской империи.

Народная память сохранила имя Шереметева как полководца, громившего шведов во главе лихой московской пехоты и кавалерии:

Не две грозные тучи на небе всходили,
Сражались два войска тут большие,
Что московское войско со шведским...
Запалила Шереметева пехота
Из мелкого ружья и из пушек.
Тут не страшный гром из тучи грянул,
Не звонкая пушка разродилась,
У боярина тут сердце разъярилось.
Не сырая мать-земля разступилась,
Не синее море всколебалось,
Примыкали штывы тут на мушкеты.
Бросали все ружья на погоны,
Вынимали тута вострые сабли,
Приклоняли тут булатные копы,
Гналися за шведским генералом
До самого до города до Дерпта.
Как расплачутся тут шведские солдаты,
Во слезах они чуть слова промолвят:
«Лихая-де московская пехота
На вылазку часто выступает
И тем нас жестоко побеждает».
Тут много мы шведов порубили
И втрое того в полон их взяли,
Тем прибыль царю учинили²⁷.



ПЕТР АНДРЕЕВИЧ
ТОЛСТОЙ

ДЕДУШКА В ВОЛОНТЕРАХ

Давно не видела первопрестольная такого скопления роскошных карет, блиставших золотом и серебром мундиров военных и гражданских чинов, разодетых в парчу дам, как в майские дни 1724 г. Сенаторы, президенты коллегий, генералы, церковные иерархи во главе с Синодом, губернаторы, придворные, иноземные послы, наконец, царствующая чета прибыли в старую столицу на церемонию коронации императрицей супруги Петра Великого Екатерины Алексеевны.

Ничего более торжественного не происходило в Кремле уже несколько десятилетий. Из царских кладовых извлекли давно не употреблявшуюся и поэтому утратившую блеск серебряную посуду и бокалы. В Грановитой палате, где раньше принимали иностранных послов, а теперь решили устроить торжественный обед, все обветшало и было спешно обновлено: трон, балдахин, столы для гостей, ковры, бархат. В Успенском соборе соорудили помост, где должно было совершиться возложение короны. Улицы Москвы украшали триумфальные арки, на площадях заканчивались приготовления к невиданному фейерверку.

Придворные дамы и жены вельмож сбились с ног в поисках портных, чтобы запастись богатыми робами. Более всех празднество волновало бывшую прачку, волей случая ставшую супругой великого человека и императора могущественной державы,—Екатерину Алексеевну. Для нее была изготовлена мантия из парчи с вышитым на ней двуглавым орлом, подбитая горностаем, из Парижа привезли карету. Самой главной достопримечательностью церемонии должна была стать корона, предназначенная для Екатерины. «Корона нынешней императрицы,—записал в «Дневнике» камер-юнкер Ф. В. Берхгольц, которому показали другие короны, в том числе и корону Петра Великого,—много превосходила все прочие изяществом и богатством; она сделана совершенно иначе, т. е. так, как должна быть императорская корона, весит 4 фунта и украшена весьма дорогими камнями и большими жемчужинами... Делал ее, говорят, в Петербурге какой-то русский ювелир».

Церемония коронации была проведена 7 мая 1724 г. в Успенском соборе. Туда под звон всех московских колоколов и звуки полковых оркестров, расположившихся вместе с гвардейскими полками на дворцовой площади Кремля, в 11 утра прибыла царская чета. У входа в собор ее приветствовали высшие духовные чины в богатейших облачениях. Артиллерийские залпы возвестили, что царь

самолично возложил корону на голову стоявшей на коленях Екатерины, а придворные дамы прикрепили мантию.

В Грановитой палате состоялся торжественный обед. «В то же время,— отметил Берхгольд,— отдан был народу большой жареный бык, стоявший перед дворцом среди площади на высоком, обитом красным холстом помосте, на который со всех сторон вели ступени. По обеим сторонам его стояли два фонтана, которые били вверх красным и белым вином, нарочно проведенным посредством труб с высокой колокольни Ивана Великого под землю и потом прямо в фонтаны для сообщения им большей силы».

На следующий день императрица принимала поздравления. «В числе поздравителей находился и сам император». Он, как писал Берхгольд, в соответствии со своим чином командира Преображенского полка «по порядку старшинства принес свое поздравление императрице, поцеловав ее руку и в губы»¹.

Мы подробно остановились на этом событии не ради того, чтобы отметить роль в нем Толстого, выполнявшего обязанности главного распорядителя торжества, а потому, что с церемонией коронации было связано появление интересного для нас документа.

Коронованной Екатерине было дозволено совершить несколько самостоятельных актов. Одним из них она возвела Толстого в графское достоинство. В дипломе, выданном Толстому позже, 30 августа 1725 г., в соответствии с правилами составления документов такого рода сообщена краткая родословная его владельца. Именно благодаря диплому мы располагаем сведениями о предках действительного тайного советника и кавалера ордена Андрея Первозванного Петра Андреевича Толстого.

Самого высокого чина достиг отец Петра Андреевича — Андрей Васильевич, пожалованный, будучи воеводой, чином думного дворянина за мужественную оборону Чернигова от войск гетмана-изменника Брюховецкого. Имена дальних и близких родственников Андрея Васильевича история не сохранила. Именно поэтому некоторый интерес приобретают крупницы сведений из родословной, запечатленной в дипломе. Сразу же оговоримся, что, хотя эти сведения не вызывают полного доверия, мы не можем с полным на то основанием сказать, что в них соответствует истине и что выдуманно.

В самом деле, образованный и начитанный человек, принадлежавший к духовной элите своего времени, при составлении родословной не мог удержаться от искушения повторить в такой же мере банальную, как и модную, версию о своем родоначальнике, вышедшем, разумеется,

из немецкой земли: «...прародитель, имянем Гендрих, произшедший из древней благородной и знатной фамилии из Германии, в лето 1352 з двумя своими сыновьями и с 3000 мужьями людей и служителями своих выехал в наше Всероссийское государство в город Чернигов». Здесь Гендрих принял православие и стал зваться Леонтием, а его сыновья — Константином и Федором. Внук Константина Андрей приехал из Чернигова в Москву, где ему было «приложено прозвание Толстой, и от того времени сия фамилия прозвание Толстых имела и писалась».

Прадед и дед Петра Андреевича в конце XVI — начале XVII в. служили воеводами, а отец после успешного черниговского сидения «определен был в Большом полку с князем Васильем Голицыным в товарищах воеводой», участвовал в обороне Чигирина².

Как видим, карьера Андрея Васильевича на последнем отрезке его жизненного пути протекала под эгидой Василия Васильевича Голицына. С князем был связан и его сын. Служба Петра Андреевича, как и служба большинства детей служилых людей средней руки, проходила при отце. На этот счет имеются показания самого Петра Андреевича, зарегистрированные еще в 1680 г. Толстой тогда поведал, что с 1665 по 1669 г. он находился на государевой службе при отце в Чернигове, где «в осаде сидел тридцать три недели». Вместе с отцом участвовал он и в Чигиринских походах В. В. Голицына.

Из-под родительской опеки Толстой освободился, будучи уже достаточно взрослым человеком, в 1671 г., когда ему было 26 лет. В этом году он получил чин стольника при дворе царицы Натальи Кирилловны Нарышкиной, а спустя шесть лет стал стольником при дворе царя Федора Алексеевича. Петр Андреевич не извлек материальных выгод из своей службы. Во всяком случае, вплоть до 1681 г. он неизменно показывал: «...государева жалованья, поместья и вотчин за мною нет ни единого двора, ни единой четверти»³.

Известно, что Петр Толстой принимал живейшее участие в стрелецком бунте 1682 г. Прежде чем описать роль его в этом событии, коротко расскажем о том, как оно протекало.

После смерти 27 апреля 1682 г. царя Федора Алексеевича на царскую корону претендовали два его брата: старший из них — Иван родился от первой жены царя Алексея Михайловича Марии Ильиничны Милославской; младшим был Петр, родившийся от второго брака. Матерью его была Наталья Кирилловна Нарышкина.

Конечно же ни косноязычный и подслеповатый Иван, болезненный и скудоумный, ни десятилетний Петр, хотя и отличавшийся живым умом, по малолетству не помышля-

ли о троне. За их спиной и их именем действовали взрослые родственники. Кандидатуру Ивана поддерживали Милославские, среди которых выделялся немолодой, опытный и энергичный интриган боярин Иван Михайлович Милославский. Душой этой группировки была царица Софья — умная, властная и честолюбивая женщина. Она не пожелала коротать время в тереме и решила попытаться счастья в борьбе за трон. На стороне Петра находились Нарышкины — мать и дядья Петра, среди которых не было ни одной сколь-либо значительной фигуры.

Преимущественным правом наследовать престол обладал Иван, но при активной поддержке патриарха Иоакима царем был провозглашен Петр. Группировка Милославских не смирилась с этим и в борьбе против Петра и Нарышкиных апеллировала к стрельцам. Стрелецкое войско, пользовавшееся при царице Алексее Михайловиче существенными льготами и привилегиями, лишилось их при безвольном и больном Федоре Алексеевиче, лишь номинально значившемся царем. Страной правили временщики, более всего обеспокоенные личной наживой. Слабостью центральной власти воспользовались командиры стрелецких полков. Они обирали своих подчиненных, использовали их труд в своем хозяйстве и жестоко наказывали за малейшую провинность. У стрельцов были, следовательно, свои основания для недовольства, и требовался лишь небольшой толчок, для того чтобы привести эту массу вооруженных людей в движение.

Группировка Софьи — И. М. Милославского ловко направила гнев стрельцов на своих противников в борьбе за власть — Нарышкиных. Среди стрельцов пронесся слух, исходивший от Милославских и оказавшийся, как потом выяснилось, ложным, о том, что Нарышкины «извели» царевича Ивана. 15 мая 1682 г. по зову набата стрелецкие полки с развернутыми знаменами и барабанным боем двинулись к Кремлю, чтобы расправиться с неугодными боярами. Список их был составлен заранее и подброшен стрельцам.

В итоге кровавых событий 15—17 мая большая часть Нарышкиных и их сторонников была истреблена. Стрельцы провозгласили царями Ивана и Петра, а регентшей при них до их совершеннолетия — царевну Софью. Власть фактически оказалась в руках Софьи; она правила страной до 1689 г., когда победу в борьбе с ней одержал Петр.

Петр Андреевич Толстой в острой схватке за власть действовал на стороне Софьи и Милославских. Не вполне ясно, какие пути-дороги привели Толстого в лагерь противников Петра.

Для французского консула Виллардо, составившего краткую биографию Толстого, сомнений в мотивировке

поступков Петра Андреевича не существовало. Он писал: «Смерть царя Федора заставила его (Толстого.— Н. П.) покинуть двор и поступить на военную службу. Он стал адъютантом одного из генералов того времени, Милославского, который был главным зачинщиком бунта стрельцов против царя Петра Первого»⁴.

Сомнительно, однако, чтобы в течение 18 дней, отделявших смерть царя Федора от бунта 15 мая, Петр Толстой, человек очень осмотрительный и осторожный, очертя голову бросился в водоворот бурных событий, участие в которых могло стоить ему головы. Но версия Виллардо, дополненная сведениями из биографии боярина А. С. Матвеева — опоры Нарышкиных, становится уже убедительной. «Записки» Андрея Артамоновича Матвеева, сына казненного стрельца Артамона Сергеевича, подтверждают заявление Виллардо о том, что Толстой был адъютантом или есаулом Милославского, и в дополнение к этому сообщают важную деталь: братья Толстые доводились И. М. Милославскому племянниками. Именно родственные отношения проясняют позицию П. А. Толстого в споре брата с сестрой за корону. Впрочем, документальных данных, подтверждающих родство Милославских с Толстыми, нет. Между тем иметь бы их не мешало, ибо в другом сочинении, описывающем эти же события, племянником И. М. Милославского назван Александр Иванович Милославский, а о родственных связях Петра Толстого с Иваном Михайловичем нет ни слова⁵.

Роль Толстого в майских событиях 1682 г. сводилась к тому, что он — по одним сведениям, лично, а по другим — через клеветов — распространял среди стрельцов провокационный слух об умерщвлении царевича Ивана, чем подвигнул их на поход к Кремлю. «Записки» А. А. Матвеева сообщают такую подробность, как масть лошадей, что по идее должно было придать описанию факта большую достоверность: Александр Милославский и Петр Толстой, «на прытких серых и карих лошадях скачучи, кричали громко, что Нарышкины царевича Иоанна Алексеевича задушили и чтоб с великим поспешением они, стрельцы, шли в город Кремль на ту свою службу»⁶.

Заметим, что в «Записках» нашло отражение резко враждебное отношение их автора к Толстому. И это неудивительно, ибо А. А. Матвеев считал его одним из виновников гибели своего отца. Тем не менее Андрей Артамонович отозвался о братьях Толстых как о людях «в уме зело острых и великого пронырства». Они имели прозвище шарпенков.

О 12 последующих годах жизни Толстого (1682—1694) ничего не известно, кроме того, что он возобновил службу при дворе. За услугу, оказанную Софье во время бунта,

Петр Андреевич был пожалован в комнатные стольники к царю Ивану Алексеевичу.

Можно сказать с уверенностью, что Софьей он не был обласкан, как, впрочем, не был окружен заботой и Петром. Имя Толстого упомянуто известными нам источниками лишь в 1694 г., когда он в глухомани, в Устюге Великом, служил воеводой. Во время путешествия Петра в Архангельск прибытие его в Устюг Великий было ознаменовано пушечным и ружейным салютом с крепостного вала. Воевода предложил гостям ужин.

Надо полагать, что личная встреча царя с Толстым положила начало сближению между ними. Взгляните на гравюру Шхонебека, запечатлевшую конную группу участников взятия Азова: в центре ее с саблей в руке — Петр, за ним (справа налево) — П. А. Толстой, М. Б. Шереметев, Лефорт (спиной), А. М. и Ф. А. Головины, Гордон-младший и П. Гордон (в профиль), справа от Петра — А. С. Шеин. К этому времени Толстой вернулся на военную службу и получил чин сначала прапорщика, а затем капитана гвардейского Семеновского полка.

Надо отдать должное умению Петра Андреевича приспосабливаться к изменяющейся обстановке. Другой на его месте, потерпев неудачу в борьбе за трон на стороне Софьи, замкнулся бы в себе или озлобился в ожидании либо падения, либо смерти Петра и участвовал бы в заговорах против него, как то делал думный дворянин полковник стрелецкого Стремяного полка И. Е. Циклер. Толстой так не поступил. Он проявил выдержку, терпение и понимание того, что единственный путь поправить свои дела лежал через завоевание доверия царя. Этой целью и руководствовался Петр Андреевич, когда в 1697 г. в возрасте 52 лет, будучи дедушкой, испросил у царя разрешения отправиться волонтером в Италию.

Толстой знал, что делал: ничто не могло вызвать такого расположения царя, как желание изучать военно-морскую науку.

Хотя Толстой и значился в общем списке с 37 отпрысками знатнейших фамилий, но при чтении его «Путевого дневника» создается впечатление, что он ехал в Италию в полном одиночестве и, находясь в этой стране, не общался с прочими волонтерами. Между тем документы итальянских архивов свидетельствуют, что Толстой жил в Италии, овладевал там военно-морским делом и путешествовал по стране вместе с другими учениками.

Дневниковые записки Толстого — великолепный источник для изучения мироощущения их автора, круга его интересов и вкусов. Уместно напомнить, что почти одновременно с Толстым туда держал путь и Шереметев, тоже оставивший путевые записки.

Толстой и Шереметев занимали разные ступени социальной иерархии русского общества. Петр Андреевич отправился в путь, имея скромный чин стольника; Борис Петрович — выходец из древнего аристократического рода, боярин. Эти различия подчеркивала свита: у Шереметева она была многочисленной и даже пышной; Толстого же сопровождали два человека — солдат и слуга. Толстой вел дневник сам; Шереметев подобным занятием себя не обременял: записи вел кто-то из его свиты.

Петр Андреевич выехал из Москвы 26 февраля 1697 г., имея инструкцию с перечнем знаний и навыков, которыми он должен был овладеть в Италии. Главная цель пребывания в этой стране — научиться пользоваться морскими картами, овладеть искусством водить корабли и управлять ими во время сражения. В знак особого усердия волонтеры, и среди них Толстой, могли обучиться также кораблестроению и за это «получить милость большую по возвращении своем».

Границу России Толстой пересек 23 марта, а неделю спустя переправился на пароме через Днепр и оказался «в городе короля польского Могилеве». С этого времени дневниковые записи становятся более обстоятельными — чем дальше на запад, тем ярче достопримечательности: «И ехал я от Вены до итальянской границы 12 дней, где видел много смертных страхов от того пути и терпел нужду и труды от прискорбной дороги». Как и Шереметеву, Толстому врезался в память и вызвал у него немало переживаний путь через Альпы: «...не столько я через те горы ехал, сколько шел пеш и всегда имел страх смертный пред очима»⁷.

Сопоставление дорожных впечатлений Шереметева и Толстого показывает, что путешественники обладали разной степенью наблюдательности и любознательности и далеко не одинаковым умением фиксировать свои впечатления. Предпочтение по всем параметрам должно отдать Толстому. Если бы Россия того времени знала профессию журналиста, то первым из них мог стать Петр Андреевич. Для этого у него были все данные: наблюдательность, владение острым пером, умение сблизиться с людьми в незнакомой стране.

«Путевой дневник» помогает составить представление о Толстом через восприятие им увиденного: что привлекло внимание автора, что сохранила его память и что попало на страницы сочинения, а что осталось незамеченным; как путешественник был подготовлен к тому, чтобы в полной мере оценить увиденное.

Цель приезда Толстого в Италию предоставляла ему право ограничить свой интерес военно-морским делом. Но Толстой-путешественник достаточно выпукло проявил од-

но из свойств своего характера — любознательность. Куда она его только ни приводила — в церкви и монастыри, зверинцы и промышленные предприятия, учебные заведения и госпитали, правительственные учреждения и ватиканские дворцы. Он не довольствовался личными наблюдениями, так сказать зрительными впечатлениями, и постоянно вопрошал, стремясь постичь суть явления. Общению с итальянцами помогало знание языка, которым он в совершенстве овладел за время пребывания в стране.

Петр Андреевич обладал рядом способностей, крайне необходимых путешественнику: находясь в чужой стране, среди незнакомых людей, он не проявлял робости, вел себя с достоинством, как человек, которого ничем не удивишь, ибо он ко всему привык; другой дар — умение завести знакомства, располагать к себе собеседника. Скванность была чужда складу его характера, и он быстро находил пути сближения со множеством людей, с которыми встречался.

Можно привести целый ряд примеров того, как общительность Толстого и его обаяние оказывали ему добрую услугу. В городе Бари Петр Андреевич настолько пленил губернатора, что тот обратился к своему брату, жившему в Неаполе, с просьбой учинить нашему путешественнику «почтение доброе». Приехав в Неаполь, он оказался под опекой дворянина, который, как записал Толстой, «принял меня с любовью». Гостеприимство и предупредительность неаполитанцев к Толстому проявлялись во многом: то они изъявили желание показать приезжему учебное заведение, то «неаполитанские жители, дуки, маркизы и кавалеры» просили его разделить с ними компанию в морской прогулке. Любезность неаполитанских дворян простиралась до того, что они «разсуждали с великим прилежанием о проезде» его в Рим.

Об умении внушать к себе доверие свидетельствует любопытнейший факт, имевший место в том же Неаполе: вместо уплаты наличными за проживание в гостинице Толстой оставил ее владельцу «заклад до выкупу», т. е. заемное письмо на 20 дукатов, на следующих условиях: «...ежели кому московскому человеку случится в Неаполь приехать, чтоб тот мой заклад у него выкупил, а я ему за то повинен буду платить».

Покидая Неаполь, Толстой заручился рекомендательным письмом к мальтийским кавалерам; его «писал один мальтийский же кавалер из Неаполя и просил их о том, чтоб они явились ко мне любовны и показали б ко мне всякую ласку»⁸.

Сравнение «Путевого дневника» Толстого с «Записками путешествия» Шереметева выявляет общую для обоих авторов черту: они чаще всего ни прямо, ни косвенно не

выражают своего отношения к увиденному и услышанному и как бы бесстрастно регистрируют свои впечатления. Хорошо или плохо, что улицы многих городов вымощены камнем и освещаются фонарями? Достойно ли подражания устройство парков и фонтанов или презрительное отношение к пьяницам? Следует ли перенять устройство госпиталей, где лечили и кормили бесплатно, а также академий с бесплатным обучением? Не высказал Толстой прямого отношения и к легкомысленному поведению венецианок, хотя, надо полагать, оно ему было вряд ли по душе.

Из сказанного отнюдь не вытекает, что эмоции Толстого спрятаны так глубоко, что читатель лишен возможности увидеть позицию автора. Из такта, чтобы не обидеть гостеприимную страну, он не осуждал того, что было достойно осуждения. Из тех же соображений он не осуждал порядков в родной стране, хотя имел множество возможностей для сопоставления и противопоставления, причем родное не всегда представлялось ему в выгодном свете. Перед читателем предстает человек доброжелательный. В его взгляде скорее изумление и снисходительность, нежели вражда и настороженность.

Центральное место в «Записках путешествия» Шереметева занимает описание аудиенций у коронованных особ: у польского короля, цесаря, а также у мальтийских кавалеров и папы римского.

Шереметев провел в Вене около месяца и только шесть дней потратил на приемы и банкеты. Следовательно, Борис Петрович располагал уймой времени, чтобы осмотреть достопримечательности австрийской столицы, поделиться впечатлениями об увиденном, рассказать о встречах с интересными собеседниками. Ничего этого в «Записках путешествия» нет. Напрашивается мысль, что остальные 20 дней Шереметев коротал в гостинице и был абсолютно равнодушен к тому, что находилось за ее пределами. Вряд ли, однако, Борис Петрович лишил себя удовольствия осмотреть город и его окрестности. Но следов этого интереса он не оставил.

Иное дело Толстой. В Вене он пробыл лишь шесть дней, но сколько за этот короткий срок он увидел и описал! Что только не бросилось ему в глаза: и отсутствие деревянных строений в городе, и «изрядные» кареты, в которых восседали аристократы, и обилие церквей и монастырей. Петр Андреевич посетил костел, цесарский дворец, монастырь. Каждый визит отмечен записью необычного. В костеле его поразил многолюдный хор и оркестр — 74 человека. В цесарском дворце, расположенном у самой городской стены, его внимание привлекли разрушения. Они, как выяснил Толстой, были результа-

том артиллерийского обстрела дворца османами, осаждавшими город. Он успел осмотреть зверинец, в котором «всяких зверей множество»; изваяние Фемиды у ратуши — «подобие девицы вырезано из белого камня с покровенными очми во образе Правды, якобы судит, не зря на лицо человеческое, праведно»; посетил госпиталь, где больных содержали бесплатно. Потолкался он и в рядах городского рынка, где обнаружил обилие всякого рода товаров. В парке ему приглянулись клумбы, затейливо обрезанные кустарники, а также обилие цветов в горшках, расставленных «архитектурально».

Наибольший интерес представляет та часть «Путевого дневника» Толстого, в которой запечатлено его пребывание в Италии. Петр Андреевич исколесил почти всю страну, посетив Венецию, Бари, Неаполь, Рим, Флоренцию, Болонью, Милан, Сицилию. Стольнику не довелось побывать лишь на северо-западе Апеннинского полуострова — в Турине.

В Италию Толстой прибыл, располагая достаточно обширным багажом впечатлений. Путешественника, например, не могли уже удивить каменные здания и вымощенные улицы итальянских городов. Поразила Толстого Венеция. У него разбегались глаза — столько непривычного предстало перед его взором: каналы вместо улиц, способ передвижения по городу, внешний вид зданий. По инерции Толстой отметил, что в Венеции «домовное строение все каменное», но тут же счел необходимым подчеркнуть неповторимые черты города: «В Венеции по всем улицам и по переулкам по всем везде вода морская и ездят во все дома в судах, а кто похочет идтить пеш, также по всем улицам и переулкам проходы пешим людям изрядные ко всякому дому».

Дома «изрядного каменного строения» либо «доброй работы» Толстой видел в Местре, Виченце, Вероне, Болонье. Судя по «Путевому дневнику», его автор не пылкая натура, легко поддающаяся эмоциям при осмотре ранее невиданного, а умудренный жизненным опытом человек, у которого рассудок берет верх над чувствами. Восторженность не свойственна Петру Андреевичу: он хладнокровен, а иногда даже сдержан при описании увиденного. Исключение составляет Мальта: «Город Мальт сделан предивною фортификациею и с такими крепостями от моря и от земли, что уму человеческому непостижимо». Здесь эмоции взяли верх над рассудком, и стольник отказался от намерения сообщить обстоятельные сведения о крепостных сооружениях, а дал волю восторгу: «...ум человеческий скоро не обымет подлинно о том писать, как та фортеца построена; только об ней напишу, что суть во всем свете предивная вещь, и не

бойца та фортеца приходу неприятельского со множеством ратей, кроме воли божеской»⁹.

Наряду с архитектурой внимание Толстого привлекла еще одна диковинка, которую он неизменно отмечал на протяжении всего путешествия. Речь идет о фонтанах. Записки пестрят отзывами о них типа «преславные», «предивные», «изрядные» и т. п.

Первое знакомство с фонтанами состоялось в Варшаве и Вене, но ни с чем не сравнимы были фонтаны Рима и его окрестных парков. Толстой иногда чистосердечно признавался, что у него не доставало умения и слов, чтобы должным образом описать увиденное и передать гамму чувств, им овладевших: «...а какими узорочными фигурами те фонтаны поделаны, того за множеством их никто подлинно описать не может, а ежели бы кто хотел видеть те фонтаны в Риме, тому бы потребно жить два или три месяца и ничего иного не смотреть, только б одних фонтан, и на силу б мог все фонтаны осмотреть».

И все же путешественнику удалось донести до читателя красоту некоторых фонтанов в окрестностях Рима: «...первая фонтана— вырезан лев из камня, против него также из камня вырезан пес, и, когда отпрут воду, тогда лев со псом учнут биться водою, и та вода от них зело высоко брызжет, и около их потекут вверх многие источники вод зело высоко». Особый восторг вызвали у Толстого фонтаны с музыкальным устройством: человек «держит в руке один великий рог и тою же водою действует в тот рог, трубит подобно тому, как зовут в роги при псовой охоте». Рядом вода приводила в действие волынку или флейты у десяти девиц. Ему довелось наблюдать и фонтаны с сюрпризами, обливавшие водой всякого, кто наступал на секретное устройство¹⁰.

Знакомство с внешним видом городов, архитектурой зданий и благоустройством улиц происходило как бы само собой, мимоходом и не требовало специальных усилий. Необходимо было только смотреть, запоминать и заносить увиденное на бумагу. Без специальных затрат энергии постигалась еще одна сторона городской жизни— быт. У Толстого знакомство с ним начиналось с остерий, как называл он по-итальянски гостиницы.

Первое знакомство с итальянскими гостиницами состоялось в Венеции. Русскому путешественнику в диковинку показались комфорт и роскошь внутреннего убранства остерий. Приезжему иностранцу «отведут комнату особую; в той же палате будет изрядная кровать с постелью, и стол, и кресла, и стулы, и ящик для платья, и зеркало великое, и иная всякая нужная потреба». Слуги «постели перестилают по вся дни, а простыни белые стелят через неделю, также палаты метут всегда и нужные потребы

чистят». Кормили гостей дважды—обедом и ужином, пища «в тех остериях бывает добрая, мясная и рыбная». На стол подавали «довольно» виноградных вин и фруктов. Все эти услуги стоили бешеных денег—15 алтын в сутки, что в переводе на золотые рубли конца XIX—начала XX в. составляло около 8 руб.

Нашего путешественника более всего, кажется, удивляло наличие белоснежного постельного белья. Где бы ни останавливался на ночлег Толстой, он обязательно запишет, что ему предоставили «палату изрядную, где спать, и в ней кровать с завесом и постелею чистою». «Белые простыни» фигурируют почти в каждой записи, посвященной остериям.

Особенным убранством отличались гостиницы для иностранцев в Риме. «Остерии в Риме, в которых ставятся форестеры (приезжие иноземцы.— *Н. П.*), зело богаты и уборны; палаты в них обиты кожами золочеными и убраны изрядными картинами; кровати изрядные золоченые, постели также хорошие, простыни всегда белые с кружевами изрядными. И когда хозяин остерии кормит форестеров, тогда на столах бывают скатерти изрядные белые и полотенца ручные белые ж по вся дни, блюда и тарелки оловянные изрядные, чистые, ножи с серебряными череньями, а вилки и ложки и солонки серебряные, все изрядно и чисто всегда бывает»¹¹.

Внимание Толстого привлекали обычаи и нравы итальянцев. Надо быть очень наблюдательным человеком, чтобы в короткий срок уловить различия в поведении жителей некоторых провинций. «Медиоланские (миланские.— *Н. П.*) жители—люди добронравные, к приезжим иноземцам зело ласковые»,—писал он. У жителей Болоньи Толстой обнаружил приятную черту—приветливость: «Болонские жители—люди добрые и зело приветные». С похвалой он отозвался и о жителях Венеции: «Венециане—люди умные, и ученых зело много; однакож нравы имеют видом неласковые, а к приезжим иноземцам зело приемны»; население Венеции живет «всегда во всяком покое». Впрочем, идиллическую картину жизни венецианцев Толстой сам же и опровергает, сообщая, что сенаторы натравливают жителей одного городского района на другой, в результате чего происходят грандиозные кровопролития. Цель разжигания вражды отнюдь не свидетельствовала о том, что население Венеции жило «во всяком покое, без страху и без обиды»; жителей «ссорят, чтобы они не были между собою согласны, для того, что боятся от них бунтов»¹².

Приведем описание Толстым одного из эпизодов маскарара в Венеции: «И так всегда в Венеции увеселяются и не хотят быть никогда без увеселения, в которых своих

веселостях и грешат много, и, когда сойдутся на маскарахах на площадях к собору св. Марка, тогда многие девицы берут в маскарах за руки иноземцев приезжих и гуляют с ними и забавляются без стыда». В отличие от венецианок, которые «ко греху телесному zelo слабы», неаполитанские женщины целомудренны и скромны: в Неаполе «блудный грех под великим зазором (порицанием.— Н. П.) и под страхом, и говорить о том неаполитанцы гнушаются, не только что делать». Толстой одобрительно отозвался и о поведении римлянок: «Женский народ в Риме зазорен (стыдлив.— Н. П.) и не нагл и блудный грех держит под великим смертным грехом и под зазором, а наипаче под страхом». Симпатию вызвали у него и женщины Болоньи: «Женский народ в Болонии изрядный, благообразный».

И еще на одно обстоятельство обратил внимание наш путешественник: повсюду в продаже огромное количество разнообразных вин и в то же время пьяных нет. «Также пьянство в Риме под великим зазором: не токмо в честных людях и между подлым народом пьянством гнушаются». Пьянство сурово осуждалось не только в Риме, но и в других городах Италии¹³.

Толстой не довольствовался регистрацией того, что ему попадалось на глаза: он специально ездил осматривать разного рода достопримечательности. Так он поступил, будучи в Неаполе: «Рано нанял я себе коляску и поехал смотреть удивления достойных вещей, обретающихся в ближних местах от Неаполя»¹⁴. Иногда его сопровождал гид. В Риме, например, папа прикрепил к Петру Андреевичу своего конюшого, который показывал ему город.

Далеко не все достопримечательности нашли достойное отражение в дневниковых записках. Скорее всего, на страницы дневника попадали случайные сведения, и притом не всегда главные.

Описывая библиотеку древнейших рукописей в илане, Толстой не касается их содержания и духовной ценности, но зато сообщает, что за четыре медные доски, по аршину в длину и ширину каждая, с изображением на них четырех стихий польский король согласен был уплатить 64 тыс. червонных золотых. В той же библиотеке он «видел книгу zelo велику математических наук», которую английский король готов был купить за 8 тыс. червонных золотых. Здесь же пояснение: «...медноланцы из той библиотеки никакой вещи ни за что не продают». О ватиканской библиотеке Петр Андреевич лишь упомянул, что ее «полки накладки книг разных» общей численностью свыше 40 тыс. экземпляров, среди них «множество древних». Но ни одна из этого «множества» книг не привлекла его внимания.

Столь же мало сведений можно почерпнуть и об академиях. Крупнейшая Падуанская академия, где изучали медицину 1 тыс. человек, удостоилась лишь описания выпускного обычая: инспектор водил по городу студента, окончившего курс наук, а шедший впереди приятель студента разбрасывал прохожим деньги, за что они кричали: «Виват, виват!»

О Неаполитанской академии, которая тоже готовила медиков, Петр Андреевич счел возможным сообщить лишь, что она размещалась в 120 палатах и обучалось в ней 4 тыс. студентов. В заключение он описал внутренний вид палаты, где происходили диспуты—выпускные экзамены. Какие дисциплины преподавались в академии, как были организованы учебный процесс и практические занятия, срок обучения, квалификация преподавателей, оборудование кабинетов—все это и многое другое осталось за пределами внимания путешественника.

Обстоятельно описал Толстой платное училище в Неаполе, принадлежавшее иезуитам. Быть может, наличие подробностей объяснялось профилем учебного заведения: дворянских детей обучали там не столько премудростям науки, сколько тому, что должно было придать им светский лоск,—фехтованию, танцам, верховой езде. Петру Андреевичу показали результаты обучения, и он настолько поразился, что записал: «И те студенты зело меня удивили, как бились на шпадах и знаменем играли, и танцовали зело малолетние ребятки лет по 10 или по 12; а в науках своих зело искусны»¹⁵.

За время пребывания в Италии Толстой посетил немало госпиталей. Все они описаны по одному плану: количество больных, указание на бесплатное их лечение и содержание и непременно сведения об условиях жизни больных. В миланском госпитале «болящим поделаны кровати хорошие точеной работы, и постели на кроватях поделаны хорошие с чистыми белыми простынями, и у всякой кровати поделаны завесы стамедные вишневые». В госпитале в Неаполе, рассчитанном на содержание 250 женщин и 250 мужчин, «поделаны болящим кровати изрядные, и постели покойные, и завесы хорошие, и у всякого болящего поставлен у кровати столик малый и сосуды, из чего ему пить и есть».

Наибольшее впечатление оставил ватиканский госпиталь в Риме. Здесь Толстому показали не только палаты для больных, но и подсобные помещения: поварню, столовую. Осмотр начался с первого этажа, где размещались больные из простонародья: «Они лежат по кроватям на перинах и на белых простынях, и всякий там болящим покой в пище и в лекарствах и во всем чинится папиною казною». На втором этаже, где находились больные

«дворянских пород», обстановка была еще краше: «Кровати им поделаны хорошие с завесами и всякие покои устроены изрядно». Милосердие итальянцев привело нашего путешественника в умиление, и он не удержался от сентенции: «По сему делу у римлян познавается их человеколюбие, какого во всем свете мало где обретается»¹⁶.

Читатель, видимо, заметил, что Толстой всякий раз, когда ему представлялась возможность, стремился придать денежное выражение увиденным ценностям. Практицизм Петра Андреевича особенно бросается в глаза при описании им Падуанского горячего источника. О целебных его свойствах в дневнике сказано столь же кратко, как и неясно: «...дохтуры падовские говорят, что та горячая от естества своего вода к здравию человеческого зело употребительна». Восторженное удивление вызвало у него использование воды не в лечебных, а в хозяйственных целях: «Смотри разума тех обитателей италианских: и ту воду, которую на всем свете за диво ставят, даром не потеряли, ища себе во всем прибыли».

Казалось бы, что именно знакомство со сферой промышленной деятельности, где предприниматели искали себе «во всем прибыли», должно было навести Толстого на всякого рода размышления меркантильного характера. Как раз этого и не произошло.

Свои впечатления от мануфактуры по изготовлению парчи Петр Андреевич выразил одной фразой: «Те мастера делают парчи поспешно и хорошо и при (против.— *Н. П.*) московского ценою дешево». Там же, в Венеции, Толстой посетил зеркально-стекольный завод, но не записал в дневник никаких подробностей о самом производстве и выпускаемых изделиях, отметив только: «...видел, где делают стекла зеркальные великие и сосуды стеклянные всякие предивные и всякие фигурные вещи стекольчатые»¹⁷.

Печать равнодушия лежит и на описании Арсенала в Венеции. Он был местом не только хранения, но и изготовления разнообразного оружия: пушек, пистолетов, карабинов, шпаг и т. п. В складских помещениях хранилось столько этого добра, что им можно было вооружить 15 тыс. конницы и 25 тыс. пехоты. При Арсенале находились верфи. Напомним, что о желательности изучения кораблестроения речь шла в инструкции Толстому и прочим волонтерам. Однако увиденное на верфи было запечатлено в дневнике так: «На том же дворе делают всякие суды: корабли, каторги, галиоты, марцильяне и иные всякие к морскому плаванию суды, и всегда бывают на том дворе работных людей для строения морских судов по 2000 человек...» Вопреки ожиданиям осмотр верфи не

вызвал у Толстого желания сравнить венецианскую верфь с воронежской, на которой он, бесспорно, бывал и, возможно, угождая царю, работал топором.

Толстой не отличался щедростью по части аналогий — к ним он прибегал нечасто, причем мысль о сравнении российских порядков с итальянскими пришла ему почему-то в Неаполе. На его долю падает бóльшая часть сопоставлений в дневнике. Толстой, например, обнаружил некоторое сходство, во всяком случае внешнее, московских приказов с приказами неаполитанского трибунала, где «безмерно многолюдно всегда бывает и теснота непомерная, подобно тому как в московских приказах; а столы судейские и подьяческие сделаны власно так, как в московских приказах, и сторожи у дверей стоят всякого приказу, подобно московским».

В Неаполе Петр Андреевич вспомнит о приказах еще дважды. Один раз — при посещении кармелитского монастыря, когда ему показали палаты, «в которых пишут приход и расход казны»: «...сидят многолюдно, подобно тому как бывает в московских приказах много подьячих». Далее регистрации «многолюдства» и «тесноты» Толстой не пошел и от каких-либо рассуждений воздержался. Сопоставление — правда, робкое и глухое — можно обнаружить и в описании судебного процесса: подьячий записывал показания двух судившихся людей «подобно тому, как в Москве», однако судившиеся «говорят чинно, с великою учтивостью, а не с криком». Хотя Толстой не уточняет, где не соблюдается «учтивость» и судебное разбирательство сопровождается «криком», но, надо полагать, речь идет о московских судах.

Толстому конечно же ближе аналогии бытового плана: «Обыкность в Неаполе у праздников подобна московской. У той церкви, где праздник, торговые люди поделают лавки и продают сахара и всякие конфекты, и фрукты, и лимонады, и щербеты». Родную Москву ему напомнили кареты со знатными седоками, за которыми следовало большое количество пеших слуг. Некоторое сходство с Москвой Толстой обнаружил, созерцая неаполитанскую архитектуру: «Палаты неаполитанских жителей модою особою, не так, как в Италии, в иных местах подобятся много московскому палатному строению». Усмотрел он общность также в поведении неаполитанских и московских женщин: в Неаполе «женский пол и девицы имеют нравы зазорные (стыдливые. — Н. П.) и скрываются, подобно московским обычаям»¹⁸.

До сих пор мы имели дело с Толстым-дилетантом: он записывал то, что видел, не всегда проявляя интерес к существу увиденного. В одних случаях у него недоставало знаний, навыков и опыта, чтобы постичь суть предмета, в

других — увиденное вызывало удивление, но не более того. Петр Андреевич предстает перед читателем в ином качестве, когда заносит в дневник результаты осмотров монастырей и особенно церквей. Делал он это с таким знанием дела и осведомленностью о церковных догматах и обрядах, что можно подумать: автор либо священник, либо богослов.

Ни тем ни другим Петр Андреевич не был. Его эрудиция — результат сочетания двух качеств, присущих образованному человеку XVII в.: как человек глубоко религиозный, Толстой знал все мелочи и тонкости церковного ритуала и вместе с тем принадлежал к числу людей, которых принято называть книжниками. Правда, образованность и начитанность книжника XVII в. практически не выходила за пределы церковной литературы. Именно поэтому от внимания автора не ускользают детали, отличавшие католическое богослужение от православного и убранство церкви от костела.

С благоговением описываются в «Путевом дневнике» мощи св. Николая в Бари, повествуется о его чудесах и изображении лика на иконе. В большинстве случаев Толстой не отказывает себе в удовольствии подробно остановиться на убранстве костелов. Точно и обстоятельно описан костел на Мальте: алтарь, рука Иоанна Предтечи, части тела многочисленных святых, кресты, дароносица и прочие золотые сосуды «предивной работы» — ничто не ускользнуло от его внимания. Не пожалел Петр Андреевич ни бумаги, ни времени для рассказа о соборе св. Петра в Риме. Начал он с общей оценки величественного сооружения: «Церковь св. апостола Петра зело велика, какой другой великостью на всем свете нигде не обретается, и предивным мастерством сделана». Затем обстоятельно описал паперть, а в самом соборе — алтарь, место, где «лежат телеса св. апостолов Петра и Павла», вход к мощам, скульптурные изображения святых, орган и т. д.¹⁹

Толстой, как уже отмечалось, отправился в дальний путь не ради осмотра достопримечательностей Италии, а с целью обучения военно-морскому делу. Дневник в известной мере отражает и эту сторону жизни и деятельности Петра Андреевича.

Морская практика Толстого в общей сложности продолжалась два с половиной месяца. В первое, самое продолжительное плавание он отправился из Венеции 10 сентября 1697 г., а вернулся 31 октября. В путевых записках читаем: «Нанял я себе место на корабле, на котором мне для учения надлежащего своего дела ехать из Венеции на море, и быть мне на том корабле полтора месяца или и больше...» Это плавание можно назвать

каботажным, ибо корабль плыл вдоль восточного побережья Апеннинского полуострова, заходя в Ровинь, Пулу, Бари.

Второе плавание было менее продолжительным. Корабль, на котором Толстой отбыл из Венеции 1 июня 1698 г., заходил в Дубровник, но на этот раз в Венецию не возвратился, а высадил навигатора на юге Италии, в городе Бари. Оттуда он по суше добрался до Неаполя, чтобы 8 июля начать третье плавание. Корабль держал путь на Мальту с заходом на Сицилию.

Дневниковые записи, к сожалению, не могут удовлетворить самого элементарного любопытства читателя: из них невозможно извлечь сведений о том, какие навыки приобретал Толстой, в чем он практиковался, какую при этом проявил сноровку и т. д. Дневник сообщает лишь о направлении движения корабля, о стоянках, попутном или противном ветре. С видимым удовольствием описывал навигатор морские приключения.

В ночь на 21 октября 1697 г. корабль застигла буря: «Нам был отовсюды превеликий смертный страх: вначале боялись, чтоб не сломало превеликим ветром арбур... потом опасно было, чтоб в темноте ночной не ударить кораблем об землю или о камень; еще страх был великий не опрокинуть корабля». Все, однако, обошлось: мачта не сломалась, корабль не сел на мель и не опрокинулся. Оставило след в памяти и второе морское приключение. 16 июля 1698 г. фелюга, на которой находился Толстой, держала курс от Сицилии к Мальте и в море встретилась с тремя османскими кораблями, каждый из которых имел на вооружении 60 пушек. Вступить в сражение с превосходящими силами было безрассудно, и фелюга вместе с тремя мальтийскими галерами укрылась в гавани.

Каждое плавание заканчивалось выдачей Толстому аттестата с оценкой его успехов в овладении военно-морским ремеслом. Например, капитан корабля «Св. Елизавета», на котором наш навигатор проходил первую морскую практику, отзывался о нем так: «...в познании ветров так на бусsole, яко и на карте и в познании инструментов корабельных, дерев и парусов и веревок есть, по свидетельству моему, искусный и до того способный». Судя по содержанию второго аттестата, главная задача корабля, на котором находился Толстой, состояла в том, чтобы дать сражение османскому кораблю. Встреча с противником не состоялась, ибо, как сказано в аттестате, османы, «видя свое безсилie, утекли к берегу». Это, однако, не помешало капитану корабля засвидетельствовать, что «именованный дворянин московский купно с солдатом всегда были не боязливы, стоя и опираясь злой фортуне».

Накануне отъезда из Венеции на родину, 30 октября 1698 г., венецианский князь выдал Толстому аттестат, как бы подводивший итоги овладению им всеми премудростями военно-морской науки. Оказывается, Петр Андреевич прошел курс теоретической подготовки и постиг навыки кораблевождения: в осеннее время 1697 г. он «в дорогу морскую пустился, гольфу нашу преезжал, на которой чрез два месяца целых был неустрашенной в бурливости морской и в фале фортуна морских не устрасился, но во всем с теми непостоянными ветрами шибко боролся...». Все, кому надлежало, должны были знать, что Толстой — муж смелый, рачительный и способный²⁰.

Если верить лестным оценкам аттестатов, то Россия в лице Толстого приобрела превосходного моряка. Оговоримся, однако, что проверить соответствие аттестации волонтера его реальным познаниям невозможно, ибо Петр Андреевич не служил на море ни одного дня.

Петр, отличавшийся даром угадывать призвание своих сподвижников, нашел знаниям и талантам Толстого иное применение: вместо морской службы он определил его в дипломатическое ведомство, и, похоже, не ошибся.

Петр Андреевич вернулся на родину обогащенный знаниями и разнообразными впечатлениями. Радость по поводу прибытия в родной дом выражает заключительная фраза дневника: «Того же числа (27 января 1699 г.— Н. П.) приехал в 3-м часу ночи в царствующий град Москву, в дом свой в добром здравье, за что благодарил всемилостивейшего господа бога и пресвятую богородицу и угодников божиих, что из так далеких краев и из чужного странствия волею божескою возвратился во отечество свое в добром здравье»²¹.

26 февраля 1697 г. в Италию выехал московский книжник. Спустя год и 11 месяцев в столицу возвратился человек с изящными манерами, облаченный в европейское платье, свободно владевший итальянским языком. Его кругозор расширился настолько, что он мог отнести себя к числу если не образованнейших, то достаточно европеизированных людей России, чтобы стать горячими сторонниками преобразований.

В СТАМБУЛЕ

Дипломатическая деятельность Толстого протекала в сложной обстановке. Бремя испытаний, выпавших на долю России, определялось двумя кардинальными событиями: катастрофическим поражением русской армии под Нарвой в ноябре 1700 г. и выходом из войны Дании, вынужденной под напором шведского короля капитулиро-

вать и заключить Травендальский мир. В итоге союз трех держав превратился в союз двух держав. Прошло еще шесть лет, и Россия лишилась единственного союзника — саксонского курфюрста Августа II. Ей одной предстояла решающая схватка с хорошо вымуштрованной и вооруженной армией Швеции. Подстать армии был ее полководец — король Карл XII, проявивший незаурядные военные дарования и без труда одерживавший одну победу за другой.

Положение России усугублялось угрозой вести войну на два фронта. Вторжению Карла XII в пределы России с запада могло сопутствовать нашествие с юга, со стороны Османской империи и ее вассала — крымского хана. Опасения Петра и его дипломатов относительно позиции Османской империи имели веские основания, ибо, полагали в Москве, для османов наступил благоприятный момент, чтобы вернуть себе то, чем совсем недавно завладела Россия, — Азов и созданную ею новую гавань — Таганрог.

Итак, Россия лишилась союзников, а Швеция могла их приобрести. Задача русской дипломатии и состояла в том, чтобы предотвратить выступление Османской империи против России. Эту нелегкую ношу Петр взвалил на Толстого.

На первый взгляд поручение, данное Толстому, не выглядело сложным и многотрудным. В действительности поставленная перед ним задача оказалась столь трудной, что, выполняя ее, Петр Андреевич должен был полностью мобилизовать свои духовные и физические силы, раскрыть недюжинные дипломатические дарования, проявить огромную настойчивость и изворотливость.

Препятствия, которые пришлось преодолевать Толстому, были обусловлены многими привходящими обстоятельствами. Одно из них, и едва ли не самое главное, состояло в том, что Петру Андреевичу предстояло утвердиться в Стамбуле в качестве постоянного дипломатического представителя России. До этого дипломатические отношения России с Османской империей поддерживались взаимными визитами посольств с какими-либо конкретными поручениями. Выполнив их, посольство возвращалось на родину, и в непосредственных общениях наступал длительный перерыв. Петр Андреевич открывал новый этап в истории дипломатической службы Русского государства: он был первым русским дипломатом, возглавившим не временное, а постоянное посольство в столице Османской империи.

Первопроходцам всегда трудно: они выступают зачинателями традиций, которых потом будут придерживаться их преемники. Вдвойне трудно было Толстому, посланно-

му в восточную страну, резко отличавшуюся нравами, обычаями, религией, политическим строем и от России, и от других стран Европы. Человеку, впервые окунувшемуся в жизнь восточного мира, было весьма сложно ориентироваться в чуждых ему порядках и приспособиться к ленивому ритму жизни и работы правительственного механизма.

Другую сложность представляли традиции сложившихся отношений между двумя соседями. На протяжении многих лет обе страны—Россия и Османская империя находились в состоянии либо открытого военного конфликта, либо подготовки к нему. Отсюда—взаимная подозрительность, боязнь просчитаться в дипломатическом торге, запутаться в ловко расставленных сетях партнера.

Третья трудность исходила от Крымского ханства. Крымцы, этот осколок Золотой орды, еще несколько столетий после свержения ордынского ига продолжали иссушать душу русского народа и разрушать экономику страны. Русское правительство на протяжении нескольких веков ежегодно отправляло крымским ханам так называемые поминки, своего рода дань в форме мягкой рухляди, т. е. сибирской пушнины. Но «поминки» хотя и поглощали некоторую долю ресурсов Русского государства, но не шли ни в какое сравнение с уроном, наносимым русскому и украинскому народу систематическими, из года в год повторявшимися набегами крымских татар.

Весной, как только подрастала трава для подножного корма коням, тысячи, а иногда и десятки тысяч конников устремлялись в южные уезды Русского государства, чтобы грабить и сжигать поселения, уводить скот, захватывать в плен мужчин и женщин для продажи на невольничьих рынках. Русское правительство вынуждено было строить на южных рубежах оборонительные сооружения, содержать гарнизоны в пограничных городах и сосредоточивать большие контингенты поместной конницы для отпора грабителям.

Крымское ханство являлось вассалом Османской империи, но вассалом далеко не всегда послушным и готовым выполнять волю султанского двора. Нередко крымцы проявляли своеволие и отправлялись за «ясырем», т. е. пленными, вопреки намерениям османского правительства, по каким-либо причинам стремившегося к мирным отношениям со своим северным соседом. Короче, Крымское ханство часто провоцировало конфликты между Россией и Османской империей.

Одна из целей миссии Толстого состояла в том, чтобы добиться от османского правительства жесткого контроля за действиями крымцев и предотвратить их набеги, отпор

которым отвлек бы вооруженные силы России от главного театра войны — против шведской армии.

Чтобы достичь желаемых результатов, Толстому надлежало преодолеть барьер психологического свойства — высокомерное, а порой и пренебрежительное отношение султанского двора к русским дипломатам. Россия мужала, крепла, набиралась сил, твердой поступью выходила на международную арену, однако еще не было второй Нарвы, Лесной и Полтавы. Следовательно, задача Толстого состояла в том, чтобы поднять престиж России и добиться для себя такого же статуса в столице Османской империи, которым пользовались послы других европейских государств: Англии, Франции, Голландии, Австрийской империи.

Указ о назначении Толстого послом в Стамбул датирован 2 апреля 1702 г. Спустя 12 дней состоялась аудиенция Петра Андреевича у царя. Петр, напутствуя посла, надо полагать, еще раз напомнил о главной цели его миссии. В полномочной грамоте, обращенной к султану, она была определена четко и недвусмысленно: «...к вящему укреплению между нами и вами дружбы и любви, а государствам нашим к постоянному покою...»¹

Посольство покинуло Москву 22 мая 1702 г. и не спеша, свыше месяца спустя, 26 июня, достигло Киева. Оттуда до пограничного города Сороки посольство двигалось и того медленнее. Толстой рассчитывал, что тем самым османские власти, предупрежденные о приближении посольства, будут располагать необходимым временем для подготовки к его встрече. Но вот незадача: посольство достигло Днестра, с правого берега которого начинались османские владения, а пристава, который должен был сопровождать его до столицы империи, нет. Вместо османского пристава посла встретили люди молдавского господаря. Как быть?

Инструкция предусматривала подобный казус: послу было велено стоять у границы до тех пор, пока не прибудет пристав, ибо он, посол, направляется «к салтанову величеству, а не к волоскому господарю». Возможно, Толстой проторчал бы в июльскую жару на берегу Днестра долгие недели, если бы к нему не обратился пограничный воевода. Тот просил посла поступиться престижными соображениями и согласиться продолжить путь без пристава, так как султан запретил въезд османам на землю молдавского господаря, где они чинили местному населению «несносные убытки и всеконечное разорение». Призыв к Толстому, чтобы он «по должности христианской, видя их, христиан, от бусурман разоряемых и утесняемых, показал к нему, господарю, любовь и ко всей волоской земле милость и не чинил бы им в том

обиды и в пристава-де себе турчан не требовал», нашел отклик. Петр Андреевич решил продолжать свой путь без османского пристава.

Из путевых впечатлений в память Толстого врезались поразительная нищета местного населения, обираемого без всякой пощады османскими порабощателями, и торжественно приподнятые встречи посольства с православным населением.

В Яссах Толстой несколько раз встречался с молдавским господарем. Одна из встреч была тайной, с глазу на глаз, в присутствии лишь переводчика. Предмет беседы — просьба господаря принять Молдавию в русское подданство. Что мог ответить ему Петр Андреевич? Ясно, что господарь затеял разговор не ко времени: посольство ехало в столицу империи для поддержания мира, а удовлетворение просьбы вызвало бы немедленный конфликт. Толстому пришлось употребить все свое красноречие, чтобы убедить собеседника в невозможности русскому царю «принять и иметь ево за подданного... потому что он поданной салтанской».

10 августа посольство переправилось через Дунай, и теперь уже его сопровождали османские приставы. Они множество раз извинялись за то, что не успели к Сороке, и заверяли, что султан и везир велели, чтобы в дальнейшем «послу чинено было великое почтение... и довольство паче всех прежде бывших послов».

29 августа посольство без особых приключений достигло Адрианополя, где тогда находился султанский двор, а обещанной «чести», равно как и роскошных палат, не предвиделось. Встреча посольства оказалась не столь пышной, как обещали послу; в скромном доме, отведенном представителям России, Толстому пришлось довольствоваться лишь одной палатой, в то время как его предшественники — Украинцев и Голицын — имели по три.

Началось томительное ожидание аудиенций у везира и султана в стране, где у Петра Андреевича не было ни знакомых, ни друзей, ни связей. Все это предстояло заводить ему самому, равно как и завоевывать к себе уважение. Для Толстого это была нехоженная тропа. Перед ним возникло столько непредвиденного, что другой, не будь он таким незаурядным человеком, не владей он даром располагать к себе людей и пользоваться их услугами, наверняка допустил бы массу оплошностей и ошибок. Да и сам Толстой начал с действий, свидетельствовавших о его неосведомленности не только относительно порядков в стране пребывания, но и о дипломатическом этикете вообще.

Человек деятельный и практичный, Петр Андреевич рассуждал, по-видимому, так: раз он отправлен с ясной,

четко сформулированной целью, то, прибыв на место, надобно без промедления приступить к ее достижению. Однако случилось неожиданное. Правительство Османской империи накануне приезда русского посольства оказалось без главы: старый умер, а новый еще не приступил к исполнению своих обязанностей. Толстой полагал, что отсутствие везира не помеха, и стал настойчиво добиваться аудиенции у султана. И сколько ему ни втолковывали, что обычаи исключают аудиенцию у султана до встречи с везиром, он продолжал настаивать на своем.

Эта настойчивость не следствие тупого упрямства, а плод здравых размышлений: в Москве знали о неустойчивой позиции султанского двора, поэтому и направили в Стамбул посла. Толстой спешил оформить официальное свое пребывание в империи, чтобы быстрее парировать происки врагов мира. Вызывала у Толстого подозрения и крайняя медлительность османского правительства. Он полагал, что эта медлительность была нарочитой, направленной на выигрыш времени: «Аз же размышляю сице: егда хотели миру, тогда и посланников наших по достоинству почитали. Ныне же, мню, яко желают разлиния кровей»².

Поражают энергия и бурная деятельность Толстого в первые же дни пребывания в Османской империи. Он, что называется, с ходу, не медля ни единого дня, принялся за изучение поля боя, на котором ему предстояло сражаться, как потом выяснилось, свыше десяти лет,—султанского двора и расстановки сил при нем; лиц, оказывавших решающее влияние на внутреннюю и внешнюю политику империи; состояния ее вооруженных сил и т. д. Трудолюбие и работоспособность посла необыкновенные. Когда пытаешься восстановить все, что ему удалось сделать за время проживания в Адрианополе, то невольно проникаешься уважением к его организованности, способности мгновенно оценивать обстановку и умению четко определять последовательность выполнения задач.

Османскому правительству казалось, что оно сделало все возможное от того, чтобы изолировать русское посольство от внешнего мира и лишить посла возможности общаться с кем бы то ни было,—посольский двор день и ночь караулили 120 янычар. Возможно, султан достиг бы своего, если бы Толстому не пришли на помощь доброжелатели (он их называл работниками), готовые бескорыстно ему помогать. Доброхоты снабжали Петра Андреевича всеми сведениями, которые его интересовали.

Кто же эти работники?

Первым среди них был иерусалимский патриарх Досифей. О его готовности оказывать помощь русским послам хорошо знали в Москве, поэтому одновременно с полно-

мочной грамотой Толстому направили грамоту и Досифею. В ней выражалась надежда, скорее даже просьба, «дабы к тому послу нашему был еси во всяких приключаящихся ему делех способник и делом и словом, елико возможно». В другом месте грамота взывала непосредственно к патриарху — быть послу советником и искренним помощником. В 1705 г. Ф. А. Головин еще раз напомнил Толстому о необходимости сотрудничать с Досифеем: «...изволь иметь согласие и любовь с патриархом иерусалимским»³.

Репутацию советника и искреннего помощника Досифей оправдал вполне. Он мгновенно, в тот же день, отвечал на запросы Толстого. Усердие его простиралось дальше: часто он по собственной инициативе сообщал послу полезные сведения либо давал ему советы, как поступить в том или ином случае. Петр Андреевич неоднократно сообщал Головину, что испытывает к иерусалимскому патриарху чувство глубокой благодарности за помощь.

В одной упряжке с Досифеем трудился его племянник Спилиот, тоже грек. Иногда он выполнял роль курьера в переписке патриарха с послом, но, чем дальше, тем больше общался с Толстым самостоятельно. Посол высоко ценил услуги как патриарха, так и его племянника. В 1703 г. он писал Головину: «...истинно, государь, забыв страх смертной, радосною душею великому государю работают».

Не менее ценные услуги оказывал Толстому выходец из Рагузы Савва Лукич Владиславич, по русским источникам более известный под фамилией Рагузинский. Письма Петра Андреевича Федору Алексеевичу Головину пестрят лестными и даже восторженными оценками деятельности Саввы Лукича: «А он, Сава, работает великому государю усердно и ко мне всякие ведомости чинит, что ему возможно»; или: «...работает великому государю с великим усердием»; Савва — «человек добр и до сего времени усердно в делех великого государя работал, и видится, что и впредь желание имеет служить верно».

Бывает иногда, что один человек проникается уважением и симпатией к другому, никогда не видел его и не общаясь с ним. Так случилось с Толстым, которому Владиславич полюбился задолго до личной встречи с ним. 22 сентября 1702 г. Петр Андреевич писал Савве Лукичу: «Аще и не сподобихся по желанию моему видети лица твоего, обаче сердце мое любовью к тебе горит, слыша добрые и богу угодные твои поступки, которые усердие твое являют»⁴.

Подобные хвалебные слова не сходили со страниц писем посла и в 1704 г., когда Владиславич находился в Стамбуле. В конце того же года он покинул Османскую

империю и переселился в Россию, которой служил свыше 30 лет. Свои обязанности он передал Луке Барке, консулу Рагузинской республики в Стамбуле, ближайшему своему приятелю, тоже сербу. Консул располагал в столице империи обширными связями и знакомствами и всегда пребывал в курсе всех придворных интриг и сокровенных намерений османского правительства.

Сведения, доставляемые Лукой, имели большую ценность, что многократно отмечал посол. В 1704 г.: «Господина Савы управители его с великим усердием работают, в чем могут». В 1707 г.: «...строением господина Савы приятели ево работают великому государю в чем могут усердно, а наипаче господин Лука Барка». В 1708 г.: Лука Барка «изрядно усердствует во всяких случаях»⁵.

Подчеркнем одну существенную деталь: «работники» Петра Андреевича — патриарх Досифей, его племянник Спилиот, Владиславич, Барка и другие — трудились не ради получения вознаграждения или каких-либо других личных выгод. Это доподлинно известно из донесений Толстого Головину: «Приятели, государь, господина Савы весьма усердно работают в делах великого государя, и воистинно, государь, чрез них многие получаю потребные ведомости, понеже чистосердечно трудятся без боязни и от мене заплаты никакие требуют, ниже чего просят»⁶.

Во имя чего сербы и греки безвозмездно, рискуя жизнью и имуществом, оказывали помощь русскому послу?

Объяснить бескорыстное проявление любви и преданности к России можно лишь тем, что она в то время приобретала славу страны, с могуществом и процветанием которой православные народы связывали надежды на избавление от османского ига. Это иго было настолько обременительным для них, а жизнь в порабощенных османами землях — столь сурова и безысходна, что передовые люди были готовы жертвовать жизнью ради освобождения своих народов.

Впрочем, дружное сотрудничество и приязнь между работниками Петра Андреевича продолжались недолго. Трудно объяснить побудительные мотивы действий иерусалимского патриарха, но уже в 1704 г. Досифей пытался внушить Толстому недоверие и подозрительность по отношению к его помощникам. Возможно, сыграл роль преклонный возраст Досифея и он оказался во власти ревности и зависти к более молодым и энергичным людям, имевшим возможность работать на «великого государя» более плодотворно, чем он сам.

Как бы то ни было, но Досифей пытался скомпрометировать ближайших помощников Толстого. Начал он со своего племянника Спилиота. «Подобало бы и ясности

твоей,—писал патриарх послу,—ради нас любить ево отчасти, а не весьма ему веритьяся». Оказывается, племянник отплатил дяде неблагодарностью: «воспитания нашего не почел ни во что, браду нашу белую не почтил», тысячами «лжей» вводил в заблуждение его, Толстого, и «то все зделал от сребролюбия своего». Толстой ответил: «Аз о сем не вем и зело сему удивляюся», ибо ранее получал от патриарха лишь похвальные отзывы о Спирите. Тогда же, в феврале 1704 г., патриарх неблагоприятно отозвался и о Савве Лукиче: «Синиор, Саве не подобало бы иметь толикую уверенность... тайности своей не верь ему», ибо он «пойдет и скажет французскому послу тотчас»⁷. Намек на предательство Владиславича Толстой пропустил мимо ушей.

Спустя два года, когда Савва Лукич находился в Москве, посол получил от Досифея новое предостережение: «...есть он шпиг или лазутчик тамо со стороны француза». Толстой спросил у патриарха: «...повелит ли мне ваше блаженство написать тамо (в Москву.—Н. П.), чтоб знали. И ежели повелит—напишу, а ежели не изволишь—писать не буду». Патриарх повелеть не изволил. Более того, намерение посла так его встревожило, что он трижды заклинал его молчать. Сначала он советовал послу написать в Москву после того, «когда мы подадим ведомость». Через две с небольшим недели сообщил: «...о Саве не пишете ныне, а будет о том другое усмотрение», но на следующий день, 6 июня 1706 г., заключил: «...видится нам лутчи быти молчанию».

Петр Андреевич не пожелал послушаться патриарха и Головину, действительно, не обмолвился ни словом. Но молчал он не ради слепой покорности, а потому, что был глубочайше убежден в невинности Саввы Лукича. Вопрос, заданный патриарху Толстым: сообщать или не сообщать в Москву—был своего рода проверкой истинности и обоснованности подозрений Досифея. Подтвердить возведенную напраслину и взять грех на душу патриарх не захотел, поэтому и решил похоронить начатое им дело: «Господин Сава нам приятель доброй, и я сколько могу ему работаю. А другие на него злобятся... Жалею ево сердцем, а ясно ему объявить не могу...»⁸

В ожидании аудиенций Толстой зря времени не терял. Послу в соответствии с обычаем того времени наряду с публичной инструкцией была вручена и секретная, намечавшая обширную программу сбора информации о внутреннем и внешнем положении Османской империи, т. е. о «тамошнего народа состоянии». Москву более всего интересовало, не готовятся ли в Стамбуле тайно или явно к нападению на Россию. Поэтому главная задача Толстого состояла в выяснении подлинных намерений султанского

двора. Попутно посол должен был сообщить правительству множество деталей, подтверждавших или опровергавших воинственность или миролюбие Османской империи.

Среди 16 пунктов секретной инструкции были и весьма деликатные, требовавшие от Петра Андреевича не столько наблюдательности, сколько незаурядного умения синтезировать наблюдения. Толстой, например, должен был дать характеристики султана и его «ближних людей»; сообщить, сам ли султан правит страной или через своих фаворитов, имеет ли он склонность к войнам и воинским забавам или более озабочен «покоем». В Москве интересовались бюджетом Османской империи и ждали ответа на вопрос, испытывает ли казна в деньгах «довольство» или, напротив, «оскудение» и по каким причинам оно наступило.

Естествен интерес русского правительства к вооруженным силам Османской империи. Посольский приказ требовал от Толстого исчерпывающих сведений о составе сухопутной армии и ее дислокации, «не обучают ли европейским обычаям» конницу, пехоту и артиллерию или придерживаются традиционных форм обучения. Столь же обстоятельные сведения Толстой должен был собрать и о состоянии османского флота. От него требовали данных не только о количестве кораблей и их типах, но и о вооружении каждого корабля, составе экипажей, размерах жалованья офицерам и т. д. Толстому, наконец, поручалось выяснить планы османов относительно модернизации сухопутных и морских крепостей. Взоры правительства России были обращены прежде всего на Керченский пролив: «В черноморской протоке (что у Керчи.— *Н. П.*) хотят ли какую крепость сделать и где (как слышно было) и какими мастерами, или засыпать хотят и когда, ныне ль или во время войны».

Группа вопросов нацеливала посла на сбор сведений об экономических и политических отношениях Османской империи с другими государствами: «Ис пограничных соседей которые государства в первом почитании у себя имеют и которой народ больши любят». В Москве понимали, что степень близости к тому или иному государству отражалась в статусе его дипломатического представителя при султанском дворе. Отсюда резонное задание Толстому узнать, «при салтанском дворе которых государств послы и посланники и кто из них навремя или живут, не отъезжая, и в каком почитании кого имеют».

Поскольку русское правительство проявляло интерес к налаживанию более тесных торговых связей с Османской империей, то Петру Андреевичу вменялось в обязанность выяснить, каково отношение султанского двора к иностранным купцам и ведет ли империя торговлю с другими государствами.

Османская империя по национальному составу была государством лоскутным: значительную часть его населения составляли покоренные арабы, под гнетом османов находились христианские народы Балканского полуострова и Средиземноморья. О положении христиан, и особенно православных народов, томившихся под османским игом, в Москве были осведомлены более или менее основательно. Но как ведут себя прочие покоренные народы, заселявшие глубинные районы империи, в России имели смутное представление. Отсюда поручение Толстому — дознаться, «есть какая противность от подданных салтанских или персиян и от иных народов»⁹.

Зная, к чему было приковано внимание Посольского приказа, Петр Андреевич со свойственной ему энергией и хваткой принял за выполнение инструкций — изучение страны и людей, стоявших у кормила правления. В первые же дни жизни в Адрианополе Толстой спрашивал у Спилиота, «чего ради везирь оставил власть свою: своею ли волею, или изволением салтанским, или смятением народным, и новый кто и вскоре ль сан тот восприимет». Хотел Толстой знать и о том, что «здесьние министры размышляют» о его приезде. Более всего посла интересовали личные качества везира: «...к чему вяще склонен, к войне ли иль к каким забавам, или к правлению государства... и стар ли летами или молод и какова нраву».

Ответ последовал незамедлительно. Новому везиру около 50 лет, он природный «турчанин», имя его Далтабан Мустафа-паша. «Сказывают, что он глуп и все протчия бояря ево не любят, кроме муфтия». Определен он везиром по совету муфтия, которому за протекцию, по слухам, должен был уплатить 400 мешков денег (в каждом мешке по 500 левков, 1 левк равен 15 алтын). Ответил Спилиот и на второй вопрос: «Турки велику боязнь имеют от твоего приезде, говорят, будто бы некое еще вновь имеешь прошение, или разрушение мира...»

Влияние полученной информации нетрудно обнаружить в донесении Толстого царю, отправленном 22 сентября 1702 г.: «Известие тебе, великому государю, чиню: везирь новый мало смысла является... Мой приезд, государь, учинил им великое сумнение и разсуждают: так никогда от веку не бывало, что московскому послу у Порты жить, и начинают иметь великую осторожность, а паче от Черного моря, понеже морской твой, великого государя, караван безмерной им страх наносит»¹⁰. Подозрительность османского правительства доходила до того, что оно считало целью прибытия посольства определение удобного времени для нападения на Османскую империю.

Заметим, кстати, что такую же подозрительность проявлял на первом этапе и посол, принимавший каждый

шорох за раскаты грома и считавший достоверным фактом любой слух о подготовке султана к войне с Россией.

Следует, однако, подчеркнуть, что если подозрительность партнеров была взаимной, то силы их в столице империи были далеко не равными: мощи государственного аппарата, его неограниченным возможностям чинить препятствия посольству Толстой мог противопоставить лишь силу своего красноречия и убедительность приводимых аргументов.

Подозрительность османского правительства обнаружилась тотчас после пышного, с восточным великолепием обставленного приема посла у султана. Аудиенция состоялась 10 ноября 1702 г., а через несколько дней уже была предпринята попытка выдворить Толстого из страны. Ему было заявлено, что прибывающие в империю послы «по совершении-де дел паки отходят во своя страны» и этот обычай в первую голову относится к русскому послу, поскольку царскую грамоту султану он вручил, а дел, связанных с торговлей, у него здесь нет. Действительно, торговые связи России с империей были ничтожными.

Следовательно, первейшая задача Толстого состояла в том, чтобы отвести все попытки османской стороны выдворить его из Адрианополя. Вопреки ожиданиям Петру Андреевичу не потребовалось больших усилий, чтобы парировать доводы представителей османского правительства и убедить их не только в целесообразности, но и в необходимости иметь при султанском дворе постоянного представителя русского царя. Повод и самый веский аргумент в пользу необходимости присутствия русского посла в империи дали наиболее активные в то время поджигатели военного конфликта между Россией и Османской империей — крымские татары. Дело в том, что в дни, когда Толстой вступил в переговоры, в Адрианополе находились представители крымского хана, «с великим шумом» требовавшие разрешения «всчать войну с Российским государством». Права этого они домогались угрозами: если султан им «не поволит», то они сами, не испрашивая у него разрешения, «хотят войну всчинать». Наконец, у Толстого были и формальные основания оставаться в Адрианополе: царская грамота предписывала ему быть здесь «до указа», значит, он был обязан ждать вызова.

Османское правительство решило не обострять отношений и не настаивать на своем требовании — Толстой остался в Адрианополе. Начались будни посольской жизни. Даже для Толстого, не изнеженного роскошью человека, она оказалась столь изнурительной, что его службу на чужбине вполне можно оценить как подвижническую.

Отправляясь из Москвы на юг, Толстой, разумеется,

не знал, как долго пробудет в империи и сколько тяжких испытаний, моральных и физических, выпадет на его долю. Но на месте Петру Андреевичу не потребовалось много времени, чтобы убедиться в том, что между показной учтивостью, медоточивыми речами, приветливыми улыбками, щедрыми обещаниями предоставить послу всякого рода «повольности» и реальными условиями его жизни пролегла пропасть.

В самом деле, в январе 1703 г. один из везиров «пространными и зело ласкательными словами» обещал русского посла «в достойном почтении, паче иных послов, содержать». «Почтение» выразилось в том, что рейс-эфенди (министр иностранных дел) предложил Толстому переехать на другое подворье и выдвинул следующий мотив: «...двор, на котором ты стоишь, тесен и беспокоеен». Оказалось, однако, что это была мнимая забота. Новый двор был, правда, просторнее прежнего, но находился в центре города, где летом стояла «духота великая». Получилась любопытная ситуация: посла убеждали, что жить ему на старом дворе «неприлично», что султан ему оказал «милость», а посол был готов мириться с «неприличием», только бы его оставили на прежнем месте, и деликатно отклонял султанскую «милость». Послу пригрозили: «ежели охотою не поедет—велят-де и неволею перевезь».

Вскоре прояснилась подоплека султанской «милости»: расположение нового двора позволяло ужесточить изоляцию посла. «И ныне, государь,— доносил Толстой Головину 4 апреля 1703 г.,— живу на новом дворе в городе, и на двор ко мне никакому человеку приттить невозможно, понеже отвсюду видимо и чюрбачей (полковник.— Н. П.) у меня стоит с янычаны будто для чести. И все для того, чтоб христиане ко мне не ходили».

Лето принесло новые испытания. 7 июля 1703 г. Толстой писал Головину: «В великой тесноте живу... в нынешних числах неизреченные жары, от которых, государь, жаров терпим болезни великие». За пределы города не выпускают даже на неделю, чтобы «от болезни получить отраду». Лишь после того, как посол и персонал посольства совершенно «изнемогли», Толстому было разрешено выехать за город, где, впрочем, его тоже не оставили без внимания: ко двору были приставлены янычары.

В том же июле в Стамбуле вспыхнул янычарский бунт. Он завершился тем, что янычары лишили власти султана Мустафу и провозгласили султаном его родного брата Ахмета. Переворот сопровождался отставкой везира, муфтия, рейс-эфенди и прочих министров. Для посольства наступили тревожные дни. К тому же пришедшие в

Адрианополи янычары проявляли неповиновение новым властям и угрожали пограбить жителей и сжечь город. Для Толстого и его сотрудников все эти события могли обернуться трагедией, но все обошлось — в памяти остались лишь страхи. Даже когда опасность миновала и новое правительство овладело положением, Толстой все еще не мог обрести спокойствие. «А ныне, государь,— докладывал он Головину 27 августа 1703 г.,— истинно от великого страху не могу в память приттить вскоре, мало имел ума и тот затмился»¹¹.

В сентябре 1703 г. султанский двор, центральные учреждения и все посольства переехали из Адрианополя в Стамбул. Везир заявил Толстому: «...и подобает ево, посла, имети у Порты за приятеля во всяких повольностях бес подозрения», но это обещание осталось невыполненным. В очередном донесении посол сообщал: двор, отведенный для посольства, настолько ветхий, «что на всякой час ожидаю того, что хоромы, падиши, всех нас задавят». Толстой сетовал не столько на неудобства, сколько на дискриминацию и на особый режим содержания посольства: «...сижю, государь, будто в тюрьме, и уже, государь, истинно, что и терпети сила оскудевает... И не так, государь, мне горестно мое терпение, как стыд: все послы других государств во всяких повольностях пребывают», а ему, Толстому, возбраняется даже выезд к обедне. «Зело великие терплю болезни»,— заключил свое письмо Петр Андреевич. Вскоре дом, в котором жили члены посольства, рухнул¹². Этим аккордом закончился для них 1703 год.

Истекший год оказался знаменательным еще в одном плане: Толстой отправил в Москву сочинение под названием «Состояние народа турецкого». Это был ответ посла на секретные пункты инструкции.

«Состояние народа турецкого» с полным основанием можно назвать энциклопедией экономических, социальных, политических и внешнеполитических знаний об Османской империи начала XVIII в. В этом сочинении, как, впрочем, и в «Путевом дневнике», виден незаурядный литературный талант автора, умение четко, без обременяющих текст деталей формулировать мысли, вычленять главное и без околичностей отвечать на поставленные вопросы. В то же время сочинение изобилует столь ценными сведениями, которые могли быть накоплены только человеком, много лет прожившим в стране.

Разве мог бы, например, Петр Андреевич, опираясь лишь на личные наблюдения, накопленные за год проживания в стране, да еще в весьма стесненных условиях, подробно описать структуру государственного аппарата, круг обязанностей высших сановников, установить, что

«утесняется правосудие мздой», и постичь характер и поведение султана, о котором сказано, что он держит «себя во обыкновенном поведении гордосно, и поступки его происходят в церемониях по древним их законоположениям, а прилежание и охоту большую ни к воинским, ниже к духовным делам, ниже ко управлениям домовным не имеет». Не только личные наблюдения положены в основу отзыва и о султанских министрах — они тоже наверняка подсказаны приятелями во время бесед с ними: «А радеют все турецкие министры больши о своем богатстве, нежели о государственном управлении». При попустительстве султана они безжалостно грабили казну.

Иногда вместо обобщений встречаются конкретные портретные зарисовки. Таков образ везира, назначенного на этот пост в 1703 г.: «...человек мало смышлен, а к войне охочь, да не разсудителен». Нерассудительность выражалась в том, что он отказался от намерения засыпать Керченский пролив на том основании, что «великое вечное на себя приведет бесславие и срамоту, якобы имея страх от московских кораблей».

Отношения Османской империи с европейскими странами описаны столь метко и лаконично и в оценках настолько глубоко схвачена суть, что их следует привести. Вот как, например, представлялись Толстому османско-австрийские отношения: «Сердечного любления к цесарскому народу не имеют и пущей злобы не являют, и народ цесарской в войне сильной и искусной». Османы «француз не любят и боятся в себе скрытно и того ради не перестают ласкати их приятельски»; напротив, «галанцев и англичан любят за добрых приятелей и купцов, которые торгуют в их странах», а к «венециям великую ненависть имеют» из-за того, что те отняли у них Морею. На особом счету у них иранцы: «Персиян ни во что ставят, и не почитают, и не любят».

В Москве конечно же по достоинству оценили сообщенные Петром Андреевичем сведения об организации вооруженных сил империи, о мобилизации янычар на случай войны, о способах доставки к театру военных действий снаряжения, вооружения и продовольствия.

Поражает богатство сведений о военно-морских силах, которые тоже нельзя было добыть без помощи приятелей. В сочинении Толстого можно почерпнуть данные не только о типах кораблей, их вооружении, укомплектованности экипажей, о верфях, но и о сигнализации, подготовке кораблей к бою и боевых порядках во время морских сражений. Разве могли в Москве пропустить мимо ушей такие, например, строки: «Корабли турецкие суть крепки, яко и французские, сшиваны великими железными гвоздьями». Или другое высказывание: «Начальные люди морс-

кого их флота еще суть и босурманы, но не природные турки, все христоотречники, французы, италианцы, англичана, галанцы и иных стран жители, и суть в науке искусны, от них бо обучаются и самые турки»¹³.

При сопоставлении «Состояния народа турецкого» с оперативными донесениями, ранее отправляемыми Толстым в Посольский приказ, нетрудно прийти к заключению, что для написания сочинения посол широко использовал свои донесения. Но «Состояние народа турецкого» содержит немало данных, отсутствующих в донесениях. Часть этих данных он заимствовал из опубликованных источников (например, из военно-морских правил), но в большинстве случаев, надо полагать, пользовался устной информацией приятелей.

В новом, 1704 г., при пятом по счету везире, наступила наконец некоторая «повольность». Посольство переселили в новый дом с обширным подворьем, на котором раскинулся сад с фонтанами. То был результат многочисленных протестов посла.

Петр Андреевич настолько отвык от внимательного к себе отношения, что улучшение условий жизни вызвало у него подозрения. «Чего ради так поступают?» — задавался он вопросом.

Не намерены ли усыпить бдительность, чтобы начать войну против России?

В письме брату от 22 июня 1704 г. Петр Андреевич впервые выразил удовлетворение своим содержанием: «...ныне состояние мое при дворе салтанова величества в пристойной мере обретается... как прилично». Везир Асан-паша проявил столько заботы и внимания, что даже прислал фрукты и цветы послу, когда узнал о том, что тот заболел. Впрочем, жизнь на чужбине мало радовала Толстого: «Зело скучно третей год в бездомстве странствовать».

Сносная жизнь посла длилась недолго. В сентябре Асан-паша был отставлен, султан назначил на его место Ахмет-пашу. «Ко мне сей визирь явился великою неласкою, и паки, государь, мое прискорбное пребывание и всякие труды и страхи возобновились паче прежнего», — доносил Толстой Головину.

Новый везир, вступивший в должность в конце 1704 г., еще более ужесточил режим. В апреле следующего года чюрбачей, возглавлявший караул на посольском дворе, заявил послу, что отныне ни ночью, ни днем вход в посольский двор и выход из него не разрешались кому бы то ни было и за чем бы то ни было, в том числе и за покупками продуктов. Через пару дней в ответ на протесты посла власти разрешили выход со двора за покупкой «хлеба и харчу», но в сопровождении янычара.

«Превеликое утеснение», как назвал посол режим жизни весной 1705 г., правительство объясняло тем, что до Стамбула докатились слухи (оказавшиеся совершенно необоснованными) о том, что будто бы османский посол Мустафа-ага в Москве «пребывал не в свободной повольности».

Жизнь в заточении изнуряла. «Пребывание, государь, мое вельми стало трудно», — жаловался посол Головину. Но у султанского двора было на этот счет свое мнение: «...великой-де тесноты ему, послу, в пребывании ево нет. А что-де держится он, посол, сохранно и то-де себе в тесноту вменяет напрасно»¹⁴.

Толстого можно было бы заподозрить в стремлении сгустить краски относительно условий своей жизни — дескать, жертвенность и долготерпение должны быть вознаграждены пожалованием вотчин, прибавкой жалованья, повышением в чине. Но сохранилось его письмо брату: «...оскудела сила к терпению, весть, государь, бог какие трудности приходят, которые вельми меня умучили, и уже вящее из жизни моей прихожу во отчаяние». Изъясняясь с родным и близким ему человеком, Петр Андреевич вряд ли руководствовался корыстными и карьерными соображениями.

В апреле 1705 г., когда посольство находилось в особо стесненном положении и персонал терпел голод, произошло событие, выветившее еще одну черту характера Толстого. Речь пойдет о гибели одного из сотрудников посольства¹⁵. Французский консул в Петербурге Виллардо возложил вину за это событие на Толстого. Согласно версии Виллардо, Толстой, отправляясь послом, получил 200 тыс. золотых (червонных? — Н. П.) на подарки. Часть этих денег он использовал по назначению, а другую — присвоил. Об этом узнал секретарь посольства и тайно донес царю, а не Головину, покровительствовавшему Толстому. Далее, по словам Виллардо, произошло следующее: «Толстой был предупрежден об этом и без колебаний принял решение отравить своего секретаря, но не тайно, а после следствия, в присутствии нескольких чиновников посольства, под предлогом вероломства и неподобающей переписки с великим везиром, в чем секретарь не мог должным образом оправдаться. Толстой тотчас же вызвал священника, чтобы приготовить секретаря к смерти, и заставил выпить яд, подмешанный к венгерскому вину»¹⁶.

Таким образом, по Виллардо, выходит, что Толстой отправил на тот свет секретаря ради спасения собственной шкуры.

Версия Виллардо вызывает сомнения. Французский консул допустил немало неточностей при изложении

кратких биографических сведений о Толстом, причем искажений у него тем больше, чем дальше удалены события от времени их регистрации. Например, Толстой, по Виллардо, сначала отправился в Венецию и лишь после возвращения на родину участвовал в войне с Османской империей (Азовские походы), в то время как в действительности события развивались в обратной последовательности: сначала Азовские походы, а затем поездка в Венецию.

Сомнительным является также утверждение консула о том, что Толстой ради назначения на пост посла дал Головину 2 тыс. руб. Во-первых, Толстой не нуждался в протекции, ибо был лично известен царю; во-вторых, посольство в Османскую империю не считалось настолько престижным и выгодным, чтобы посредством взятки домогаться назначения туда послом. Что могло прельстить Толстого в столице Османской империи: полная тревог жизнь, неуверенность в завтрашнем дне, возможность разбогатеть? Ни то, ни другое, ни третье не могло быть приманкой для Толстого.

Виллардо допускает большую неточность и тогда, когда называет сумму, выданную Толстому для подкупа Дивана,—200 тыс. золотых. При переводе на русские рубли получается фантастическая цифра—400 тыс. руб., что составляло примерно пятую часть всех доходов государства.

В документах ничего подобного не значится. Петр Андреевич, отправляясь в империю, получил для подарков не деньги, а соболиную казну на скромную сумму—2 тыс. руб. Правда, после его прибытия в Адрианополь туда в октябре 1702 г. было прислано мехов и рыбьего зуба на 8316 руб., но львиная доля этих ценностей имела целевое назначение: она пошла греческим купцам в качестве компенсации за убытки, понесенные ими в результате ограбления запорожцами. В 1704 г. Савва Лукич доставил мягкой рухляди на 5 тыс. руб.¹⁷ Цифры, как видим, не сопоставимы с той, которую назвал Виллардо.

Французский консул прав в одном: отчетность расходования казны «для дел монаршеских» находилась на совести посла, ибо сумма подарка регистрировалась им самим и проверить достоверность регистрации невозможно. И все же из сказанного вытекает, что если Толстой и записывал больше, нежели выдавал, то разница могла составлять десятки, максимум сотни рублей. Для вельмож-казнокрадов тех времен подобные суммы были столь ничтожными, что практически не влекли за собой угрозы оказаться в опале.

Вероятнее всего, Виллардо записал интересующий нас сюжет со слов Меншикова либо другого недруга Толсто-

го. Не исключено, что версия консула имела французское происхождение. Дело в том, что Петр Андреевич находился в состоянии острого соперничества с французским послом Ферриолем и успешно отражал его попытки нанести урон России. Ясно, что у французских дипломатов имя Толстого не вызывало симпатий.

Начиная с 1706 и до конца 1710 г., когда султан объявил России войну и Толстой оказался в Семибашенном замке, «утеснений», подобных производимым в 1702—1705 гг., посол не испытывал. Но и «повольностей», которыми пользовались послы прочих европейских стран, Толстому не предоставлялось.

В первые месяцы пребывания Толстого в Османской империи власти создавали ему невыносимые условия жизни, рассчитывая вынудить его покинуть страну. Несколько позже они стали обосновывать изоляцию посла и наличие караула необходимостью блюсти его честь. Снять охрану — «дело будет необыкновенно, — разъяснял один из везиров, — и Порта-де чести ево, посольской, умаляти не хочет, но желает-де ево, посла, имети, яко доброго гостя, во всяком почтении и приятстве». И сколько «добрый гость» ни настаивал на освобождении его от такого «почтения», султанский двор оставался глухим.

Затем был выдвинут еще один аргумент: «А здесь, у Порты, древнее обыкновение такое: которого-де великого государя посол к салтанскому величеству придет и, не соверша оных дел, о которыхы прислан будет, никуда з двора своего не ездит»; посол получит «повольность» ездить куда пожелает, когда «совершит свои дела». Одно из дел — разграничение земель — было завершено осенью 1705 г., и, пользуясь случаем, Петр Андреевич возобновил ходатайство о предоставлении ему статуса послов Англии, Франции и других государств Европы. Вместо снятия караула везир проявил любезность — одарил посла конфетами, сахаром, цветами и всякой живностью к столу¹⁸.

Каковы были подлинные причины «утеснений»?

Одна из них уже называлась — намерение султанского двора лишить русского посла всех контактов с порабощенными христианами. Но была и другая причина. Петр Андреевич формулировал ее так: «...чиня ему, послу, великое утеснение, приневоливают дела совершать по своему изволению с принуждением». При этом Толстой отметил тщетность подобных попыток: «А он-де, посол, за то не токмо утеснение терпеть, но и душу свою положить готов, а через указ царского величества делать никаких дел не будет».

Толстой указывал также на религиозные различия: османы неизменно следуют своему древнему обычаю, «вменяя по закону своему за грех, ежели им ко христи-

яном гордо не поступать». Вряд ли этот довод можно принять — не притесняли же османские власти французского, английского и австрийского послов, исповедовавших христианство.

«Утеснения» вконец измотали Толстого, и он настойчиво и неоднократно просил сначала Головина, а затем Головкина о том, чтобы его отозвали. Впервые с такой просьбой Петр Андреевич обратился в марте 1704 г.: «Истинно, государь, зело скучило, два года будучи в заключении». Последний раз Толстой ходатайствовал о «перемене» в конце 1707 г.: «...чтоб моему многовременному так трудному пребыванию учинился конец»¹⁹. Отсутствие просьб о «перемене» в 1708—1709 гг. вполне объяснимо: Петр Андреевич не считал себя вправе настаивать на отозвании, ибо понимал, что его родина в те годы находилась в смертельной опасности и он обязан выполнять свой долг.

Заметим, ни в одном из обращений с просьбой о «перемене» Толстой не ссылаясь на состояние своего здоровья, хотя оно, между прочим, не было богатырским. Петра Андреевича довольно часто одолевала подагра, причем в периоды обострения болезни он недели проводил в постели.

Характеристика условий деятельности посла будет неполной, если, хотя бы кратко, не остановиться на порядках, царивших в Османской империи, и не бросить даже беглый взгляд на лица, стоявшие у кормила правления.

В документах, вышедших из-под пера Толстого, разбросано множество выразительных описаний обычаев, нравов, текущих событий и их оценок, метких характеристик султана, его сподвижников и приближенных. Они, естественно, субъективны и тем не менее для наших целей бесценны, поскольку сам Петр Андреевич верил в их непогрешимость и в своих поступках опирался на собственные представления, опыт и понимание происшедшего.

Человек, как не раз отмечалось, наблюдательный, Петр Андреевич без особых усилий обнаружил такие черты политического быта и нравов, как взяточничество, казнокрадство, алчность и продажность вельмож и чиновников всех рангов. Они лежали на поверхности и обращали на себя внимание каждого вновь прибывшего человека.

Репутация султана не вызывала у Толстого сомнений: «Султан ныне обретается в сем государстве, яко истукан, все свои дела положил на своего крайняго везиря» и проявлял живой интерес лишь к гарему и охоте. Ради последней он оставлял столицу на многие месяцы. «Забава его в охоте за зверьми» стоила казне огромных расходов.

Достаточно сказать, что на охоту весной 1703 г. султан отправился в сопровождении каравана из 500 верблюдов, нагруженных всяческим скарбом.

Похоже, что и новый султан, брат свергнутого янычарами в результате переворота, тоже не имел каких-либо примечательных черт и склонности к государственной деятельности. Во всяком случае, в конце октября 1703 г., через три месяца после прихода его к власти, Толстой писал о нем: «Салтан до сего времени не показал ни единого дела разумного, но токмо на детцких забавляетца утехах и ездит гулять по полям и на море, а достойных к целости государственных дел еще от него не является, чего и видеть не чают».

Подстать султанам были везиры и министры. Толстой мастерски, скупыми штрихами нарисовал портреты многих везиров. Один был «яр сердцем, но мало смышлен и неразумителен»; другой — «человек праву зело сурового, а паче ко христианом великой злодей»; третий «показуется горд паче прежде бывших» и в то же время «глуп и никакого дела управить не может». Встречались среди везиров и личности, заслужившие положительную оценку посла: «нонешний везирь — человек молод, обаче доброй человек и смирной» или «человек добр и разум имеет свободной»²⁰.

Свежего человека поражала частая смена везиров, не говоря уже о министрах. Отсутствие политической стабильности пагубно отражалось на переговорах: преемственности практически не было и с каждым новым везиром и его министрами приходилось все начинать с нуля. Петр Андреевич пытался постичь тайные пружины правительственной чехарды, но, кажется, в этом деле не преуспел: «Здесь о скорости везирских перемен никто не ведает, да и ведать невозможно для того, когда за малое дело салтану не понравится, тотчас переменит». Но посол скоро уразумел, что смены кабинетов влекли за собой новые расходы для него: «И воистинно... зело убыточны частые их перемены, понеже всякому везирию и кегаю везирскому (кяхье, т. е. заместителю великого везира.— Н. П.) посылаю дары немалые и пропадают оные напрасно. А не посылать... невозможно, понеже такой есть обычай. И так чинят все прочие послы и равною мерою со мною от сих убытков вскучают, а отставить их невозможно».

Коррупция, проникшая во все поры государственного организма, затрудняла работу посла. Без подарка не решалось ни одно, даже ничтожное по значению, дело. С подношениями везиру, муфтию и министрам приходили все послы. Подносил подарки и Толстой: «А понеже я здесь, будучи седьмой год, познал... аще у кого не

приемлют даров, являются к тем жестокие варвары, а при дарах бывают человеколюбны». Постиг он и необходимость немедленно расплачиваться за услуги, «понеже турки того не приемлют, кто обещает, но любят, кто отдает в руки».

Бывали случаи, когда вельможи вступали в торг относительно размеров воздаяния. Например, в 1708 г. кяхья, вступив по доверенности своего патрона — муфтия в переговоры с Толстым, спросил его без обиняков: «Какой-де дар посол намеревается к нему, муфтею, послать?» Толстой назвал немалую сумму — 2 тыс. червонных золотых, но заместитель везира остался недоволен: «...видится, что-де такой дар... будет скуден. От иных-де стран на всякий год дают по три тысячи червонных золотых и больши». Послу пришлось раскошиться — добавить соболей на 720 руб.²¹

Послы при султанском дворе, в том числе и Толстой, одаривая вельмож, явно переоценивали значение подношений. Дело в том, что вельможи позволяли себя не только покупать, но и перекупать. Эта беспринципность в конце концов создавала некую равнодействующую. Вместе с тем готовность везира, муфтия, министров и придворных чинов оказывать за мзду определенные услуги (например, сообщать сведения о внешнеполитических намерениях правительства или вставлять палки в их осуществление) в конечном счете имела свои пределы и регламентировалась интересами империи. Сам Петр Андреевич приводит любопытный пример.

Французский посол затратил немало средств и энергии, чтобы склонить султанский двор напасть на Австрию и тем самым отвлечь ее вооруженные силы от театра войны на стороне морских держав, воевавших с Францией за Испанское наследство. За интригами французского дипломата пристально следили послы морских держав — Англии и Голландии. Оба они, по свидетельству Толстого, «отворенные очи к сему делу имеют и, как могут, французю противятся, и уже бог весть kolikoе число потеряно со обоех сторон денег в различных вещах, которые в дары от них отсылаются». В другом донесении Петр Андреевич называет сумму издержек французского посла — свыше 100 тыс. реалов, причем бесполезных, ибо тот «доброе себе еще не получил»²².

Цитируемые донесения Толстого относятся к 1704 г. Война за Испанское наследство продолжалась еще десяток лет, но толкнуть Османскую империю на войну с Австрией французской дипломатии так и не удалось.

Другой пример относится к деятельности Толстого. Границы возможного в его усилиях предотвратить нападение Османской империи на Россию тоже оказались не

беспредельными, и никакие дары и старания Петра Андреевича не могли отвести эту угрозу в 1710 г., когда султан объявил-таки ей войну. Сказанное, понятно, несколько не умаляет значение ни дипломатических дарований Толстого, ни его подношений, ни влияния того и другого на текущие, сиюминутные акции османского правительства.

В первые годы пребывания Петра Андреевича при султанском дворе объективно не было условий для объявления войны России: казна была пуста. Грабеж ее достиг таких грандиозных размеров, что в Адрианополе не могли наскрести денег даже для уплаты жалованья янычарам, и те летом 1703 г. подняли бунт. И тем не менее вооруженный конфликт вполне мог возникнуть, не прояви тогда Петр Андреевич бдительности.

Толстой почувствовал неладное во время первой же встречи с министром иностранных дел. Рейс-эфенди разговаривал с послом таким тоном и предъявлял к России столь несуразные претензии, что Петр Андреевич, вернувшись с конференции и обдумав еще раз все, что ему было высказано, пришел к пессимистическому выводу: османы «такия чинят тягосные запросы для разорвания мира». Своими опасениями он поделился с Досифеем. Патриарх успокаивал посла: «Сии люди имеют обычай велеречивый говорить великие вещи и многие и хотят явиться велики и крепки. В краткословии сказать: когда уже и мертвы показуются, яко львы суть. Стой крепко, ни о чем не помышляй»²³. Но на поверку оказалось, что патриарх был не в курсе коварного плана везира и ввел посла в заблуждение.

Султан действительно не желал разрывать мир с Россией и в знак миролюбивых намерений не только отстранил от власти воинственного крымского хана, домогавшегося разрешения совершить грабительский рейд по южным уездам России, но и велел заточить его. Однако крымские татары не согласились с решением султана и проявили непослушание, отказавшись принять вновь назначенного хана. Для приведения крымцев в повиновение была отправлена огромная армия.

Однако, по сведениям Толстого, бог весть как полученным, везир отправил янычар не для усмирения крымских татар, а на соединение с ними, чтобы совместно выступить против России, и, кроме того, тайно подговаривал крымцев поднять бунт против султана. Деликатность положения Петра Андреевича состояла в том, что он не знал, как открыть двери султанского дворца и уведомить султана о планах везира. Наконец, путь был найден — посредницей оказалась мать султана: придворные информировали ее, а она «о том везирском непотребном намерении поведала сыну».

Судьба везира была решена. Султан вызвал его к себе и спросил о цели снаряжения большой рати, «понеже-де татар можно усмирить и не таким великим собранием». Везир удовлетворительного ответа не дал и был взят под стражу, а затем султан «в ночи велел задавить» его.

О тайных планах везира Толстой доложил в Москву. Там не на шутку заволновались. Головин сообщил послу о готовности царя расхотать «тысяч на двадцать, или на тридцать, или по нужде и на пятьдесят всякой мяхкой рухляди», лишь бы предотвратить войну с Османской империей. 4 апреля 1703 г. Толстой донес: надобность в столь крупных расходах отпала, ибо источник напряженности — воинственный везир устранен. Впрочем, успех он приписывал Головину: «...и то, государь, твоим верным к царскому величеству радением и бес того совершилось, и то ныне не потребно»²⁴. Это была проба сил Петра Андреевича на дипломатическом поприще. Она завершилась его блистательной победой.

В последующие полгода-год напряженных ситуаций в отношениях между двумя странами не возникало. Главные возмутители спокойствия — крымские татары попритихли после расправы с везиром и отстранения хана, вместе с ним готовившего нападение на Россию, а также казней сторонников хана: одним из них отсекали головы, других удавили.

Но Толстой и в этих условиях весь настороже. «Недреманным оком, елико возможность допускает, смотрю и остерегаю», — писал он Головину. «Недреманным оком» Петр Андреевич прежде всего наблюдал за поведением крымцев, и любые их предприятия или только намеки на действия не могли застигнуть его врасплох. В письмах Толстого в Москву то и дело встречаются фразы: «...не чаю быть всчатию войны турок ни в которую сторону вскоре, скудости ради денежные» или «...о всчатию войны у турок ни в которую сторону не слышится»²⁵.

Конечно же в интересах России было надолго отвлечь внимание османов от северного соседа. Самый эффективный способ достижения этой цели — добиться того, чтобы Османская империя ввязалась в военный конфликт, скажем, с Австрией или на худой конец с Венецией. В данном случае интересы России и Франции совпадали, с тем, однако, различием, что Франция стремилась связать руки Австрии, а Россия — сковать активность Османской империи на ее северных границах. Толстой произвел некоторый зондаж и установил, что «сие дело зело великое», а главное — неосуществимое.

Начиная с 1704 г. число противников России при султанском дворе, за которыми Петру Андреевичу надоб-

но было следить «недреманным оком», увеличилось. К традиционно враждебным крымцам прибавились поляки, поддерживавшие Лещинского, шведы, Мазепа и мазепинцы и, наконец, французский посол.

Активность крымцев возобновилась в 1704 г., когда Карл XII детронизовал Августа II и посадил на его место Станислава Лещинского. С этого времени и до 1706 г. в Польше было два короля: Август II, ориентировавшийся на Россию и с ее помощью рассчитывавший вернуть себе корону, и Станислав Лещинский, ставленник шведского короля. В борьбе с Россией и со своим конкурентом Августом II Станислав Лещинский рассчитывал на помощь крымских татар.

Первые сведения о контактах поляков с крымцами Толстой получил в конце июля 1704 г. Ему стало известно, что крымский хан просил у султана разрешения совершить набег на русские земли и одновременно послал своего представителя к Лещинскому, чтобы договориться о совместных действиях против России. Петр Андреевич немедленно запросил аудиенции у везира. Быстрота действий Толстого объяснялась тем, что крымский хан распространял слухи о том, что султан будто бы удовлетворил его просьбу и он готовится к набегу. Похоже, посла успокоили заверения везира о том, что «хану крымскому никогда никакая повольность набега чинить или на рати царского величества» нападать не будет предоставлена²⁶.

Новая напряженность в работе посла возникла в 1707 г., причем виновником ее был французский посол Ферриоль.

В марте 1707 г. в Стамбул прибыл везир крымского хана. Толстой рассудил, что прибыл он неспроста, и мобилизовал все свои связи, чтобы выяснить цель его приезда. Оказалось, что за спиной хана и его везира стоял французский посол, изо всех сил пытавшийся посорить Османскую империю с Россией. Когда его переговоры с османскими министрами не увенчались успехом, он решил действовать через крымского хана, с которым быстро нашел общий язык. Об этом маневре французского дипломата Толстой доносил так: Ферриоль убедился, что «явными поступками нескоро мене может осилить и буду чинить ему прешкоду, того ради тайно согласился с крымским ханом, и по такому соглашению хан прислал в Константинополь своего везира».

Кроме ханского везира, испрашивавшего разрешения «итить в помощь королю польскому Станиславу», в Стамбуле заодно с ним действовал тайный агент Лещинского и шведского короля. Он доставил письма, которые французский посол передал османскому правительству.

Таким образом, Ферриоль держал дирижерскую палочку

ку и координировал действия представителей крымцев, шведов и поляков. Порте он внушал мысль, что, если она «в нынешнем времени московского царя не утеснит, уже-де впредь долго такого времени дожидаться». Ферриоль хорошо усвоил опыт общения с османскими министрами: самые веские аргументы и блестящее красноречие ничего не стоили, если они не подкреплялись дарами. Поэтому он, по словам Толстого, «не жалел иждивения» и чинил «туркам великие дачи».

В деятельности Петра Андреевича наступила горячая пора. Он нашел способ вручить султану письмо с опровержением доводов посланий двух королей — Карла XII и Станислава Лещинского и разоблачением интриг крымско-хана и французского посла.

Последовали дни тревожного ожидания: Толстой не был уверен в успехе своих контрмер, ибо знал, что султанский двор вступил в полосу колебаний: «А ныне турки стоят в размышлении и на которую сторону склонятся — бог весть». Все, однако, закончилось лучшим образом: султан решил сменить хана. Место воинственного Кази-Гирея занял Каплан-Гирей, которому велено было «с Московским государством жить смирно».

Толстой торжествовал победу. Французский посол, а вместе с ним крымский хан были повержены, причем богатые дары, на которые столько надежд возлагал Ферриоль, оказались бесполезными. Петр Андреевич иронизировал: «Французский посол и хан до кровавого поту трудились, покушались возмутить Порту и повредить с нами учрежденный мир».

Царь по достоинству оценил успех своего посла. 20 мая 1707 г. Петр Андреевич получил письмо Г. И. Головкина с извещением о пожаловании ему «за усердную службу и труды» вотчины. Высокая оценка Петром деятельности Толстого придала ему сил и уверенности в себе.

Потерпев поражение в соперничестве за влияние на султанский двор, Ферриоль не угомонился. Толстой то и дело напоминал (в мае, июне, июле), что «посол французской не перестает возмущать Порту». В июне Толстому стало известно, что Ферриоль отправил своего эмиссара к новому крымскому хану. «Однако, — доносил Петр Андреевич, — не могу дознаться, с каким делом». На всякий случай и Толстой послал в Крым своего человека, «чтоб он тамо проведал, какое намерение новой хан возымел к послу французскому». Оказалось, что хан в принципе был не против подстрекательских планов французского дипломата, но считал, что еще не наступило время для их осуществления. Отсюда Толстой сделал для себя вывод: поскольку позиция только что назначенного крымского

хана не внушала доверия, с него не следовало спускать глаз.

В июле новые заботы: в столицу прибыл эмиссар от шведов и поляков с письменными и устными предложениями. Толстого более всего встревожило то обстоятельство, что эмиссар прибыл не тайно и не в качестве частного лица, а явно, как официальный представитель, которого османские власти, не таясь, пропустили через границу. Значит, рассуждал Толстой, султанскому двору или его части были не чужды контакты с недругами России.

На сцене вновь появился французский посол. После того как стало известно, что ранним утром 25 июля 1707 г. он доставил к султанскому сияхтару (один из придворных чиновников — оруженосец) и кизляр-аге роскошные зеркала и дорогие часы, пришлось раскошелиться и Толстому. Главный переводчик султанского двора Александр Шкарлат советовал ему «удовольствоваться в доме салтанских ближних людей», а также «всякими мерами приводить... в крайнюю к себе любовь» везира. Получив подарки, султанский имам (верховный правитель) заявил, что «усердствовать рад», а рейс-эфенди обещал «работать и усердствовать». Толстой попытался перекупить сияхтара и кизляр-агу, но те отказались принять подарки, заявив, что «прислал мало» и что, если будут доставлены «дары добрые», оба они к услугам русского посла.

Петр Андреевич старался ненапрасно. Ему удалось получить точные сведения о предложениях уполномоченного шведского и польского королей. Последовательность совместных действий шведов, поляков Лещинского и крымских татар должна быть такой: сначала им надлежало изгнать русские войска из Польши, а затем объединенными силами вторгнуться в русские земли.

Протежирование французского посла и на этот раз не имело успеха. В сентябре Толстой донес: «...которой поляк был здесь от Станислава Лещинского и уже отсюда поехал и отпущен нечесно, можно сказать, что выслан силою, когда он был у везира на последней аудиенции». Везир буквально на полуслове оборвал поляка, велел вывести его из покоев. Хотя французский посол, по словам Толстого, «не престаёт чинить соблазны», но активность его к концу 1707 г. поубавилась: он, «видится, будто мало нечто ослабел». В декабре, как бы подводя итог истекавшему году, Петр Андреевич отправил в Москву письмо с обнадеживающими известиями: «В настоящем времени от страны хана крымского ничего не слышится и от страны Станислава Лещинского ничего здесь не является»²⁷.

У Толстого были все основания считать, что его

деятельность в истекшем году была полезной для России: ему удалось парализовать выпады посла Франции, а также отразить попытки крымского хана, Станислава Лещинского и Карла XII вбить клин в отношения между Османской империей и Россией. В то же время посол понимал, что надо и впредь следить «недреманным оком» за происками противников. Однако неприятность последовала с той стороны, откуда он ее не ожидал.

В самом начале нового, 1708 г. Толстой получил из Москвы пакет с тремя документами: копией письма гетмана Мазепы, отправленного им в Москву в ноябре 1707 г., сопроводительным письмом Головкина с выражением недовольства службой посла и царским указом. В Москве считали, что получаемая от Толстого информация не отражала истинного положения дел в Стамбуле и что оптимизм посла ни на чем не основан. Петр писал: «Господин посол, посылаем к вам о некотором деле письмо, здесь вложенное, на которое немедленной желаем отповеди».

Что же это за письмо Мазепы, так заинтересовавшее царя, что он потребовал от посла немедленного разъяснения?

Гетман сообщал, что его вернувшийся из Молдавии лазутчик доставил сведения огромной важности: «Порта Оттоманская конечно и непременно намеревается начать войну с его царским величеством». Далее в письме перечислялись военные и дипломатические меры, предпринимавшиеся османским правительством для подготовки к войне. К ним относились отправка в Бендеры 200 пушек и срочное пополнение гарнизона крепости. Мазепа извещал, что изгнание посла Лещинского везиром — фарс, рассчитанный на глаза и уши русского посла: пусть он думает, что султан отклонил все предложения, исходившие от недругов России. На самом деле везир снарядил к Лещинскому и шведскому королю агу, поручив ему предупредить, чтобы ни тот ни другой не заключали мира с Россией без ведома и согласия султана. В свою очередь поляки и шведы склоняли османов к войне с Россией, заявляя, что для этого наступило самое благоприятное время, «какого впредь не могут иметь».

Мазепа поделился и личными впечатлениями, подтверждавшими резкое ухудшение отношений между двумя странами: раньше сераксер (командующий османскими войсками) с ним обменивался приятельскими письмами, а теперь стал не только предъявлять необоснованные требования, но и угрожать. «Естьли те обиды не будут вознаграждены,—увещал Мазепа,—то найдут турки и татары ко отмщению своих обид способ».

Сведения, доставленные лазутчиком Мазепы, будто бы

подтвердил и иерусалимский патриарх, который якобы без обиняков писал гетману: «Порта непременно со шведом и с Лещинским хочет и войну или зимою, или весною с его царским величеством начать». Более того, Досифей будто бы высказал Мазепе недовольство тем, что в Москве «не внимают» его донесениям и что он, огорченный невниманием, более не будет писать на эту тему.

10 января 1708 г. Толстой получил от Головкина другое суровое письмо с выговором за его неосведомленность о внешнеполитических акциях Стамбула: «Мы зело удивляемся, что ваша милость о турецком намерении, которое они ныне против царского величества, как слышится, намеревают, также и о протчих противных поступках и пересылках со шведом и с Лещинским через посольство их турецкое... ничего к нам не пишешь». Головкин поручил Толстому проведать «всякими образы, не жалея в том, хотя превеликие, изжививеней», о подлинных намерениях османов и «изыскивать способы», чтобы их «от такого злого намерения отвратить и весьма не допустить опасных нам в сие нужное время противных начинаний».

В конце января Петр Андреевич получил еще одно послание Головкина с извещением, что сведения о «турецком злом намерении» заключить военный союз против России «от часу умножаются и отовсюду неустанно на всех почтах приходят как из Вены... так и от протчих наших министров из Англии и Голландии и из Берлина». А далее вновь следовали обидные для Толстого слова, резко и беспощадно оценивавшие его службу: «Немалому то удивлению достойно, что ваша милость не знамо для чего ни о чем о том нам ни малой ведомости не чинишь и не престоерегаешь того, для чего вы у Порты от его царского величества быть учреждены и в чем весь интерес состоит»²⁸.

Итак, Петр и Головкин располагали двумя взаимоисключающими оценками ситуации в столице Османской империи. Одна исходила от Толстого, неизменно извещавшего русское правительство о том, что в Стамбуле не только не готовятся к войне, но и не помышляют о ней. Другая оценка исходила от Мазепы и представителей России при западноевропейских дворах. В ней не было ничего утешительного или обнадеживающего: османы вот-вот (если не зимой, то весной 1708 г. непременно) нападут на Россию и изо всех сил готовятся к войне.

В Москве более достоверной сочли вторую версию. И не только потому, что ее излагал Мазепа, считавшийся тогда верным слугой царя, и о ней трубила вся западноевропейская печать, а главным образом потому, что здравый смысл подсказывал: наступил звездный час для реванша

Османской империи за утраченный Азов.

Понять ход мыслей Петра и Головкина можно, если вспомнить о главных событиях Северной войны последних лет. Большие опасения относительно позиции Османской империи вызывали три события. Одно из них связано с судьбой незадачливого союзника России — Августа II: в 1706 г. он отказался от польской короны в пользу Станислава Лещинского; в том же году Карл XII принудил Августа II выйти из Северного союза и заключить Альтраншtedтский мир. В итоге одна Россия продолжала войну с армией, снискавшей славу непобедимой и возглавляемой полководцем, чьи незаурядные дарования ни у кого в Западной Европе не вызывали сомнений.

Другое событие связано с намерением Карла XII двинуть свою армию, хорошо отдохнувшую на обильных саксонских харчах, на восток, против России.

Третье событие связано с местечком Жолква в Западной Украине, где Петр вместе со своими генералами выработал план стратегического отступления, получивший название жолквиевского. Он состоял в том, что находившаяся в Польше русская армия должна была отступать на свою территорию, избегая генерального сражения. План предусматривал нападение на обозы и неприятельских фуражиров, стычки на переправах, уничтожение запасов продовольствия и фуража на пути движения шведской армии, устройство завалов и т. д. Все это должно было, по терминологии Петра, «томить», т. е. изнурять, неприятеля, лишая его покоя, порождать у солдат и офицеров чувство неуверенности.

Дипломатическое ведомство России широко практиковало отправку послам, в том числе и Толстому, реляций о победах русского оружия: о взятии Шлиссельбурга, Дерпта, Нарвы, Митавы и других городов. Реляции отправлялись не с целью удовлетворения любознательности послов, а для того, чтобы сведения об успехах русской армии на театрах войны стали достоянием зарубежных правительств и в конечном итоге охлаждали пыл горячих голов, готовых ринуться в опасную авантюру.

В октябре 1707 г. Петр Андреевич получил пакет из Посольского приказа с извещением не об очередной победе русских войск, а о начале их отступления в соответствии с жолквиевским планом. На посла возлагалась обязанность пресекать «лжи» о том, что русские отступают под натиском шведов, и «кому надлежит» разъяснять смысл маневра русских войск; шведы, чем дальше на восток, тем больше будут испытывать трудностей в пополнении армии рекрутами, обеспечении ее боеприпасами, продовольствием, фуражом, деньгами и пр., «а мы, будучи при своих рубежах, как в рекрутах, так

и в прочих воинских потребностях не будем никогда оскудения или препоны в том иметь».

Петр Андреевич конечно же разъяснял «кому надлежит» стратегические тонкости далеко идущих планов русского командования. Но у султана и его министров вполне могло сложиться убеждение: раз армия отступает, значит, она слабее противника и его опасается. Поэтому у них мог появиться соблазн напасть на Россию в надежде на легкую победу.

С невыгодным впечатлением от похода русских войск к своим границам считались и в Москве. Именно поэтому там и придавали такое значение письму Мазепы.

Толстому надлежало защищать свое доброе имя, доказывать свою правоту и опровергать домыслы Мазепы. Переписка Толстого с Головкиным в первой половине 1708 г. высвечивает еще одну черту характера Петра Андреевича — мужество в защите собственного мнения. Надо было быть абсолютно уверенным в своей правоте, чтобы со всей страстностью и упорством вступить в полемику с Головкиным.

Допустим, что оказался бы прав Мазепа. Тогда бы Толстому не сдобровать: его ожидали бы самые суровые кары. Ему бы припомнили многочисленные донесения с заверениями о безоблачной обстановке в Османской империи. О чем могли они свидетельствовать? Их можно было истолковать только трояко: либо эти заверения — результат недобросовестности посла, т. е. его неосведомленности о том, что происходило в Стамбуле; либо Петр Андреевич, руководствуясь карьерными соображениями, представлял свою службу и усердие в самом выгодном свете и занимался камуфляжем; либо, наконец, Толстой встал на путь предательства и намеренно вводил в заблуждение свое правительство.

Петр Андреевич методично, шаг за шагом опровергал утверждения Мазепы от первого до последнего.

Проще всего для Толстого было показать несостоятельность утверждения мазепинского лазутчика о концентрации артиллерии и янычар в Бендерах. Располагая точными сведениями, он решительно заявил: «...и то самая ложь», ибо в Бендеры было прислано 500 янычар, из них 300 разбежались, а пушек отправили столько, сколько требовалось для обороны крепости. Нетрудно было ему доказать и вздорность заявления Мазепы о якобы ожидаемом нападении крымцев зимой и главных сил османской армии весной: зима уже на исходе (письмо было отправлено 29 января 1708 г.), а «войны от татар не слышится, и весна уже приближается, а у турок никакого приготовления к войне не является». Толстой даже иронизирует по поводу осведомленности корреспондента Мазе-

пы: как могло случиться, что лазутчик, находясь от султанского двора за тридевять земель, «самые тайные секреты салтанские ведает, чего мы здесь отнюдь проведать не можем».

Крайне сомнительным считал Толстой и поведение иерусалимского патриарха в изображении Мазепы, ибо такого раньше никогда не бывало, чтобы патриарх известил одного Мазепу о подготовке к войне, а посла и русскую дипломатическую службу оставил в полном неведении.

Петр Андреевич внес ясность и в вопрос о «пересылках» султанского двора с Лещинским и Карлом XII: «пересылки» производились не османским дипломатическим ведомством, а сераксером пограничной области Юсуф-пашой. Оказалось, что Юсуф-паша за крупную мзду от Лещинского согласился участвовать в действе, сценарий которого был разработан польскими дипломатами: он должен был отправить в Польшу официального представителя, «чем-де могли московских утратить, будто-де они имеют согласие с Портой». Однако султан, давая разрешение Юсуф-паше на отправку посланника, руководствовался отнюдь не желанием заключить союз с Лещинским и Карлом XII. Его намерения были более скромными — воочию убедить, в каком положении находятся войска шведов и поляков. В фирмане, отправленном Юсуф-паше, указывалось, «чтоб-де тем посланием не учинить сумнения московским». Никаких грамот от султана посланец не вручал ни Станиславу, ни Карлу XII.

Итак, налицо провокация, искусно подстроенная польской и шведской дипломатией. Остается загадкой, был ли причастен к ней Мазепа и не являлось ли его письмо в Москву частью коварного плана изменника.

Хотя документы и не дают безоговорочного ответа на поставленный вопрос, но косвенных данных для утвердительного суждения немало. Назовем хотя бы заинтересованность изменника в разжигании конфликта между Россией и Османской империей. Если бы информация гетмана не подверглась проверке, то Петр, естественно, был бы должен перебросить часть войск к русско-турецкой границе. В результате возникла бы напряженность на южных границах и сократились бы силы, мобилизованные против войск Карла XII. О причастности гетмана к провокации говорит также его ссылка на свидетельство иерусалимского патриарха. Версия конечно же была сочинена Мазепой, чтобы придать своим сведениям больший вес.

Недоразумение было устранено. Толстой продолжал доносить об отсутствии признаков подготовки к войне, причем заявил, что в Москве могут не сомневаться в достоверности его информации: «...явственнее писать о

турецком намерении нечего, понеже, что вижу, то вашему сиятельству пишу, а чего не вижу, о том гадательством писать (как иные пишут) не могу».

В письмах Головкина вновь появились слова одобрения в адрес посла: «Зело тем довольны, еже получили от вас подлинную ведомость о турецком намерении»; «что же ваша милость во всех помянутых письмах нас обнадеживаешь... и о сем мы зело радуемся». Правда, глава внешнеполитического ведомства не удержался от упрека подчиненному по поводу того, что тот отвечал на его письма «з досадою». Но Толстой не склонен был обострять отношения и уничижительно ответил: «...как то может быть, чтобы мне, убогому сиротине, писать к вашему сиятельству з досадою... но писал и ныне пишу с прилежным слезным молением». Не обошлось и без лести в адрес шефа: если «чрез убогие мои труды и доброе устроилось, и то не моим смыслом, но вашего сиятельства добрым строением»²⁹.

У Толстого в конечном счете не было оснований сетовать на ушедший 1708 год. Его деятельность на дипломатическом поприще внесла вклад в сохранение мира на южных рубежах в то время, когда страна остро нуждалась в мире: грозный враг колесил по земле Украины и казалось, что шведам не представляло труда протянуть руку крымцам и полякам Лещинского, чтобы объединенными силами обрушиться на русскую армию.

Петр Андреевич мог также записать себе в актив расширение круга лиц из османских вельмож и чиновников, готовых оказывать ему услуги. Согласились «усердствовать» послу муфтий, его кяхья, султанский имам, капи-кахья Юсуф-паши и др.

Наконец, 1708 год преподал полезный урок не только послу, но и всей русской дипломатической службе, вставшей на путь установления широких международных связей. В значительной степени благодаря Толстому Посольский приказ успешно преодолел коварную провокацию противников России и обогатил свою практику приемами дипломатической игры. В этой игре Петр Андреевич оказался на высоте: ему удалось избежать промахов и горечи неудач.

Вместе с тем 1708 год усложнил деятельность Толстого. Теперь послу надлежало взять под наблюдение еще одного противника — гетмана Мазепу. Возможно, Толстой пришел к такому выводу раньше, чем получил официальное уведомление Головкина, — новости в те времена ползли медленно. Лишь 15 января 1709 г., т. е. два с половиной месяца спустя после прибытия изменника в ставку Карла XII, посол получил запрос канцлера: «...что ныне у милости вашей чинится по измене мазепине и како

турки то приняли и не приклонны ль к зачатию войны противу нас по ево домогательству». С тех пор имя предателя не сходило со страниц переписки Толстого и Головкина. Противодействие начинаниям бывшего гетмана считалось главной задачей посла. Ему надлежало «всякими способами предостерегать, дабы чрез факции шведов, а наипаче изменника Мазепы, Порты не учинила какой противности».

Несколько месяцев Толстой не сообщал тревожных вестей. «А ныне здесь от страны короля швецкого и от изменника Мазепы отнюдь ничего не слышится», «ничего не является», «здесь суть вельми спокойно» — так писал посол в феврале, марте и в начале апреля 1709 г. Последнее донесение такого содержания датировано 11 апреля³⁰.

Первую тревожную весть об интригах Мазепы Толстой получил 13 апреля, когда его известили, что бывший гетман обратился к крымскому хану с предложением вступить ордой «в казацкую землю». За эту услугу хана ожидало щедрое вознаграждение: предатель обещал вносить дань, которую крымские татары ранее получали от Русского государства, и разорить крепость Каменный Затон. Мазепа считал себя вправе превратить в данников хана не только украинцев, но и поляков: он изъявил готовность убедить Лещинского вносить дань крымцам и от «королевства Польского».

Предложения Мазепы были отклонены, причем не крымским ханом, а султаном, который категорически запретил хану вступать в контакты с Мазепой и мазепинцами. Правда, хан, недовольный этим запрещением, будучи человеком, по отзыву Толстого, «неспокойного духа», отправил своего уполномоченного в Стамбул, но тот, как ни старался, возвратился ни с чем. Везир заверил посла, что хотя крымцы и «скупают» по «ясырю», но он найдет способ их «удовольствовать» не в ущерб России.

Возникает естественный вопрос: чем объяснялось миролюбие османского правительства?

Игнорировать искусные действия Толстого, как и роль его подарков, не приходится. Но османов сдерживала, скорее всего, трезвая оценка ситуации, сложившейся на Украинском театре военных действий. Обращение первого министра шведского короля Пипера и Мазепы за помощью не встретило понимания у османского правительства потому, что оно считало безнадежным положение шведов на Украине. Впрочем, и сам Пипер признавал, что шведские войска находятся «в великом злосердии и горести», хотя и делал вид, что полон радужных надежд: «...куды ни пошли, никто не возмог стояти противу нас».

Наигранный оптимизм первого министра Карла XII не

разделял силистрийский паша, ближе всех из вельмож империи находившийся к театру войны и лучше всех о нем осведомленный, поскольку именно его лазутчики шныряли по Украине. Получив письма Пипера и Мазепы, Юсуф-паша отправил их в Стамбул, сопроводив комментарием: «...швед есть осажен от всех сторон от московских войск тако, что невозможно никому вытти и пойти вон никуды с места их... видится во всем безсиллие их и худоба как самого короля, так и войск ево».

Осведомленность о положении шведской армии, оказавшейся в окружении, бесспорно сдерживала агрессивность османов, но первопричиной все же следует считать неподготовленность Османской империи к войне.

Султанский двор конечно же прислушивался к доводам шведов и поляков о том, что Петр, одолев шведов, двинет свою армию против османов, но практических выводов из них не делал, точнее, не мог сделать. В те годы, когда Толстой писал о том, что «не слышится» и «не видится» военных приготовлений, Османская империя исподволь мобилизовывала свои ресурсы и проявляла глубокую заинтересованность в затягивании Северной войны, чтобы руки русского царя были связаны борьбой со шведским королем. «Вельми им оный мир противен»,— писал Толстой.

Султанский двор был заинтересован во взаимном истощении ресурсов воевавших на Севере стран и в бесконечно долгой войне между ними. В Стамбуле не могла вызвать восторга победа не только России, но и Швеции, ибо там считали, что хотя Швеция и не имеет общих границ с Османской империей, но укрепление ее позиций в Польше может угрожать безопасности османских владений в пограничных с Польшей районах.

К факторам, сдерживавшим Османскую империю от агрессивных начинаний, следует отнести также упорные слухи, распространяемые прибывшими в Адрианополь греческими купцами и затем подхваченные комендантами пограничных с Россией крепостей, что Петр в мае 1709 г. прибыл в Азов во главе армады военно-морских кораблей. По словам Петра Андреевича, слух о появлении русского флота в Азовском море вызвал в столице империи «такой превеликий страх» и панику, что для описания происшедшего «мало было бы и целой дести бумаги». Но кое о чем он все-таки сообщил: о бегстве жителей Стамбула в глубь страны, слухах о том, что русский флот разгромил османский флот, и т. д.

Версия о прибытии в Азов огромного количества кораблей держалась в дореволюционной и советской литературе до тех пор, пока А. П. Глаголева в одной из своих работ не доказала, что Петр предпринял не воен-

ную, а мирную демонстрацию: в Азов прибыло вместе с ним всего два корабля.

Пока Петр Андреевич удерживал султанский двор от вступления в войну и действовал так успешно, что удостоился новой похвалы царя («зело доволен трудами вашими»), шведская армия была разгромлена под стенами Полтавы. Карл XII и его новый вассал Мазепа вынуждены были бежать с поля боя и искать спасения в османских владениях. Приятную весть о Полтавской виктории Толстой получил не по официальным каналам из России, а от османских властей. Письмо Головкина было получено только десять дней спустя—26 июля 1709 г.

Поскольку Головкин отправил реляцию на следующий день после Полтавской битвы—28 июня, то в ставке царя еще не могли знать о том, куда бежал шведский король. И все же Головкин на всякий случай поставил перед послом задачу—домогаться от султанского двора отказа в гостеприимстве Карлу XII и согласия изловить и держать под стражей изменника Мазепу.

27 июля Толстой потребовал от османского правительства выдачи того и другого. Это было требование с запросом. Но в Москву посол сообщил, что, по его мнению, султан никогда не выдаст короля, в лучшем случае вышлет его из своих владений. Что касается Мазепы, то «боюсь,—писал Толстой,—чтобы оный, видя свою конечную беду, не обасурманился». Если такое случится, то «никоими дела не отдадут ево по своему закону».

Спустя неделю Толстой получил грамоту царя для передачи ее султану. Петр требовал если не по закону, то по «дружбе» выдачи Карла XII и Мазепы. На худой конец Россия могла бы довольствоваться и тем, что султан не выпустит короля из своих владений до окончания войны. Что касается Мазепы, то его, как царского подданного, надлежало выдать всенепременно. Но султанскому двору не по душе пришлись оба требования.

Дело в том, что с августа 1709 г. в русско-османских отношениях наступил новый этап. В донесениях Толстого вместо «ничего не является» и «ничего не слышится» появились тревожные вести об интенсивной подготовке империи к войне.

Крутой поворот во внешнеполитическом курсе Османской империи принадлежит к числу парадоксов, нередко происходивших в истории. О них обычно пишут историки, располагающие всем комплексом источников и осведомленные о том, в каком направлении развивались события. Поэтому надо было обладать проницательностью Толстого, чтобы, будучи современником событий, глубоко в них проникнуть и разгадать их смысл.

Информируя Головкина о том, что в лице Карла XII у османов появился советчик, жаждавший реванша и убеждавший султана «всчать войну» против России, Толстой считал, что отныне миролюбивые заявления империи выглядят подозрительно. Приведем полностью знаменитое рассуждение Петра Андреевича, которым он поделился с Головкиным: «Не изволь тому удивляться, что я прежде сего, когда король швецкой был в великой силе, доносил, что не будет от Порты противности к стороне царского величества. А ныне, когда шведы разбиты,— усумневаюся. И сие мне усумнение от того походит, понеже турки видят, что царское величество ныне есть победитель сильного короля швецкого и желает вскоре совершить интерес свой в Польше, а потом уже, не имея ни единого препятя, может всчать войну и с ними, турками».

Толстой был не единственным послом, пристально следившим за действиями османского правительства. За султанским двором внимательно наблюдало множество глаз иноземных дипломатов. Характерно, что информация, отправленная П. А. Толстым в Москву, совпадала с информацией И. М. Тальмана, отправленной в Вену. Австрийский резидент в июле 1709 г. сообщал своему правительству, что в итоге троекратных совещаний везира с вельможами «было принято решение вооружаться на суше» и на море и направить войска на русскую границу. Донесения Тальмана за вторую половину 1709 г. пестрят сведениями о военных приготовлениях Османской империи: велось лихорадочное строительство фрегатов, по Черному морю к границам с Россией доставлялись военные грузы, в азиатские владения были отправлены указы о закупке верблюдов и мулов для переброски мелких грузов, призывались под ружье янычары.

Султанский двор стал готовиться к превентивной войне, что тут же было замечено Толстым. В его письме от 8 августа 1709 г. есть пророческие слова: «...здесь ныне чинятся великие приуготовления воинские с великим поспешением ни в которую иную сторону, токмо ко границам росиским»³¹. В этих условиях османам необходимо был шведский король, как и османы — шведскому королю.

Подозрительность султанского двора относительно намерений России энергично и не без успеха подогревал Карл XII, хваставший, что «бутто может он вновь иметь изрядного войска больше пятидесяти тысячь». Свою лепту в разжигание вражды вносил и Мазепа, заверявший, «бутто и Украина вся с ними будет согласна...». Во второй половине 1709 г. османы с большей готовностью внимали мифу шведского короля о существовании 50-тысячной

армии и нелепым заявлениям обанкротившегося гетмана о поддержке украинским народом его предательских начинаний, чем призывам посла России соблюдать «мир и любовь». Вот почему настойчивые требования о выдаче Мазепы встречали глухой саботаж османских властей, и неизвестно, чем бы завершились домогательства посла, если бы изменник не умер в октябре 1709 г. Толстому ничего не оставалось, как бить тревогу и призывать свое правительство к сосредоточению войск в пограничных с империей районах.

Бесценным источником для освещения дипломатической деятельности Толстого являются статейные списки — своего рода годовые отчеты посла. Статьейным списком за 1709 г. обрывается отражение жизни и работы посла в Стамбуле — за последующие годы их нет. Можно предположить, что статейный список за 1710 г. уничтожил сам Толстой накануне заточения его в Семибашенный замок, а 1711—1713 гг. Петр Андреевич провел в заключении и, естественно, не мог выполнять обязанности посла. Они перешли вице-канцлеру П. П. Шафирову и М. Б. Шереметеву. Поэтому почти ничего не известно о том, чем занимался Петр Андреевич в 1710 г. и как ему жилось в зловонном подzemелье Семибашенного замка в последующие два года.

От 1710 г. сохранилось два служебных письма Толстого. Первое из них, датированное 7 января 1710 г. и написанное под впечатлением от состоявшейся четыре дня назад аудиенции у султана, полно оптимизма и радужных надежд. Чувство удовлетворения вызвала у посла церемониальная часть приема: ему было оказано «зело преизрядное почтение».

По поводу умения османов пускать пыль в глаза австрийский посол Тальман как-то заметил, что на их «дружественные уверения нельзя особенно полагаться, так как многие примеры прошлого, приведение которых излишне, показывают, что Турция, для того чтобы усыпить бдительность своих противников, никогда не давала больших уверений в дружбе, как именно в то время, когда она подготавливала действительный разрыв».

Толстому тоже было хорошо известно коварство османов. На восьмом году службы «почтение», даже «зело преизрядное», уже не могло его ни удивить, ни привести в восторг. Его, человека многоопытного, с рационалистическим складом ума, интересовали не знаки внимания и обаятельные улыбки, а реальные результаты аудиенции. А они свидетельствовали о том, что Петру Андреевичу вновь сопутствовала удача, что он и на этот раз одолел всех, кто подзуживал османское правительство разорвать мир с Россией. В данном случае османы вели себя не в

духе правил, подмеченных Тальманом, а откровенно, что уловил и отметил Толстой: «Любовь возобновлена и утверждена между сих империй бес подозрения». Подтверждением взаимного доверия служили также согласованные условия выдворения из владений султана шведского короля: для его эскорта до польских границ османское правительство выделяло 500 янычар, а по территории Польши Карла XII должен был сопровождать русский отряд. Несмотря на глубокие сомнения в том, что шведский король примет столь унижительные для него условия выезда из Бендер в Швецию, Толстой рассматривал само соглашение как выражение «любви» и оказание «чести» царю со стороны султана.

Тальман тоже зарегистрировал наступившую перемену. 19 декабря 1709 г. он доносил в Вену: «Тем временем Турция неожиданно прекратила свои так ревностно продолжавшиеся как на море, так и на суше приготовления к войне и отдала приказ всем войскам, находящимся в пути, приостановить продвижение».

Через 10 месяцев победу торжествовали недруги России. Первым симптомом возникновения напряженности была смена везира. Вместо Чорлулу Али-паши, свыше четырех лет возглавлявшего правительство и придерживавшегося миролюбивой политики по отношению к северному соседу, великим везиром был назначен Кёпрюлю Нумен-паша. Еще задолго до вступления в эту должность он, по словам Тальмана, часто возмущался султанскими великими везирами, не радевшими об укреплении религии ислама, и называл их слепцами, так как при столь благоприятных обстоятельствах последние 10 лет, когда соседние с империей христианские державы были так заняты взаимными войнами, они пребывали в постыдном бездействии и ничего не предпринимали для того, чтобы отобрать назад потерянные в последней войне земли и отомстить врагам религии.

В реваншистских кругах султанского двора позицию Нумен-паши сочли недостаточно воинственной, и через два месяца его сменил Балтаджи Мехмед-паша — ярый враг России и столь же горячий привереенец Карла XII. Интенсивная подготовка к войне возобновилась.

Обстановка крайне благоприятствовала воинственным выступлениям непримиримого противника России, непрестанно призывавшего к войне против нее, — крымского хана Девлет-Гирея. На этот раз его призывы нашли живейший отклик у султанского двора. На большом Диване, заседавшем 19 ноября 1710 г., Девлет-Гирею, как инициатору открытия военных действий, было предоставлено первое слово. В роли поджигателей выступали также шведы и французы. Австрийский посол доносил, что «они

не перестают с величайшей наглостью натравливать Порту» на Россию. Французский посол маркиз Дезальер, сменивший на этом посту Ферриоля, по словам Тальмана, хвастал, что он более всего способствовал этому, так как якобы «вел все дело своими советами».

В наспех написанном письме в ожидании, что с минуты на минуту в покои ворвутся янычары, Петр Андреевич извещал: «...и я, чаю, что уж больши не возмогу писать». Главная новость, которую посол спешил сообщить русскому правительству, состояла в том, что султан принял решение «войну с нами начать ныне через татар, а весною всеми турецкими силами»³².

Итак, войны в конечном счете избежать не удалось. Она внесла существенные коррективы в планы Петра, еще не успевшего к тому времени принудить Карла XII к миру. Но уже то обстоятельство, что русско-османский конфликт разразился после Полтавы и блистательных побед в Прибалтике, а не до них, само по себе уменьшило испытания, выпавшие на долю России. Этим наша страна в известной мере обязана усердию Петра Андреевича Толстого.

Сохранение мира было главной, но не единственной задачей русского посла в Стамбуле. Второе поручение царя, по своей значимости намного уступавшее первому, заключалось в установлении торговых отношений между двумя странами на договорной основе.

Торговые связи России с Османской империей никогда не были оживленными и систематическими, так как доставка товаров по суше требовала значительных затрат и всегда была сопряжена с риском для купцов подвергнуться ограблению если не со стороны крымских татар, то со стороны запорожских казаков. Так продолжалось до тех пор, пока Россия не овладела Азовом и у Петра не возник план превращения этой крепости в торговую гавань, где могли бы бросать якоря как османские, так и особенно европейские корабли.

Но как претворить эту мечту в жизнь, как добиться, чтобы гавань расцветивали вымпелы многих стран, если путь из Азовского моря в Черное преграждала мощная османская крепость Керчь, воздвигнутая на берегу узкого пролива. Как заставить османское правительство отказаться от убеждения, что Черное море является внутренним водоемом империи, куда доступ посторонним наглухо закрыт.

Петр поручил Толстому сделать первый шаг в этом направлении—добиться, чтобы воды Черного моря беспрепятственно бороздили русские торговые корабли.

Петр Андреевич начал хлопоты о заключении торгового договора вскоре после своего появления в Стамбуле,

причем степень его настойчивости в переговорах находилась в прямой зависимости от меры военной угрозы со стороны Османской империи. В месяцы и годы, когда эта угроза отсутствовала, Толстой то и дело возобновлял разговоры о торговле; напротив, во времена, когда над мирными отношениями сгустились тучи, заботы о торговле отодвигались на второй план, уступая место заботам о сохранении мира. Но как настойчиво ни пытался Толстой заключить торговый договор, сделать это ему не удалось.

Почему в осуществлении этой на первый взгляд безобидной затеи Петра Андреевича постигла неудача. «Ради чего,— по его словам,— от Порты явилось упорство?»

Ответ следует искать в диаметрально противоположных взглядах партнеров, причем не на торговые связи как таковые, а на пути, которыми их надлежало вести.

Россию торговля с южным соседом могла интересовать лишь в том случае, если она будет морской. Федор Алексеевич Головин напоминал Толстому: «А торговле, дабы чрез Черное море учинить, всяким тщанием своим домогатца». Головину вторил сменивший его на посту руководителя внешнеполитического ведомства России Гавриил Иванович Головкин: «Нам Азовский торг зело угоден»³³.

Сколько ни убеждал Петр Андреевич своих партнеров, что при наличии морского пути «приезжать торговым людям сухим путем зело далеко и неполезно», как ни внушал им мысль о необходимости организовать торговлю «свободно, безбедно и безопасно», они твердили свое: «Черное море состоит под владением нашего величества, и иной никто тем не владеет». Однажды послу было заявлено, что Османская империя не потерпит появления на Черном море не только русских кораблей, но даже парусника или двухвесельной лодки.

О серьезности намерений османского правительства не допускать русских к морю свидетельствуют планы перекрытия Керченского пролива, или, как тогда называли, гирла. Но империя не располагала ресурсами ни для того, чтобы соединить берега пролива дамбой; ни для того, чтобы потопить в проливе отжившие век корабли, предварительно нагрузив их камнями, а в самой глубокой части пролива протянуть цепи; ни, наконец, для сооружения искусственного острова, чтобы любой корабль, следующий из Азовского моря в Черное и обратно, находился в зоне достигаемости островной артиллерии. Империя могла осилить лишь сооружение дополнительной крепости недалеко от Керчи.

В одном из донесений Головину Толстой сообщал: «О

торговом, государь, деле весть всевидящее око, еже не токмо неленостным, но и от всех моих сил старательным попечением труждаюся»³⁴. Усилия, хотя и «неленостные», тем не менее оказались бесплодными.

Тогда Петр Андреевич решил действовать обходными путями, смысл которых состоял в том, чтобы «отворить» Черное море, так сказать, явочным порядком, постепенно приучая османов к появлению русских кораблей у стен Стамбула как повседневному явлению. Толстой возбудил хлопоты о разрешении русским купцам отправляться из Стамбула на родину на кораблях. Ответ гласил: «Торговым московским людям, не докончав о торговом деле статьи, чрез Черное море ездить не надлежит».

Петр Андреевич счел эту акцию османского правительства «нелюбовной», и оно, чтобы смягчить характер своей меры, пошло на неслыханный жест: султанским указом было велено выделить московским купцам бесплатно 30 подвод до Молдавии, а путь по молдавской территории оплачивать лишь вполовину казенной ставки. Обоз, кроме того, сопровождала стража из 80 янычар. И все это для того, чтобы избавиться от русских кораблей на Черном море!

В выгоде оказались купцы, известившие Толстого, что их «везли честно», без задержек в пути, а начальник стражи «вельми о нас радел и всякую любовь нам чинил». Но это нисколько не приблизило посла к тому, чтобы «отворить» Черное море.

С большим трудом Петру Андреевичу все же удалось снарядить торговый корабль в Азов. Под видом предметов, якобы закупленных послом для своего брата Ивана, азовского воеводы, на корабль были погружены товары купца Саввы Лукича Владиславича-Рагузинского. «Вещи под моим именем,— писал Толстой брату,— а все Савины, моего отнюдь ничего нет». Головину он объяснил цель подлога: «...чтоб по малу оный морской путь к Азову отворялся».

Впрочем, в 1706 г. Толстой был близок к сокровенной цели: оставался сущий пустяк — обмакнуть перо, чтобы подписать договор; но тут Петра Андреевича постигла беда. Везир, склонный подписать договор и много в этом направлении потрудившийся, был смещен. Все надобно было начинать заново. Толстой в письме к Головину сокрушался: «Всякое, государь, доброе дело к докончанию ничто иное не допускает, токмо моя немилостивая фортуна. В настоящем, государь, времени уже было привелось ко окончанию изрядному торговое дело и надеялся его скончить внутри трех или четырех дней, но внезапным переменоением везирским паки остановилось, и что бог учинит — не знаю»³⁵.

Толстому не удалось довести дело до благополучного конца, ибо новый везир не проявлял никакого интереса к торговым связям между двумя государствами, а в последующие годы энергия посла была направлена на решение более насущных задач.

Петру Андреевичу доводилось выполнять и консульские обязанности: защищать интересы русских торговых людей, освобождать из неволи захваченных в плен русских и украинцев, обсуждать с представителями султана пограничные инциденты. Иногда ему «докучали» частными просьбами вельможи из Москвы. Меншиков, например, вздумал соорудить турецкую баню и обратился с просьбой к Толстому, чтобы тот нанял и отправил в Россию двух мастеров «турчанинов». Вместо османов Петр Андреевич нанял двух знатоков банно-строительного дела из армян.

До сих пор речь шла об обсуждении вопросов, выдвигаемых послом. Поскольку Петр Андреевич выступал инициатором переговоров, он и направлял их в нужное ему русло. Документы позволяют представить Толстого в иной роли — когда ему приходилось отбиваться от претензий партнеров по переговорам, так сказать, обороняться. В этой, иной ипостаси, как и в первой, посол предстает великолепным полемистом и блестящим психологом, быстро познавшим манеру поведения собеседников.

Отметим одну важную деталь: письма, отправляемые Толстым из Стамбула в Москву, находились в пути не менее месяца. Следовательно, посол мог получить ответ на какой-либо свой запрос в лучшем случае через два месяца. Часто, однако, случалось, что Головин или Головкин не имели вестей от Толстого в течение четырех, а то и шести месяцев и получали в один день кучу пакетов.

Сказанное надо иметь в виду, чтобы в полной мере оценить способность Петра Андреевича быстро ориентироваться в обстановке, анализировать ее и давать правильные ответы на выдвигаемые жизнью вопросы. Мы не знаем ни одного случая, когда бы Посольский приказ с полным на то основанием поправлял своего посла либо считал, что занятая им позиция была ошибочной и он содеял нечто непоправимое, не соответствовавшее интересам России. Происходило противоположное: посол давал советы Посольскому приказу и там находили их настолько разумными, что тут же претворяли в жизнь.

Османская сторона предъявила свои претензии к России во время первой же встречи Толстого с рейс-эфенди 5 декабря 1702 г. Глава внешнеполитического ведомства Османской империи формулировал их так: корабли азовского флота «да сожгутся», сооруженная русскими кре-

пость Каменный Затон «да разорится». Третье требование относилось к определению пограничной линии, или, как тогда говорили, размежеванию земель. Рейс-эфенди утверждал, что крепость, как и азовский флот, угрожает безопасности Крымского ханства. Крымцы, заявил министр, «уверяют нас, что ваше намерение не весьма есть чисто и разумно».

Но Толстой и без этого заявления знал, откуда дует ветер, от кого исходили требования. Поэтому весь пафос своего эмоционального и полемического монолога посол направил против крымских татар. Это они, «яко хищнически, где могут что украсти, подбежав тайно, то чинили и ныне чинити не престают». За такое «злотворение» крымские ханы «уже давно достойны престокие казни, но Порта им поустительствует». К тому же, убеждал Петр Андреевич рейс-эфенди, «города всегда строятся не для наступательные, но для оборонительные войны» и крепость сооружена для защиты «от их татарского воровского грабежу».

Чтобы окончательно рассеять подозрения османов относительно назначения крепости, совсем не такой укрепленной, как ее описывали крымские татары, Толстой решил показать рейс-эфенди ее план и несколько раз просил Головина прислать его. План Каменного Затона Петр Андреевич действительно получил, но не оттуда, откуда рассчитывал. Произошло это, по словам Толстого, так: «Чертеж прислал к Порте силистрийский Юсуп-паша, и с того чертежа святейший патриарх по прошению моему достал от Порты список (копию.— *Н. П.*), которого, государь, списка, равною мерою написав, я чертеж посылаю ныне к тебе, государю моему».

Факт, как видим, любопытный. Он свидетельствует о том, что управитель пограничной территории Юсуф-паша тоже зря времени не терял и располагал лазутчиками, сумевшими добыть план русской крепости.

Отклонил Толстой и требование об уничтожении азовского флота. Вопрос был поставлен в лоб: «Во Азовском уезде по какому рассмотрению корабли блюдете?» Османское правительство считало, что их надобно ради поддержания мира либо сжечь, либо продать империи.

Посол резонно заметил, что флот в Азовском море находился до заключения Константинопольского договора, в котором, кстати, ни слова не сказано об обязательстве России уничтожить корабли. Строит же султан корабли на Черном море, хотя видимых причин укреплять свой флот у него там нет: на море царит мир, корсары мореходству не препятствуют. Толстой резюмировал свои рассуждения заявлением, что сооружение крепости, как и содержание флота,— внутреннее дело Российского госу-

дарства и он, посол, даже не рискует доносить об этих требованиях царю.

Тем не менее османы возобновляли претензии в 1703, 1704, 1705 и 1706 г. Отвергая их, Петр Андреевич повторял и развивал мысли, высказанные им в декабре 1702 г., ровно столько раз, сколько раз побуждали его к этому султанские министры, выдвигавшие свои несуразные требования. Он не уставал твердить, что Россия имела право, не спрашивая ни у кого ни разрешения, ни согласия, соорудить крепость на своей территории и содержать корабли в принадлежавших ей гаванях. Но османское правительство по внушению крымцев рассуждало иначе.

В отклонении османских претензий Толстой проявлял твердость даже и после того, как в 1703 г. получил из Москвы инструкцию, разрешавшую ему пойти на некоторые уступки. Послу, например, дозволялось заявить османам — правда, весьма туманно, — что царь готов ради сохранения мира оказать султану «довольства» при обсуждении вопроса о Каменном Затоне, и, кроме того, предоставлялось право вести переговоры о продаже за достойную цену азовских кораблей³⁶.

Султанскому двору, видимо, стало известно содержание полученной послом инструкции. Догадка эта подтверждается характером обвинений в адрес Толстого во время одной из конференций. В феврале 1704 г. Асан-паша, «сердитуя», высказал удивление, что «посол стоит в сем деле в великом упорстве» и действует не в соответствии с царским указом, а «своим произволением». Именно поэтому османское правительство решило отправить в Россию посла в надежде, что он, минуя Толстого, сможет получить согласие царя на разрушение Каменного Затона и продажу кораблей азовского флота.

Личность османского посла Мустафы-аги настолько колоритна, что его деятельность заслуживает некоторого внимания.

В противоположность «утеснениям», которым подвергался русский посол в Адрианополе и Стамбуле, в Москве решили оказать османскому послу должное внимание и уважение. «Послу турецкому с великою честью прием и достаток во всем покажем», — делился Головин с Толстым.

Пребывание Мустафы-аги в России сопровождалось бесконечными недоразумениями, возникавшими не за столом переговоров, а на почве нарушения им не только дипломатического этикета, но и элементарных норм этики. В Стамбуле посла аттестовали «великим и честным человеком», а на поверку оказалось, что это был вздорный, невоспитанный, а главное, неумный человек.

С характером Мустафы-аги представители дипломатической службы России познакомились тотчас, как только он пересек границу. Головин писал Толстому: «...везли его сперва тихо, и о том говорил, чтоб вести скоряе, а как по указу везли скоро — зело сердитовал, что везут скоро». С горем пополам добрались до столицы. К Донскому монастырю была отправлена царская карета, но османский посол заявил, что будет продолжать путь в своей колымаге. В конце концов уговорили его пересесть в карету, но тут новый каприз: Мустафа-ага никак не соглашался, чтобы рядом с ним сидели пристава.

Бестактности следовали одна за другой. Головин поздравил посла, «яко доброго гостя», с благополучным прибытием, но тот не ответил ни благодарностью, ни даже приветствием. Так же бестактно вел он себя и во время аудиенции у царя — не передал, как того требовал этикет, поздравления от султана и норовил «стать на престол». Главная же странность в поведении Мустафы-аги состояла в том, что он игнорировал многократные приглашения Головина явиться на переговоры: «...не только с ним в разговоры не вступал, но и видеться не восхотел». Тем не менее Мустафе-аге продолжали оказывать всякое почтение.

Из Москвы посла отправили в Новгород — сочли, что там будет удобнее вести с ним переговоры царю, находившемуся на театре военных действий. Накануне отъезда Мустафа-ага пожаловался, что «от жестоких морозов озяб и ехать в чем не имеет». Тут же он получил соболей на 300 руб. для изготовления шубы. В Новгороде, как и в Москве, ему выдавалась огромная по тем временам сумма кормовых — по 25 руб. в день. Стоило послу пожаловаться, что «он без жены толь долгое время быть не может, а робят-де таковых с ним не привезено», и попросить «сыскать которого-либо места из бусурман», как был снаряжен нарочный в Касимов для доставки двух «девок-татарок»³⁷.

Вызывающе повел себя посол и при въезде в только что завоеванную Нарву. Петр решил показать ему крепость, чтобы он убедился в мощи русского оружия. Удивляло русских дипломатов и другое: вот уже несколько месяцев Мустафа-ага находился в России, а до сих пор не удосужился отправить в Стамбул ни одного курьера. В столице Османской империи полагали, что посла держат в России «в утеснении», не подозревая о том, что он молчал по собственной инициативе.

Самый непристойный поступок Мустафа-ага совершил в Каменном Затоне. В Москве ему приглянулся царский портрет, украшавший триумфальную арку. Петр подарил свою персону послу, и тот «восприял будто приятно и в

великую милость и взял ее с собою». Однако, находясь в Каменном Затоне, последнем пункте его пребывания на русской территории, он кинул персону под лавку, предварительно ее «изрезав и замарав оную ругательно всяким смрадом, так что позорно о том слышать».

В Стамбуле Мустафа-ага сделал клеветническое заявление о том, что ему не предоставлялось никаких «повольностей». Более того, он утаил от султана и везира послания Петра и Головина. Толстой был информирован и о поведении посла в России, и о его жалобе султану, что русские содержали его «в великом утеснении и в скудости», и о «зелом желании» Мустафы-аги, чтобы русскому послу «вьящее примножилось всякого утеснения».

Задача Петра Андреевича состояла в том, чтобы опровергнуть ложные заявления Мустафы-аги и добиться сурового наказания посла за его кощунственный поступок.

Первую часть задачи выполнить было нетрудно. Петр Андреевич представил султану и его правительству копии грамот царя и Головина на имя султана и везира, которые утаил Мустафа-ага. Показал Толстой и копию благодарственного письма Мустафы-аги за дружелюбие и гостеприимство, направленного Головину накануне отъезда на родину. В нем посол выдал даже комплимент в адрес царя: «...его царское величество есть храбрый, и от храбрых всегда доброе творитца».

Виновность Мустафы-аги была доказана. Спор возник по поводу меры наказания. Толстой потребовал смертной казни. Но везир хотя и считал, что Мустафа-ага — «совершенный дурак и учинил-де то (с портретом царя. — Н. П.) бѣзумством», но полагал возможным ограничиться ссылкой его, так как по мусульманскому закону «за такое дело убить человека не повелевается»³⁸. Дело закончилось опалой Мустафы-аги — домогательства Толстого лишить его жизни успеха не имели.

Поездка Мустафы-аги в Россию не способствовала укреплению «любви и дружбы» между двумя государствами. Напротив, она в дополнение ко всему прочему ужесточила режим жизни русского посла в Стамбуле, а также потребовала от него дополнительных усилий.

Попробуем проследить за действиями Петра Андреевича в месяцы, когда к Мустафе-аге было приковано внимание сначала в России, затем в Османской империи. Они показательны в том смысле, что характеризуют стиль работы Толстого в качестве посла. Кажется, самыми выразительными чертами этого стиля являются планомерные, рассчитанные до мелочей действия, отсутствие спешки и стремления форсировать события. Темперамент Толстого позволял ему терпеливо выжидать того момента,

когда предпринятые им шаги окажутся наиболее эффективными.

Первые сведения о поведении Мустафы-аги Толстой получил 20 апреля 1704 г. Головин дал османскому послу достаточно определенную характеристику: «Кратко написать — человек суров и политических дел необыкновенен, а про посольские — знатно что мало и слышал». В другом письме Головина, полученном Толстым 7 августа, аттестация Мустафы-аги приобрела более резкие черты: «А послом их, мню, здесь с таким дураком и упрямым делать нечего. Истину тебе пишу — немного таких глупцов сыщешь, как сей».

Казалось бы, Петр Андреевич, получив такую информацию, должен был добиваться у везира немедленной аудиенции, чтобы выразить ему мнение русского правительства о после. Но этого не произошло. Толстой извещал Головина 26 августа: «...у Порты о том (о поведении Мустафы-аги.— Н. П.) ничего не ведомо, и я ныне о том умолчу до времени». Это время наступило только в следующем году. Главные свои козыри для компрометации Мустафы-аги — его письма Головину и копии грамот султану и везиру — Петр Андреевич прибегнет на будущее. 10 марта 1705 г. он доносил Головину: «А писем ево, которые милость твоя изволил ко мне прислать, еще я не явил, усматривая в том благополучного времени»³⁹.

Почти два с половиной месяца Толстой терпеливо наблюдал, как будут развиваться события и какие новые выпады совершит Мустафа-ага. Наконец 21 мая 1705 г. Толстой счел, что наступил благоприятный момент для нанесения решающего удара, — в этот день он передал османским властям все документы, компрометирующие незадачливого посла.

За время пребывания Толстого-дипломата в недружелюбном окружении в полной мере проявились не только его неутомимая энергия и неистощимое терпение, но и такие качества натуры Петра Андреевича, как гибкость и умение соразмерять свои поступки с изменчивой обстановкой. Эти черты характера оказывали Толстому неоценимую услугу, тем более что ему приходилось иметь дело с часто менявшимися везирами и министрами. Каждый вновь назначенный везир или министр — это новый характер, иная манера вести переговоры, разная дань религиозному фанатизму. Все эти обстоятельства если и не оказывали решающего воздействия на переговоры и выполнение миссии посла в целом, то и не относились к числу тех, которыми можно было безболезненно пренебречь.

При знакомстве с содержанием и формой переговоров на конференциях с османскими министрами создается

впечатление о Толстом как о человеке многоликом, умевшем быть вкрадчивым и предупредительным, деликатным и спокойным и в то же время негибачаемым и твердым, напористым и жестоким.

Вспомним первую встречу посла с рейс-эфенди в декабре 1702 г., положившую начало переговорам. Рейс-эфенди высказал претензии султана к русскому правительству в таком безапелляционном и даже ультимативном тоне, что, не прояви Петр Андреевич выдержки и достоинства, переговоры могли бы прерваться. Но посол заявил своему заносчивому собеседнику, что он, Толстой, «пребрегая жестокостью предреченных слов, возотвествует на предложение ваше с тихостью». И далее потекли спокойные и рассудительные слова, отметавшие одно за другим вздорные требования рейс-эфенди. Закончил Толстой свой монолог в восточном стиле — назидательным вопросом: «Недавно обновившаяся любовь и дружба зело еще млада сущи и такого ли себе сурового воспитания требует, и такими ли бесполезными предложениями может умножаться?»

Патриарх Досифей, которого посол известил о ходе переговоров, был в восторге от умело проведенной Толстым партии. По его мнению, Толстой отвечал «зело разумно, чего невозможно было лутчи говорить», а дерзость и кичливость, проявленные рейс-эфенди, «суть боязни знамение, но смысленный и мужественный разглагольствует осмотрительно и приметливо, смиренно и тихо». Досифей полагал, что медоточивые речи и щедро расточаемые улыбки лучше всего обезоружат грубых и невежественных партнеров по переговорам. Однажды он преподал послу урок поведения на конференциях: «Егда пойдете к ним свидеться, будите сладколичны, сладкословны, веселы, приятственны... и тако исходатайствуешь себе честь велику и в делах своих велику пользу»⁴⁰.

Приглядевшись к нравам османских вельмож, Толстой решил, что не всегда следует руководствоваться рекомендацией патриарха и что не во всех случаях слова «сладше паче меда и сота» могут оказывать должное воздействие на собеседника. Он умел также быть жестким и проявлять характер.

В июне 1706 г. Толстой имел встречу с везиром Али-пашой, отличавшимся, с одной стороны, надменным и гордым нравом, а с другой — неосведомленностью в делах управления. Аудиенция протекала так: сначала везир «показуется горд паче прежде бывших и начал было разговаривать с великою гордостью. А когда увидел, что и я возотвествовал маленько сурово, потом склонился и говорил зело ласково и с любовию отпустил». Как видим, везир подобрел после того, как получил отпор.

В феврале 1704 г. Толстой достиг договоренности с уполномоченным султана Асан-пашой о пропуске в Стамбул трех торговых кораблей, в том числе одного с грузом для посла. Прошло три недели, и везир дезавуировал эту договоренность. Послу было заявлено, что обещание дано «без указа султанова величества и без приказу крайняго везиря, самовлаством и никогда-де то состоятися не может, чтоб московские корабли по Черному морю плавали».

Главному переводчику Александру Шкарлату, сообщившему Толстому весть об отмене договоренности, пришлось выслушать резкие слова посла, рассчитанные конечно же на уши везира. Посол заявил своему собеседнику, что происшедшее «безмерным стыдом явится», что переговоры не подобает превращать в «децкое игралище», что османские министры могут утратить всякое доверие. Выказал посол сомнение и в том, что разрешение на пропуск кораблей было дано без ведома султана и везира.

Во время беседы, которую Толстой вел отнюдь не в дружелюбном тоне, Шкарлат высказал любопытные соображения о том, как могло случиться, что послу было дано обещание пропустить корабли: «...или он (Асан-паша.— Н. П.) был убежден такие слова говорить некакими дарами, или-де ево посольскими многими словами притеснен, не возмогши противного учинить ответу»⁴¹.

Доподлинно известно, что Асан-пашу Толстой не одаривал. Следовательно, уполномоченному султана довелось испытать искусство полемиста и силу аргументов Толстого, против которых невозможно было возражать. Шкарлат, чаще прочих чиновников встречавшийся с Толстым, хорошо знал эти его достоинства.

В каком ритме протекала жизнь посла?

Было бы ошибочно полагать, что с утра до вечера Толстой находился в постоянных заботах и не располагал ни минутой свободного времени. Такого времени у него было предостаточно, ибо напряженная, а иногда и лихорадочная деятельность сменялась затишьем, когда — по крайней мере внешне — ничто не обременяло посла. Отчасти покойная жизнь Петра Андреевича была прямым следствием спокойной обстановки в столице империи: противники мира между двумя странами не давали о себе знать. Но безделье Толстого нередко было вынужденным, проистекавшим от ритма деятельности государственного механизма Османской империи. Медлительность османских чиновников прямо-таки обескураживала Толстого, и ему понадобились годы, чтобы приспособиться к ней. Иногда его одолевало отчаяние от сознания бесполезности своего пребывания в стране. То и дело посол «докучал» османским властям напоминаниями о нерешенных делах.

Первое такое напоминание относится к началу сентября 1702 г., когда Толстой поручил своему переводчику заявить Шкарлату, что уже пошла вторая неделя его пребывания в Адрианополе, «а дело ево, посольское, начала не восприемлет». Вынужденное ожидание «наносит ему, послу, великую скучность».

Случалось, что «скучать» приходилось месяцами. 1 января 1703 г. посол велел заявить Шкарлату, что пошел пятый месяц, как он «предложил Порте надлежащее дело, а по се время ответу никакова не может восприяти». Османские министры просто уклонялись от встречи. «...А сами министры видитца со мною не хотят»,— писал Толстой в 1703 г. «Я ныне,— доносил он в 1705 г.,— пребываю кроме всякого дела и ни о чем с министры и говорить не могу». В 1707 г. посол сетовал: «...уже-де девятый месяц проходит, как-де оный Мегмет-эфенди с ним, послом, на разговоры определен, и до сего времени не мог ни единого сношения учинить»⁴².

Как распоряжался Толстой свободным временем?

Кстати, этот вопрос заинтересовал одного из везиров. Он как-то спросил у посольского пристава: «Как пребывает посол московский и в каких забавах управляется?» Пристав ответил, что посол живет в стране уже четыре года «во единой мере тихо и безмятежно, а забавы-де никакие не имеет, разве-де упразняется в прочитании книг».

Так проводил время Толстой в стране, где на его долю выпало немало тяжких испытаний. Он их стоически переносил, ибо был убежден, что «всякого посла художества и хитрость суть строити между государи и государству тишину и покой обоим странам в пользу»⁴³.

ОБЛАВА

Два с лишним года, отделявшие возвращение Толстого из Османской империи (1714 г.) от участия его в так называемом деле царевича Алексея, не были насыщены сколь-либо знаменательными событиями. Монотонно текла служба в Посольской канцелярии — в эти годы внешнеполитическое ведомство России не совершило ни одной памятной акции. Оживление можно было ожидать лишь в 1716 г., когда царь вместе с супругой отправился за границу, чтобы попытаться преодолеть противоречия, раздиравшие Северный союз, и ускорить завершение конфликта со Швецией военным или дипломатическим путем. Во время переговоров с датским королем было достигнуто соглашение о совместной высадке десанта в шведскую провинцию Сконе (Шонию). Из Копенгагена Петр отправился в Париж, куда были вызваны виднейшие

дипломаты страны — Куракин, Шафиров, Толстой, Рагузинский.

Какова была роль Петра Андреевича в переговорах русских дипломатов в Париже и Амстердаме в точности не известно. С достоверностью можно сказать лишь одно: находясь за пределами России, он быстро разобрался в международной обстановке и достаточно подробно информировал приятелей о европейских событиях. Из Амстердама он, например, сообщал о провалившейся затее Карла XII свергнуть английского короля и посадить на престол угодного ему претендента. С этой целью шведский король «принял в свою службу 700 человек офицеров шкоцких, которые бунтовали против короля английского, и намерен был послать в Шкоцию войск своих 10 000 в пользу претенденту». В других письмах он извещал о безуспешных переговорах Петра с датским двором, о слухах, впрочем не подтвердившихся, будто бы наместники Англии и Голландии намеревались прекратить торговлю со Швецией и даже объявить ей войну.

С адмиралом Апраксиным Петр Андреевич поделился своими соображениями относительно общей обстановки в Западной Европе и ее влияния на дела Северного союза: «Мнится мне, что настоящие конъюнктуры чинят немалое отдохновение короне швецкой. Дай боже, без продолжения паки возобновить доброму согласию между высокими северными алиятами». Находясь с царем в Спа, он сообщал Меншикову о завершении переговоров с Францией и заключении договора, которым, «однако же, не разменялись, понеже в том же трактате включен король прусской, которого министр господин Кинпгоузен, не имея от короля своего полной мочи, подписать оного трактату не мог»¹.

Переговоры с французским правительством завершились заключением в Амстердаме договора, значительно ослабившего позиции Швеции. К тому времени обессилевшая Швеция не могла, опираясь на собственные ресурсы, продолжать войну с Россией. Ей оказывала финансовую помощь Франция. Главное значение Амстердамского договора состояло в отказе правительства Франции выдавать субсидии Швеции.

Военные действия в шведской провинции Сконе планировались на осень 1716 г. 26 августа царь отправил из Копенгагена вызов сыну, чтобы тот, если пожелает, прибыл в Данию для участия в десантных операциях.

26 сентября 1716 г. царевич Алексей налегке, прихватив с собой любовницу Евфросинью, ее брата Ивана Федоровича и трех служителей, отбыл из Петербурга.

Проходит месяц, другой, царевич по всем расчетам должен быть в Копенгагене, а его там нет. Отсутствие

сына вызвало у царя тревогу. Он рассудил, что царевич либо стал жертвой дорожного происшествия — нападения разбойников, либо бежал. Для подозрений относительно бегства царевича существовали глубокие основания: отношения отца с сыном уже давно обострились настолько, что год назад Петр потребовал от Алексея либо активно помогать ему в преобразовательных начинаниях, либо постричься в монахи и отречься от престола. Царь своим вызовом предоставил сыну последнюю возможность ответить делом на его призыв.

9 декабря Петр велел генералу Вейде, командовавшему корпусом в Мекленбурге, организовать поиски сына. Одновременно он вызвал из Вены резидента Авраама Веселовского и 20 декабря вручил ему указ: «...где он проведает сына нашего пребывания, то, разведав ему о том подлинно, ехать ему и последовать за ним во все места и тотчас о том чрез нарочные стафеты и курьеров писать к нам». Веселовскому, кроме того, было вручено письмо царя для передачи его цесарю Карлу VI.

Содержание указа Веселовскому, как и письма цесарю, свидетельствует об уверенности царя, что его сын бежал во владения австрийского императора, доводившегося царевичу шурином. Царь обращался к цесарю с просьбой: «...ежели он (царевич.— *Н. П.*) в ваших областях обретается тайно или явно, повелеть его с сим нашим резидентом... к нам прислать».

Начались интенсивные поиски царевича. Офицеры генерала Вейде не обнаружили никаких следов пребывания исчезнувшего сына русского царя. Успешнее действовал Веселовский. Распрашивая владельцев гостиниц и служителей почтовых станций, он напал на след, который привел его в Вену. Однако попытки обнаружить царевича в столице империи или в ее окрестностях оказались тщетными.

В то время как царские уполномоченные сбились с ног в поисках царевича, он под чужой фамилией прибыл в Вену, добился аудиенции у вице-канцлера Шенборна и попросил убежища и защиты от несправедливого отца, будто бы ни за что стремившегося лишить его наследства и упрятать в монастырь.

В Вене не рискнули публично предоставить царевичу убежище. Венский двор решил, что куда безопаснее приютить его тайно, держа в глубочайшем секрете не только место пребывания царевича и его спутников, но и сам факт нахождения его в цесарских владениях. Сначала царевича поселили в местечке Вейербург, неподалеку от Вены, а три недели спустя перевезли его в Тироль, где он должен был жить под видом государственного преступника в крепости Эренберг. Коменданту крепости велено

было содержать заключенного в полной изоляции и непроницаемой тайне. Для ее обеспечения инструкция запрещала выпускать за пределы крепости солдат и их жен.

Долго держать в тайне место заточения царевича не удалось: один из чиновников шепнул Веселовскому, что тот находится в Тироле. Этого было достаточно, чтобы из многих направлений поисков остановиться на одном. Задачу Веселовского упрощало также и то, что к нему на помощь царь прислал гвардии капитана Александра Румянцева с тремя офицерами. Им поручено было схватить царевича и доставить в Мекленбург. Такое поручение, быть может, и было бы выполнимо, если бы царевич находился в Вейербурге. В крепости Эренберг подобная операция исключалась. Посоветовавшись, резидент и гвардии капитан решили ограничиться наблюдением за тем, что происходило в Эренберге.

А как повел себя венский двор? Что ответил цесарь русскому царю? Послание Карла VI являет образец пустословия. Цесарь клялся в любви, дружбе и преданности, но от прямого ответа на вопрос царя уклонился. В его письме тщетно искать признания, находится ли царевич под его протекцией или, наоборот, не проживает на территории Австрийской империи. В письме есть лишь туманное обещание сделать все возможное, «дабы ваш сын Алексей, его любовь, не впал в неприятельские руки».

Уклончивый ответ цесаря, с одной стороны, и его стремление получше припрятать царевича — с другой, убедили Петра, что предстояла сложная дипломатическая борьба с венским двором, намеревавшимся использовать Алексея в качестве разменной монеты. О недобрых намерениях австрийского правительства свидетельствовал перевод царевича из Эренберга в Неаполь — Румянцев и его помощники проследили за перемещением Алексея, неотступно следуя за его каретой. Петр поручил возглавить дело доставки сына на родину опытному дипломату Толстому.

Появление Толстого в Вене с посланием цесарю от царя для австрийского правительства было подобно грому среди ясного неба: сам цесарь и его министры были абсолютно уверены, что им удалось упрятать царевича так основательно, что его никто не сможет обнаружить.

Петр Андреевич, как только прибыл в Вену, немедленно потребовал аудиенции у цесаря и, добившись ее, 29 июля 1717 г. вручил ему письмо Петра. Царь без обиняков выразил «любезному другу и брату» свое удивление по поводу того, что царевич тайно содержится в цесарских владениях и «по прошению моему ко мне не отослан». Более того, в письме указывались точные координаты

пребывания сына: сначала он находился в тирольской крепости Эренберг, а теперь отправлен в Неаполь. Царь извещал цесаря, что послал в Вену чужестранных дел коллегии тайного советника с поручением «и письменно и изустно волю нашу и отеческое увещание оному (сыну.— Н. П.) объявить» и «просить вас, дабы оный сын наш немедленно с ним к нам был отпущен». Петр нарочито подчеркнул, что Румянцев своими глазами видел, как царевича перевозили из Эренберга в Неаполь.

Отпираться и юлить венскому двору было уже и бессмысленно, и непрестижно.

Инструкция Толстому и Румянцеву предусматривала возможные варианты поведения как цесаря, так и царевича. Если император и впредь будет уклоняться от определенного ответа и ссылаться на свою неосведомленность о местонахождении царевича, то Толстой должен был прибегнуть к угрозе, изложенной, правда, в самой общей и туманной форме: «...и против того свои меры брать принуждены будем». Если, напротив, император признает, что царевич находится в его владениях, но откажется его выдать, поскольку царевич «отдался под его протекцию», то надлежало заявить, что никому не дано выступать судьей в отношениях между отцом и сыном, тем более что отец заявил о готовности простить его проступок.

Инструкция предусматривала поведение Толстого и в том случае, если сын будет жаловаться на отца за «принуждение». Самым убедительным документом против этого обвинения считалось письмо царя к сыну из Копенгагена, которое Толстой должен был показать Карлу VI, чтобы тот убедился, «что неволи не было». Толстой должен был поведать цесарю, как отец долго и упорно пытался сына «на путь добродетелей поставить», но сын оказался невосприимчивым к подобного рода заботам и, вероятно, под влиянием недобрых людей решился на неразумный шаг. В общении с цесарскими министрами Петру Андреевичу следовало в зависимости от обстоятельств применять «ласку или угрозу». В случае отказа выдать царевича Толстой и Румянцев должны были домогаться разрешения на свидание с ним. Если будет отказано и в этом, то цесарю надлежало объявить, «что мы сие примем за явный разрыв». Царь тогда будет апеллировать к общественному мнению Европы.

Два пункта инструкции определяли, как нужно было уговаривать царевича возвратиться на родину: надлежало взывать к совести сына, разъяснить ему, какое он отцу «тем своим поступком безславию, обиду и печаль, а себе бедство и смертную беду нанес»; гарантировать прощение поступка, если уговоры подействуют и царевич напишет письмо цесарю о своем желании вернуться в Россию;

грозить родительским проклятием и намерением царя домогаться выдачи его с оружием в руках в случае отказа от возвращения².

Лучшего исполнителя повелений царя, чем Толстой, трудно было сыскать, ибо именно он искуснее других владел диаметрально противоположными системами переговоров — лаской и угрозами. Петр Андреевич умел быстро переходить от доверительного и обаятельного бормотания к металлу в голосе. Кроме того, он обладал еще двумя очень важными в данном случае преимуществами: хорошо знал итальянский и два десятилетия назад бывал в Неаполе, где скрывался царевич.

Толстой не ограничился аудиенцией у цесаря. На следующий день, 30 июля, он отправился к герцогине Вольфенбюттельской — матери супруги цесаря и покойной супруги царевича Шарлотты Христины Софии. Хотя теща Алексея поначалу заявила, что она ничего не знает о месте его пребывания, но затем под напором фактов вынуждена была выдать обещание всячески содействовать возвращению беглеца.

Итак, игра в прятки закончилась. Цесарь был загнан в угол, и ему надлежало дать четкий ответ на запрос царя. Три министра на тайной конференции 7 августа выработали рекомендации цесарю, как вести себя в дальнейшем в этом щекотливом деле. Коль скоро царю стала известна тайна пребывания сына, то решено было подать факт предоставления ему убежища как акт милосердия и благодеяния цесаря: то было сделано ради избежания угрозы «попасть царевичу в неприятельские руки». Царю надлежало заявить, что его неправильно информировали, будто «сына его перевозят как арестанта», что в действительности его «трактовали как принца» и сам этот «принц» просил, чтобы ему предоставили уединенное и безопасное убежище. Если царевич, ознакомившись с содержанием письма Петра к Карлу VI, все же откажется выехать в Россию, то Толстой мог рассчитывать на разрешение встретиться с ним.

Это был уже частичный успех Толстого — для него открывались пути непосредственного воздействия на царевича. Правда, Толстому было заявлено, что цесарь не выдаст Алексея вопреки его воле. Но это заявление можно было игнорировать, ибо и Толстой, и австрийские министры великолепно понимали, что упрямство цесаря чревато нежелательными последствиями — вторжением русских войск в Силезию или Богемию и пребыванием их там до тех пор, пока царь не получит сына.

Цесарь утвердил рекомендации конференции. В Неаполь курьер вез его повеление вице-королю графу Дауну оказывать всяческую помощь Толстому. Перед отъездом

в Неаполь Толстой еще дважды навещил тещу Алексея и получил от нее увещательное письмо. Впрочем, увещательным письмом можно назвать лишь условно, ибо герцогиня всего-навсего написала, что желает его «примирения с отцом».

Толстой и Румянцев выехали из Вены 21 августа 1717 г. и в Неаполь прибыли более месяца спустя—24 сентября. На следующий день они явились к Дауну, чтобы договориться о встрече с царевичем.

Первое свидание Толстого и Румянцева с царевичем состоялось 26 сентября. Для царевича встреча с доверенными людьми отца была такой же неожиданностью, как и для цесарских министров их появление в Вене. Алексей полагал, что терпит режим арестанта ради того, чтобы оставаться в неизвестности, а на поверку оказалось, что никакой тайны нет и отцу хорошо известно место его пребывания. Царевич онемел от страха. В особенности его приводило в трепет присутствие гвардейского капитана, который, полагал царевич, прибыл для того, чтобы лишить его жизни.

Толстой вручил царевичу два письма: одно от герцогини, другое от отца, написанное в Спа 10 июля 1717 г. Письмо Петра свидетельствует о его незаурядном литературном даровании, отличается краткой выразительностью и колоссальным эмоциональным напряжением. Приведем его полностью:

«Мой сын! Понеже всем есть известно, какое ты непослушание и презрение воли моей делал, и ни от слов, ни от наказания не последовал наставлению моему; но наконец, обольстя меня и заклинаясь богом, при прощании со мною, потом что учинил? Ушел и отдался, яко изменник, под чужую протекцию, что не слыхано не точию между наших детей, но ниже между нарочитых подданных, чем какую обиду и досаду отцу своему и стыд отечеству своему учинил!

Того ради посылаю ныне сие последнее к тебе, дабы ты по воле моей учинил, о чем тебе господин Толстой и Румянцов будут говорить и предлагать. Буде же побоишься меня, то я тебя ободрю и обещаюсь богом и судом его, что никакого наказания тебе не будет, но лучшую любовь покажу тебе, ежели воли моей послушаешь и возвратишься.

Буде же сего не учинишь, то, яко отец, данною мне от бога властью, проклиная тебя вечно. А яко государь твой за изменника объявляю и не оставлю всех способов тебе, яко изменнику и ругателю отцову, учинить, в чем бог мне поможет в моей истине. К тому помяни, что я все не насильством тебе делал, а когда б захотел, то почто на твою волю полагаться—чтоб хотел, то б сделал»³.

Мы не знаем, сколь продолжительным было свидание, какие монологи произносил Толстой и что на них отвечал царевич. Бесспорно одно: Петр Андреевич, руководствуясь инструкцией, пытался воздействовать на Алексея Петровича и ласками, и сказками, и угрозами, и, наконец, уговорами. Все старания, однако, оказались бесплодными. Выслушав Толстого, царевич заявил: «Теперь ничего не могу объявить, потому что надобно мыслить о том гораздо».

Следующая встреча состоялась через два дня, 28 сентября. Ее результаты тоже были неутешительными. Тем не менее это собеседование отличалось от первого. Тогда царевич испуганно молчал. Теперь состояние шока миновало, и Алексей стал словоохотливее. Обдумав содержание письма отца и обещания Толстого, на которые тот, естественно, не скупился, он наотрез отказался вернуться в Россию: «Возвратиться к отцу опасно и пред разгневанное лицо явиться не безстрашно; а почему не смею возвратиться, о том письменно донесу протектору моему, его цесарскому величеству».

После того как ласки не подействовали, Толстой перешел к языку угроз. Он заявил, что царь не удовлетворится до тех пор, пока не получит его живым или мертвым. Чтобы вернуть блудного сына в лоно семьи, отец не остановится и перед военными действиями. О себе Толстой сказал, что он не уедет отсюда и будет следовать за ним повсюду, куда бы он ни отправился, до тех пор, пока не доставит его отцу. Последняя угроза, кажется, произвела на царевича неотразимое впечатление, и он позвал Дауна в другую комнату, чтобы спросить, может ли он, царевич, положиться на покровительство цесаря, ибо не желает возвращаться к отцу. Получив положительный ответ, удрученный угрозами царевич воспрял духом и вновь заявил собеседникам, что ему надобно время для размышлений.

Толстой и Румянцев 1 октября 1717 г. отправили письмо царю с отчетом о результатах свиданий: «Сколько, государь, можем видеть из слов его, многими разговорами он только время продолжает, а ехать в отечество не хочет, и не думаем, чтобы без крайнего принуждения на то согласился». Второе письмо Толстой отправил резиденту Веселовскому. Оно тоже не отличалось оптимизмом: «...ежели не отчаети наше дитя протекцию, под которой живет, никогда не послушает ехать».

У Толстого созрел план, как оказать на царевича «крайнее принуждение», как его «отчаети», чтобы он согласился на выезд. Здесь надо сказать, что Петр Андреевич не всегда действовал честно и прямо: в арсенале его средств влияния находились и шантаж, и

запугивание, и подкуп. Он считал возможным ради достижения цели пользоваться всеми способами без разбора. Упомянутое выше письмо Веселовскому, где царевич назван «наше дитя», Толстой заключил словами: «...сего часа больше не могу писать, понеже еду к нашему зверю, а почта отходит». Думается, что, называя царевича «зверем», Толстой имел в виду, что царевич, подобно зверю, был обложен со всех сторон.

Коварный план Толстого состоял в том, чтобы лишить Алексея уверенности в готовности императора ради него пойти на все, в том числе и на вооруженный конфликт с Петром.

Подкупленный Толстым секретарь графа Дауна, непосредственно общавшийся с беглым царевичем, по заданию Петра Андреевича как бы невзначай, мимоходом, но под большим секретом должен был сказать ему, чтобы он не надеялся «на протекцию цесаря, который оружием ево защищать не может при нынешних обстоятельствах, по случаю войны с турками и гишпанцами».

Вторую акцию, тоже призванную оказать давление на царевича, должен был осуществить вице-король. Графу Дауну Толстой поручил высказать Алексею Петровичу намерение отобрать у него Евфросинью «для того, чтобы царевич из того увидел, что цесарская протекция ему не надежна и поступают с ним против ево воли».

Наконец, третью дезинформацию Петр Андреевич взял на себя: во время очередной встречи он был намерен сказать царевичу, что сию минуту получил письмо от царя, в котором тот будто бы писал, что, «конечно, доставать его намерен оружием» и что русские войска, сосредоточенные в Польше, готовы перейти границу.

Самое же сильное впечатление на царевича произвело сообщение Толстого о том, что отец вот-вот появится в Неаполе. Оно привело царевича в такой страх, что он, доносил Толстой, «в том моменте мне сказал: «Еже всеконечно ехать к отцу отважится»». Этот разговор состоялся 1 октября. Закончив его, Толстой отправился к графу Дауну, чтобы тот «немедленно послал к нему (царевичу.— *Н. П.*) сказать, чтобы он девку (Евфросинью.— *Н. П.*) от себя отлучил».

Толстой рассчитывал на эффект: «И того ради просил я вицероя (вице-короля.— *Н. П.*) учинить предреченный поступок, дабы с трех сторон вдруг пришли ему противные ведомости, т. е. что помянутый секретарь отнял у него надежду на протекцию цесарскую, а я ему объявил отцев к нему вскоре приезд и прочая, а вицерой разлучение с девкою и противно воле его учинить хочет, чтоб тем его привести к резону, ибо иного ему делать нечего, что ехать к отцу с повинением».

Толстой определил безошибочно: царевич находился в состоянии неуверенности и колебаний, он переживал душевные муки. Отсюда вывод — надо усилить давление.

2 октября Толстой получил записку Алексея: «Петр Андреевич! Буде возможно, побывай у меня сегодня один и письмо, о чем ты вчера сказывал, что получил от государя батюшки, с собою привези, понеже самую нужду имею с тобою говорить, не без пользы будет». Толстой сначала отказался от свидания, поскольку такого письма от царя он не получал и удовлетворить любопытство Алексея, разумеется, не мог, потом согласился встретиться.

Не знаем, сколь удачно он выпутался из положения, бывшего плодом его собственной мистификации. Для нас важен конечный результат облавы на «зверя». 3 октября Толстой и Румянцев явились к царевичу и услышали от него долгожданные слова. В тот же день царевич известил цесаря: «...резолюцию взял ехать в Вену и за превеликую милость вашего величества, когда сподоблюся видеть, персонально благодарить, и о некоторых своих нуждах просить и по оном, с воли вашего величества, возвратиться во своя к отцу своему, государю». Толстой и Румянцев поспешили поделиться приятной вестью с царем: «Его высочество государь царевич Алексей Петрович изволил нам сего числа объявить свое намерение, оставя все прежние противления, повинуется указу вашего величества и к вам в С.-Питербурх едет безпрекословно с нами».

Письмо сына к отцу о принятом решении помечено 4 октября 1717 г. и составлено по канонам канцелярской практики того времени, т. е. в известной мере повторяет обещание царя простить вину: «Письмо твое, государь, милостивейшее чрез господ Толстого и Румянцева получил, из которого, также изустного, мне от них милостивое от тебя, государя, мне всякие милости, недостойному в сем моем своевольном отъезде, будет, буде я возвращуся, прощение... И, надеяся на милостивое обещание ваше, полагаю себя в волю вашу и с присланными от тебя, государя, поеду из Неаполя на сих днях к тебе, государю, в С.-Питербурх.

Всенижайший и непотребный раб и недостойный назваться сыном *Алексей*»⁴.

О решении царевича известил цесаря и граф Даун. Он сообщил Карлу VI, что «царевич долго колебался дать положительную резолюцию», но наконец 3 октября согласился ехать к отцу. Царевич выразил желание отправить цесарю благодарственное письмо и, кроме того, просил разрешения прибыть в Вену для изъявления ему личной благодарности.

Как реагировали на полученное известие в Вене и Петербурге?

В реакции двух столиц можно найти общее: и здесь и там решение царевича вызвало вздох облегчения. Царь был, несомненно, рад, что удалось привести к благоприятному концу скандальное дело, наносившее ущерб его престижу в европейских дворах. Рад был и цесарь, поскольку решение царевича избавляло его от неприятных хлопот и даже конфликта.

Тайная конференция, созванная в связи с письмами царевича и Дауна, приняла постановление рекомендовать цесарю дать аудиенцию царевичу. Конференция полагала необходимым направить к царю специального чиновника, который должен был убедить Петра проявить к сыну милосердие, любовь и милость.

Из Петербурга царь ответил на письмо сына 17 ноября 1717 г.: «Мой сын! Письмо твое, в четвертый день октября писанное, я здесь получил, на которое отвечаю, что просишь прощения, которое уже вам пред сим чрез господ Толстого и Румянцова письменно и словесно обещано, что и ныне паки подтверждаю, в чем будь весьма надежен. Также о некоторых твоих желаниях писал к нам господин Толстой, которые также здесь вам позволяют, о чем он вам объявит». Под «некоторыми желаниями» подразумевалась просьба царевича разрешить ему жениться на Евфросинье, чтобы затем жить в деревне.

Действительно, царь одновременно с письмом царевичу 17 ноября отправил послание Толстому, поручив ему объявить, что оба желания сына будут удовлетворены: ему будет разрешено «жениться на той девке, которая у него, также, чтоб ему жить в своих деревнях»⁵.

Казалось, что инцидент исчерпан. Толстому понадобилось всего восемь дней (с 26 сентября, когда состоялось его первое свидание с царевичем, по 3 октября, когда царевич дал согласие вернуться в Россию), чтобы сломить сопротивление непутевого царского сына. Задание Петра Толстой выполнил блестяще. День за днем усиливал он давление и так плотно обложил своего «зверя», что тому оставлен был единственный выход — дорога к отцу.

Зная неуравновешенный характер царевича, его способность поддаваться чужому влиянию, Толстой не считал свою задачу выполненной настолько, чтобы предаваться беспечности, ибо понимал, что, до тех пор пока Алексей Петрович находился за пределами России, он мог множество раз переменить свое решение. Отсюда две заботы Петра Андреевича, находившиеся в центре его внимания до того момента, пока карета с царевичем не пересекла русскую границу: полностью изолировать царевича от постороннего влияния и держать в тайне его согласие

вернуться в Россию. Обе заботы были тесно связаны между собой и в конечном итоге преследовали одну цель — исключить возможность, чтобы кто-нибудь шепнул Алексею слово, могущее посеять сомнения и призывающее его отказаться от принятого решения.

Еще 3 октября Толстой в отдельной от письма цидулке «дерзнул» донести царю: «...благоволи, всемилостивейший государь, о возвращении к вам сына вашего содержать несколько времени секретно для того, ибо, когда сие разгласится, то небезопасно, либо кому то есть противно, чтоб кто не написал к нему какого соблазна, отчего (сохрани бог) может, устращась, переменить свое намерение». В тот же день Петр Андреевич обратился с аналогичной просьбой к Веселовскому, правда, без объяснения причины, почему факт возвращения царевича надлежит держать в тайне: «А буде услышишь в Вене, что государь царевич изволит возвращаться в свое отечество, о сем не изволь отнюдь никому в С.-Петербурх писать, о чем тебя приятельски остерегаю. Того ради при сем случае и я в дом свой писем не послал и прошу вас, пожалуй, прикажи сыну моему Петру, чтоб при сем случае ни к кому в С.-Петербурх не писал. А какие ради то причин—желаю о том я токмо к одному его царскому величеству писать»⁶.

Труднее было не допускать свиданий и конфиденциальных разговоров царевича с посторонними людьми. Толстой и Румянцев не спускали глаз с Алексея Петровича и неотступно за ним следовали. Пожелал царевич поклониться мощам св. Николая в Бари — желание поклониться святому угоднику выразили Толстой и Румянцев; вице-король предложил для этой поездки казенные кареты и эскорт из офицеров, но любезность была отклонена — мало ли как будут вести себя офицеры. «За что мы ему благодарствуя, весьма то отrekli,— доносил Толстой,— и просили его, чтобы нас отправил как можно больше инкогнито, на нашем иждивении».

Итак, стараниями Толстого и Румянцева общение царевича с простыми смертными было исключено. Но как предотвратить свидание царевича с Карлом VI?

Вспомним, что Алексей Петрович еще 3 октября высказал желание лично поблагодарить цесаря за предоставление ему убежища. О своих опасениях по поводу этого намерения Толстой написал царю: «Из Венеции намерен сын ваш ехать в Вену, но мы его всякими мерами отговаривались, однакож доньне зело в том стоит упорно, говоря, что будто ему, не возблагодаря цесаря, проехать не можно, и только хочет медлить в Вене один день. А понеже, государь, неволею нам его не пустить в Вену не можно, того ради писал я к резиденту Веселовскому,

дабы он трудился всякими мерами при дворе цесарском то сделать, дабы его в Вену под каким ни есть претекстом не допустить».

Судя по всему, Толстой не терял надежду уговорить царевича не заезжать в Вену. Такой вывод напрашивается при чтении письма Толстого Веселовскому, в котором он велел резиденту выслать слуг царевича в Инсбрук. Распоряжение имело смысл лишь в том случае, если Толстой намеревался либо не останавливаться в Вене, либо если и остановиться, то, не медля ни минуты, покинуть ее.

Царевич выехал из Неаполя 14 октября. Его маршрут пролегал через Рим, Венецию, Инсбрук, Вену. Алексей Петрович медленно, по осеннему бездорожью, двигался навстречу своей гибели. До Рима царевича сопровождала Евфросинья, но затем ее отправили по более безопасному и спокойному маршруту, ибо она находилась на четвертом месяце беременности. На пути к Вене, а этот путь в общей сложности занял более полутора месяцев, Толстой, царевич и царь обменялись письмами. Петр еще раз подтвердил свое обещание разрешить сыну жениться «на той девке» и жить в деревне. Толстой сообщал царю: «Он без того и мыслить не хотел (ехать в Россию.— *Н. П.*), ежели вышеписанные две кондиции позволены ему не будут»⁷.

Французский консул в Петербурге Виллардо решающую роль в согласии царевича вернуться на родину приписывает Евфросинье: «До отъезда в Италию был выработан план, с помощью которого он (Толстой.— *Н. П.*) надеялся добиться успеха. План заключался в привлечении на свою сторону любовницы царевича, которую он взял с собою из Петербурга. Она была финкой, довольно красивой, умной и весьма честолюбивой. Как раз эту слабость Толстой решил использовать: он убедил ее с помощью самых сильных клятв (он не затруднялся давать их, а еще меньше — выполнять), что женит на ней своего младшего сына и даст тысячу крестьянских дворов, если она уговорит царевича вернуться на родину. Соблазненная таким предложением, сопровождаемым клятвами, она убедила своего несчастного любовника в уверениях Толстого, что он получит прощение, если вернется с ним в Россию»⁸.

Ни один источник не подтверждает слов Виллардо. Доподлинно известен факт безграничной любви царевича к Евфросинье. Его подтверждают и свидетельства современников, и в еще большей мере письма царевича к Евфросинье, полные нежной заботы о любимой женщине, находившейся в положении. Обращают на себя внимание беспредельно ласковые обращения: «Маменька, друг мой», «Матушка моя, друг мой сердешный, Афросиньюшка!» В одном из писем царевича читаем: «А дорогою себя береги,

поезжай в летиге, не спеша, понеже в Тирольских горах дорога камениста, сама ты знаешь. А где захочешь — отдыхай, по сколько дней хочешь. Не смотри на расход денежной: хотя и много издержишь, мне твое здоровье лучше всего. А здесь, в Инсбруке, или где инде купи коляску хорошую, покойную».

Еще одним свидетельством серьезности намерения царевича превратить наложницу в супругу являются многочисленные просьбы Алексея Петровича, обращенные к отцу, чтобы он разрешил ему жениться на Евфросинье.

Виллардо называет Евфросинью Федоровну женщиной умной. Как могла умная женщина принять всерьез заверения Толстого, пусть даже сопровождавшиеся клятвами, в том, что он, Толстой, женит на ней своего младшего сына? Тем более что со стороны горячо любившего ее царевича не было ни малейшего намека на разрыв или охлаждение.

Не подтверждают версию Виллардо и ответные письма Евфросиньи. Правда, они более сдержанны и менее пылки, чем письма царевича, но из их содержания непреложно следует, что Евфросинья отвечала Алексею Петровичу взаимностью. Накануне нового года, 31 декабря 1717 г., Евфросинья, будучи в Нюрнберге, получила от царевича письмо с извещением о разрешении оформить их отношения брачными узами и тут же ответила своему возлюбленному: «...изволишь писать и радость неизглаголанную о сочетании нашего брака возвещать, что всевидящий господь по желанию нашему во благое сотворит, а злое далече от нас отженет, и что изволили приказать, чтоб брату и господину Беклемишеву и молодцам сию нашу радость объявить, и я объявила им, и повеселились».

Допустим, что слова о «неизглаголанной радости» были чистым лицемерием и что Евфросинья участвовала в дьявольском плане. Тогда зачем ей было сообщать своему окружению об ожидавшейся свадьбе?

Кроме того, Виллардо было неизвестно содержание писем Петра сыну и он, естественно, упустил из виду их воздействие на царевича.

В итоге свидетельство Виллардо можно отнести к крайне сомнительным. И тем не менее роль Евфросиньи в описываемой эпопее отрицать не приходится. Толстой в письме к ней из Твери, сообщая о прибытии «в свое отечество государя царевича», добавил: «...все так исправилось, как вы желали». Конец фразы можно интерпретировать только однозначно: Евфросинья желала возвращения царевича в Россию. Сама Евфросинья после прибытия в Петербург на допросе показала: «А когда господин

Толстой приехал в Неаполь и царевич хотел из цесарской протекции уехать к папе римскому, но я его удержала»⁹.

Царевич вместе с Толстым и Румянцевым прибыл в Вену поздно вечером 5 декабря 1717 г. Рано утром следующего дня кортеж покинул столицу империи. Итак, встреча с цесарем не состоялась. Ясно, что инициатором отказа от свидания с Карлом VI был не царевич. За полтора мсяца пути Петру Андреевичу удалось уговорить Алексея Петровича уклониться от аудиенции у цесаря и ограничиться лишь кратковременной остановкой в Вене.

До сих пор дела у Толстого шли наилучшим образом: ему удавалось все, его желания исполнялись беспрепятственно, будто он держал в руках волшебную палочку. Ему осталось перешагнуть через границу империи, чтобы выйти на финишную прямую. Здесь уже ничто не угрожало бы успешному завершению его миссии. Но после отъезда из Вены Толстого подстерегла неприятность, едва не перечеркнувшая все его старания. Поспешный выезд царевича из Вены и отказ от встречи с цесарем вызвали у последнего подозрения: не являлся ли поступок царевича результатом воздействия на него Толстого и не находился ли он на положении пленника уполномоченных царя.

Когда утром 8 декабря 1717 г. кареты с царевичем, Толстым и Румянцевым прибыли в Брюнн, моравский генерал-губернатор граф Колоредо уже имел в руках следующее предписание цесаря: «Царевич, испросив дозволения благодарить меня в Вене за оказанное покровительство, 16(5) декабря поздно ночью прибыл в Вену и сегодня рано утром отправился в Брюнн, не бывши у меня; да и Толстой ни у кого из моих министров не был. Из этого беспорядочного поступка ничего иного нельзя заключить, как то, что находящиеся при царевиче люди опасались, чтобы он не изменил своего намерения ехать к отцу». Цесарь велел генерал-губернатору задержать царевича под любым предлогом и постараться встретиться с ним наедине, чтобы спросить, добровольно ли он возвращается к отцу или принужден к тому силой. Если царевич заявит, что он намерен продолжать свой путь, то так тому и быть; если, напротив, он откажется от своего намерения, то графу Колоредо надлежало принять «все нужные меры к удобному его помещению».

Когда 9 декабря граф Колоредо отправился к царевичу, то, по словам Толстого, «царевич его к себе не допустил по совету моему». Петр Андреевич объяснил и причину отказа: свидание было бы «не бесподозрительно». В ответ Колоредо задержал царевича до получения дальнейших инструкций.

Карл VI по совету своих министров отправил генерал-губернатору указ: «Я повелеваю вам непременно каким бы

то ни было образом, даже силою, видеться с царевичем». Толстому ничего не оставалось, как согласиться на встречу Колоредо с Алексеем Петровичем. Царевич объяснил, почему он не явился к цесарю: «...не имел приличного экипажа и в таком грязном виде после путешествия не смел представиться ко двору». Разговор Колоредо с царевичем происходил в присутствии Толстого и Румянцева. Как только он закончился, Толстой демонстративно запер дверь за вышедшим в свои покои Алексеем Петровичем и тут же велел готовиться к продолжению пути.

Карл VI не удержался от жалобы Петру на бестактность Толстого, которого считал виновником несостоявшейся аудиенции. «Доказательством служит,— писал цесарь царю,—восприещение генерал-губернатору нашему в Брюнне видеть царевича». Царь взял Толстого под защиту. В ответной грамоте от 17 марта 1718 г. Петр вопреки истине писал Карлу VI: «Толстой всячески его (царевича.— Н. П.) склонял видеться с вами, но сын не согласился, отговариваясь необычностью в таких обхождениях и неимением при себе пристойного экипажа, а вероятнее всего, стыдился с зазрения, что оклеветал нас перед вами». Не соответствовало действительности и другое утверждение царской грамоты: «Также к принятию губернатора Колоредо в Брюнне Толстой долго уговаривал нашего сына и едва в том чрез несколько дней успел склонить»¹⁰.

Пять дней, проведенных Толстым в Брюнне, надо полагать, были самыми беспокойными в облаве на «зверя». Там у царевича появился последний шанс ускользнуть из рук Толстого, но Петр Андреевич мобилизовал всю изворотливость и настойчивость и в конечном счете продиктовал царевичу свою волю.

Путь от Брюнна до Москвы, куда царевич прибыл поздно вечером 31 января 1718 г., был преодолен без происшествий. Началось знаменитое следствие по делу царевича и так называемый суздальский розыск, главным действующим лицом которого была бывшая супруга Петра царица Евдокия Федоровна, ставшая в Суздальском монастыре инокиней Еленой.

В нашу задачу не входит освещение перипетий расследования бегства царевича и причастности к этому побегу других лиц, поскольку предлагаемая глава посвящена не царевичу, а участию в его деле Толстого. Заслуживает быть отмеченным, что сам Петр руководил следствием и оно выявило бесспорную вину царевича, отнюдь не ограничившуюся тем, что он, по собственному признанию, «забыв должность сыновства и подданства, ушел и поддался под протекцию цесарскую и просил его о своем защищении». Царевич хотя лгал и изворачивался, но под

влиянием показаний свидетелей был вынужден признать, что намеревался, опираясь на иностранные штыки, добиваться трона. Кроме того, царевич Алексей внутри страны в борьбе за власть ориентировался на силы, враждебные преобразованиям. Немало сведений, компрометирующих царевича, сообщила во время допросов Евфросинья: ей он развивал планы, которые осуществит, как только завладеет трон.

В самом начале следствия Петр предупредил сына: «Понеже вчерась прощение получил на том, дабы все обстоятельства донести своего побегу и прочаго тому подобно, а ежели что утаено будет, то лишен будешь живота». Возникла весьма щекотливая ситуация. Вспомним, в письме от 10 июля 1717 г. Петр обещал сыну: «...никакого наказания тебе не будет, но лучшую любовь покажу тебе, ежели воли моей послушаешь и возвратишься». Эту гарантию царь выдал в то время, когда не знал и половины того, что замышлял сын и как он намеревался свои замыслы осуществить. Следствие вскрыло множество тайн, которые царевич старательно скрывал. Алексей Петрович сознавался лишь под давлением показаний свидетелей и, следовательно, был далек от раскаяния и чистосердечного во всем признания. Такое поведение сына будто бы освобождало царя от ранее выданных заверений.

Петр, как самодержец, мог, разумеется, сам определить и меру виновности царевича как сына и подданого, и меру наказания за вину. Что же удерживало его от этого шага? Почему он передал судьбу сына в руки духовных иерархов и светских чинов?

Два обстоятельства, как свидетельствовал сам царь, вынудили его передать дело царевича на рассмотрение «вернолюбезным господам министрам, Сенату и стану воинскому и гражданскому». Одно из них — опасение, «дабы не погрешить, ибо натурально есть, что люди в своих делах меньше видят, нежели другие в их». Главная же, по-видимому, причина состояла в стремлении царя освободить свою совесть от ранее данной клятвы: «Я с клятвою суда божия письменно обещал оному своему сыну прощение и потом словесно подтвердил, ежели истину скажет; но хотя он сие и нарушил утайкою наиважнейших дел, и особливо замыслу своего бунтовного против нас, яко родителя и государя своего».

«Преосвященные митрополиты, и архиепископы и епископы и прочие духовные» не определили меры наказания, ограничившись выписками фраз из церковных сочинений, приличествующих данной ситуации: одни высказывания грозили виновному смертью; другие — призывали власть предержавшую проявить милосердие и великодушие. Общее заключение церковных иерархов было тако-

во: «Сердце царево в руке божии есть», как царь решит, так и будет справедливо.

Решение светских чинов было суровым и однозначным: «...царевич себя весьма недостойно того милосердия и обещанного прощения государя отца своего учинил». Таким образом, освободили царя от данного им клятвенного обещания светские чины. Царевич достоин смерти и как сын, и как подданный — таков был их приговор.

Согласно официальной версии, 26 июня 1718 г. «в 7 часу пополудни царевич Алексей Петрович в С.-Петербурхе скончался». По другим, неофициальным данным, вызывающим, кстати, большие подозрения относительно их достоверности, царевич был удушен, отравлен, казнен отсечением головы и т. п.¹¹

Вернемся, однако, к освещению роли П. А. Толстого в деле царевича Алексея. Его причастность к этому делу не завершилась доставкой «непотребного сына» в Москву: он принимал самое деятельное участие и в следствии. Фактическим руководителем следствия был, как отмечалось выше, царь. Он составлял вопросы, на которые должны были ответить царевич, Евфросинья и прочие обвиняемые. Человеком, вытягивавшим показания из подсудимых, был Толстой.

Усердие Толстого в деле царевича Алексея было вне всяких сомнений. Благодаря проявленному рвению Петр Андреевич стал пользоваться у царя большим, чем раньше, доверием. Петру приписывают ставшие хрестоматийными слова, сказанные им в адрес Петра Андреевича во время одной из пирушек, когда Толстой, чтобы уклониться от возлияний, сделал вид, что спит, а сам украдкой, одним глазом наблюдал за происходившим. Хитрость не ускользнула от внимания царя. Подойдя к Толстому, он сказал: «Голова, голова, кабы ты не была так умна, я давно бы отрубить тебя велел».

Версия, видимо, не принадлежит к числу легенд — слишком много в ней реалий. Толстой, как известно, не жаловал горячительных напитков. На этот счет имеется свидетельство иерусалимского патриарха Досифея, уговаривавшего Толстого еще в 1706 г. увеличить дозу принимаемого вина. Сомневаться в уме Петра Андреевича тоже не приходится: доказательств тому бесчисленное множество. Вряд ли нуждается в аргументации и коварство Толстого.

В распоряжении историков имеется два бесспорно веских свидетельства возросшего влияния Толстого. Одно из них — щедрые награды, полученные Толстым.

Первое пожалование относится к 26 мая 1718 г., когда царь «приказал двор Авраама Лопухина, что на Васильевском острове, с палатным и протчим строением и со всякими припасы» отдать Толстому в вечное владение. В

тот же день Петр Андреевич получил ранее пожалованное одному из Нарышкиных, а теперь конфискованное у него загородное дворовое место.

Перечисленные пожалования выглядят ничтожными по сравнению с тем, что он получил 13 декабря 1718 г. в награду за блестяще завершенное дело царевича Алексея: «За показанную так великую службу не токмо мне, но паче ко всему отечеству, в привезении по рождению сына моего, а по делу злодея и губителя отца и отечества» Толстому был пожалован чин действительного тайного советника. Кроме чина он получил 1318 крестьянских дворов. По обычаю тех времен, в раздачу шли вотчины, конфискованные у жертв розыска. Петру Андреевичу достались 1090 дворов Авраама Лопухина и 228 дворов Федора Дубровского. Если учесть, что мужское население двора в среднем составляло четыре души, то Толстой получил свыше 5200 душ, т. е. около половины крепостных, которыми он владел к 1727 г. Петр Андреевич начинал службу беспоместным дворянином, а к концу жизни в его вотчинах, разбросанных по 22 уездам империи, числилась 12 521 мужская душа.

Другое, пожалуй, более убедительное свидетельство возросшего влияния Толстого — его назначения. Уже указом 15 декабря 1717 г., т. е. в то время, когда Толстой вместе с царевичем еще находился в пути из Брюнна в Москву, он был назначен президентом Коммерц-коллегии, а позже — сенатором. Оба назначения отражали крутой взлет карьеры Петра Андреевича.

Коммерц-коллегия ведала внешней торговлей России. Задача коллегии состояла в том, чтобы проводить в жизнь меркантилистские взгляды Петра, который, как и большинство экономистов того времени, считал признаком успеха внешнеторговой политики достижение активного торгового баланса. Еще более почетной была должность сенатора. Получив ее, Петр Андреевич вошел в число 10—12 вельмож страны, составлявших верхушку формирующейся российской бюрократии. Но обе эти должности не шли ни в какое сравнение с третьей — начальника Тайной розыскных дел канцелярии.

История этого грозного и мрачного учреждения генетически связана с делом царевича Алексея. Следствие по этому делу расчленилось как бы на три ветви: собственно царевичев розыск; кикинский розыск и суздальский розыск. Два последних розыска были полностью завершены в Москве. В старой столице привели в исполнение и приговоры: Степан Глебов, признавшийся в блудном сожителстве с бывшей царицей Евдокией, был посажен на кол; ростовский епископ Досифей за сводничество и попустительство Евдокии, обрядившейся при его молчали-

вом согласии в мирскую одежду, низложен и колесован. Евдокию Федоровну, в иночестве Елену, отправили в Ладожский монастырь с более суровым режимом содержания.

Главным следователем по суздальскому розыску был Григорий Григорьевич Скорняков-Писарев. Это ему 9 февраля 1718 г. царь отправил собственноручное послание: «Ехать тебе в Суздаль и там в кельях жены моей и ее фаворитов осмотреть письма, и ежели найдутся, по тем письмам, у кого их вынут, взять за арест и привести с собою купно с письмами, оставя караул у ворот». Три дня спустя Скорняков-Писарев получил новое задание: «...розыщи, для чего она не пострижена, что тому причина и какой был указ в монастырь о ней...»

Кикинский и царевичев розыски в Москве вел Толстой; ему помогал гвардии майор Андрей Иванович Ушаков. По кикинскому розыску приговор был вынесен, как выше отмечалось, в Москве: бывший любимец царя Александр Васильевич Кикин, приятель и главный советник царевича, подвергся жестокой казни — колесованию.

После казней в Москве Петр отправился в Петербург. Туда же он велел доставить сына, родного брата бывшей царицы Авраама Лопухина и князя Василия Долгорукова. Следствие продолжалось, причем к трем следователям, главным среди которых был П. А. Толстой, прибавился четвертый — генерал Иван Иванович Бутурлин. Следователи назывались «министрами». Толстой, Ушаков, Скорняков-Писарев и Бутурлин вместе с канцелярским аппаратом образовали в Петербурге учреждение, получившее название Тайной розыскных дел канцелярии. Запомним эти имена. Речь о них пойдет и в следующей главе, где они выступят в роли не следователей, а подследственных.

На последнем этапе следствия к царевичу применялись пытки. С 19 по 24 июня 1718 г. Алексея пытали шесть раз. Истязания лаконично и бесстрастно регистрировались в записной книге Петербургской гарнизонной канцелярии. Читаем запись под 19 июня 1718 г., когда царевич побывал в застенке дважды: «Его царское величество и прочие господа сенаторы и министры прибыли в гварнизон по полуночи в 12 часу, в начале, а именно светлейший князь (А. Д. Меншиков.— *Н. П.*), адмирал (Ф. М. Апраксин.— *Н. П.*), князь Яков Федорович (Долгоруков.— *Н. П.*), генерал Бутурлин, Толстой, Шафиров и прочие; и учинен был застенок; и того ж числа по полудни в 1 часу разъехались.

Того ж числа по полудни в 6 часу, в исходе, паки его величество прибыл в гварнизон; при нем генерал Бутурлин, Толстой и прочие; и был учинен застенок, и потом, быв в гварнизоне до половины 9 часа, разъехались». Царевичу было дано 25 ударов.

Отметим деталь, подчеркивающую роль Толстого в следствии: он присутствовал на всех шести пытках, царь и Бутурлин — на пяти. Ушаков и Скорняков-Писарев персонально не упоминались. Скорее всего, они входили в число «прочих» присутствовавших.

Развязка наступила 26 июня. В 8-м часу утра в Петропавловскую крепость прибыли Долгоруков, Головкин, Апраксин, Мусин-Пушкин, Стрешнев, Толстой, Шафиров и Бутурлин. «И учинен застенок, и потом, быв в гарнизоне до 11 часа, разъехались. Того же числа по полудни в 6 часу, будучи под караулом в Трубецком роскате, в гварнизоне, царевич Алексей Петрович преставился»¹².

Казалось бы, смерть царевича должна была положить конец существованию Тайной канцелярии. Учреждение должно было умереть, так сказать, естественной смертью, поскольку повод, вызвавший его появление, более не существовал. Тайная канцелярия, однако, продолжала существовать, превратившись в постоянно действующее учреждение политического сыска, расследовавшее так называемые государственные преступления.

Тайная канцелярия занимала особенное положение среди центральных учреждений страны. Ее исключительность состояла в том, что, по свидетельству В. И. Веретенникова, изучавшего историю этого учреждения, около 70 процентов дел, расследуемых канцелярией, возникло по инициативе Петра. Другим свидетельством живейшего интереса и пристального внимания Петра к работе Тайной канцелярии является тот факт, что царь раз в неделю слушал доклады «министров» по важнейшим процессам и выносил по ним определения о прекращении или продолжении следствия, а также приговоры.

Главным средством получения сведений от обвиняемых были физические истязания. В повседневной практике Тайной канцелярии пытки были настолько обыденным делом, что у зачерствелых сердец тех, кто заносил показания колодников на бумагу, они не вызывали ни боли, ни сострадания, ни удивления, ни отвращения. Смерть от пыток тоже не возводилась в ранг чрезвычайного происшествия.

Следственный процесс обычно начинался с допроса, производимого канцелярскими служителями. Заключение по делу, так называемые экстракты, поступали на столы «министров», резолюции которых определяли дальнейший ход розыска. Чаще всего в пыточных камерах орудовали подручные «министров» — канцелярские служители разных рангов. Иногда в застенках присутствовали сами «министры» — они задавали вопросы и определяли вид пытки.

Служебная переписка Толстого с «министрами» и канцелярскими служащими не дает оснований полагать, что Петр Андреевич принадлежал к числу людей сердобольных и отзывчивых на чужую беду. Впрочем, жестокость была присуща не только Толстому. В такой же степени ее проявляли все «министры» Тайной канцелярии и сам царь. «Дьякона пытать... Другого, Иону, до обращения или до смерти»,— писал Петр в Тайную канцелярию в феврале 1720 г. Петр Андреевич тоже как-то писал дьяку Палехину, что колодника Костромитинова надо пытать, можно и до смерти, «ибо памятно, как царское величество изволил о нем говорить, когда изволили быть в Тайной канцелярии». Здесь ссылка на царя, но у Петра Андреевича не дрогнула рука написать также слова: «...не надобно ему исчислять застенков, сколько бы их ни было, но чаще его пытать, доколе или повинится, или издохнет, понеже явную сплел ложь».

Ушаков, прославившийся исключительной жестокостью в годы царствования Анны Иоанновны, в письме Толстому мрачно шутил по поводу истязаний: «В Канцелярии здесь вновь важных дел нет, а имеются посредственные, по которым тако же, яко и прежде, я доносил, что кнутом плутов посекаем да на волю отпускаем».

То ли служба в Тайной канцелярии становилась Толстому в тягость и вызывала душевные муки у немолодого человека, готовившего себя к покаянию перед тем, как отправиться в лучший мир; то ли он руководствовался какими-то личными выгодами; то ли считал для себя обременительным руководить Тайной канцелярией и заседать в Сенате (от должности президента Коммерц-коллегии он был освобожден в 1721 г.); то ли, наконец, полагал, что для руководимого им учреждения наступило безвременье и к нему не поступало заслуживавших внимания колодников,—но Петр Андреевич высказал неподдельную радость, когда узнал, что в середине января 1724 г. царь велел новых дел в канцелярию не принимать, а незаконченные передать Сенату. Это означало близкую ликвидацию Тайной канцелярии. В ответ на новость, сообщенную Ушаковым, Толстой писал: «Об отсылке дел в Сенат я уповаю, что вы, мой государь, потрудитесь скорейше от той тягости освободить меня и себя... а ежели за бесчастие наше скоро канцелярия наша с нас не съется, то, мнится мне, небезопасно нам будет оного (одного оставшегося дела) не следовать»¹³.

Тайная розыскных дел канцелярия при Петре так и не была упразднена, ибо царь, издав указ, запрещающий принимать новые дела, вопреки своему же указу продолжал направлять колодников в канцелярию. Ликвидировала ее Екатерина I только в 1726 г. Указ 28 мая, адресованный

Толстому, гласил: Тайная канцелярия была учреждена в 1718 г. «на время для случившихся тогда чрезвычайных тайных розыскных дел... подобные дела и ныне случаются, однако не так важные», которые расследует князь И. Ф. Ромодановский в Преображенском приказе, поэтому ему и надлежит передать все дела и приказных служителей к 1 июля 1726 г. Тайная канцелярия прекратила свое существование.

В. И. Веретенников высказал не лишнюю основания догадку, что указ о ликвидации Тайной канцелярии был составлен самим Толстым, переживавшим в короткое царствование Екатерины I звездный час своей карьеры.

Начало блистательному взлету карьеры Толстого положило расследование им дела царевича Алексея. Сказать, что Петр Андреевич купался, подобно Меншикову в пору его процветания, в лучах славы и находился в таком же, как тот, фаворе, будет преувеличением. Бесспорно одно — известная настороженность Петра по отношению к Толстому исчезла, и он находился в числе немногих лиц, которых царь в последние годы жизни приблизил к себе и которым давал ответственные поручения.

Например, в 1719 г., когда в Петербурге были получены известия о намерении Пруссии заключить союзный договор с враждебной России Англией, а посол в Берлине А. Г. Головкин, сын канцлера, по мнению Петра, недостаточно энергично противодействовал англо-прусскому сближению, царь отправил в Пруссию более опытного и изворотливого дипломата, каким слыл Петр Андреевич. Приехав в начале июля 1719 г. в Берлин, Толстой сразу же взялся за дело. Кабинет-секретарю А. В. Макарову он писал: «Я уже в Берлине живу неделю и во вся дни в конференциях трудимся; однакож вижу трудности немалые, и весьма сей двор намерен возобновить свою дружбу с королем аглинским, и хотя мы прилежно трудимся удержать, чтобы известного трактату без включения в оный его царского величества не заключили, но едва можем ли удержать, понеже они ласкают себя, что чрез сей трактат могут себе получить великие авантажи».

Толстой вел переговоры с прусским королем и его министрами до октября 1719 г. Ему не удалось помешать заключению договора Пруссии с Англией, но он сумел заручиться заверением прусского короля, что тот не станет ни тайно, ни явно действовать в ущерб интересам России¹⁴.

Не кто иной, а именно Толстой 7 февраля 1722 г. объявил в Сенате, на заседание которого были приглашены и «две персоны» из Синода, Устав о наследии престола. Это был заключительный аккорд дела царевича Алексея: указ предоставлял право царствующему госуда-

рю передавать престол не старшему, а любому из сыновей.

В том же 1722 г. Петр Андреевич воспользовался обстоятельствами, чтобы войти в доверие к будущей императрице Екатерине I. Петр Великий, отправляясь в Каспийский поход, прихватил с собой и супругу, а также некоторых вельмож, среди них—Толстого. Как знаток стран, соседствовавших с Россией на юге, Толстой возглавил походную посольскую канцелярию царя. В то время как Петр во главе армии двинулся на юг завоевывать западное побережье Каспийского моря, двор Екатерины, а также посольская канцелярия находились в обозе, где Петр Андреевич сумел сблизиться с императрицей. Здесь Толстой блеснул еще одной гранью своего таланта—оказался интересным собеседником скучавшей от безделья Екатерины. Видимо, поэтому Екатерина пожелала, чтобы церемонией провозглашения ее императрицей в мае 1724 г. заправлял Толстой.

Перечисленные признаки роста влияния Толстого не идут ни в какое сравнение с тем, что произошло 28 января 1725 г., когда умер Петр Великий. Екатерина была обязана восшествием на престол двум сановникам покойного супруга—Меншикову и Толстому. Их объединил страх за будущее. Оба они отдавали себе отчет в том, что утверждение на троне сына погибшего царевича Алексея ничего хорошего им не сулило. Напротив, Екатерина могла им гарантировать сохранение власти и богатства. Но, как только Екатерина водрузила корону на свою голову, давно копившаяся неприязнь и соперничество за влияние на императрицу наложили печать на их взаимоотношения. Сначала они были прохладными, а затем стали и враждебными.

Одним из средств обуздания честолюбия светлейшего Толстой считал создание Верховного тайного совета. Петр Андреевич был в числе вельмож, вошедших в его состав. Однако его надежды на то, что новое учреждение ослабит влияние Меншикова, не оправдались. Назревала острая схватка двух вельмож, закончившаяся, как увидим ниже, полным поражением Петра Андреевича и крахом его блистательной карьеры. Гроза разразилась над его головой в то время, когда он, доживая последние годы, нуждался в покое. Поэтому его схватку с Меншиковым нельзя объяснить ни страстью к интригам, ни честолюбивыми замыслами. Это был акт самозащиты.

В ЗАТОЧЕНИИ

«Самый темный для меня эпизод из жизни наших предков, это изгнание в Соловецком, где умерли Петр и Иван»¹. Слова эти принадлежат Льву Николаевичу Толстому. Известно, что он в 70-х годах прошлого века изучал эпоху Петра Великого, с тем чтобы написать о ней роман. Живо интересовала писателя и судьба его далекого предка, родоначальника графов Толстых,— Петра Андреевича. Сведения о его жизни и деятельности Лев Николаевич мог почерпнуть в трудах таких историков, как Н. Г. Устрялов, Н. П. Погодин и С. М. Соловьев. Однако последние годы жизни П. А. Толстого выходят за рамки трудов Устрялова и Погодина, а у С. М. Соловьева о них сказано бегло. Статья Е. П. Ковалевского «Суд над графом Девиером и его соучастниками»² хотя и была опубликована в 1871 г., но не раскрывает в полной мере участия в заговоре П. А. Толстого, поскольку центральной фигурой следствия был А. М. Девиер.

В пятницу, 28 апреля 1727 г., в покоях царского дворца в Санкт-Петербурге наступило некоторое успокоение: придворным, находившимся в напряженном ожидании близкой кончины императрицы, стало известно, что она почувствовала облегчение и даже подписала два указа, круто изменившие судьбы по крайней мере трех видных сподвижников Петра.

В этот день в Петропавловскую крепость были приглашены действительный тайный советник и канцлер граф Гавриил Иванович Головкин, действительный тайный советник князь Дмитрий Михайлович Голицын и четыре человека в военных мундирах: генерал-лейтенант Дмитриев-Мамонов, генерал-лейтенант князь Григорий Юсупов, генерал-майор Алексей Волков и обер-комендант столицы бригадир Фаминцын. Все названные лица, согласно именному указу, назначались членами следственной комиссии, получившей несколько позже наименование Учрежденного суда.

Комиссии поручалось расследовать поступки генерал-полицеймейстера Санкт-Петербурга Антона Мануиловича Девиера. Ему было предъявлено обвинение в том, что он, как сказано в указе, «явился подозрителен в превеликих продерзостях, но и, кроме того, во время нашей, по воли божией, пружестоккой болезни многим грозил и'напоминал с жестокостию, чтоб все ево боялись». Указ содержал злоеущее дополнение: «...кто к тому делу приличится, следовать же и розыскивать и нас о всем репортовать обстоятельно»³. Второй указ, тоже именной, разъяснял суть обвинений, предъявленных Девиеру.

Первоприсутствующим Учрежденного суда значился

канцлер Головкин. Фактическим, так сказать закулисным, руководителем суда, пристально наблюдавшим за его деятельностью, был А. Д. Меншиков. Так думать нас вынуждает прежде всего состав суда, укомплектованного его людьми. Светлейший, видимо, полагал—и, кстати говоря, не ошибся в своих расчетах,— что два действительных тайных советника—Г. И. Головкин и Д. М. Голицын—готовы безропотно подчиниться его воле. Что касается генералов и бригадира, то достаточно беглого просмотра «Повседневных записок» князя Меншикова, чтобы убедиться в том, что они были не только его подчиненными, поскольку он занимал пост президента Военной коллегии, но и близкими ему людьми, ибо являлись завсегдатаями его дворца.

Девиер был взят под стражу еще 24 апреля. В освещении «Повседневных записок» арест выглядел так: в тот день, во втором часу дня, Меншиков отправился к Екатерине «и, немного побыв, вышел в переднюю и приказом ея императорского величества у генерал-полицеймейстера графа Девиера изволил снять кавалерию (орден.— Н. П.) и приказал гвардии караульному капитану арестовать и потом, паки побыв у ея императорского величества с полчаса, изволил возвратиться в свои покои». Саксонский посол Лефорт при описании этого события сообщил некоторые подробности: «К Девиеру, находившемуся в покоях дворца, явился караульный капитан и, объявив ему арест, потребовал от него шпагу. Девиер, показывая вид, что отдает шпагу, вынимает ее с намерением заколоть князя Меншикова, стоявшего сзади его, но удар был отведен»⁴.

Аресту Девиера предшествовал секретный разговор Меншикова с Голицыным, состоявшийся 24 апреля. В тот же день за обеденным столом в покоях дворца Меншикова сидели два будущих члена суда—Юсупов и Волков. Два дня спустя Меншиков вел разговоры не только с Голицыным, но и с Головкиным. О чем они беседовали, причем не публично, а, как подчеркнуто в записках, «тайно»?

Позволим себе высказать предположение, что не о погоде, хотя кто-нибудь из собеседников и мог посоветовать на ее ухудшение. В «Повседневных записках» под 26 апреля помечено: «...сей день было хладно, и ветер, и Невою шел лед». По всей вероятности, Меншиков уговаривал своих собеседников войти в состав суда и обговаривал его задачи.

Встречи Меншикова с членами Учрежденного суда Дмитриевым-Мамоновым, Юсуповым, Волковым и Фаминцыным состоялись 29 и 30 апреля. 4 мая светлейший «с час» разговаривал с князем Юсуповым, а 5 мая—с Волковым и Дмитриевым-Мамоновым. В «Повседневных запи-

сках» отмечен еще один любопытный факт: светлейший в этот день посетил Петропавловский собор и коменданта крепости. В том, что Меншиков слушал обедню, ничего необычного, разумеется, не было, а вот визит к коменданту, несомненно, был связан с содержанием в крепости Девиера.

Другим свидетельством активного участия Меншикова в следствии являются его частые встречи с вице-канцлером Андреем Ивановичем Остерманом. О содержании разговоров между ними упомянутый выше источник тоже молчит, но вряд ли будет ошибочным предположение, что собеседники обсуждали дело Девиера и вопросы, с ним связанные: о наследовании престола и сватовстве дочери Меншикова. Заметим, кстати, что ни с кем из вельмож светлейший так много не встречался в те дни, как с Остерманом. Этот факт сам по себе наводит на мысль, что Остерман, ловкими интригами набиравший силу, был главным консультантом Меншикова.

Князь отправился к Остерману в день ареста Девиера и пробыл у него около трех часов. Тайный разговор с ним он вел у себя и на следующий день, а 26 апреля снова поехал к нему сам. В воскресенье, 30 апреля, Остерман сидел у Меншикова за обеденным столом. Но особенно участились встречи Меншикова с Остерманом в начале мая, когда состояние здоровья императрицы вновь ухудшилось, а следствие по делу Девиера — Толстого подходило к концу: 1 и 2 мая они виделись по два раза в день⁵.

Сохранились следы и прямого вмешательства князя в работу Учрежденного суда. Так, Меншиков отправил суду два недатированных письма. В первом он изложил дополнительное обвинение в адрес Девиера. Оно состояло в том, что Девиер, как только императрица «изволит от сна востать», выпрашивал у девушек обо всем, что происходило в покоях больной. Однажды он задавал такого рода вопросы в бане, где Меншиков застал его «с некоторою деушкою».

Второе письмо касалось процедурных и организационных вопросов. Меншиков предлагал Головкину, чтобы тот объявил всем членам суда о необходимости дать присягу, «дабы поступать правдиво и никому не манить, и о том деле ни с кем не разговаривать». Князь предлагал начать следствие «завтре поутру» и предупреждал: «...а розыску над ним (Девиером.— *Н. П.*) не чинить», т. е. не прибегать к пыткам.

Следствие началось 28 апреля. Девиеру во время первого же допроса велено было ответить на 13 вопросов. На первый взгляд вопросы, как и ответы на них, больших опасностей допрашиваемому не сулили.

Первое и, вероятно, самое главное обвинение состояло

в том, что Девиер, находясь в царском дворце в день обострения болезни императрицы, не проявлял печали, а, напротив, веселился. Допрашиваемый разъяснил, что он просто назвал лакея Алексея, у которого попросил пить, Егором. Эта ошибка вызвала у присутствовавших, и среди них у великого князя Петра Алексеевича, смех потому, что на его зов обернулся придворный шут князь Никита Трубецкой, которого прозвали Егором. Смех, разумеется неуместный, был вызван, непреднамеренно и стал своего рода разрядкой в ожидании трагической развязки.

Девиеру удалось отвести и обвинение в непочтительном отношении к цесаревнам Елизавете и Анне Петровнам. Граф разъяснил, что Елизавете Петровне он «решпект» отдавал, а при появлении Анны Петровны он хотел встать, но цесаревна сама не только ему, но и всем присутствовавшим в покоях «вставать не приказала».

Согласно обвинению, Девиер будто бы сказал рыдавшей Анне Петровне:

— О чем печалился, выпей рюмку вина.

Девиер заявил, что не помнит, произносил ли он подобные слова, но признал, что, когда цесаревна села за стол и отведала вина, сказал ей:

— Полно, государыня, печалитца, пожалуй и мне рюмку вина своего, и я выпью.

Обвиняемый наотрез отказался от слов, будто бы сказанных великому князю Петру Алексеевичу:

— Поедем со мною в коляске, будет тебе лутче и воля. А матери твоей уже не быть живой.

В ряде случаев, по показаниям Девиера, приписываемые ему слова были искажены до неузнаваемости. Так, его обвинили в том, что он заявил великому князю, что за невестой, с которой у князя состоялся сговор, будут «волочитца» поклонники. Девиер подал разговор в выгодном для себя свете: он, Девиер, «говаривал его высочеству часто, чтоб он изволил учиться. А как надел кавалерию — худо учился. А как зговорит женитца — станет ходить за невестою и будет ревновать, учиться не станет». Разговоры эти, разъяснял Девиер, он вел, «чтоб придать охоту к учению ево».

О Софье Карлусовне Девиер показал:

— Вертел ли вместо танцев плачущую Софью Карлусовну или нет, не упомяну, а такие слова, что не надобно плакать, помнитца, говорил, утешая.

Отметим, что заявление допрашиваемого «не упомяну» расценивалось в судебной практике XVII—XVIII вв. как полупризнание или признание справедливости выдвинутого обвинения.

На вопросы, заданные по предложению Меншикова, Девиер показал, что он разговаривал с девушками «о

здравию ея императорского величества, как изволила почивать и встать». Что касается случая в бане, то о нем, заявил Девиер, он не помнит. Впрочем, он признал, что «з девушками и с мужеским полом в бане сиживал и разговаривал». Кстати, допрошенная Учрежденным судом «придворная девица Катерина» призналась, что она разговаривала с Девиером в бане, но об «обхождении при дворе он у ней не спрашивал».

Сняв допрос, члены Учрежденного суда немедленно отправились с докладом к императрице. Все ответы Девиера суд разбил на три группы, а именно: «которые слова не весьма важные, оные отчасти сказал он, что говорил только в противной какой разум»; о других сказал, что «не помнит, а что помнит и то другим образом»; о самых важных обвинениях сказал, «что того весьма не чинил».

Выслушав заключение, императрица — конечно же по подсказке Меншикова — устно «изволила повелеть ему, Антону Девиеру, объявить последнее, чтоб он по христианской и присяжной должности объявил всех, которые с ним сообщники в известных причинах и делах, и к кому он ездил и советовал и когда, понеже-де надобно то собрание все сыскать и искоренить ради государственной пользы и тишины. А ежели-де не объявит, то ево пытать». В подтверждение устного указа Головкину «с товарищи» был направлен письменный за подписью Екатерины и датированный тем же 28 апреля. Указ заканчивался угрозой: «Ежели он всех не объявит, то следовать розыском немедленно».

Два обстоятельства не могут не обратить на себя внимание при знакомстве с содержанием следственного дела.

Одно из них состоит в невероятной поспешности в проведении следствия. В самом деле, в течение лишь одного дня 28 апреля был создан Учрежденный суд, подписано императрицей два указа, составлены вопросные пункты, снят допрос с Девиера, произведен анализ полученных ответов, доложен императрице, от которой тут же последовал новый указ. Здесь виден почерк Меншикова, человека столь же напористого, как и решительного. Он, разумеется, спешил, ибо знал, что дни Екатерины сочтены и следствие надлежало закрыть при ее жизни, чтобы она успела подписать указ о наказании виновных.

Еще более поражает воображение метаморфоза, происшедшая с самим делом в течение одного дня. Вспомним, первоначально речь шла о «предерзостных» поступках одного Девиера. Теперь заговорили о сообщниках, «к кому он ездил и советовал и когда». Вначале суть обвинений ограничивалась, если можно так выразиться, ущербом,

наносимым представителям царствующей фамилии. В конце дня речь уже шла о действиях, направленных «к великому возмущению», и, следовательно, о необходимости виновников «сыскать и искоренить ради государственной пользы и тишины».

Итак, Девиер «предерзостный» росчерком пера превратился в Девиера — опасного политического преступника, причем непосредственная связь между первыми показаниями обвиняемого и последующей квалификацией его вины не прослеживается: ни из вопросов, ни из ответов на них не вытекало, что государству грозило «великое возмущение».

Тщетно искать в источниках объяснений происшедшему повороту. Наиболее простым и вероятным объяснением случившегося могло бы быть предположение, что Меншиков именно к концу дня 28 апреля получил от кого-то дополнительную информацию о действиях Девиера, далеко выходящих за рамки нарушения придворного этикета и направленных лично против него, Меншикова. Но в этом построении есть одно уязвимое место: если Меншиков не знал о кознях, затеянных против него, то зачем ему понадобилось прибегать к таким суровым мерам в отношении Девиера, как его арест и снятие с него «кавалерии»?

Не лишено оснований и другое объяснение: Меншикову было заведомо известно о замыслах Девиера, но он первоначально предпочел выдвинуть в качестве обвинения не действия против своей персоны, а пренебрежение к представителям царствующей фамилии. Видимо, князь решил, что так ему легче будет убедить смертельно больную императрицу в необходимости организовать суд и начать следствие. Меншиков понимал, что в данном случае важен первый шаг, а потом закрученная пружина придаст делу движение, которое можно будет без особых усилий повернуть в удобном ему направлении.

В пользу подобного хода мыслей говорят, правда глухо, слова первого указа Екатерины о том, что Девиер во время ее «прежестоккой болезни многим грозил и напоминал с жестокостию, чтоб все ево боялись». Не относились ли бросаемые несдержанным Девиером угрозы к Меншикову?

Некоторый свет на причины поворота в следствии проливает показание княгини Аграфены Петровны Волконской, гофдамы императрицы, возглавлявшей оппозиционный Меншикову кружок, в состав которого входили менее влиятельные люди, чем в кружок Девиера — Толстого.

27 апреля фактотум Меншикова Егор Пашков обратился к Волконской с просьбой рассказать ему о том,

«с каким доношением на его светлость господин Толстой хочет быть и доносить ея императорскому величеству». Рассчитывая на благосклонность Меншикова при решении своей судьбы, княгиня сообщила Пашкову сведения, значение которых трудно переоценить: «...Толстой говорил, якобы его светлость делает все дела по своему хотению, не взирая на права государственные, без совета, и многие чинит непорядки, о чем он, Толстой, хочет доносить ея императорскому величеству и ищет давно времени, но его светлость беспрестанно во дворце, чего ради какого случая он, Толстой, сыскать не может»⁶.

Княгиня Волконская этим признанием себя не спасла. Под 2 мая 1727 г. в «Повседневных записках» читаем: «Сего числа дана дорожная княгине Волконской до Москвы и объявлено, что ея императорское величество указала ей жить в Москве или в деревнях своих, а далее чтоб никуда не ездить».

Сведения, полученные от Волконской, надо полагать, дали основание Меншикову заподозрить, что Девиер был не одинок, что из него можно вытянуть показания куда более важные, чем те данные, которыми он располагал на 28 апреля.

Ночь с 28 на 29 апреля Девиеру дали провести наедине с тревожными думами о будущем. Но уже утром ему был зачитан именной указ, подписанный Екатериной накануне, с угрозой применить пытку. Ответ Девиера отличался категоричностью: «Он никаких сообщников ни в каких известных притчинных делах у себя не имеет. И ни х кому он для советов и к нему никто ж о каком злом умысле к интересу ея императорского величества и государству не ездил и не советывал никогда». Поразмывлив, он все же признался, что после своего возвращения из Курляндии нанес визит герцогу Голштинскому (супругу Анны Петровны.— *Н. П.*), у которого спросил, слышал ли он о заговоре великого князя. Тот дал утвердительный ответ и в свою очередь спросил: «Как-де ты думаешь, не будет ли то противно интересу ея императорского величества?» Девиер ответил: «Мне-де кажетца то ж». Далее он показал, что «о том же говорил с Иваном Ивановичем Бутурлиным, и положили о том доносить ея императорскому величеству и на то искать времени».

Суд счел признания недостаточными и велел отвести Девиера в застенок. Дыбу он стерпел, продолжая утверждать, что «никаких сообщников у себя о злом каком умысле к интересу ея императорского величества и государства не имеет, и ни х кому он для советов о каком злом умысле не ездил, и ни от кого о том такого злаго побуждения не имел». Но вынести 25 ударов было выше его сил, и он хотя и «утверждался в прежних своих

речах», но признался, что к Бутурлину ездил не один раз, а дважды «и говорил с ним о свадьбе великого князя». Тут же Девиер сообщил, как увидим ниже, явную ложь: «...а более того никуда не ездил».

Итак, было названо два новых имени: герцог Голштинский и генерал Бутурлин. Этого было достаточно, чтобы круг лиц, привлеченных к следствию, расширился, ибо каждый из оговоренных называл новые имена. Правда, герцога Голштинского оставили в покое, но и без него суд в общей сложности допрашивал пять человек: Ивана Ивановича Бутурлина, Петра Андреевича Толстого, Григория Григорьевича Скорнякова-Писарева, Александра Львовича Нарышкина, князя Ивана Долгорукова.

С 29 апреля, когда была произнесена фамилия Бутурлина, Учрежденный суд как бы забыл о «продерзостях» Девиера во время жестокого «пароксизма» императрицы. Словно охотник, напавший на след более крупной дичи, суд занялся выяснением вопроса, который в одинаковой мере интересовал как Меншикова, так и его противников, оказавшихся под следствием. Чтобы прояснить его суть, следует вернуться к более раннему времени.

Петр Великий, как известно, не оставил завещания. Среди возможных преемников — а их было несколько — наибольшие шансы занять престол имели царевич Петр Алексеевич, внук Петра Великого и сын казенного царевича Алексея, а также супруга умершего царя Екатерины Алексеевны. Право было на стороне двенадцатилетнего Петра Алексеевича, но тронем распорядилось не эфемерное право, а реальные политические силы.

Ближайшему окружению покойного царя, равно как и овдовевшей его супруге, воцарение малолетнего Петра Алексеевича, поддерживаемого аристократическими фамилиями Голицыных и Долгоруковых, ничего хорошего не сулило. Утвердившись на троне и повзрослев, рассуждали они, Петр станет мстить всем, кто повинен в смерти его отца, и первыми жертвами его расправы будут те, кто поставил свои подписи под смертным приговором царевичу Алексею. Список подписавшихся возглавил Меншиков, за ним следовали Головкин, Апраксин, Толстой, Шафилов, Бутурлин и десятки менее видных сподвижников Петра. Если и не всех их ждала виселица, то опала, означавшая конец карьеры, подстерегала едва ли не все 127 персон, отправивших Алексея Петровича на эшафот.

Опасение за будущее заставило их объединиться вокруг Екатерины и таким образом воспрепятствовать воцарению Петра Алексеевича. Во главе ее сторонников стоял Меншиков. Силой, на которую он опирался при возведении на престол Екатерины, были гвардейские полки.

Но вот Екатерина Алексеевна утвердилась на троне, и

от единства не осталось и следа. Повод для распрей и размолвок подал сам Меншиков. Он не довольствовался тем, что подчинил своей воле большую и не интересовавшуюся делами управления императрицу и прибрал к рукам фактическую власть в стране. Он глядел вдаль, размышляя о недалеком будущем, когда Екатерины не станет и он останется без опоры, предоставлявшей ему статус полудержавного властелина.

Короче, Меншиков решил породниться с царствующей династией, выдав замуж свою дочь за Петра Алексеевича. Надумав осуществить этот дерзкий план, князь, естественно, сделал крутой поворот в своем отношении к воцарению Петра и к бывшим единомышленникам, вместе с которыми он не так давно противился его вступлению на престол. Из противника вступления на престол Петра светлейший превратился в горячего сторонника наследования им короны.

Как ни тайно готовилось завещание Екатерины, его содержание стало достоянием придворных кругов и вызвало среди них смятение. Оно еще более усилилось, когда состоялась помолвка дочери светлейшего князя и Петра. Над одними нависла угроза оказаться в опале, другие усматривали главную беду в укреплении позиций Меншикова, который на положении регента будет распоряжаться всем и вся.

В нашу задачу не входит подробное изложение хода следствия и показаний каждого из обвиняемых. Остановимся лишь на важнейших из них.

29 апреля в крепость был вызван Бутурлин. Он показал, что Девиер приезжал к нему дважды и каждый раз затевал разговор о сватовстве: «Светлейший князь сватает свою дочь за великого князя. Как бы то удержать, чтоб не было такой опасности высокому интересу ея императорского величества. А особливо опасно, когда светлейший князь с великим князем будут заодно: чтоб тою персону, которая в Шлютенбурхе (Евдокию Лопухину.— *Н. П.*), не взяли сюда и ея величеству, государыне императрице, какой худобы не было. И для того как мочно удерживали. И чтоб он, господин генерал Бутурлин, вкупе с адмиралом (Ф. А. Апраксиным.— *Н. П.*) и графом Толстым шли к ея величеству и о том предлагали».

В Бутурлине Девиер обрел единомышленника. Иван Иванович не возражал против необходимости оказывать планам Меншикова противодействие, но сомневался в целесообразности коллективного визита к императрице:

— Всем вместе нельзя, а станет один говорить, когда будет время.

Обсуждались также угодные для собеседников кандидатуры на престол.

Бутурлин. Анна Петровна «на отца походит и умна».

Девьер. То правда, она и умильна собою и приемна и умна. А и государыня Елисавет Петровна изрядная, только-де сердитее ее. Ежели б в моей воле было, я б желал, чтобы цесаревну Анну Петровну государыня изволила сделать наследницею.

Бутурлин. То б не худо было, и я б желал, ежели государыне не было противно.

Никто из обвиняемых не проявлял такой готовности давать показания, как Девьер. После пытки 29 апреля его более не обременяли душевные сомнения, и он лихорадочно напрягал память, чтобы припомнить детали своих разговоров и поведать о них Учрежденному суду. В общей сложности его допрашивали девять раз, в том числе дважды под пыткой. Для сравнения сообщим, что Скорняков-Писарев давал показания трижды, Долгоруков и Бутурлин — по два раза, а Толстой, Нарышкин и Ушаков — по одному.

Однажды, показал Девьер, к нему приехал Толстой. Визит был настолько неожиданным для хозяина, что он не удержался от вопроса гостю:

— Что тебе зделалось, что ты от роду у меня не бывал.

Толстой, опытный и умный делец и интриган, не стал сразу раскрывать все карты, решив прощупать настроение собеседника.

— Я недавно проведал, что жена твоя родила, для того и приехал.

От разговоров об этом семейном событии Толстой перешел к хлопотам о судьбе своего сына Ивана.

— Мне крайняя нужда пришла тебя просить...

— О чем?

— Сын мой в продерзость впал, и государыня гневна.

— Я также слышал, что безделицу зделал.

Девьер согласился оказать помощь Толстому в его хлопотах, но при одном условии: «Ежели при том буду, готов просить».

Убедившись в благожелательном к себе отношении Девьера, Толстой перешел к обсуждению вопроса, ради которого приехал к нему. Начал он издалека.

— Говорил ли тебе королевское высочество (герцог Голштинский.— *Н. П.*) что-нибудь?

— Нечто он мне говорил,— ответил Девьер.

— Ведаешь ли ты, что делаетца сватовство у великого князя на дочери светлейшего князя?

Девьер, если верить его показаниям, осторожничал и выжидал, что не соответствовало его темпераменту.

— Отчасти о том я ведаю, а подлинно не ведаю. Токмо

его светлость обходитца с великим князем ласково. Тому надобно противитца.

Толстой стал развивать мысль о грозившей им всем опасности и излагать план действий.

— Надобно о том донестъ ея величеству со обстоятельством, что впредь может статца: светлейший князь и так велик в милости; ежели то зделаетца по воли ея величества—не будет ли государыне после того какая противность, понеже того он захочет добра больше великому князю. Он и так чести любив, потом зделает, и может статца, что великого князя наследником и бабушку ево (бывшую супругу Петра I Евдокию Федоровну.— *Н. П.*) велит сюда привести. А она нраву особливого, жестокосердна, захочет выместить злобу.

У Толстого было и конкретное предложение: надобно уговорить, «чтобы ея императорское величество для своего интереса короновать изволила при себе цесаревну Елисавет Петровну или Анну Петровну, или обеих вместе. И когда так зделаетца, то ея величеству благонадежнее будет, что дети ее родные».

А как быть с царевичем Петром Алексеевичем? У Толстого и на этот счет были соображения.

— Как великий князь научитца, тогда можно ево за море послать погулять и для обучения посмотреть другие государства, как и протчие европейские принцы посылаютца, чтоб между тем могли утвердитца здесь каранция их высочеств.

Толстой добавил, что об этом плане осведомлен Иван Иванович Бутурлин, который «хочет ея величеству о том донестъ». Толстому довелось услышать от Девиера слова упрека:

— Что-де вы молчите? Светлейший князь овладел всем Верховным советом! Лутче б де было, коли б меня в Верховный совет определили,—выпалил он без ложной скромности⁷.

2 мая Девиер «в дополнку» ранее данным показаниям о разговорах с Бутурлиным относительно сватовства привел любопытные суждения старого генерала об отношениях между вельможами. Девиер, выгораживая себя, старался оставить в тени свое участие в разговоре и, естественно, выпячивал роль Бутурлина. По его словам, Иван Иванович произнес длинный монолог о том, что вельможи не любят Меншикова.

— Токмо-де светлейший князь не думал бы того, чтоб князь Дмитрий Михайлович Голицын и брат ево князь Михайла Михайлович и князь Борис Иванович Куракин и их фамилия допустили ево, чтоб он властвовал над ними. Напрасно-де светлейший князь думает, что они ему друзья... Ему скажут-де: «Полно-де, миленькой, и так ты

над нами властвовал, поди прочь!» Правда, светлейший князь не знает, с кем знатца. Хотя князь Дмитрий Михайлович манит или льстит, не думал бы, что он ему верен. Токмо для своего интересу (он это делает).

Бутурлин объяснил и причины своего недовольства: «И понеже давно служу: и при государе блаженные памяти показывал великую службу, когда была ссора у его величества с сестрою, царевною Софьею Алексеевною. И ныне б служить готов, токмо б искать государственной пользы».

— Очень-то хорошева дела, и всем так надобно делать,—бросил реплику Девиер.

Бутурлин ему возразил, ибо был готов «искать» государственную пользу только в том случае, если она совпадала с его личными интересами.

— Что-де хорошева, что светлейший князь что хочет, то и делает. И меня-де, мужика старова, обидил—команду отдал мимо ево младшему. К тому ж и адъютанта отнял у меня. Чего ради он так делает? Знатно, для своего интересу. А надеюсь, что государыня о сем не известна. Буду ея величеству жаловатца и ему стану говорить: «Откуды он такую власть взял?» Разве за то, что я много ему добра делал, о чем он, светлейший князь, довольно ведает, а теперь забыто. Так-то он знает, кто ему добро делает!

Такой сентенцией закончил свой монолог Бутурлин.

Новый этап следствия наступил со 2 мая, когда суд привлек к дознанию Скорнякова-Писарева и князя Долгорукова, а позже Толстого и Ушакова.

2 мая суд, руководствуясь устным повелением императрицы, вынес определение: Скорнякова-Писарева и Долгорукова допросить в крепости, «а протчих по дворем». Однако уже на следующий день Толстому был объявлен домашний арест: «...дабы вы без указа из дому своего не выезжали и писем никуда никаких не писали до окончания дела. И у двора вашего поставить караул, чтоб к вам никто не приезжали». 4 мая аналогичный указ был объявлен и Бутурлину.

Из допроса Скорнякова-Писарева следует, что он более всего был озабочен намерением Меншикова передать престол Петру Алексеевичу. Признаки этого намерения он обнаружил еще в ноябре 1726 г., когда намечался фейерверк по случаю тезоименитства императрицы Екатерины.

План фейерверка был сочинен Скорняковым-Писаревым и Василием Корчминым и представлен на утверждение Меншикову. Тот забраковал его и поручил полковнику Витверу составить новый. Полковник, надо полагать, безоговорочно заложил в фейерверк идею,

подсказанную князем: был нарисован столб, а на нем — корона; к столбу прикреплена веревка с якорем, частично зарытым в землю; у столба молодой человек с глобусом и циркулем в одной руке, другой рукой он держал веревку.

Скорняков-Писарев уже тогда не без основания заподозрил, что Меншиков «тою фигурою являет наследником великого князя», и, будучи человеком грубым и прямолинейным, предложил Толстому донести о меншиковской затее с фейерверком императрице. Граф отказался. Писарев пригрозил:

— Ежели ето дело будет шумно, то я скажу ея величеству государыне императрице, что о том тебе сказывал⁸.

Угроза подействовала — Толстой доложил, и чертеж фейерверка в конечном счете был изменен.

Для нас наибольший интерес представляет допрос Петра Андреевича Толстого. Ему было предложено ответить на 14 вопросов. В своих ответах он либо подтверждал, либо уточнял, либо отклонял показания других обвиняемых, либо, наконец, объяснял свое поведение и поступки.

Граф Петр Андреевич подтвердил главную свою вину: он действительно развивал перед Девиером план отстранения от престола великого князя путем отправки его за границу и провозглашения наследницей Елизаветы Петровны. Настаивая на этом, он имел в виду прежде всего личную безопасность. «А говорил с ним (Девиером.— *Н. П.*) такие слова для того,— показал Толстой,— что... по указу блаженные и вечнодостоянные памяти императорского величества привез царевича Алексея Петровича из чюжих краев в Росию. И когда о том деле были розыски, у тех розысков по указу его же величества был... Того ради опасался, чтоб... не припамятовано было впредь». По этой же причине он ничего хорошего не ожидал и от освобождения из заточения бабки Петра Алексеевича Евдокии Лопухиной: «Ежели бабка великого князя будет взята (ко двору.— *Н. П.*), будет мстить за грубость... к ней и блаженныя памяти государя императора дела опровергать».

Толстой сначала отклонил показание Девиера, будто он, Толстой, высказывался за коронование цесаревны Анны Петровны или обеих цесаревен вместе. По его признанию, он на эту тему выражал верноподданнические чувства. «Все то положим на волю божию,— говорил Толстой Скорнякову-Писареву,— и, кого бог учинит наследником, тому мы должны служить верно». Но, проявив в данном случае рабскую покорность обстоятельствам, Толстой на вопрос следователей, заданный позже, ответил, что в дни кризиса болезни императрицы он полагал,

«чтоб ея величество изволила учинить наследника или наследницу, кого изволит, чтоб государство не осталось без наследства и не воспоследовало б в народе какое смущение». В конечном итоге он признал, что они с Бутурлиным много раз обменивались мнениями на этот счет и «желали, чтоб ея императорское величество изволила учинить наследницею дочь свою Елисавету Петровну».

4 мая, когда следователи допрашивали Нарышкина в его доме, туда прибыл секретарь Меншикова Яковлев с повелением, чтобы они «ехали немедленно ко двору ея величества». Здесь императрица «указала всему собранию Учрежденного суда сказать, чтоб к будущей субботе изготовать к решению экстракты изо всего дела и приличные указы как из воинских, так и из статских прав». 5 мая это устное повеление было оформлено письменным указом, подписанным императрицей, причем сроки завершения дела еще более ужимались. Указ предлагал сентенцию (приговор) из дела «доложить нам, кончая в 6 день сего месяца, поутру».

Расследование дела не было закончено. Например, остались невыясненными разноречия в показаниях Толстого и Бутурлина. Нуждались в проверке показания княгини Волконской о намерении Толстого проникнуть в покои императрицы, чтобы донести ей о самоуправстве Меншикова. До конца не ясным остался и вопрос о привлечении к заговору адмирала Федора Матвеевича Апраксина. Обвиняемые возлагали на него надежды, вели на этот счет разговоры между собой, но делились ли они с ним своими планами—не известно. Учрежденный суд пропускал мимо ушей наветы на Апраксина. Да и репутация члена Учрежденного суда Д. М. Голицына показаниями Бутурлина оказалась подмоченной.

Характерно, что факт незавершенности процесса признавал именной указ от 5 мая: «А буде кто еще из оных же, которые уже приличились следованием, не окончано, и то за краткостию времени оставить. И ежели некоторых по тому же делу вновь что показано, а они не допрашиваны—тех допрашивать впредь». Эта часть указа осталась пустым пожеланием—Меншикову было не до тонкостей и не до точного определения степени виновности каждого из привлеченных к следствию. Ему во что бы то ни стало надобно было, чтобы его противники оказались поверженными еще при жизни императрицы и ее именем. Именно такой ход событий обеспечивал ему успешное завершение задуманного—возведение на престол великого князя Петра Алексеевича и женитьбу его на своей дочери.

Выполняя указ императрицы о выписке «из воинских и статских указов» приличествующих случаю «артикулов»,

Учрежденный суд обратился к Уложению 1649 г. Но в нем подходящих статей не удалось обнаружить. Статья первая второй главы хотя и была выписана, но прямого отношения к данной ситуации не имела, ибо предусматривала смертную казнь тем, кто «каким умышлением учнет мыслить на государское здоровье злое дело».

Приличествующие случаю «артикулы» оказались не в кодексе семидесятипятилетней давности, а в нормативных актах более позднего происхождения—в Уставе о наследии престола 1722 г. и Правде воли монаршей, опубликованной в 1726 г. Бросается в глаза важная деталь: канцелярский аппарат не располагал ни минутой свободного времени, чтобы тратить его на выписки из воинских и статских регламентов и указов. Сентенция составлялась что называется с листа, без промежуточного этапа, под которым подразумевались требуемые указом выписки.

Спешка видна и в другом: экстракты, т. е. краткие резюме допросов обвиняемых, и сентенция были написаны четырьмя разными почерками. Это дает основание считать, что отдельные части документов составлялись разными лицами одновременно. Впрочем, даже такая организация работы не обеспечила завершения ее в назначенный срок. Вспомним, что указ повелевал доложить сентенцию, «кончая в 6 день сего месяца, поутру», а докладывали ее, как явствует из документов, много позже—после трех часов дня.

Первую половину дня 6 мая Учрежденный суд в полном составе слушал экстракты, затем поручил канцеляристам сочинить сентенцию. «Потом,—читаем в журнальной записи суда,—пополудни в 3-м часу слушали вышеозначенной сентенции и, подписав своими руками, ездили все собрание во дворец для доклада по той сентенции ея императорскому величеству». В журнальной записи значатся слова «и докладывали», а вслед за ними сказано, что «дан им имянной ея императорского величества указ за подписанием собственные ея императорского величества руки»⁹.

Последовательность столь обстоятельно зарегистрированной процедуры, происходившей у смертного одра императрицы, вызывает сомнения. Не могла Екатерина за несколько часов до кончины слушать доклад и тем более выражать свое мнение по поводу выслушанного, а она умерла в тот же день, 6 мая 1727 г., в девятом часу вечера.

В делах Учрежденного суда действительно имеется указ, о котором шла речь выше, и под ним значится подлинная подпись Екатерины. Остается предположить, что в минуту, когда смерть перед тем, как окончательно одолеть свою жертву, на миг отступила, Меншиков, не

спускавший глаз с императрицы, подсунул ей указ, который та, как говорится, не глядя, подписала.

Вернемся, однако, к содержанию сентенции. Первая ее часть не представляет большого интереса, поскольку в ней в сжатом виде перечисляются «вины» каждого из подсудимых, нам уже известные. Новая информация заложена во второй части приговора, являвшейся своего рода обвинительным заключением, в котором действия и умыслы обвиняемых подведены под статьи законов.

Главное преступление обвиняемых состояло в том, что они, зная «все указы и регламенты, которые запрещают о таких важных делах, а наипаче о наследствии, не токмо с кем советовать, но и самому с собою разсуждать и толковать, колым же паче дерзать определять наследника монархии по своей воле, кто кому угоден, а не по высокой воле ея императорского величества», противились этой воле. Поэтому они будут «за изменника почтены» и подлежат смертной казни и анафеме.

Второе преступление обвиняемых связано со сватовством великого князя. В сентенции написано, что все «персоны, которые тщилися домогаться не допускать до того (свадьбы.— *Н. П.*), весьма погрешили как против высокой воли ея величества, так и во оскорблении его высочества великого князя».

Виновность привлеченных к следствию усугублялась тем, что «все вышеписанные злые умыслы и разговоры чинены были от них по их партикулярным страстям, а не по доброжелательству к ея императорскому величеству». Так, «граф Толстой сказал, что боялся великого князя, а протчие сказали, что боялись усилования светлейшего князя».

Далее следуют определенные судом меры наказания: Девиера и Толстого, «яко пущих в том преступников, казнить смертию»; генерала Бутурлина, лишив чинов и данных деревень, отправить в ссылку в дальние деревни; князя Ивана Долгорукова «отлучить от двора и, унизя чином, написать в полевые полки»; Александра Нарышкина лишить чина и отправить в деревню безвыездно; Андрея Ушакова за то, что он не донес о слышанных им разговорах относительно престолонаследия и сватовства, отстранить от службы.

Одна деталь сентенции требует пояснения. Материалы следствия свидетельствуют о различной степени участия в заговоре Девиера и Толстого: активность проявлял первый из них. Это он затевал разговоры то с одним, то с другим обвиняемым, привлекал их к участию в заговоре, увещивал действовать, в то время как Толстой не обнаруживал инициативы и осторожно, а иногда и уклончиво отвечал лишь на предложения, сформулированные собеседником.

Между тем и тому и другому сентенция определила одинаковую меру наказания — смертную казнь.

Недоумение прояснится, если учесть, что для Меншикова главным противником был Толстой. Светлейший конечно же понимал, что ни Девиер, ни Скорняков-Писарев были не способны свалить его, Меншикова. Такое было под силу только Толстому.

В указе, подписанном Екатериной 6 мая 1727 г., мера наказания была смягчена. Толстому и Девиеру сохранили жизнь, причем первому определили ссылку в Соловецкий монастырь, а Девиеру — в Сибирь. Просьба родной сестры Александра Даниловича, Анны Даниловны, супруги Девиера, была оставлена без внимания. 30 апреля Анна Даниловна обратилась к брату с посланием: «Светлейший князь, милостивый отец и государь, приемляю я смелость от моей безмерной горести труднить вас, милостивого отца и государя, о моем муже, о заступлении и милостивом предстательстве к ея императорскому величеству, всемилостивейшей нашей государыне, дабы гнев свой милостиво обратить изволили». Ответа не последовало.

Смягчено было наказание еще одному участнику заговора — Бутурлину: его сослали в деревню, оставив за ним владения.

Обращает на себя внимание несоразмерность между квалификацией содеянного преступления и мерой наказания, определенной как в приговоре Учрежденного суда, так и в указе императрицы. В самом деле, следуя букве законодательства того времени, все обвиняемые без исключения подлежали смертной казни, ибо они противились установленному законом порядку престолонаследия. В сентенции, кроме того, есть ссылка на устав воинский, в котором определено: равное наказание чинится над тем, «которого преступление хотя к действию и не произведено, но токмо ево воля и хотение к тому было»¹⁰.

Мы видели, что «воля и хотение» были у всех обвиняемых, за исключением, быть может, Андрея Ушакова.

Отметим и другое: ни в экстрактах, ни в сентенции, ни, наконец, в именном указе не упомянут герцог Голштинский, хотя его имя то и дело встречается в показаниях обвиняемых. Из этих показаний следует, что заговорщики уповали на герцога прежде всего как на передаточную инстанцию. Именно он и его супруга, как родственники императрицы, должны были рассказать ей о двух затеях Меншикова: о сватовстве и желании видеть наследником престола Петра Алексеевича. Впрочем, сам герцог претендовал на активную роль в заговоре. Он мечтал, если верить показанию Толстого, стать президентом Военной коллегии, т. е. утвердиться в должности, которую зани-

мал Меншиков. С герцогом вели доверительные разговоры все лица, привлеченные к следствию, он был в курсе всех их намерений и даже страдал их безрадостной перспективой: «...ежели ея императорское величество прекратит жизнь без завету о наследстве, и мы все пропадем».

Родственные связи герцога с царствующей фамилией избавили его и от допросов, и от упоминания его имени в сентенции и в указе. Тем не менее следствие оказало влияние на его дальнейшую судьбу. Именно оно проливает свет на причины поспешного удаления герцога из России: Меншиков стремился как можно быстрее избавиться от конкурента за влияние на верховную власть. Правда, со смертью Екатерины шансы герцога на первую роль в правительстве практически исчезли, но испорченных отношений уже было не восстановить. Как ни ненавидел Меншиков герцога, но все знаки внимания ему оказал: когда корабль с герцогом и Анной Петровной следовал по Неве мимо дворца Меншикова, князь из окна помахал ручкой отъезжавшим.

Субботний день 6 мая 1727 г. был, по свидетельству «Повседневных записок» А. Д. Меншикова, «пасмурной, и великий ветер». В этот день в столице империи произошло множество событий. Их перечень не исчерпывается смертью императрицы и подписанием ею указа с определением меры наказания обвиняемым. На этот же день падает и исполнение указа.

Напомним, что Толстой и Бутурлин давали показания у себя дома и Толстой даже исхлопотал себе право принимать родственников — стоявшие у его двора караульные пропускали их к нему. Оба подследственных в первые дни домашнего ареста почтительно назывались полными титулами. Теперь, 6 мая, титулы стали «бывшими»: «...взяты во оный Учрежденный суд бывшие действительный тайный советник и кавалер граф Петр Толстой, генерал кавалер Иван Бутурлин, и при оном собрании сказан им арест и сняты с них кавалерии святого апостола Андрея и с лентами голубыми и шпаги. И оные Толстой и Бутурлин отданы под караул». В этот же день состоялась экзекуция над Девьером и Скорняковым-Писаревым: оба они были биты кнутом.

Светлейший не имел обыкновения останавливаться на полпути. Несмотря на суматоху при дворе, вызванную кончиной императрицы, он продолжал держать судьбу осужденных в своих руках: «Оные Антон Девьер и Петр Толстой с сыном ево Иваном (имя которого, кстати, не упоминалось ни в сентенции, ни в указе.— *Н. П.*), Григорий Скорняков-Писарев посланы в ссылки за караулом в указанные места». Указ был приведен в исполнение и в отношении остальных обвиняемых.

Меншиков не угомонился и на этом. День 6 мая был ознаменован еще и тем, что Учрежденный суд отправил два указа: один из них был адресован архангелогородскому губернатору Измайлову и предписывал доставленных в Архангельск Петра Андреевича Толстого с сыном немедленно отправить на судах в Соловецкий монастырь «и велеть им в том монастыре отвесть келью, и содержать ево, Толстого с сыном, под крепким караулом: писем писать не давать, и никого к ним не допускать, и тайно говорить не велеть, токмо до церкви пущать за караулом же, и довольствоваться брацкою пищею».

Другой указ касался Девиера и Скорнякова-Писарева. Их велено было «как дорогою, так и на квартирах содержать под крепким караулом и всегда быть при них по человеку с ружьем или со шпагою и писем писать и чернил и бумаги им давать не велеть, и тайно ни с кем говорить не допускать, и весть их наскоро». Указ запрещал заезжать как в старую столицу, так и в деревни, принадлежавшие колодникам.

Учрежденный суд определил место ссылки Девиера и Скорнякова-Писарева в общих чертах: когда они будут доставлены в Тобольск, то их надлежало «розвесть по разным дальним городам, чтоб они, Девиер и Писарев, между собою свидания не имели».

Несколько позже были выдворены из столицы жены и дети осужденных. В паспорте, выданном Анне Даниловне Девиер, было написано: «Отпущена из Санкт-Петербурха бывшего генерала-лейтенанта Антона Девиера жена ево Анна, Данилова дочь, з детьми Александром, Антоном, Иваном. А велено ей жить в деревнях своих, где она пожелает». Днем раньше такой же паспорт получила и супруга Скорнякова-Писарева Катерина Ивановна.

Итак, Меншиков во всем преуспел: когда императрица сделала предсмертный вздох, по майскому бездорожью на ямских подводах в сопровождении караульных солдат тряслись его противники. Светлейшему казалось, что им сметены все помехи, препятствовавшие осуществлению задуманного: теперь и провозглашение наследником Петра Алексеевича, и брак его с дочерью Марией будут встречены если не ликованием, то безропотным молчанием.

И все же одно дельце князь не успел повернуть: протяни Екатерина еще пару дней или даже несколько часов и не окажись она на смертном одре в тот самый день 6 мая, Меншиков наверняка представил бы ей для подписи манифест с разъяснением подданным случившегося. Но это уже была деталь, не повлиявшая на ход событий.

Манифест был обнародован от имени Петра II только 27 мая. Новых оценок происшедшего по сравнению с

сентенцией Учрежденного суда он не содержал. Подданные извещались, что осужденные «тайным образом свещались противу того Уставу и высокого соизволения ея императорского величества во определении нас к наследствию». Заговорщики противились и волеизъявлению покойной императрицы «о сватовстве нашем на принцессе Меншиковой, которую мы во имя божие ея же величества и по нашему свободному намерению к тому благоугодно избрали»¹¹.

Приспело время взглянуть на описанные выше события, так сказать, изнутри и оценить их. Внешне они выглядели как дворцовая интрига, но по существу их следует рассматривать как неудавшуюся попытку произвести дворцовый переворот.

Перевороты, как известно, отличались двумя свойствами: они готовились в глубокой тайне кучкой заговорщиков без привлечения к участию в них широких слоев населения; перевороты не изменяли ни социальной, ни политической структуры общества, они отражали борьбу за власть соперничавших группировок господствующего класса. Это последнее свойство дворцового переворота было совершенно справедливо отмечено в сентенции Учрежденного суда: «...все вышеписанные злые умыслы и разговоры чинены были от них по их партикулярным страстям, а не по доброжелательству к ея императорскому величеству». Столь же справедливы были и слова сентенции о том, что участники заговора действовали ради «своей собственной безопасности»¹².

Так квалифицировала цели Девиера — Толстого победившая в этой сваре группировка, возглавляемая Меншиковым. Но, оказавшись в роли победителей Девиер — Толстой, они без околичностей могли бы бросить тот же упрек поверженному Меншикову. Как у Меншикова, так и у его противников побудительные мотивы распри находились в одной плоскости: они помышляли о своекорыстных интересах, или, как написано в сентенции, руководствовались «партикулярными страстями».

Впрочем, Девиер — Толстой победить не могли. Когда знакомишься с содержанием документов Учрежденного суда, то невольно удивляешься наивности всех обвиняемых, и прежде всего такого многоопытного в политических и придворных интригах человека, как Петр Андреевич Толстой. Невозможно отрешиться от впечатления, что участники заговора только тем и занимались, что упорно убеждали друг друга в необходимости донести о своих опасениях императрице. Вместо энергичных действий — игры ва-банк — разговоры и только разговоры.

Скорняков-Писарев говорил Девиеру:

— Надобно того не проронить и государыне донести.

Девьер согласен:

— Чтоб донести ея императорскому величеству ныне, а после-де времени не будет, и вас не допустят.

Диалог Девьер—Бутурлин велся в том же ключе.

Девьер. Для чего они к ея императорскому величеству не ходят?

Бутурлин. Нас не пускают.

Девьер. Напрасно затеваете, сами ленитесь и не ходите, а говорите, что не пускают.

Но евиер все же полагал, что только Бутурлин был способен выполнить эту рискованную миссию. Как-то герцог Голштинский сказал Девьеру: «Иван Иванович о том же деле хочет доложить ея величеству». Девьер с ним согласился: «Он-де посмелые и может донести». Сам Бутурлин доносить, однако, не спешил: «Как ея императорское величество придет в свое здоровье, тогда он улучае время, ея императорскому величеству, может быть, станет доносить».

Что касается Толстого, то он либо из осторожности, либо по убеждению занимал уклончивую позицию. Однажды он заявил: «...когда время придет, тогда доложит ея величеству», но в другом разговоре наотрез отказался это сделать: «...а докладывать ея императорскому величеству он дерзновения не имеет»¹³.

Впрочем, Толстой лукавил. Из признания княгини Волконской известно, что Петр Андреевич искал случая получить аудиенцию у императрицы, но, убедившись в бесплодности своих попыток (так как «его светлость беспрестанно во дворце»), решил прибегнуть к посредничеству гофдамы, бесспорно сочувствовавшей затее Толстого. Случая такого, однако, не представилось.

Итак, из следственного дела вытекает, что Толстому не удалось свидеться с императрицей и поведать ей о пагубном влиянии замысла Меншикова на судьбу ее дочерей. Согласно же версии упоминавшегося выше консула Виллардо, аудиенция Петра Андреевича у императрицы состоялась. В своей «Краткой истории жизни графа Толстого» он описал ее так:

«Согласие царицы на брак великого князя с дочерью Меншикова было подобно удару грома для герцога Голштинского, его супруги и Толстого. Они боялись возражать: герцог из-за отсутствия смелости, а герцогиня (Анна Петровна.— Н. П.) слушалась плохих советов; но Толстой, полный огня, крайне разгневанный, пришел к царице, как только узнал эту новость. Объяснив ей с благородной смелостью, какой ущерб она нанесет себе и своим детям, он закончил свою речь со страстной смелостью, которая привела в восхищение всех присутствующих.

«Ваше величество,—сказал он,—я уже вижу топор,

занесенный над головой Ваших детей и моей. Да хранит Вас господь, сегодня я говорю не из-за себя, а из-за Вас. Мне уже больше 80 лет, и я считаю, что моя карьера уже закончена, мне безразличны все события, счастливые или грозные, но Вы, ваше величество, подумайте о себе, предотвратите и избежите удара, который Вам грозит, пока еще есть время, но скоро будет поздно».

Когда он увидел, что у царицы не было сил забрать назад слово, данное Меншикову, он ушел с твердым намерением во что бы то ни стало предотвратить вступление на русский трон молодого великого князя»¹⁴.

Не подлежит сомнению, что если бы подобный монолог был произнесен, то какие-нибудь его отголоски непременно попали бы на страницы следственного дела. Но никаких следов и даже намеков на них нет ни в документах Учрежденного суда, ни в следствии по делу княгини Волконской. Виллардо в своем сочинении собрал и изложил самые разноречивые слухи, ходившие при дворе, придав им стройность и драматическую форму. Однако в приведенном отрывке желаемое выдано за действительное, а быль причудливо переплетена с небывлицами.

Единственным человеком, один-единственный раз осмелившимся разговаривать с Екатериной на щекотливую тему, был герцог Голштинский. Он как-то заявил Девиеру: — Я уже нечто дал ей величеству знать, токмо изволила умолчать¹⁵.

Впрочем, нет возможности проверить, насколько достоверно и это заявление.

Итак, заговорщики уповали на Екатерину и полагали, что достаточно ей раскрыть глаза на замыслы и проделки Меншикова, как последуют угодные им перемены: расстроится сватовство и Петр Алексеевич не будет значиться наследником.

Подобные рассуждения были чистой иллюзией. Императрица, как мы видели, оказалась глухой к предостережениям своего зятя. Не способна она была воспринять и доводы других заговорщиков, ибо, во-первых, находилась под неограниченным влиянием Меншикова и безропотно выполняла его волю; под контролем светлейшего находился и доступ к императрице; во-вторых, в дни, когда заговорщики намеревались убедить Екатерину воспрепятствовать осуществлению намерений Меншикова, в шкатулке, хранившейся в Верховном тайном совете, уже лежал ее Тестамент (завещание), в котором она благословляла и назначение своим преемником Петра Алексеевича, и его брачные узы с дочерью Меншикова.

В этих условиях реальным результатом беседы кого-либо из заговорщиков с императрицей могло быть только

более раннее их разоблачение. Мечты о перевороте без применения силы — пустая затея. Эту азбучную истину хорошо усвоили организаторы переворотов более позднего времени, неизменно опиравшиеся на гвардию.

Путь от Санкт-Петербурга до Архангельска занял свыше месяца: губернатор Иван Измайлов донес Учрежденному суду, что он принял ссыльных 13 июня 1727 г. В тот же день Петра Андреевича вместе с сыном отправили в Соловецкий монастырь. Два дня спустя, 15 июня, губернатор подписал новое донесение: его одолевали сомнения относительно четырех слуг, сопровождавших ссыльных. Хотя, рассуждал Измайлов, «о недопускании никого к ним и написано, однакоже без известия вышереченной суд оставить не посмел, и впредь тем их людям при них быть ли, о том покорно прошу резолюции»¹⁶. Дальнейшая судьба этих четырех человек документами не освещена.

Поначалу ссыльных должна была сторожить команда, состоявшая из 12 солдат, капрала и офицера архангелогородского гарнизона. Но затем в Учрежденном суде рассудили, что охрана станет более надежной, если команду укомплектуют солдатами и офицером гвардейских полков.

3 июля 1727 г. был вызван в суд лейтенант Лука Перфильев для вручения ему запечатанного пакета с инструкцией. «На конверте написано тако: из Учрежденного суда инструкция лейб-гвардии Семеновского полку лейтенанту Луке Перфильеву запечатанная, которую по прибытии ему к городу Архангельскому распечатать. А в Санкт-Петербурхе и в пути оную ему до помянутого города не распечатывать». Конверт был вскрыт в Архангельске, куда Перфильев с командой прибыл в августе 1727 г., но самостоятельно ознакомиться с его содержанием лейтенант не мог, ибо был неграмотен. Неграмотность начальника караула, как увидим ниже, накликала немало бед как на соловецких узников, так и на команду, день и ночь их сторожившую.

По сравнению с указом от 6 мая 1727 г. инструкция Перфильеву ужесточила режим жизни ссыльных. По указу 6 мая велено «им в том монастыре отвести келью и содержать ево, Толстова с сыном, под крепким караулом». Согласно инструкции, надлежало «розсадить их, Толстых, в том же монастыре по тюрьмам, а именно Петра Толстого в среднюю, а сына ево, Ивана, в тюрьму же, которая полехче». Указ 6 мая разрешал ссыльных «до церкви пущать за караулом же». Инструкция лишала их этой возможности: «...ис тех тюрем их никуды не выпускать и между собою видетца не давать». Лишь в случае если кто-либо из них заболет и пожелает исповедоваться, то можно было допустить к ним «искусного и верного



Портрет Петра I. Начало 20-х годов XVIII в. И. Н. Никитин



Портрет царицы Натальи Кирилловны. *Неизвестный художник конца XVII в.*



Портрет Е. Ф. Лопухиной. *Неизвестный художник начала XVIII в.*



Портрет П. А. Толстого. 1719 г. И. Г. Таннауер



Титульный лист
Жалованной грамоты Петра I
П. А. Толстому на село Ивановское

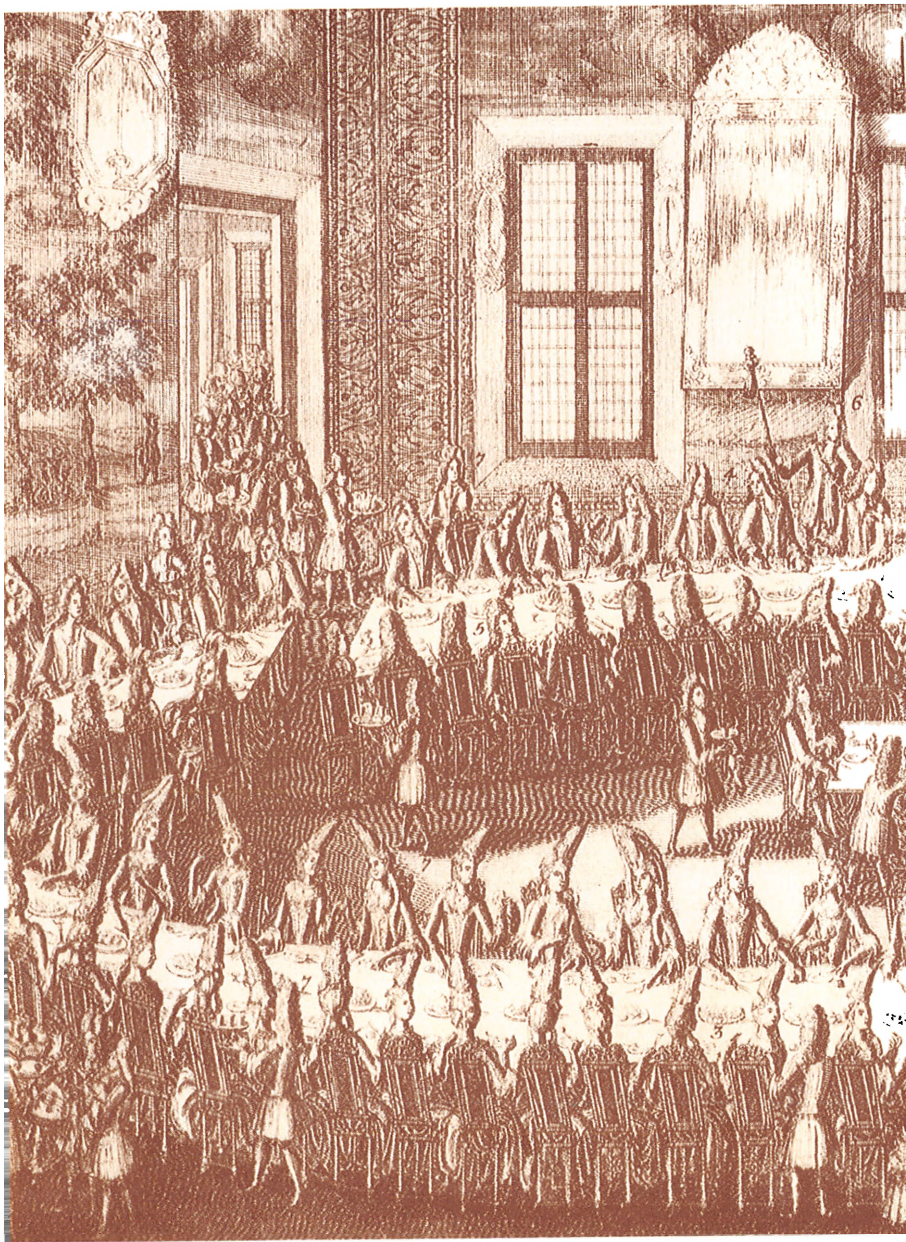




◁ Портрет царевича Алексея Петровича.
Первая половина 10-х годов XVIII в. И. Г. Таннауер

◁ Портрет Шарлотты Христины Софии, жены царевича Алексея Петровича.
Неизвестный художник первой четверти XVIII в.

Портрет А. М. Девиера



Свадьба Петра I и Екатерины 9 февраля 1712 г.
Гравюра А. Ф. Зубова. 1712 г.



парауломъ, и безъда быти трии поапошому
срѣмъ или сошпагов; а ти емъ писа жернивъ
и бѣмаги и давати несплатѣ, и тако иишѣ
гопоритъ не дождѣмъ жѣстѣ и нашо, ато
болше содержатѣ и таиъ наиъ ипрогнѣхъ
Соломои, и поимъ послании оныхъ Девиэра
и ти карега останаога въ яшииъ словоъ анев
поэа бмоснаъ оуати стациоъ до стаител
ноид. собогнѣхъ, и мосовиоъ гдобрни гдобрн
тиоръ плещебѣ; Алакииъ даватѣ всании
перѣодрѣ жавишца водерединомъ даъ,
и омошнѣи доггоболша оспатиъ и измоси
сно гдобрни по гасъ; а въ мѣсто гдѣхъ осп
итѣ истамога гширизога и оборо афице
росѣ по дномъ придажѣ и внашъ понарау
и рогови пошеити ешиъ, и вѣстѣ и оны,
и Девиэра, и ти карега, вѣсти поспалии де
и шотнииъ парауломъ. наиъ оны везеиъ роко
снѣи, и ля того даватѣ и инспрошѣи пошѣ
саннѣи испрошѣи посланииъ изъ саниттер
бѣрда гшадѣи сѣржантомъ; (2) и спратѣи
са замомѣ. ешо синѣи лиша вѣбѣо синошѣ
и гѣсти полатѣ сѣиномъ епо жѣаномъ во
лошнѣи мѣтирѣ, и дѣя парауло догорога ахѣи
гѣиного полатѣ гшадѣи Катитана оного
полатѣ енд внашѣ, и нашла оного, даватѣ
авнатѣи еишѣ. а угорога архангѣинога оны
полатѣи оуати генералу мажѣрѣ и бѣрнато
измолѣиъ: а то оны посланииъ гшадѣино
афицѣрѣ шатраю и млатѣи и вѣжѣ по гасѣ



Портрет А. Д. Меншикова. *Неизвестный художник первой четверти XVIII в.*



А. Д. Меншиков. Б. К. Растрелли



Портрет А. В. Макарова

+ аны дегенде кичи кыргыз

Ихъ (бузга) огу кичи маңд кромбе
Курга тудо Зараксе Вели Емү тийма
түрөттү бул аны + итөөнү биде кичи
Ишакан тусу ит. 25. маңаи уаин
түрүткө

Заманно кичи маңаи #
маңаи

о маңаи түрүт
свидетелств. 27.
Кичи

Р. 5. сиңири уаин тусу бестүрүлөд
туду писма гоман тусу а тоска
Кичи
аккөд аккөдүрүдү По илони
Ишакан тусу а Видми итөөнү биде
тасарга итөө аны итөөнү биде
Итөөнү тусу түрүдү биде биде
Кичи биде биде биде биде

священника», рекомендованного архимандритом.

Указ 6 мая предписывал караулу ссыльным «писать не давать, и никого к ним не допускать, и тайно говорить не велеть». Инструкция Перфильеву перечисленные ограничения дополнила еще одним: «А которые письма к ним будут приходиться, оные тебе принимать и розсматривать. И ежели важность какая явитца и буде того монастыря кто явитца подозрителен, то таких брать тебе на караул и во Учрежденный суд писать, и те письма присылать немедленно».

Инструкция предусмотрительно исключала возможность каких-либо подлогов относительно изменения положения ссыльных. Перфильев был обязан подчиняться только тем указам, которые исходили от Учрежденного суда и были подписаны всеми его членами, начиная от канцлера Головкина и кончая генерал-майором Фаминцыным.

Учрежденный суд обрекал ссыльных на верную гибель, ибо условия жизни в каменных мешках, к тому же неотопливаемых, полная изоляция от окружающего мира, весьма скудный «брацкий», т. е. монастырский, рацион гарантировали медленное угасание. Это в первую очередь относилось к престарелому Петру Андреевичу, давно уже страдавшему подагрой.

По прибытии в монастырь Перфильев оказался перед трудной задачей устройства Толстых. Дело в том, что в Петербурге были плохо осведомлены о тюремных помещениях монастыря. Согласно инструкции Перфильеву, Петра Толстого надлежало поместить «в среднюю, а сына его, Ивана, в тюрьму же, которая полехче», но на поверку оказалось, что «средней тюрьмы» не было. По словам архимандрита Варсонофия, «имеется-де у них, в монастыре, тюрьмы тягчайшая, а имянно Корожная, Головленкова; у Никольских ворот — две. Оные все темно-холодные. Пятая, звания Салтыкова, теплая». Все они, кроме Головленковой, были заняты колодниками.

Но дело было не только в этом. Лука Перфильев лично осмотрел все тюрьмы и нашел, что «оных Толстых за тяжесть тех тюрем, а в Салтыковскую за легкость и теплотою, раскодить нельзя». Лейтенант «возымел мнение, чтоб посадить оного Петра в тюрьму, которая была не легчайшая, ни тягчайшая». В конечном счете Перфильев остановил свой выбор на двух пустых кельях, «между которыми двои сени с каменною стеною, у которых, заделав кирпичом окна и ко дверям железные крепкие запоры с замками учиня, Толстых в них розсадил». Таков был последний причал корабля Толстого на его бурном жизненном пути.

Началась монотонная жизнь колодников и команды, их

охранявшей. Гробовую тишину нарушал лишь грохот запоров, когда солдат приносит им скудную, изнурявшую силу пищу. «И те тюрьмы имеютца холодные, а пища им, Толстым, даецца братцкая, какова в которой день бывает на трапезе братии, по порцы единого брата»¹⁷.

Если в столице жизнь Петра Толстого, президента Коммерц-коллегии и члена Верховного тайного совета, была ключом и каждый день, несмотря на преклонный возраст, проходил в заботах, деловых встречах и разговорах, мелких и крупных интригах, «машкерадах», то здесь, в сыром неотопливаемом каземате, он располагал лишь одной возможностью — предаваться воспоминаниям о прожитом и пережитом и корить себя за промахи, допущенные в соперничестве с Меншиковым. Падение, круто изменившее уклад жизни блестящего вельможи, могло сломить кого угодно, но, похоже, что человек, которому минуло восемьдесят лет, стоически перенес все испытания.

Впрочем, мрак и безмолвие, царившие в кельях-казематах, изредка нарушались, причем в роли нарушителя выступал сам Лука Перфильев, которому было поручено держать узников в полном неведении относительно всего, что творилось за стенами кельи. Личность лейтенанта очерчена документами с далеко не исчерпывающей полнотой. Тем не менее о нем можно почти безошибочно сказать, что это был человек вздорный и одновременно слабохарактерный, нередко не умевший управлять поступками не только подчиненных ему 12 солдат, но и своими собственными. При всем том он не отличался свирепым нравом, в его поступках нет-нет, да и промелькнет сострадание к узникам и желание хоть немного облегчить их суровое и беспросветное бытие.

Монотонная жизнь была, вероятно, обременительной не только для узников, но и для караульной команды. Стояние на часах, сон, трапеза... Однообразие скрашивало лишь вино, если были деньги. И так изо дня в день, из месяца в месяц.

Чувства власти и безнаказанности за ее использование в сочетании с грубой натурой позволяли Перфильеву совершать нелепые поступки и переступать грани дозволенного. 18 сентября 1727 г. он, например, после обильного возлияния у архимандрита прибежал к монастырским воротам, разогнал дремавший там монастырский караул, крича солдатам своей команды, чтобы они заряжали ружья и перестреляли монастырских старцев. Будучи «шумен», он «тех старцев называл ворами и бунтовщиками».

В другой раз он пришел в келью Петра Андреевича и затеял с ним рискованный разговор. Узнав от богомоль-

цев, что царица Евдокия Федоровна освобождена из заточения, он тут же поспешил поделиться этой новостью с узником. Не утаил он от него, хотя делать это ему запрещалось инструкцией, что вступивший на престол Петр II вместе с двором прибыл в Москву, где должна была состояться его коронация.

В самом начале своего пребывания на Соловках, 7 сентября 1727 г., Перфильев допустил грубое нарушение инструкции: он явился к Толстому вместе с солдатом Зенцовым и велел тому прочесть ссыльному инструкцию. Зенцов читать отказался. Тогда Перфильев отдал инструкцию Толстому, чтобы тот сам ознакомился с ее содержанием.

Чем руководствовался лейтенант, когда совершал поступок, явно нарушавший его служебный долг? Быть может, сделал он это, как говорили тогда, «с простоты». Но, скорее всего, он руководствовался теми же соображениями, что и губернатор Иван Измайлов, приславший узникам лимоны и вино. Блеск, - всего лишь недавно окружавший влиятельнейшего при дворе вельможу, еще не поблек, и сознание сверлила коварная мысль: а вдруг узников велят выпустить на свободу и вернут все, чем они владели? Тогда они конечно же вспомнят об этой маленькой услуге.

Но ни Измайлов, ни Перфильев не могли предположить, что их поступки станут достоянием Учрежденного суда и что солдат, донесших о подарке Измайлова, вызовут в столицу и в ожидании дознания будут долгое время содержать в тюрьме.

Перфильев, давая Толстому прочесть инструкцию, видимо, хотел убедить его, что он всего лишь исполнитель чужой воли и не виновен в суровом режиме содержания ссыльных.

— Смотри-де за чьими руками инструкция? — промолвил лейтенант, когда увидел, что Толстой оторвал от нее глаза.

— Я-де знаю, кто заседает в Учрежденном суде, — ответил Толстой.

С одной стороны, Перфильев иногда выдавал ссыльным «вместо милости» вино и мясо, а с другой — распорядился изъять у них деньги, чтобы они не награждали ими караульных и, следовательно, не могли рассчитывать на снисходительное обращение¹⁸.

Спокойное течение жизни команды нарушило служебное рвение лейтенанта: он решил занять солдат экзерцициями, чем вызвал их неповиновение. 12 мая 1728 г. произошло событие, описанное в донесении так: «Приказал я им собратца в строй нынешнего 1728, мая, 12 дня, для смотрения ружья и хотел поучить, чтоб не позабыли

оне артикулу. И вышепомянутые солдаты в строй не пошли и учинили великой крик: «Чего, дескать, нас смотреть и учить; мы, дескать, суды присланы не учителя». Прошло пять дней, и новая жалоба Перфильева: «...солдаты команды моей во всем меня послушны». Отстояв сутки часовыми, они потом расходятся кто куда, не выполняют его приказаний о чистке ружей, не носят палашей.

Если бы Лука Перфильев знал грамоту и писал эти донесения сам, то, надо полагать, он не стал бы посвящать в их содержание солдат. Но поскольку лейтенант был вынужден пользоваться услугами кого-либо из своих грамотных подчиненных, то содержание его донесений стало достоянием всей команды. Солдаты лишь ждали случая, чтобы отомстить своему офицеру. Такой случай вскоре подвернулся. 28 мая на часах у кельи Ивана Толстого стоял солдат Дмитрий Зорин. Вдруг раздался стук и голос узника:

— Господин часовой, доложи господину поручику, што есть за мною слово и дело его императорского величества.

Зорин, попросив другого солдата занять его пост, отправился к лейтенанту. Лука Перфильев со всей командой прибыл в келью, и младший Толстой подтвердил: «Есть за мною слово и дело его императорского величества».

В изложении лейтенанта суть «слова и дела» состояла в том, что Иван Толстой просил «ради своей тяжкой болезни, чтобы ево перевести ис тюрьмы в теплую келью, также и довольную пищу давать, а братскую пищу он, Иван, сказывает недоволен, требует довольной пищи, а имянно мяса, молока, яиц, пирошков, вина. А по посным дням, чтоб ему поставлялась живая рыба». Перфильев не пошел на самовольное удовлетворение этих просьб и требовал указа.

Так невинно выглядело происшествие под пером автора донесения, подписанного Перфильевым. Лейтенант умолчал о событиях следующего дня. Из-за позднего времени Перфильев вручил Ивану Толстому бумагу не 29, а 30 мая и при этом предупредил:

— Вразумися! С умом ли говоришь?

На всякий случай предостерег:

— Вкратце пиши, что имеши слово и дело за собою.

Оторвав глаза от листа бумаги, на котором уже было начертано несколько строк, Толстой сказал:

— Не токмо то, и на тебя есть.

В ответ на угрозу Перфильев отнял у Ивана лист бумаги и велел прочитать написанное солдату Богданову. Солдат страдал плохим зрением и ответил, что «читать не

видит». Листок передали солдату Зенцову, но и тот, как ни силился, разобрать написанное не смог. Последняя надежда Перфильева—его человек Кирилл Попов. Однако и его усердие не увенчалось успехом¹⁹.

Откровенно говоря, я тоже разобрал написанное с большим трудом. Вот что написал Иван Толстой: «1728, мая, 29 дня, сказал я за собою слово и дело государево при самой моей смерти от нестерпимого содержания. Также имею показать и на порутчика Перфильева, некоторые непристойные слова показать, и чтоб я до указу государева, кому повелено мене будет...» Фраза осталась незаконченной; ее прервал Перфильев, вырвав из рук Толстого бумагу.

Таким образом, согласно версии Перфильева, суть «слова и дела» Ивана Петровича состояла в просьбе улучшить рацион и сменить холодную келью на теплую. О том, что Толстой начал писать донос, равно как об угрозе написать донос и на него, Перфильева, наконец, и о том, что у Толстого был вырван из рук лист бумаги, Перфильев не обмолвился ни единым словом. Обо всем этом Учрежденный суд известили солдаты.

В Петербурге доносу солдат придали важное значение. 28 июня 1728 г. последовал указ архангелогородскому губернатору Ивану Лихареву, сменившему на этом посту Измайлова, ехать в Соловецкий монастырь и выяснить там, какое «слово и дело» имеет Иван Толстой. Оговоренных им лиц было велено взять под стражу. Лихарев должен был также установить, в чем состояла вина Перфильева и в чем выразилось неповиновение солдат.

Надобность в поездке, однако, отпала, так как Учрежденный суд отправил указ губернатору тогда, когда Ивана Толстого уже не было в живых. О его смерти сообщил в Петербург Перфильев: «Иван Толстой умре июня, 7 дня, цинготною болезнью. А заболел с великова поста, а перет смертью припала к нему горячка, понеже много бредил, кричал, якобы охотник за зайцы. Також говорил он часовым, а именно Михайлу Потанину, Степану Аверкиеву, чтоб взяли у архимандрита быка да убили, также бы бочку пива, бочку меду».

Получив это известие, Учрежденный суд распорядился отправить Лихареву указ: если губернатор еще не съездил на Соловки, то надобности в поездке уже нет, ибо Иван Толстой умер. Этот же указ решил судьбу Перфильева и его команды: их было велено заменить офицером и солдатами местного гарнизона. 28 июля 1728 г. Перфильева и солдат-гвардейцев сменил новый караул во главе с капитаном Григорием Воробьевым²⁰. Старый караул в полном составе оказался под следствием.

В нашу задачу не входит изучение перипетий след-

ственного дела Перфильева и его солдат. Остановимся коротко — подробнее не позволяют источники — на дальнейшей судьбе Петра Андреевича Толстого. Он не подавал никаких признаков своего существования на Соловках. В частности, ничего не известно о том, как он перенес смерть любимого сына Ивана, как ему удавалось преодолевать, не прося ни у кого ни пощады, ни милосердия, страдания от подагры и прочие невзгоды жизни в каменном мешке.

2 февраля 1729 г. новый начальник караула Григорий Воробьев донес Учрежденному суду: «А в нынешнем 729 году, генваря, с первых чисел, оной Толстой заболел жестоко и духовника требовал. И того же генваря, 13 дня, по требованию ево прежняго духовника иеромонаха Пахомия к нему допущал, и он, иеромонах, ево исповедал и святых таин соопшил. И при нем, иеромонахе, и при мне приказывал он, Толстой, которые пожитки были при нем, по смерть свою отдать в казну преподобна чудотворцев Зосима и Саватия для поминовения ево, Толстова. И сего же генваря, 30 дня, оной Петр Толстой от той болезни умре». Так оборвалась суровая, полная страданий жизнь блестящего сподвижника Петра Великого.

Капитан спрашивал, как ему поступить с пожитками и телом умершего. «А ныне положен он, Толстой, во гроб и поставлен во особливой каморе при карауле до указу ея императорского величества». Здесь же приложен реестр вещам, оставшимся после смерти Петра Андреевича.

Ответ на этот вопрос Воробьев получил, видимо, не ранее середины апреля: «Петра Толстого погребсти в том монастыре, а оставшие после ево, Толстова, золотые деньги, серебряные суды и прочие все пожитки по реестру оному капитану Воробьеву отдать в Соловецкий монастырь, в казну того монастыря келарю или казначею с роспискою».

При отсутствии документов кое-что о человеке могут поведать принадлежавшие ему вещи. Сохранилось два реестра имущества Толстого: первый из них был составлен в конце июля 1728 г., когда происходила смена команды Перфильева командой Воробьева; второй реестр был составлен полгода спустя, после смерти Толстого.

Среди предметов пара часов — золотые и серебряные, две серебряные табакерки, две пары серебряных запонок и немалое количество серебряной посуды: лохань с рукомыльником, поднос с двумя чарками, три пары ножей, три ложки, кружка, солонка. В перечень включена и серебряная готовальня. Оловянная посуда была представлена восемью блюдами, дюжиной тарелок и кружкой, а медная — котлом, тремя кастрюлями, сковородкой.

Металл выдержал испытание сыростью и не претерпел

существенных изменений. Более показательна судьба одежды.

Гардероб ссыльного был довольно разнообразным: две шубы, одеяло на беличьем меху, два теплых шлафрока, 18 рубашек, шесть лицевых полотенец, две пары черных кафтанов, два полога и пр. Согласно июльскому реестру 1728 г., в ветхое состояние пришли восемь портов, четыре шапки, две простыни, епанча холодная и четыре «галстуха». В январском реестре 1729 г. уже не значилось ни одного предмета без пометы «ветхий». Ветхими оказались шубы, кафтаны, камзолы, платки и все прочее. Реестр заканчивается двумя фразами: «Два шлафора теплые, которые при нем, Толстом, в тюрьме были, ветхие и згнили. Одеяло при нем же, Толстом, згнило»²¹.

Удивление вызывает факт, что 82-летний старик смог более полутора лет продержаться в атмосфере, где не выдерживали вещи, превращаясь в тлен.

Жизнь Толстого примечательна во многих отношениях. Петр Андреевич был единственным сподвижником Петра, который начинал свою карьеру его противником, а заканчивал его верным слугой. Чтобы совершить подобную метаморфозу, надобно было преодолеть косность и консерватизм среды, на которую он поначалу ориентировался. В ряды сподвижников Петра Толстой влился в зрелые годы, и, несмотря на это, он с усердием стал постигать новое, причем в процессе не обучения, как то делали его более молодые современники, а переучивания. Это всегда сложно и трудно.

Вряд ли среди дипломатов, которыми располагал царь в самом начале XVIII в., можно было найти более подходящую кандидатуру на должность русского посла в Стамбуле, чем Петр Андреевич. Вряд ли, далее, кто-либо мог проявить столько настойчивости, изворотливости и гибкости, как Толстой. Здесь важен итог его нелегкой службы, выразившийся в том, что ему удалось предотвратить выступление против России Османской империи в тот период Северной войны, когда это выступление таило для нашей страны наибольшую опасность.

Другая, не менее важная заслуга Толстого за время пребывания в Османской империи состояла в том, что с его именем связано утверждение нового статуса посла как постоянного представителя России при султанском дворе. В итоге престиж России был поднят на более высокую ступень.

В 1717 г., после бегства царевича Алексея во владения императора Священной римской империи, Петр Великий располагал куда большим выбором дипломатов, чтобы

отправить кого-либо из них для розысков беглеца и возвращения его в Россию, чем в начале века,—в его распоряжении находились Борис Иванович Куракин, Петр Павлович Шафиров, Василий Лукич и Григорий Федорович Долгорукие и многие другие, но царь поручил это сложное и деликатное дело тоже Петру Андреевичу Толстому. И в данном случае он вряд ли мог сыскать лучшего исполнителя своей воли. Толстой мог быть и вкрадчивым, и суровым, и мягким, и твердым, и резким, и обходительным, т. е. обладал качествами, использование которых обеспечило в тех условиях успех. У Петра не было оснований быть недовольным трудами своего эмиссара—он действовал напористо и в то же время без шума и, с одной стороны, своими действиями не вызвал дипломатических осложнений с венским двором, а с другой — уговорил царевича вернуться в Россию.

Возникает вопрос: как могло стать, что одаренный и, несомненно, проницательный человек, каким был Петр Андреевич, так легко дал загнать себя в угол, оказался в опале и закончил жизнь в каменном мешке Соловецкого монастыря? Почему он, несмотря на то что логика борьбы и соперничества принуждала его быть энергичным и бескомпромиссным, проявил столько нерешительности и пассивности, что практически без всякого сопротивления сдался на милость своего соперника—Александра Даниловича Меншикова? Почему, наконец, Толстой, достаточно опытный политик и интриган, вел себя перед Учрежденным судом как на исповеди и не предпринял ни единой попытки затянуть следствие, отпираться от каких-либо обвинений и т. д.?

Думается, что загадочного в поведении Толстого ничего нет. Это поведение определилось царистской идеологией и царистскими иллюзиями, в плену которых находились не только низы феодального общества, но и его верхи. Вспомним, что все перевороты XVIII в. совершались именем претендента на трон. Жертвой этих иллюзий в мае 1727 г. стал Толстой, а затем станет и Меншиков, за полгода до этого праздновавший свою победу над противниками. В борьбе с Толстым он действовал именем императрицы. Именем императора был свергнут и сам светлейший. Представления об этике и нормах морали тех времен не позволяли ни Толстому, ни Меншикову, оказавшимся в роли побежденных, лгать и изворачиваться. К слову сказать, отпираться было бессмысленно, ибо Толстой догадывался об осведомленности следователей о своей вине из показаний других подсудимых.



АЛЕКСЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
МАКАРОВ

КАБИНЕТ ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА

Жизнь Макарова, внешне не бросакая, без ярких всплесков, трудна для написания биографии прежде всего потому, что она не отличалась динамичностью. На первый взгляд его жизненный путь представляется даже монотонным, будничным, лишенным всякого интереса. В самом деле, Алексей Васильевич не купался в лучах славы, не давал он и сражений, не вел успешных или неудачных дипломатических переговоров, не сооружал кораблей и не командовал ими. Но, внимательно присмотревшись к деятельности Макарова, можно без труда обнаружить в ней скрытое от поверхностного взгляда огромное внутреннее напряжение.

Макаров вносил немалый вклад и в победы русского оружия на полях сражений Северной войны, и в успешные действия русской дипломатии, и в строительство регулярной армии и флота, и в новшества культурной жизни страны. Трудно переоценить лепту, внесенную им в создание отечественной промышленности. Короче, он участвовал во всех преобразовательных начинаниях царя. К этому его обязывала занимаемая должность: он являлся кабинет-секретарем Петра и, следовательно, был причастен к составлению указов, к переписке с агентами и послами царя за границей, к составлению реляций и отправке царских повелений на театр военных действий и, наконец, к проверке, как выполнялась воля царя.

Алексей Васильевич много путешествовал. Рига, воды Балтики, река Прут, Полтава, Киев, Астрахань, Амстердам, Париж, Копенгаген—далеко не полный перечень пунктов, до которых он добирался либо в почтовой повозке, либо на военном корабле, либо в специальном экипаже, либо, наконец, на барке.

Что побуждало его к странствиям? Отнюдь не любовь к путешествиям. В путь он снаряжался потому, что по долгу службы был неразлучен с царем. Неотложные дела звали Петра к театру военных действий или за границу— вместе с ним отправлялся и Макаров. Образно говоря, Макаров был тенью Петра, его памятью, глазами и ушами.

Как и Петр, Макаров работал, не зная усталости, с полной отдачей сил. Царю, бесспорно, импонировали спокойствие, уравновешенность, благоразумие и пунктуальность кабинет-секретаря.

Итак, деятельность Макарова протекала в тиши кабинета, где не бурлила, а убаюкивающе журчала жизнь. В его четырех стенах воплощались в указы замыслы царя-преобразователя. Там могли бы зародиться и интриги,

будь Макаров к ним склонен. К счастью, он был чужд интриг.

Биографа Макарова подстерегает еще одна трудность: его личная жизнь скрыта плотной завесой и приподнять ее практически невозможно, ибо при кажущемся обилии сохранившихся от той поры источников с упоминанием имени нашего героя они крайне бедны для раскрытия его личных качеств. Среди этих источников многие сотни, если не тысячи, писем Макарову и ни одного ответа на них. Макаров, отличавшийся аккуратностью, разумеется, отвечал своим корреспондентам, но никто из них не сохранил этих ответов. Да и сами письма являются служебными документами, пригодными для использования совсем в иных целях, и лишь в редких случаях в них вкраплены сюжеты, раскрывающие характер отношений между корреспондентами.

Макаров принадлежал к числу сподвижников Петра, которые, подобно Меншикову, Девиеру, Курбатову и многим другим, не могли похвастаться своим родословием. О его детстве и начале карьеры известно крайне мало. Темно и его происхождение: историкам удалось лишь установить, что он был сыном подъячего вологодской воеводской канцелярии, но года его рождения и поныне доподлинно никто не знает.

Первые шаги Макарова на служебном поприще окутаны романтическими подробностями и небылицами всякого рода. Знаменитый историк, любитель петровского царствования Иван Иванович Голиков, писавший во второй половине XVIII в., включил в свое сочинение молву о первой встрече Макарова с Петром: «Великий государь в бытность свою в Вологде в 1693 году увидел в воеводской канцелярии между приказными молодого писца, именно же сего г. Макарова, и с первого на него взгляда, проникши в его способности, взял его к себе, определил писцом же в Кабинет свой и, мало-помалу возвышая его, произвел в помянутое достоинство (тайным кабинет-секретарем.— Н. П.), и с того времени был он неотлучен от монарха».

В сообщении Голикова по крайней мере три неточности: никакого Кабинета в 1693 г. не существовало; Макаров начинал службу не в вологодской, а в ижорской канцелярии у Меншикова; наконец, начальной датой его службы в Кабинете следует считать 1704 г., что подтверждается патентом на звание тайного кабинет-секретаря.

Итак, согласно версии Голикова, проницательный царь с первого же взгляда обнаружил у Макарова незаурядные способности и тут же приблизил его к себе.

Существует, однако, диаметрально противоположный взгляд на способности Макарова. Его высказал немец

Гельбиг, автор известного сочинения «Случайные люди в России». О Макарове Гельбиг писал, что он «сын простолюдина, толковый малый, но настолько несведущий, что не умел даже читать и писать. Кажется, это невежество и составило его счастье. Петр взял его в свои секретари и поручал ему списывание секретных бумаг, работа для Макарова утомительная, потому что он копировал механически»¹. Гельбиг пустил в оборот миф о неграмотности Макарова, видимо, с целью придать своему рассказу о нем пикантность и занимательность.

Достаточно даже поверхностного знакомства с документами, к составлению которых был причастен Макаров, чтобы убедиться в нелепости свидетельства Гельбига: Макаров не только умел читать и писать, но являлся неплохим стилистом. Было бы преувеличением считать перо Макарова блестящим, но письма, указы, экстракты и прочие деловые бумаги он составлять умел, с полуслова понимал мысли Петра и придавал им приемлемую для того времени форму.

Некоторые сведения о прохождении службы Макаровым можно почерпнуть у него самого. Так, он засвидетельствовал, что в 1703 г. «жил в приказе Меншикова». Как уже отмечалось, в указе о выдаче Макарову патента названа точная дата начала службы «при дворе нашем» — 1704 г. Судя по всему, он ведал тогда денежными делами².

Чины Макарова регистрировались сделками на приобретение крестьян и земли. Самая ранняя из них относится к 1708 г., когда Макаров купил у адмирала Федора Матвеевича Апраксина село Богословское. В купчей он назван «государева двора подьячим». В 1710—1713 гг. Алексея Васильевича величали на иноземный лад «придворным секретарем», а с конца 1713 г. — кабинет-секретарем. Впрочем, Шафиров, отправивший письмо Макарову 1 августа 1711 г., т. е. после того, как он оказался заложником у османов, сделал на конверте такую надпись: «Моему государю Алексею Васильевичу Макарову, его царского величества кабинетному секретарю».

Отсутствие указа об учреждении Кабинета, равно как и указа, определявшего круг его обязанностей, вынуждает нас оба вопроса решать эмпирически, исходя из содержания обширного комплекса документов, отложившихся в этом учреждении.

Крайнее напряжение ресурсов страны в первые годы Северной войны наложило отпечаток на содержание документов того времени: в них решительно преобладала военная тематика, связанная со строительством флота и созданием регулярной армии, проведением военных операций. Это прежде всего реляции о сражениях, донесения военачальников с театра военных действий о намерениях

неприятеля и перемещениях своих войск, многочисленные ведомости и табели об укомплектовании армии рядовыми и офицерами, сведения о потерях личного состава, о потребностях полков и дивизий в шпагах, фузеях и артиллерии, а также в снаряжении. Даже лица, служившие в гражданском ведомстве, такие, как князь кесарь Ромодановский или Стрешнев, отправляли в Кабинет информацию, связанную с войной: о сборе денег, предназначенных на военные расходы, о запасах обмундирования, продовольствия, фуража и т. п.

Разгром шведов под Полтавой и овладение побережьем Балтийского моря, а также завершение неудачного для России Прутского похода резко изменили соотношение документов военного и гражданского назначения. У Петра появилась возможность сосредоточить свою энергию на проведении административных реформ и осуществлении важных социально-экономических преобразований, что сразу же отразилось на характере документов, отложившихся в Кабинете: военная тематика уступила место гражданской.

Губернаторы находились в непосредственном подчинении коллегий и Сената. Это, однако, не мешало им обращаться с доношениями в Кабинет: в одних случаях для информации о своем усердии, в других — для того, чтобы кабинет-секретарь «во благополучное время» исхлопотал у царя какую-либо поблажку в исполнении указов.

Губернаторы, аккредитованные при иноземных дворах дипломаты, президенты коллегий, прочие должностные лица разных рангов и даже канцлер обращались с доношениями лично к царю в тех случаях, когда какое-либо дело находилось под его наблюдением и он проявлял к нему особый интерес либо когда учреждение, не имея прецедента, затруднялось принять какое-либо решение. В месяцы отсутствия царя в столице Сенат отправлял в Кабинет указы, подписанные всеми сенаторами. Такие доношения отложились в Кабинете за время Прутского похода и путешествия царя за границу в 1716—1717 гг. В Кабинете оседали разнообразные личные обращения к царю: в одних из них челобитчики излагали свои жалобы и просьбы, на страницах других можно прочесть предложения и советы прибыльщиков и прожектеров.

Таким образом, в Кабинет стекалась огромная масса материалов общегосударственного значения. Все документы, прежде чем попасть к царю, проходили через руки кабинет-секретаря.

Но на попечении Кабинета находилось множество других дел: одни из них были обусловлены сугубо личными вкусами царя, его пристрастиями; другие были связаны с материальным обеспечением царской семьи. К

числу первых, например, относится желание Петра изготовить чучело любимой собаки Лизетты. Хирург Николай Бидлоо получил на этот счет царский указ. 27 августа 1708 г. он, выполнив повеление, писал царю: «А ныне, государь, как и живая является. Многим, государь, трудом щасливо от смолы все избавил и на многое время сохранить возможно».

В 1724 г. умер француз-великан Николай Бурже, приглашенный царем в Россию в качестве раритета во время пребывания во Франции в 1717 г. Петру пришла в голову странная мысль изготовить из него чучело. Работа была поручена иноземцу Еншау. Тот не назначил цены, так как, по его словам, «такая вещь ему необычайна и такой ему не случалось работы». Заказ был выполнен, но Еншау множество раз отказывался выдать его посылным, ссылаясь на то, что он за труд не получил денег. 28 ноября Кунсткамеру посетил царь и поинтересовался причиной отсутствия чучела. К мастеру тут же отправили солдат, но тот стоял на своем. Наконец в мае 1725 г., т. е. уже после смерти Петра, мастер в поданном счете выразил желание получить к 4 руб. еще 60 р. 75 к. Библиотекарь Шумахер заподозрил Еншау в рвачестве. Дело дошло до императрицы, которая в декабре 1725 г. велела выдать мастеру 100 руб., обязав его выполнить дополнительную работу: «...ногти оной кожи француза-великана вставить и оную кожу привести в совершенство»³.

Удельный вес документов с таким курьезным содержанием, разумеется, невелик. Значительно больше внимания Кабинет уделял руководству сооружением царских дворцов и их благоустройством. Летний и Зимний дворцы в Петербурге, загородные резиденции в Петергофе и Екатерингофе, дворец под Ревелем сооружались под его присмотром. Кабинет же надзирал за строительством канала и фонтанов, а также за разбивкой Летнего сада и парка в Петергофе. Деревья для парков, в том числе каштаны, специальные агенты Кабинета приобретали в Голландии и Пруссии, скульптуры и картины для украшения парков и дворцов — в Италии и Голландии.

В Летнем саду был организован зверинец — первый в стране регулярный зоопарк. Его комплектованием и содержанием также ведал Кабинет. Основание зверинцу положили диковинные животные и птицы, подаренные царю иранским шахом и доставленные в новую столицу в 1713 г. Среди экзотических животных находился слон. Любопытен его рацион: суточная норма продуктов включала 34 фунта риса, 7 фунтов патоки, столько же коровьего масла, 30—40 и даже 60 калачей. Четырем попугаям и одному какаду выдавалось в сутки по три четверти фунта сахару, столько же коровьего масла, 2

фунта муки, 2 фунта персидских орехов. Судя по рациону, слон и какаду с попугаями были любителями горячительных напитков. Слону ежедневно выписывалось по ведру простого вина, а птицам,—более изысканный напиток—бутылка ренского. Надзиратели, надо полагать, по-братски делили вино со слоном и птицами.

Зверинец пополнялся животными и птицами различных климатических зон России. Архангелогородскому губернатору повелено было обеспечить зверинец белыми медведями, и тот отправил в Петербург шесть экземпляров. В астраханских степях и в Приазовье были выловлены птицы, а нарвский комендант получил указ поймать пару «летучих белок». Видимо, эта порода белок была редкой, ибо удалось отправить в столицу одну живую и одну убитую белку.

Экзотические животные не выдерживали сурового климата и быстро гибли. В 1717 г. Меншиков отправил Макарову, находившемуся вместе с царем за границей, письмо с извещением о гибели слона: «...слон умер, который нимало на ноги вставал, лежал тридцать дней, ничего пищи употреблял, в которой ево болезни кожа на нем вся згнила и облезла. Правда, что немало жаль такого знатного зверя». Та же участь постигла льва, который, как доносили Макарову, в январе 1722 г. «умре без всякие причины скорым временем», и неведомой породы ежа. Впрочем, потери восполнялись новыми партиями зверей и птиц. Артемий Петрович Вольнский в 1718 г. вывез из Ирана зверей, лошадей и птиц, которых, как он сам признавался, ему ранее не приходилось видеть⁴.

Из кабинетных сумм выдавались награды всем, кто доставлял в Кунсткамеру—первый музей в России—монстров, т. е. уродов, и всякие редкости.

На Кабинете также лежала обязанность блюсти здоровье царской семьи. Строго говоря, этого рода обязанность ограничивалась двумя сферами. Одна из них—информация царской четы о здоровье ее детей. В Кабинете сохранилось множество писем от той поры, когда царь с супругой находились за границей в 1716—1717 гг. и на Марциальных водах в 1719 г. Более активной была роль Кабинета в организации курортного дела в стране. Известно, сколь горячо взялся Петр за устройство первого в России курорта близ Петровских заводов в Карелии. Сам он трижды пользовался его водами и отправлял туда своих вельмож. Анализ химического состава воды, проверка эффективности воздействия ее на больных, а также благоустройство курорта осуществлялись под общим наблюдением Кабинета.

Большой переполох в Кабинете вызвало сообщение об «умалении марциальных вод», начавшемся с августа

1719 г. Последовало распоряжение о запрещении копать в окрестностях курорта болотную руду для металлургического производства. Тревога, однако, оказалась напрасной: падение напора воды было связано с тем, что «в лето и в осень время было сухое», а также с рано наступившими морозами. Пользование марциальными водами таило немало неудобств, главные из которых состояли в отдаленности курорта и трудностях пути к нему. Поэтому велись поиски целебных источников, расположенных поближе к столице.

Медикам того времени казалось, что они справились с этой задачей более чем успешно: целебная вода была обнаружена не за тридевять земель, а в самом Петербурге. В феврале 1722 г. столичный генерал-полицеймейстер А. М. Девиер уведомил Макарова об излечении больных, страдавших желудочно-кишечными и прочими заболеваниями: «Солдат Астраханского полку Федор Кудрявцев одержим был 6 месяцев кровавым поносом, и после стал у него живот туг, и ворчание в животе, и весь он был жолт, и чрез употребление сей воды 3-х недель от всего того избавился». Другой пациент—«господин Пальчиков имел у себя непрестанную головную болезнь и на ногах желтые пятна». Лечение на Марциальных водах не помогло, «токмо чрез употребление сей свое здравие в головной получил, а в пятнах некоторую свободу». Еще один больной—г. Машков страдал «желудкоболением» и отсутствием аппетита, но «чрез употребление сей же воды здравие во всем получил». Скорбь секретаря Осипа Павлова никакого отношения к желудочно-кишечным заболеваниям не имела—у него был «лом в спине, в руках и в ногах», но и он исцелился «от оной же воды».

Таким образом, столичная вода обладала множеством целебных свойств и была способна придавать «свободность» от разнообразных болезней.

В истории с открытием минеральной воды в столице поражает одно: больные начали употреблять воду на год раньше установления ее химического состава—придворный лекарь Блюментрост произвел анализ только в январе 1723 г., а заключение о целебных свойствах было отправлено в Кабинет в январе 1722 г. Из трех проб воды, взятых в Переведенской слободе, близ Морского госпиталя, и в доме у царицы Прасковьи Федоровны, лучшей была признана переведенская.

Вряд ли царь удержался от употребления переведенской воды, но она ему, надо полагать, не принесла никакого облегчения. Только этим и можно объяснить поездку Петра и Екатерины на Марциальные воды в 1724 г., где они пробыли с 23 февраля по 17 марта. Продолжительное лечение, видимо, дало кратковременное

улучшение, ибо царь после торжественной коронации Екатерины в Москве отправился пить воду на Угодские заводы. Новая вспышка обострения болезни наступила в августе, когда царь находился в Петербурге. На этот раз воду из Марциальных источников было решено доставлять в столицу. На курорт был послан кабинет-курьер Степан Чеботаев, который изо дня в день без малого месяц отправлял воду в бутылках и в бочонках сухим и водным путём. В Кабинете отложилось множество рапортов Чеботаева⁵.

Кабинет принимал деятельное участие в отправке волонтеров за границу и в организации там их обучения. В каждой стране к ученикам были приставлены своего рода «дядьки», которым Кабинет поручал надзор за поведением учеников и их успехами в науках. В Голландии, где молодые люди овладевали военно-морским делом, обязанности «дядьки» выполнял князь Львов, во Франции — Конон Зотов, в Англии — Федор Салтыков, в Италии — сначала Петр Беклемишев, а затем Савва Рагузинский. Чаще всего с Кабинетом, а точнее, с Макаровым общались надзиратели. Их донесения колоритно рисуют жизнь учеников на чужбине.

В бесхитростном, отличавшемся непосредственностью письме Макарову из Амстердама князь Львов сетовал на свою горькую судьбу: «...дела мои есть вельми тяжкие для того, что те люди, кем мне то делать, все молодые, надежные, всяк надеется на своих сродников, на свои знати и богатства. А я человек бедной, безродной, к тому же больной и весьма полуумерший, не токмо бы такими людьми управлять здесь, в таких вольных странах, воистинно и во отечестве нашем трудно». Сложность своего положения «дядька» объяснял тем, что он не имел, как тогда говорили, «характера», т. е. его статус не был юридически оформлен. «Моя комиссия тайная», — писал он. Поэтому Львов настойчиво домогался царского указа, чтобы великородных балбесов приводили к послушанию государевы послы, которые «у тех дворов обретаются публично»⁶.

Львову вторил Конон Зотов, писавший Макарову из Парижа: «Господин маршал Дестре призывал меня к себе и выговаривал мне о срамных поступках наших гардемарин в Тулоне: дерутся часто между собою и бранятся такую бранью, что последний человек здесь того не сделает. Того ради отобрали у них шпаги». Некоторое время спустя новое доношение: гардемарин Глебов поколот шпагой Барятинского и поэтому «за арестом обретаётся». Это происшествие поставило французского вице-адмирала в затруднение, ибо, как доносил Зотов, во Франции «таких случаев никогда не приключается: хо-

тя и колются, только честно, на поединках, лицом к лицу»⁷.

Большинство волонтеров с усердием овладевали науками, приобретали опыт в кораблестроении и кораблевождении. Но среди них встречались бездельники и моты, транжирившие присылаемые родителями деньги на удовольствия и менее всего заботившиеся о выполнении поручения, ради которого они были отправлены за границу. К их числу относились, например, два сына известного военачальника петровского времени князя Аникиты Ивановича Репнина. Поведение сыновей за границей приводило князя в отчаяние. «Печаль ево (А. И. Репнина.— Н. П.),— писал Макарову хлопотавший о Репнине князь Василий Владимирович Долгоруков,—непотребное жительство детей ево, о чем вам известно». Суть просьбы Долгорукова: «И я вас, моего государя и друга, прошу о сем, изыскав час, благополучно о сем доложи его величеству, чтоб с ним сотворил высокую милость, избавил бы от той несносной печали». Долгоруков приложил копию письма слуги Василия и Юрия Репнинных их отцу, из которого следует, что оба сына князя, обремененные долгами, пребывают «в великой мизерии». Причина затруднений—мотовство. Братья, например, взяли на иждивение двух встречных французов, которые их обокрали. Оказавшись без денег, княжеские отпрыски продали за бесценок лошадей и одежду, оставив для себя «по одному кавтану», но выручку издержали в мгновение ока, так что «и купить хлеба не на что».

Таким же транжирой оказался и Василий Шапкин, не имевший столь знатного родителя, как братья Репнины, но зато доводившийся двоюродным братом кабинет-секретарю. Шапкин обучался кораблестроению в Англии и молил Макарова, чтобы тот «приказал прислать хотя малое число денег, чрез вексель перевести... в Лондон на расплату... долгов, також на покупку инструментов и книг. А я истинно,—плакался непутевый братец,—в великой нужде обретаюсь здесь, почитай, наг и бос, а должники (кредиторы.— Н. П.) мои уже не дают мне свободности во времени, хотят посадить в тюрьму». Обучение не пошло Шапкину впрок, и он себя ничем не прославил.

Вероятно, не привлек бы внимания и Иван Петров Аннибал, если бы судьба не определила ему быть предком великого Пушкина. Аннибал обучался инженерному делу во Франции с 1720 г. В 1722 г. ему, как и прочим волонтерам, царским указом велено было отбыть на родину. Сохранилось семь писем Аннибала Макарову. В каждом из них он настойчиво повторял три просьбы, и прежде всего доказывал целесообразность продлить свое

пребывание во Франции еще на три года на том основании, что, по его словам, в «прошедшее время учился» он «только теории, а практике ничего не имел». Теперь, рассуждал Аннибал, есть возможность овладеть и практикой: в инженерной школе, где он учился, соорудили земляной город, под который на полевых занятиях будут вести подкопы.

Далее Аннибал хлопотал о том, чтобы ему было предоставлено право возвращаться на родину не морем, как это предписывалось всем волонтерам, а сушей. Мотивировал эту свою просьбу он тем, что крайне болезненно переносил морское путешествие. «Лутче я пешком пойду,— писал Аннибал Макарову,— нежели морем ехать». А затем следовали не менее решительные слова: «...милостыню стал бы просить дорогой, а морем не поеду».

Наконец, Аннибал, как, впрочем, и многие другие волонтеры, жаловался на нужду в деньгах: «...мы здесь в долгу не от мотовства, но от бумажных денег», т. е. от инфляции. Тут же бытовая подробность жизни в Париже: «Ежели бы здесь не был Платон Иванович (Мусин-Пушкин.— *Н. П.*), то б я умер с голоду. Он меня по своей милости не оставил, что обедал и ужинал при нем по все дни». Это, однако, не помешало ему задолжать 250 руб.: «...я не имею за душою ни единую копейку».

В «великой мизерии» пребывали и два купеческих сына Семенниковы, отправленные в Испанию «для обучения купечеству» и овладения бухгалтерской наукой⁸.

Наряду с организацией обучения русских молодых людей за границей Кабинет ведал также наймом на русскую службу зарубежных специалистов. К кабинет-секретарю стекались донесения о найме ученых, мастеровых, деятелей культуры, копии заключенных с ними контрактов, а также отчеты о выдаче им прогонных денег из фондов Кабинета. Усилиями Кабинета и его агентов на русскую службу помимо квалифицированных мастеровых (в частности, специалистов паркового и фонтанного дела, мастеров горнорудной и легкой промышленности) были наняты лица, оставившие заметный след в развитии русской культуры и науки: архитекторы Трезини и Леблон, скульптор Растрелли, врачи Блюментрост и Бидлоо и многие другие.

После победоносного окончания Северной войны царь возложил на Кабинет еще одно поручение — написание ее истории. Выбор Петра вызывает некоторое недоумение: почему эту сложную, требовавшую соответствующей подготовки работу должен был выполнять Макаров, а не Прокопович или Шафиров, уже имевшие репутацию опытных авторов исторических сочинений. На этот счет можно высказать несколько догадок.

Петр, надо полагать, опирался на свои многолетние наблюдения за работой кабинет-секретаря и верил в способность Макарова справиться с заданием. Макаров действительно превосходно сочинял деловые бумаги, его стиль отличался ясностью и лаконичностью. Преимущество Макарова как автора состояло и в том, что в его распоряжении находилась основная масса источников о войне, отложившихся в Кабинете. Ему не стоило большого труда затребовать недостающие материалы как у частных лиц, так и у правительственных учреждений: Сената, Военной и Иноземной коллегий.

Кандидатура Макарова имела еще одно преимущество: сам он, как и необходимые для написания истории материалы, находился под боком у Петра. Известно, что царь властно вторгался в текст, написанный Макаровым, безжалостно вычеркивал ненужные, с его точки зрения, подробности, вносил существенные дополнения и т. д. В намерение Петра, по всей вероятности, с самого начала работы входило редактирование сочинения и общее руководство всем начинанием.

Сразу же оговоримся — литературный талант Макарова уступал дарованиям Шафирова, не говоря уже о Прокоповиче. Впрочем, сочинению Макарова, как и сочинениям Прокоповича и Шафирова, была присуща одна общая черта: все они носили откровенно апологетический характер. Но апологетика Макарова отличалась примитивизмом и прямолинейностью, в то время как Прокопович умел прославлять поступки и подвиги царя изысканно тонко. В целом текст «Гистории Свейской войны» утратит значительную дозу выразительности, если из него изъять вставки, написанные Петром.

И все же сочинение Макарова имеет достоинство, с лихвой перекрывающее его недостатки: оно в высшей степени достоверно отразило события. Точность изложения событий была заложена в самой организации работы над «Гисторией». Здесь чувствуется рука Макарова, его манера все, чем бы он ни занимался, делать основательно и последовательно. Составление «Гистории Свейской войны» можно разделить на четыре этапа: сбор материалов, написание текста, его, выражаясь современным языком, рецензирование и, наконец, редактирование, осуществлявшееся Макаровым и Петром.

Обращает внимание стремление к возможно более полному выявлению и сбору источников. Значительную их часть составляли донесения, реляции и царские указы, которые хранились в Кабинете. Но Макаров требовал от военачальников копий документов, которыми Кабинет не располагал. 12 мая 1721 г. он обратился с просьбой к адмиралу Апраксину, чтобы тот прислал копию журнала о

походе «в Синус Ботникус» в 1714 г. Четыре месяца спустя новая просьба к Федору Матвеевичу — представить копии журналов за 1716—1719 гг. Макарова, в частности, интересовали сведения о действиях морских и сухопутных сил в Финляндии. Годом раньше у Репнина был затребован журнал военных действий во время Прутского похода. Ответ Аникиты Ивановича проливает свет на степень сохранности документов, освещавших кампанию 1711 г. и события, ей предшествовавшие. «А паче опасен я,— писал Репнин Макарову,— о тех прошлогоцких юрналах, не сожжены ли в прошлом 1711 году в бытность у Прута. По приказу при пароле от господина фельтмаршала графа Шереметева многие письма сожечь повелено, что во всей армии и учинено».

Из документов Кабинета явствует, что к написанию «Гистории» был причастен и помощник Макарова Иван Антонович Черкасов. «Писал я к тебе,— читаем в послании Макарова Черкасову от 2 сентября 1721 г.,— чтоб ты выправился с записками и указами, что потребно к сочинению гистории с 1717 году, о чем и ныне напоминаю». Далее следовало повеление Черкасову «собирать вновь материал за 1718—1720 годы, а также внести исправления и дополнения в текст, относящийся к описанию событий 1711 и 1714 годов».

В ходе работы над «Гисторией Свейской войны» Петру пришла мысль расширить тематику сочинения, придав ему характер истории собственного царствования. О существовании подобного замысла свидетельствует требование царя внести в текст дополнения об административных преобразованиях, промышленном строительстве и новшествах в области культуры. Это намерение подтверждается и распоряжением Макарова своему помощнику Черкасову, чтобы тот организовал сбор материала «с девяностого года», т. е. с 1682 г. Макаров наметил и узловые сюжеты первых лет царствования Петра, которые надо было обеспечить источниками: вступление Петра на престол и Стрелецкий бунт 1682 г., Крымские походы, потехи под Кожуховом и Семеновским, Азовские походы.

Этот план, однако, остался неосуществленным. Гражданские сюжеты в «Гистории Свейской войны» раскрыты столь поверхностно и неполно, что не идут ни в какое сравнение с обстоятельным освещением военных событий. Что касается начальных лет царствования Петра, то текст на эту тему не был составлен даже в первом варианте ни при Петре, ни после его смерти, хотя попытка в этом направлении и предпринималась. В апреле 1725 г. Меншиков уведомлял Макарова, что написание истории царствования Петра до 1700 г. Екатерина поручила Петру Павловичу Шафирову и в связи с этим «указала надлежащие к

тому сочинению известия», в том числе и хранившиеся в Кабинете, передать Шафирову⁹.

Точность изложения событий подвергалась тщательной проверке. В январе 1722 г. Макаров отправил советнику Иностранной коллегии Василию Васильевичу Степанову текст «Гистории» с описанием в хронологической последовательности событий за 1716 г. Макаров допускал, что его текст неполно и неточно отразил происшедшее, так как, пояснял он Степанову, «писал уже на память для того, что подлинная черная записка ноября и декабря месяцев пропала»; по этой же причине о встрече Петра с прусским королем и о пребывании царя в Амстердаме «гораздо коротко писано». Ответ Степанова отчасти рассеял сомнения Макарова. Рецензент нашел, что свидание Петра с прусским королем «изрядно... записано»; к описанию пути в Амстердам «прибавливать, кажется, нечего»; во время пребывания царя в Голландии тоже ничего «знатного не происходило», если не считать того, что Петр «изволил смотрением тамошних работ и бытностию в комедии забавлятца».

Какие-то замечания на «Гисторию» давал и П. П. Шафиров. 15 июня 1722 г. секретарь Иноземной коллегии сообщил Макарову о получении тетрадей с текстом «Гистории» с 1711 по 1716 г. и о передаче их Шафирову «к пересмотрению». «И когда высмотрит, то я,—доносил Макарову секретарь,—оные перебеля к вашему благородию пришлю». Сам Шафиров уведомил Макарова в июле, что полученную «Гисторию» «пересматривает».

В роли рецензентов выступали также директор Печатного двора Федор Поликарпов и обер-секретарь Иноземной коллегии Иван Юрьев. Задача первого, правда, ограничивалась подбором иллюстративного материала — печатных изображений фейерверков и «триумфальных входов», а второго — трактатов для помещения их в приложении.

В одном из писем Макаров ориентировал Степанова на проверку правильности транскрипции географической номенклатуры иностранных государств: «...также извольте в ымянах мест польских и деревень, также и других государств городаы и деревни и протчие иноземские или французские имяна и речи, чтоб правильно было написано»¹⁰.

Итак, круг обязанностей Кабинета был достаточно широк, причем со временем этих обязанностей становилось все больше. Сам Макаров после смерти Петра составил в 1725 г. длинный, но все же неполный перечень дел, которыми занимался Кабинет. Перечень включал переписку с русскими послами и агентами за границей, с губернаторами, коллегиями, Синодом и Сенатом; заботы о

наиме иностранных специалистов и отправке русских людей за границу; руководство строительством царских дворцов, устройством парков. Кабинет ведал содержанием придворного штата, расходами на Кунсткамеру, выдачей вознаграждений за монстров. Важной прерогативой Кабинета являлся прием челобитных на царское имя. В Кабинете отложилось множество документов военного содержания. Наконец, в последние годы жизни царя немало сил Кабинета поглощало написание «Гистории Свейской войны».

Если прием челобитных, как и донесений разного рода, а также дипломатическая переписка не требовали от Кабинета значительных денежных затрат, то наем специалистов, отправка русских волонтеров за границу, строительство дворцов, приобретение скульптур и картин, содержание дворцового штата сопровождались огромными расходами. Откуда Кабинет черпал необходимые средства?

На первом этапе доходы Кабинета пополнялись из двух источников. Одним из них являлись суммы, причитавшиеся царю за его службу корабельным мастером, а также капитаном и затем полковником. Эти поступления предназначались на карманные расходы царя: свадебные подарки, подношения роженицам и т. п. Значительно больший вклад в бюджет Кабинета приносили так называемые подносные деньги — подарки разного ранга должностных лиц и купеческих корпораций.

Впрочем, с «подносными деньгами» не все ясно. Когда в 1705 г. староста Басманной слободы в Москве подарил царю 100 руб. или в 1707 г. братия Троице-Сергиева монастыря от щедрот своих поднесла ему 3 тыс. руб., характер этих подношений не вызывает сомнений: то были подарки. Но вот в 1710 г. казанский губернатор Петр Матвеевич Апраксин преподнес царю 55 тыс., а в следующем году и того больше — 70 тыс. руб., а архангелогородский губернатор Петр Алексеевич Голицын отвалил царю свыше 90 тыс. ефимков¹¹. Совершенно очевидно, что эти крупные суммы не являлись в прямом смысле «подносными деньгами», ибо нельзя подносить то, что дарившему не принадлежало. «Подносные деньги» такого рода были обязаны своим происхождением служебному рвенению и изобретательности Апраксина и Голицына, сумевших собрать деньги сверх оклада, причитавшегося им с управляемых губерний.

Столь же затруднительно установить существование строгого порядка в расходовании денежных поступлений. Некоторая часть финансов Кабинета тратилась на личные надобности царя: на стол, экипировку и пр. Поскольку Петр отличался прижимистостью, то траты этого рода

были невелики. Во много крат больше денег Кабинет расходовал на военные и дипломатические нужды, причем невозможно объяснить, почему в 1711 г. 60 тыс. руб. было отправлено вице-канцлеру Шафирову, находившемуся заложником в Османской империи, из кабинетной, а не из государственной казны. Таким же случайным выглядит расход на изготовление мундиров для двух гвардейских полков.

В последующие годы появились новые источники финансовых поступлений: казна Кабинета стала систематически пополняться деньгами, присылаемыми губернскими канцеляриями. Но самые крупные суммы Кабинет получал от эксплуатации соляной регалии. Продажу соли царь объявил государственной монополией, и весь доход, составлявший в среднем около 600 тыс. руб. в год, поступал в Кабинет. Царь присвоил себе право распоряжаться соляными деньгами и широко им пользовался, тратя их на экстренные государственные нужды: сооружение и эксплуатацию казенных заводов, укрепление Кронштадта, Адмиралтейство, русских агентов за границей и т. д. Надзор за финансовой деятельностью Кабинета, распорядившегося сотнями тысяч рублей, тоже осуществлял Макаров.

Нас, однако, занимает не история Кабинета, а роль в нем Макарова.

КАБИНЕТ-СЕКРЕТАРЬ

Карьера Макарова не взмывалась по вертикали, как, например, у Меншикова. Напротив, восхождение к власти у него протекало медленно, не осложняясь, впрочем, ни падениями, ни крутыми подъемами. И все же две вехи на его долгом пути можно отметить, и обе они были связаны с более или менее длительным совместным пребыванием царя и Макарова за пределами страны.

Первый раз это случилось в 1711 г., во время Прутского похода, и затем повторилось в 1716—1717 гг., когда они совершали путешествие за границей. Месяцы, проведенные вместе, сблизили царя с Макаровым. Петр в полной мере оценил многие достоинства своего кабинет-секретаря: трезвую голову и ясный взгляд, способность трудиться не покладая рук, быть слугой верным и надежным. Прямых свидетельств, что дело обстояло именно так, нет, но одно косвенное весьма убедительно: после каждой такой вехи поток писем в адрес Макарова значительно возрастал. А это означало, что придворные, а также вельможи и столичные чиновники среднего пошиба, чутко реагирующие на изменения в положении кого-либо

из приближенных к царю, улавливали укрепление позиций Макарова.

При знакомстве с входящими в Кабинет документами бросается в глаза, что они поначалу были адресованы царю и лишь изредка — Макарову. Так, за 1705 г. нет ни одного письма, адресованного Макарову. В следующем году он получил два письма: одно служебное от Шафировва, другое, так сказать, частное, от Федора Матвеевича Апраксина. Будущий адмирал извещал Макарова, что он передал через канцлера Федора Алексеевича Головина челобитную царю и письмо Меншикову. Вслед за этим две просьбы: «Пожалуй, мой благодетель, когда вручено будет, вспомози мне о скором ответствовании, в чем имею на тебя надежду». К Петру Макаров был вхож, и челобитная Апраксина не могла миновать его даже в том случае, если бы Головин вручил ее через голову кабинет-секретаря непосредственно царю. Другое дело Меншиков. Он был независим от Макарова, как и Макаров от него. Апраксин, разумеется, об этом знал, тем не менее написал: «Також-де посылаю письмо до милостивейшего моего патрона Александра Даниловича. По возможности изволь разведать и по своему приятству ко мне отпиши»¹.

С подобной просьбой Апраксин мог обратиться лишь в том случае, если знал о дружбе между Макаровым и Меншиковым. Действительно, несмотря на несходство характеров, они отлично ладили друг с другом и нуждались друг в друге. Правда, роли у них со временем поменялись: первоначально в поддержке царского фаворита, когда тот был ближе всего к царю, нуждался Макаров; в последние годы жизни царя в дружбе с кабинет-секретарем был более заинтересован Меншиков, фавор которого пошатнулся настолько, что все ожидали близкого его падения. Петр Андреевич Толстой не лукавил, когда в тяжелые для князя времена аттестовал Макарова так: он «есть вашей светлости доброй приятель»².

Постепенно перечень лиц, обращавшихся к Макарову с разнообразными просьбами, расширялся. Мало-помалу кабинет-секретарь укрепился настолько, что к нему стали писать не только люди его круга — Александр Кикин, Антон Девиер — или близкие ему по социальному облику такие корреспонденты, как Алексей Курбатов, Василий Ершов, но и вельможи, высшие офицеры: фельдмаршал Шереметев, князя Михаил и Петр Голицыны, Яков Брюс, князя Василий Долгоруков и Матвей Гагарин и многие другие. Пост Макарова позволял ему заводить знакомства со многими людьми. Все они жаждали завязать с ним близкие отношения, ибо знали, что он располагал возможностями помочь, но мог и навредить. Одни относились к нему с назойливой почтительностью,

другие — снисходительно, третьи — с уважением, вызывавшим зависть у недоброжелателей, четвертые — настороженно, злобно выжидая момента, когда он попадет под горячую руку вспылчивого царя и окажется в немилости. Всяк понимал, что быть помощником столь беспокойного и своевольного человека, как Петр, не так-то просто, и временами казалось, что карьере Макарова пришел конец. Но завистники ошибались: проходили годы, а работяга Макаров оставался у дел.

Показательна форма обращения к Макарову. На первый взгляд она кажется пустяком, не достойным внимания, чистой формальностью. В действительности за словами притвистия скрывались мера зависимости корреспондента от кабинет-секретаря и степень близости к нему этого корреспондента.

Приятели Кикин, Курбатов, Ершов и Василий Зотов обращались к Макарову так: «Государь мой, милостивый и истинной друг Алексей Васильевич», «Премилостивейший мой государь, батька», «Мой государь и друг истинный», «Государь мой, всенадежный друг». Все названные лица претендовали на дружбу и держали душу, как говорится, нараспашку.

Другие корреспонденты проявляли сдержанность и независимость. Например, дипломат Борис Иванович Куракин начинал свои послания с обращения «Мой господин, Алексей Васильевич!», Яков Вилимович Брюс — «Государь мой, Алексей Васильевич!».

Третьи, зная силу Макарова, заискивали перед ним. В обращении таких авторов непременно присутствует слово «благодетель». «Мой благодетель Алексей Васильевич, здравствуй», — писал Ф. М. Апраксин или нарвский комендант Кирилл Нарышкин: «Государь мой и милостивый благодетель, Алексей Васильевич!» Исключение составлял Меншиков. Его надменность и высокомерие выражались в том, что он был единственным корреспондентом Макарова, который не называл его по имени-отчеству. Даже в тех случаях, когда Меншиков излагал личную просьбу, он величал кабинет-секретаря официально, без тени подобострастия и теплоты: «Господин Макаров!» или «Господин секретарь!» Лишь позже, в 1720-х годах, он, оставаясь верным своей привычке, стал писать: «Благородный господин кабинет-секретарь!»

Чем обширнее становились обязанности Кабинета и чем больше поступало донесений, реляций, ведомостей, челобитных и прочих документов, тем весомее становилась роль Макарова. Царю, естественно, было не под силу самому разобраться в массе входящей корреспонденции. Предварительный ее просмотр и систематизацию, а также определение важности существа дела производил кабинет-

секретарь; он же докладывал о ней Петру, он же отвечал сам или готовил проекты ответов, подписываемых затем царем. В промежутке между этими заботами Макаров выслушивал повеления Петра, управлялся с финансовыми делами Кабинета и даже выкраивал время для управления собственными вотчинами.

Трудно себе представить, когда он успевал все это делать. Сил у Макарова должно было быть чуть больше, чем у простого смертного. Это «чуть больше» и превращало Макарова в помощника, крайне необходимого царю. Правда, Алексей Васильевич имел сотрудников, но независимо от них он тянул такой воз и с такой щедростью растрачивал свою энергию, что это возводило его в ранг незаурядных людей.

В фонде Кабинета Петра хранятся тысячи писем, адресованных Макарову. Взятые вместе, они представляют обильный материал для изучения характеров, нравов и человеческих судеб той поры.

Одни обращались за милосердием к царю, другие его выпрашивали у Макарова. Отметим, что царю докучали челобитными в редких случаях: руку челобитчиков удерживали несколько указов Петра, строго каравших за подачу ему прошений. Челобитчики, однако, научились обходить указы: они обращались с просьбами не к царю, а к Макарову, чтобы тот исхлопотал у монарха положительное решение вопроса. Как правило, авторы деловых бумаг отправляли их в два адреса: царю и Макарову. Содержание прошений было одинаковым. Единственное различие можно обнаружить в конце письма Макарову, где его просили «предстательствовать» перед царем и доложить ему «во благополучное время» или «со временем». Князь Матвей Гагарин изобрел несколько иную формулу: «Пожалуй, милостивый государь, усмотря случай, донести его царскому величеству».

Что означала формула «во благополучное время»? Время, когда Петр благодушествовал и пребывал в превосходном настроении, или когда царь не был целиком поглощен какой-либо одной заботой, был готов отвлечься и переключить свое внимание на другое дело, или, наконец, время досуга Петра. Скорее всего, все три варианта подходят под понятие «благополучное время». А что Макаров терпеливо его ожидал и эти слова не являлись простой данью вежливости, свидетельствует донесение Апраксина о бедствии, постигшем русский флот в Ревельской гавани в результате небывалой силы шторма. Получив это печальное известие, Макаров не помчался с докладом царю, а терпеливо выжидал наступления этого самого «благополучного времени», дождался и тем самым предотвратил вспышку царского гнева.

Неподходящим временем, способным вызвать у Петра отрицательные эмоции, вероятно, считалось то, когда царя отрывали от занятий, которыми он был увлечен. Так, один из аккредитованных при царском дворе иноземных дипломатов утверждал, что царь как-то на недели запирался в кабинете и отказывался слушать какие-либо дела, ибо был поглощен конструированием корабля и претворением своих идей в чертежи. На первый взгляд подобное свидетельство кажется досужим вымыслом, но эти сведения подтверждает помощник Макарова по Кабинету Черкасов. В письме своему шефу Иван Антонович сообщал, что царь прибыл в Петербург 4 марта 1723 г., но прошло уже три дня, а он, Черкасов, не может выполнить поручение Макарова, так как «его императорское величество по се число ни за какое дело здесь не изволил принимать, только изволит трудитца за чертежем нового корабля».

Кстати, и сам Макаров, до тонкостей изучивший характер своего повелителя, тоже употреблял понятие «во благополучное время». В 1724 г., когда на Марциальные воды вместе с царем отправился Черкасов, кабинет-секретарь просил своего помощника не терять из виду челобитную советника Иностранной коллегии Степанова «о деревнях». «И ежели усмотришь время,—наставлял Черкасова Макаров,—то доложи его величеству, о чем он, Степанов, прилежно вас чрез письмо свое просил»³.

Какими только просьбами ни осаждали Макарова. Марья Строганова просила его ходатайствовать перед царем об освобождении от службы ее племянника Афанасия Татищева, поскольку в нем «есть нужда» в доме. Княгиня Арина Трубецкая выдавала замуж свою дочь и в связи с этим домогалась, чтобы Макаров исходатайствовал у Екатерины разрешение на заем 5—6 тыс. руб., «чтоб нам сию свадьбу отправить». Князь Иван Трубецкой, долгие годы томившийся в шведском плену, исхлопотал обещание Петра построить ему дом на казенный счет, но оно не было оформлено указом, и Трубецкой уже после смерти Петра просил Макарова, чтобы тот «подал совет» его жене, как действовать, чтобы хлопоты увенчались успехом. Анна Шереметева, вдова фельдмаршала, жаловалась Макарову, что ей жизни не стало «от челобитчиков в беглых крестьянх, ищут за пожилые годы превеликих исков». Графиня просила кабинет-секретаря «во благополучное время» доложить царю и царице, чтобы те «оборонили» ее от истцов⁴.

Иногда лица, лично известные Макарову, искали у него содействия в устройстве дел своих родственников. Генерал-адъютант Семен Нарышкин просил Макарова похлопотать у Б. П. Шереметева о повышении чином

своего брата Василия Гурьева. Василий Степанов, называвший Макарова братом и сватом, писал ему: «Прошу вас, моего государя, явить свою милость к брату моему Борису Пахомовичу, о чем он будет вас просить». Даже сам светлейший князь Меншиков выступал просителем за своего шурина поручика Василия Арсеньева: когда царь затребует список офицеров, подлежащих повышению в чине, то Макаров должен был «в тое роспись внести» его имя⁵.

Не лишены интереса действия Артемия Петровича Волынского, выступившего ходатаем о некоем Василии Ивановиче Яковлеве. Они любопытны, поскольку являют образец коварства тех времен.

Составленное письмо Макарову Волынский показал Яковлеву, и тот, надо полагать, был в восторге от лестной аттестации. В самом деле, Макаров, получив послание Волынского, прочел следующую характеристику Яковлева: «...он мне древний благодетель и человек заслуженной, ибо во многих кровавых боях под Конотопом и Чигирином бывал и проливал кровь за веру христианскую», а вслед за ней — две просьбы: исхлопотать у царя назначение Яковлева пензенским воеводой и пожалование ему чина окольничего или думного дворянина. Но письмо сопровождала цидулка, напроць дезавуировавшая все хвалебные слова и отражавшая подлинное мнение Волынского о своем подопечном: «...сей старичок зело честолюбив и спесив, также и лжец жесток»⁶.

Другие корреспонденты Макарова были скромнее и ограничивались лишь просьбой о том, чтобы кабинет-секретарь уведомил их, как будет воспринято царем их доношение. Ф. М. Апраксин заканчивал многие свои послания Макарову так: «Письмо его царскому величеству изволь вручить, и как оно будет принято, пожалуй, не изволь оставить без известия». А. И. Репнин подал челобитную царю о пожаловании ему мызы в Лифляндии. Не получив ответа, он просил Макарова известить его: «...есть ли на помянутое мое прошение какой указ или откано». С таким же вопросом обратился к Макарову и Конон Зотов, пожелавший знать об отношении царя к его деятельности в Париже: «...по се число не имею ни похвалы, ни гневу».

Выше упоминалось, что подавляющая масса писем Макарову носила деловой характер и, как правило, дублировала содержание доношений царю. Однако существовали отклонения от этого правила.

Первое из них допускали корреспонденты, хорошо осведомленные о порядке прохождения дел в Кабинете. Они справедливо полагали, что писать Макарову столь же пространно, как и царю, не было резона, ибо со всеми

доношениями предварительно ознакомился кабинет-секретарь. Например, Ягужинский извещал Макарова, что о делах ему не пишет: «...из письма к его царскому величеству довольно уведомиться можете». Так поступал и князь В. В. Долгоруков: «О чем мне надлежало писать, о всем писал я пространно до царского величества, ис чего изволите сами уведомитца». Князь Петр Голицын к письму Макарову от 14 февраля 1711 г. сделал собственноручную приписку: «А с письма царского величества копии не послал я до вашей милости для того, что оное будет в руках ваших».

Второе отступление заключалось в том, что доношение царю существенно отличалось от письма Макарову, уступая последнему в богатстве содержания. Меншиков такие отступления мотивировал нежеланием утруждать царя всякого рода мелочами: «О протчем, не хотя ваше величество утруждать, писал я пространно секретарю Макарову». Алексею Васильевичу князь по этому же поводу писал: «А я его величеству сими малыми делами докучать не хотел, на что ожидать буду от вас ответу».

Генерал-фельдцейхмейстер Яков Брюс, человек лично хорошо известный царю, тоже не считал для себя возможным обращаться непосредственно к Петру по поводу того, что майора Молостова, определенного к варению селитры на Ахтубе, полковник Кошелев назначил на другую службу. Жалобу на действия Кошелева Брюс отправил Макарову.

Не решился беспокоить царя и А. И. Репнин, отправивший Макарову сопроводительное письмо с объяснением причин своего отсутствия на свадьбе князя-папы Аникиты Зотова. С оправданием — и опять не к царю, а к Макарову — обратился Алексей Дашков, которому царь повелел присутствовать на церемонии встречи османского посла: «...и я б его величества указ исполнить готов по должности моей, но истинно, государь, богом свидетельствуюся, также и все куриеры, которые ко мне от вашего превосходительства приезжают, видят, что уже я три недели с постели не встаю и учинить того отнюдь не могу болезней ради моих. Того ради покорно вашего превосходительства прошу сотворить со мною милость и донести о том его величеству, чтоб на мене в том надеяния не было и какова медления не произошло». Объяснение неявки по вызову царя адресовал Макарову казанский губернатор Петр Салтыков. Царь обязал его прибыть в Петербург в ноябре 1714 г., но тот занемог и искал заступничества у Алексея Васильевича: «Прошу тебя, моего государя милостивого, охраняй меня, дабы в том его величество на меня, раба своего, не прогневался».

Брюс, бесспорно, имел полное основание не тревожить

царя по поводу такого пустяка, как изъятие из его ведомства безвестного майора Молостова. Можно согласиться и с доводами Репнина и Дашкова, полагавших, что их донесения следовало адресовать не царю, а Макарову. Однако в некоторых случаях авторы писем, похоже, преднамеренно умаляли значение вопроса, чтобы на этом основании не докучать царю.

Тот же Брюс, например, в мае 1712 г. в письме Макарову обстоятельно описал постигшую его неудачу при попытке заполучить от магистрата Дангица 100 тыс. талеров за игнорирование горожанами указа царя о запрещении торговли со шведами. «Но паки от них ничего, кроме стыда, не получил», — жаловался Брюс. В магистрате отклонили его требование и рассуждали так: «Хотя бы де вы что захотели над нами учинить, и мы ведаем, что вы ныне не в таком состоянии... А мы, слава богу, в таком состоянии, что довольное число всего ко обороне имели». Вопрос, как видим, не мелкий. Весомость ему придавали не только престижные соображения, но и 100 тыс. талеров. Тем не менее Брюс писал Макарову: «...не хотя его царское величество безпутным делом докучать, того ради прошу вашей милости удобным часом его величеству донести»⁸.

Меншиков, как, впрочем, и другие корреспонденты, находившиеся с Макаровым в доверительных отношениях, нередко информировал кабинет-секретаря о фактах и событиях, которые считал целесообразным скрывать от царя. Так, в июле 1716 г. Меншиков писал Макарову, находившемуся вместе с царем за границей: «Також в Питергофе и в Стрелиной в работниках больных зело много и умирают непрестанно, ис которых нынешним летом больше тысячи человек померло. Однакож о сем работничьем худом состоянии пишу к вам во особливое ваше ведение, о чем, разве какой случай позовет, то тогда донести можете, понеже, чаю, что и так многие неисправления здешние его царское величество не по малу утруждают». В доношении царю, отправленном в тот же день, о массовой гибели работников — ни единого слова. Правда, князь сообщил, что работы на острове Котлин он обрел «в слабом состоянии», но причиной тому были непрерывные ливневые дожди.

4 мая 1723 г. Меншиков отправил из Вышнего Волочка, где находился проездом, доношение царю и письмо Макарову. Оба документа — об одном и том же: он, Меншиков, находится в Вышнем Волочке и на днях покинет его. Однако в письме Макарову есть существенная деталь, отсутствующая в доношении царю: «Не мог и сего оставить, чтоб вашей милости не объявить, что от Москвы до сих мест в пути сена и овса и людем пици

нигде купить сыскать не могли, в чем великую имели нужду».

Напомним, в 1723 г., как и в предшествовавшем, губернии Центра России и Поволжье постиг неурожай. Народ испытывал бедствие, с отзвуками которого познакомился и светлейший. Остается гадать, почему он не сообщил об этом царю. Возможно, он полагал, что о недороде и голоде Петр был хорошо осведомлен и поэтому испытанные им, Меншиковым, путевые неудобства носили столь личный характер, что не заслуживали упоминания. Более вероятно, однако, предположение, что опытный царедворец считал, что Петру не следует знать о неприглядных сторонах своего царствования.

Меншиков был не единственным корреспондентом, информировавшим Макарова обстоятельнее, нежели царя. Подобным образом поступал и рижский губернатор Петр Голицын, правда по иным мотивам. Он как-то пожаловался царю, что начиная с 1714 г. у него ежегодно вычитают из жалованья по 1200 руб. штрафных денег, а служителей губернской канцелярии держат на правеже: «...будто за мое губернское неизправление». Челобитная губернатора отличается сухостью и деловитостью, в ней отсутствуют эмоции. Зато в письме Макарову, отправленном в тот же день, Голицын дал волю своим чувствам. Он просил кабинет-секретаря: «...учинить вспоможение, чтоб на мне и на оных бедных канцелярских служителях, которые, кроме жалованья, никакова имеют иждивения и весьма нужные, того жалованья не править и людей моих и их чрез ваше ходатайство с правежа освободить». И далее следовал морально-престижный аргумент, о котором он в челобитной царю упомянуть не осмелился: «...воистинну, мой милостивой, пред здешним народом в том правеже превеликой стыд, какого, надеюсь, как и Рига зачалась, не бывало»⁹.

Откровеннее с Макаровым, нежели с царем, был и фельдмаршал Б. П. Шереметев. В июле 1717 г. он отправил царю челобитную об освобождении от службы. Сочинена она была в характерном для Шереметева ключе, с присущим ему умением плакаться и канючить. Ссылаясь на «лета... престарелые и слабость здоровья» своего, Борис Петрович испрашивал у царя разрешения: «...ехать прямо в домишко свои и в деревнишки для управления и для розделу невески своей, чтоб я их успел при себе розделить з детьми своими». Далее следовали жалоба, что он «сколько лет домишка своего» не видел, и соображения, как он организует свою жизнь в столице, когда туда переедет. Если, рассуждал фельдмаршал, ехать туда сейчас, то «прожить будет в Питербурху нечем и совсем не только себя, но и жену з детьми разорю».

В письме к Макарову Шереметев подробнее объяснял, почему он не может тотчас поселиться в столице: «...хоромишки, которые были мазанки, и о тех пишут ко мне, что сели, жить в них никоими мерами нельзя». Щедрее делился он с Алексеем Васильевичем и своими планами на будущее: «Зимою бы нынешнею и на весну водою приготовил бы припасами и основательно б все мог управить». Письмо заканчивалось собственноручно написанной фразой: «Покорне вас прошу, не оставь моей просьбы при таком приличном случае».

Увольнения в отставку домогался и казанский вице-губернатор Никита Кудрявцев, причем его письма Макарову тоже отличались от доношений Петру. Царь обещал удовлетворить желание Кудрявцева после своего возвращения из-за границы. Петр вернулся из путешествия в 1717 г., но Кудрявцев отставки не получил. Повременил царь с удовлетворением его просьбы и в следующем году, на этот раз по той причине, что губернатор Салтыков отправился на лечение в Москву. Кудрявцев, вынужденный тянуть непосильную из-за старости лямку управления губернией, 22 сентября 1718 г. написал два послания: челобитную царю и письмо Макарову. В челобитной он сетовал на то, что Салтыков отправился в Москву «на малое время», «но изволит быть в Москве и дондесь». Между тем о себе Кудрявцев писал: «...так весьма уже ослабел, что часто непамятством одержуся, говоря многое не то, что надобно».

В письме Макарову деликатные слова о том, что губернатор, излечившись от недуга, «свободно изволит быть в Москве», заменены более резкими, причем старик не удержался от жалоб на своего начальника и колкостей в его адрес: «...превосходительный мой губернатор оставил меня во всяком бедстве и в тяготе и живет в Москве не для пользы болезни своей, только продолжает время, чтоб ему прожить, по коих мест разделитца всякое правление по коллегиям»¹⁰.

Автор этих строк не хотел бы, чтобы у читателя сложилось впечатление, что Кабинет работал подобно хорошо отлаженному механизму, без сучка и задоринки; что возглавляемому Макаровым учреждению не были присущи черты, свойственные любому учреждению абсолютистского государства. Напротив, имеется множество свидетельств тому, что бюрократизм, волокита и производное от них медленное, как в сонном царстве, течение дел составляли характерную черту работы Кабинета.

То, что Кабинет функционировал далеко не безупречно, явствует из наличия повторных донесений с напоминаниями, что ни на одно из них не получено ответа. Таких напоминаний и просьб — бесчисленное множество. Так,

рижский губернатор Петр Голицын испрашивал царского повеления на свое доношение от 28 августа 1713 г.: «...на мои пункты, которые я прежде послал до его величества». Прошло более месяца, и Голицын вновь напомнил Макарову об отсутствии указа на ранее отправленные доношения. Свидетельство на этот счет Василия Долгорукова: «Писал я до царского величества многократно о многих самых нуждах, ни на одно не получил отповеди, ис чего немалой труд и печаль я принимаю». Канцлер Гавриил Иванович Головкин тоже сетовал на несвоевременные ответы на запросы. «Однако же,—писал он Макарову 26 мая 1713 г.,—не на все дела, изображенные в тех письмах, решение к нам прислано, но о многих умолчено».

Случалось Макарову получать и сердитые письма — не с просьбами, а с упреками. Одно из них, отправленное 18 февраля 1718 г., принадлежит русскому резиденту в Лондоне Федору Веселовскому: «Я уже, государь мой, не могу больше писать к вам о комиссиях, положенных на меня, ибо сколько кратно к вашей милости не писал, однакож по се время ни одной строки в ответ не получил и так оставлен, что уже никакого способа не имею, как исправитца... Все сие становитца в немалой убыток за тем, что нескоро от вас указ получить могу»¹¹.

Трудно сейчас ответить, кто повинен в том, что Веселовский и Голицын своевременно не получили указов на свои запросы: сам царь, хранивший молчание после заслушивания доклада и по каким-то соображениям считавший нужным повременить с решением вопроса, или его кабинет-секретарь, ожидавший «благополучного часа», чтобы доложить, а доложив и получив указ, не спешивший уведомить о нем заинтересованное лицо. Вряд ли, однако, Макаров осмеливался доводить дело до того, чтобы в его адрес раздавались упреки и жалобы корреспондентов или брань разбушевавшегося царя. Для покорно послушного Макарова, неизменно учтвого и обходительного, последнее исключалось: он умел рассчитывать свои действия, соразмерять их с последующими ответными шагами, взвешивать последствия.

Впрочем, иногда Макаров шел на риск, причем тогда, когда он не сулил лично ему выгод. Рисковать побуждала его доброта, приятельская верность и стремление выручить друзей из беды. В подобных случаях Макаров, надо полагать, сознательно клал под сукно бумаги, усугублявшие положение людей, нуждавшихся в его помощи.

Алексей Васильевич имел репутацию человека отзывчивого и душевно щедрого. Один из его корреспондентов, видимо лично ему незнакомый, писал: «...не имея ни малого услужения до вашей, моего государя, персоны, токмо разсуждая и видя ваше благое и милостивое

склонение ко убогим...» Сразу же оговоримся, что автор этих строк, Иван Измайлов, не принадлежал к «убогим» в подлинном смысле слова. Он зря уничижительно называл себя человеком «мизерным», ибо владел 70 дворами крепостных. Поэтому Измайлова можно заподозрить в стремлении подхалимством расположить к себе кабинет-секретаря. Но вот что писал Макарову Конон Зотов, сын знаменитого князя-папы: «Одним словом, Никите Моисеевичу обязан за рождение и за воспитание, а вам — за благодеяние и милосердие»¹².

Существует, кроме того, такой объективный показатель добродушия и благожелательности Макарова, как призывы к нему о помощи опальных, попавших в немилость. Он оказывал заступничество даже тем, покровительство которых было опасно и могло накликать беду. Среди них — первый прибыльщик, ставший затем архангелогородским вице-губернатором, Алексей Курбатов, московский вице-губернатор Василий Ершов, любимый денщик царя, а затем адмиралтеец Александр Кикин и многие другие. Не стеснялся обращаться за «предстательством» к Макарову и сам Меншиков.

Содержание многочисленных писем Курбатова Макарову, а также донесений его царю дает основание для заключения, что первый прибыльщик России был обязан Макарову сохранением жизни: если бы не советы и заступничество кабинет-секретаря, то, возможно, Алексей Александрович распрощался бы с земными заботами в тюрьме под пытками или на эшафоте.

У истоков опалы Курбатова находилась его ссора с Меншиковым. Поначалу отношения между ними были такими, что, казалось, их водой не разольешь: князь споспешествовал карьере Курбатова, а последний всячески угождал своему патрону. В одном из писем царю Курбатов называл Меншикова «избранным от бога сосудом, единственным человеком, который без порока перед царем»¹³. Изредка между ними случались размолвки, но они были кратковременными.

Положение круто изменилось после 1711 г., когда царь назначил Курбатова архангелогородским вице-губернатором. Прибыльщик отправился в Город, как тогда называли Архангельск, и там обнаружил противозаконные действия агента Меншикова Дмитрия Соловьева. Вопреки царскому указу, запрещавшему вывоз хлеба за границу, Соловьев продавал его в Голландию. Курбатов настроил донос царю. С этого времени Меншиков и Курбатов стали непримиримыми врагами и так крепко вцепились друг в друга, что разняла их лишь смерть Алексея Александровича.

К следствию по делу Соловьева был привлечен и

Курбатов, который, несмотря на кратковременность пребывания в должности вице-губернатора, успел совершить ряд непристойных поступков. Ему пришлось оправдываться. Делать это было непросто, так как следственные комиссии испытывали давление со стороны всесильного Меншикова и его клеветов.

Здесь не место для обстоятельного изложения перипетий следствия. Наша задача скромнее — описать роль в этом деле Макарова. Она была сложной и требовала от кабинет-секретаря не только ловкости, но и отваги. Ему приходилось лавировать между противоборствовавшими силами — Меншиковым и Курбатовым, с каждым из которых он находился в приятельских отношениях. Кроме того, Макарову надлежало считаться и с самим царем, внимательно следившим за ходом следствия и считавшим Курбатова казнокрадом.

Дружеские отношения Курбатова с Макаровым не составляли тайны для окружающих. Иван Хрипунов, многие годы служивший под началом Курбатова, когда тот еще был руководителем Оружейной палаты, писал о себе Макарову в 1713 г.: «Больши четырех лет служил его величеству при верном его величества рабе, а вашем друге, во определении математических школ и многотысячного збора крепосных дел и дел же оружейных». Знал о приятельских отношениях между Макаровым и Курбатовым князь Михаил Волконский, отправленный в Вологду и Архангельск для следствия по доносу Курбатова. Волконский делился с Макаровым сомнениями относительно успешности выполнения своего поручения, в частности, потому, что полагал: Курбатов «будет по любительной вашей дружбе до вас, моего государя, писать...»

До начала следствия Волконский, похоже, не питал неприязни к Курбатову. В спокойном и благожелательном тоне он извещал Макарова из Вологды: «...к Алексею Александровичу послал указ великого государя, чтоб к прибытию моему изготовил сведения, кои надлежат к тому делу». Следователь обещал вести дело «без всякого ухищрения... сколько глупово умишку моего есть».

Курбатов тоже поначалу не выказывал осторожности и подозрений относительно намерений следователя. В августе 1713 г. он писал Макарову о Волконском: «А каковым усердием во оном розыске послужит — неизвестно». В дальнейшем отношения между Волконским и Курбатовым ухудшились настолько, что вести следствие стало практически невозможно. От следователя и подследственного посыпались взаимные жалобы. Курбатов закусил удила, стал в позу, считал себя крайне обиженным прежде всего тем, что его, человека, разоблачившего проделки Соловьева, привлекают к следствию. Свое него-

дование он изливал Макарову: «Господин мазор князь Волконский подавал мемориал на Москве в Сенате. Ежели по Соловьеву розыску надлежит мене допрашивать или взять скаску, или дать очные ставки, дабы я ему в том был послушен. И по ево желанию, жалея меня, и учинили. Разсуди, мой милостивый государь, каковая ко мне милость — не во ино что тщатся, точно безславию мне в народе зделать. То ли моя вина, что, всякой страх оставя, писал на Соловьева, видя ево неправость, за что было меня их милости, яко верным сущим, надлежало любить, а они начали губить».

Жаловался на Курбатова и Волконский: «Только что, государь мой, за чем не посылаю указы, ни на что отповедывания нет». В другом письме Макарову гвардии майор сокрушался по поводу полного игнорирования последственным его распоряжений: «Не знаю, что мне и делать».

Вряд ли Курбатов вел бы себя столь заносчиво, если бы не рассчитывал на безоговорочную поддержку Макарова. Из его писем кабинет-секретарю явствует, что он согласовывал с ним каждый свой шаг: либо спрашивал совета, следует ли ему подавать доношение на имя царя, либо интересовался отношением царя к уже поданному доношению, либо, наконец, просил Макарова, чтобы тот «предстательствовал» за него перед царем и защитил его от всяческих «турбаций».

В первые годы работы следственной комиссии Курбатов пытался убедить всех и вся в своей невинности. «Ей, ей, — писал он Макарову, — ни в чем же (при помощи божию) надеюся быти виновен, разве что по неведению многих ради моих суетств учиних, и в том, уповаю на бога, едва същется». Виновником своих бед Курбатов считал Волконского, якобы предвзято к нему относившегося: «Не бегу от правосудия царска, но к нему прошуся, а он (Волконский. — Н. П.) — злоковарной лукавец и, всякие неправды исполненный, явно от того правосудия бежит»¹⁴. Курбатов в эти годы вел себя так, будто он стал жертвой недоразумений, что все в скором времени образуется и возведенные на него обвинения развеются в прах.

Но по мере того как следствие подтверждало одно обвинение за другим, тон Курбатова менялся и он все менее категорично отрицал свои преступления: «А что до самих нужд моих и прокормления и брал сверх жалованья небольшое, и то не тайно, но с росписками, которой долг и донныне на мне явен есть». В доношении царю Курбатов напомнил о том, как в течение своей ревностной службы он «без тягости народа» принес казне «многосотные тысячи рублей» прибыли. В 1705 г. он, будучи в Ратуше, увеличил питейный сбор только по одной Москве на

112 тыс. руб., а в 1711 г. сверх оклада собрал по Архангелогородской губернии 300 тыс. руб. Гербовая бумага, введенная по его предложению, обеспечила поступление в казну 50 тыс. руб. прибыли. Перед нами типичный образец рассуждений казнокрада XVIII в., не видевшего ничего зазорного и тем более преступного в том, что он из полученных его радением казенных доходов малую толику, какие-то крохи, присваивал себе.

Но воззрений Курбатова почему-то не разделял царь. Следствие продолжалось, и Макаров делал все возможное, чтобы облегчить судьбу приятеля. Сохранилось письмо Макарова своему помощнику Черкасову с Марциальных вод, где в январе 1719 г. он находился вместе с Петром: «Алекссю Александровичу поклонись и скажи, что я всеми мерами об нем старатца буду, а по се время еще (кроме того, что при тебе в Шлютебурхе) на разговор об нем часу. удобного не сыскал»¹⁵.

Можно не сомневаться, что Макаров «сыскал» в конце концов «час удобный» для разговора с царем,—он был человеком обязательным. Но столь же бесспорно, что старания кабинет-секретаря оказались тщетными и веру царя в виновность Курбатова он не поколебал. Если бы Макарову удалось добиться угодного Курбатову решения, то последний не стал бы подавать царю челобитную с признанием своей вины. Впрочем, по сути дела это было не признание, а полупризнание, ибо Курбатов извращивался и хитрил.

Общеизвестно, что обвиняемый тех времен если не располагал убедительными доводами для своей реабилитации, то прибегал к одной из трех формул: проступок-де он совершил либо «с простоты», либо «в беспамятстве», либо «спьяна». Курбатов, например, признал, что получил от хлебных подрядчиков взятку в 1500 руб., и тут же придумал более изощренное, но не менее нелепое объяснение, которое, как ему казалось, могло убедить царя в том, что он, беря взятку, руководствовался благими намерениями: «А те деньги приняты под таким видом, чтоб донесть о том царскому величеству, а во уверении того писал он о пресечении дорогих подрядов». Итак, хотел донести, но не донес—слишком велик был куш, чтобы устоять от соблазна его прикарманить.

Жители Кевроля и Мезени дали Курбатову «в почесть» 300 руб., чтобы он сквозь пальцы смотрел на уменьшение налогоплательщиков. Курбатов признал получение денег и опять попытался превратить порок в добродетель: «...он, приняв 300 рублей, запомятовал их отослать в Канцелярию на содержание школ и шпиталя, но за нуждами в то время не отосланы и по розыске Волконского дослать не успел».

Следственная комиссия подсчитала, что за три года Курбатов получил от городского населения управляемой им губернии «харчевых и почесных подносов» на сумму до 4 тыс. руб. Курбатов оспаривал эту сумму, считая, что ему перепало до тысячи рублей, и тут же подчеркивал, что он брал «из мирских, а не государевых» доходов. В «почесть» он принимал виноградное вино, водку, деньги и пр. Кроме того, он, по собственному признанию, с 1705 по 1714 г. присвоил 9994 руб. казенных денег.

Комиссия не завершила следствие: в дополнение к изученным 12 делам надлежало рассмотреть еще 15. Но и расследованные дела позволили предъявить Курбатову обвинение в присвоении им 16 422 руб. В разгар следствия Курбатов умер. Комиссия затруднялась определить, по какому, так сказать, разряду его надлежало хоронить — как честного человека или как преступника. При этом майор Михаил Нарышкин, сменивший Волконского на посту руководителя следственной комиссии, извещал Макарова, что «о винах его, Курбатова, его величеству не докладывано и экзекуции над ним, Курбатовым, никакой не чинено»¹⁶.

У другого опального — Василия Ершова было немало общего с Курбатовым. Ершов происходил из холопов Б. П. Шереметева и, подобно Курбатову, тоже занимал должность вице-губернатора. Оба они считали себя жертвами навета людей, завидовавших их блестящей карьере. Курбатов писал Макарову в 1713 г.: «Истину реку ти: едва не вси мя возненавидеша, а за что — не вем, разве за усердие мое ко всемилостивейшему нашему государю». В другом письме Курбатов восклицал: «Ой, батько мой, вижду, что мне учинила ревность моя». Ход мыслей Курбатова перекликался с рассуждениями Ершова. Последний жаловался Макарову: «А за земские труды мои, тяжкие и верные, и за доброе мое отважное сердце, и за незазренную мою совесть, того ль я, сирой, ожидал». И далее: «...мнози жаждут истребления моего».

Налицо и некоторая общность психологии опальных. Ершов, как и Курбатов, ссылался на огромные прибыли, полученные казной благодаря его усердию. В челобитной царю Ершов сообщал, что «ревностишкою моею» только в 1711 г. при заключении винных и провиантских подрядов, а также питейных и таможенных сборах учинено прибыли 116 тыс. руб. Кроме того, в результате его усилий Дворцовая и Мундирная канцелярии получили 400 тыс. руб. прибыли.

В остальном они были несхожи. Курбатов — человек дела, его письма и доношения отличаются лаконичным и ясным изложением цели, ради которой они были написаны. Письма Ершова, напротив, многословны, велеречивы,

с нотками разочарования в суетной жизни и стремления разжалобить кабинет-секретаря описанием болезней и предчувствием скорой кончины. Степень близости каждого из них к Макарову тоже была различной. Курбатова, как свидетельствуют его письма, с Макаровым связывала дружба. Отношения кабинет-секретаря с Ершовым, видимо, были хотя и приятельскими, но менее доверительными.

Наконец, различными были и причины опалы: Курбатов обвинялся в казнокрадстве и мздоимстве, а Ершову было предъявлено обвинение всего лишь в несвоевременной доставке Сенату приходно-расходных книг за 1710 г. и в невыполнении Московской губернией поставок провианта. Тем не менее Ершов тоже был отстранен от должности московского вице-губернатора и лишен вотчин и, подобно Курбатову, просил у Макарова заступничества и покровительства. Ершов, однако, заметил некоторое равнодушие Макарова к своим просьбам. «Прости меня в сомнении моем,— атаковал он в лоб Макарова,— но точию больши полагаю на то, что есть вашей милости от некоторых на меня теснота, что так я оставлен вашей древней милости без показания мне к тому причин». Но, подозревая Макарова в безразличии, Ершов, кажется, ошибался. Такой вывод напрашивается при чтении его следующих слов: «...но видно по всему, что есть на то воля божия, что никакое ваше старание в действо не приходит ни в которую сторону»¹⁷.

Давнишним приятелем Макарова был Александр Васильевич Кикин. Письмо, полученное Макаровым в 1711 г., мог отправить только близкий человек, во всем доверявший адресату. «Понеже я на вас, моего милостивого государя, имею такую надежду несумненную, яко на единокровного моего брата,— писал Кикин Макарову,— того ради прошю вас, сотвори со мною милость: уведошь мене, не происходило ли от кого о мне по отлучении моем каких противностей и не было ли какого упоминования от царского величества». На этот раз Кикин отделался легким испугом.

Серьезные неприятности подстерегали Кикина в 1713 г., когда Александр Васильевич, если бы не заступничество Екатерины, мог лишиться всего, в том числе и жизни, а он потерял лишь доверие Петра и должность, т. е. оказался в опале. Кикин, разумеется, был хорошо осведомлен о весьма ограниченных возможностях кабинет-секретаря чем-либо помочь ему и поэтому в отличие от Курбатова просьбами о «предстательстве» его не донимал. Посредничество Макарова могло нанести непоправимый вред, ибо раздражение царя против Кикина, растоптавшего уважительное к себе отношение преступ-

ными махинациями с подрядами, не знало границ. Коварный Кикин решил действовать исподволь. Он узнал, что избежал виселицы благодаря Екатерине, и просил Макарова передать ей «всенижайший поклон». В другой раз Кикин попытался потрафить царю тем, что просил Макарова доложить Петру о желании его племянников отправиться за границу изучать навигацию или какую-нибудь другую науку.

Активное участие Кикина в деле царевича Алексея решило судьбу некогда любимого царского денщика — он был казнен. Трагическая гибель Александра Кикина отразилась и на его родственниках. Один из них, Иван Кикин, астраханский обер-комиссар, просил Макарова помочь ему вернуть конфискованные вотчины, иконы и прочие «пожитки». Это не первое обращение Ивана Кикина к Макарову, ибо в этом же письме он благодарил кабинет-секретаря «за показанные твои ко мне многие милости»¹⁸.

Не оставил Макаров без внимания и интересы семьи казенного князя Матвея Петровича Гагарина. Ходатаем о них выступил Петр Павлович Шафиров, а не ближайшие родственники — вдова или сын казенного. Поведение вице-канцлера становится понятным при ближайшем ознакомлении с обстоятельствами дела. Во-первых, Шафиров тоже принадлежал к числу родственников Гагарина: дочь Шафирова была замужем за сыном Матвея Петровича; во-вторых, Петр Павлович входил в круг близких Макарову людей. Казнь Гагарина сопровождалась конфискацией всего его имущества, причем заодно были описаны в казну и приданое вдовы, и приданое дочери Шафирова. К своим хлопотам вице-канцлер привлек царицу Екатерину Алексеевну, Петра Андреевича Толстого и Макарова.

Первую челобитную, «дабы оставлено им (вдове и сыну.— Н. П.) какое-нибудь, хотя малое, пропитание», Шафиров адресовал царю. Петр распорядился удовлетворить просьбу, но учреждения, куда обратился Шафиров, отказались выполнить устное распоряжение царя, требуя письменного указа. Шафиров просил Макарова, чтобы «о том указ к ним был прислан». Выполнение просьбы задерживалось, видимо, потому, что кабинет-секретарь ждал «благополучного времени», чтобы доложить о ней Петру.

Неделю спустя, 31 марта 1721 г., Шафиров повторил просьбу и добавил новую: «...ежели возможно, исходатайствовать телу погребение». Судя по дневнику Берхгольца, тело Гагарина не было предано земле и в августе. 7 августа 1721 г. камер-юнкер записал: «Из крепости мы пошли на площадь, где совершаются казни (там, рядом с 4-мя другими головами, выставлена голова брата прежней, впавшей в немилость царицы, урожденной Лопухиной),

чтобы взглянуть на князя Гагарина, казненного незадолго перед отъездом царя в Ригу. Он был повешен сперва перед домом Сената, куда кроме сенаторов были собраны смотреть на казнь и все родственники преступника, которые потом должны были весело пить с царем».

Не двигалось с места и возвращение имений. В письме Макарову, отправленном полгода спустя, Шафиров вновь просил «при добром случае напомнить о деле бедных Гагариных».

Макаров не остался безучастным. Как явствует из письма Шафирова от 27 июля 1722 г., он-таки «представлялся» перед царем, но, кажется, опять безрезультатно, ибо вице-канцлер в который раз повторял просьбу: «...ту милость к ним, бедным, совершить, чтобы насущный хлеб имели»¹⁹. Чем закончились хлопоты Шафирова, не известно, ибо он сам вскоре попал в немилость и едва не лишился жизни.

ЗВЕЗДНЫЙ ЧАС

Звездный час Макарова, как и Меншикова, наступил в годы непродолжительного царствования Екатерины I, когда был создан Верховный тайный совет.

Историки не располагают документальными данными, позволяющими шаг за шагом проследить зарождение и развитие идеи организации нового учреждения, а также воплощение этой идеи в жизнь. В точности не известен ход мыслей на этот счет Меншикова, самой императрицы и вельмож, причастных к организации высшего органа власти. Одно можно сказать с уверенностью: самыми активными создателями Верховного тайного совета были Меншиков, Остерман и Макаров. Такой вывод вытекает из свидетельств, правда косвенных, «Повседневных записок» А. Д. Меншикова.

«Повседневные записки», регистрировавшие каждый выезд светлейшего из своего дворца и прибытие в него других лиц, отметили такой любопытный факт: с 1 января по 6 февраля 1726 г., т. е. по день, когда был обнародован указ о создании Верховного тайного совета, Меншиков чаще всего встречался с Макаровым и Остерманом. С каждым из них он беседовал с глазу на глаз по 11 раз. Из этого, разумеется, не следует, что роль их была одинаковой,—никто из современников не мог тягаться с Остерманом в интригах и умении методично, с немецкой пунктуальностью взбираться со ступеньки на ступеньку к вершине власти. Даже такой глухой и лаконичный источник, как «Повседневные записки», отдает пальму первенства Остерману.

Согласно записи от 2 января 1726 г., к Меншикову приезжал Остерман, разговаривали они «тихо», а «что говорили — не слышать». 6 января Меншикову нанес визит Макаров. Князь «изволил с ним разговаривать тихо, а потом с ним же изволил пойтить в спальню и был тамо с полчаса»¹. Спальня была местом конфиденциальных разговоров Меншикова. Заметим, что в эти дни Меншиков не вел доверительных бесед, отмеченных словами «тихо» или «в спальне», ни с кем из вельмож и те навещали его значительно реже: Апраксин и Головкин нанесли ему только новогодний визит, Шафиров навестил его пять раз, а князь Дмитрий Голицын — четырежды. Особенно интенсивно Меншиков встречался с Остерманом за две недели до 6 февраля, причем 28 и 30 января, а также 6 февраля не Остерман приезжал к Меншикову, а светлейший изволил посетить Остермана. Такое бывало крайне редко: то ли Андрей Иванович, как и всегда в таких случаях, т. е. в преддверии крутых поворотов, сказался больным, то ли он действительно недомогал, а нужда Меншикова в советах интригана была столь неотложной, что ждать его приезда к себе не было времени.

И еще одна любопытная деталь: «триумвират» ни разу не собирался в полном составе. Меншиков беседовал с каждым из визитеров в отдельности. Что это — признак настороженности к затее, поначалу казавшейся князю опасной, или этот факт следует расценивать как свидетельство роста влияния Остермана, ловко оттиравшего Макарова на задний план?

Принимая деятельное участие в подготовке создания Верховного тайного совета, Макаров, надо полагать, рассчитывал войти в его состав. Этого, однако, не произошло, и сейчас невозможно дать подтвержденный источниками ответ на вопрос, кто отвел его кандидатуру — сам Меншиков или ему подсказал эту мысль Остерман. В том, что отсутствие Макарова в составе Верховного тайного совета было выгодно Остерману, сомнений быть не может. Но не менее ясно и другое: угодный Остерману поворот событий в перспективе ослаблял позицию Меншикова, ибо лишал его верного союзника в лице Макарова.

Впрочем, Макаров, не входя в Верховный тайный совет, оказывал на его работу огромное воздействие. Чтобы убедиться в этом, достаточно взглянуть на страницы журналов и протоколов Верховного тайного совета — они опубликованы в сборниках Русского исторического общества. Фамилия Макарова мелькает там довольно часто, что объясняется прежде всего возросшей ролью Кабинета и кабинет-секретаря в правительственном механизме.

Известно, что Екатерина не имела ни склонности, ни желания управлять страной. Она довольствовалась тем, что царствовала. Императрица хотя и намеревалась председательствовать в Верховном тайном совете, но сочла это крайне обременительным и не могла принудить себя присутствовать в учреждении даже в тех сравнительно редких случаях, когда обещала там быть.

В документах Верховного тайного совета даже в первые месяцы его существования можно встретить такие записи: «И того ж числа (18 марта 1726 г.—*Н. П.*) пополудни в Верховный тайный совет пришед кабинет-секретарь господин Макаров и объявил, что е. и. в. быть не изволит». Запись от 2 сентября 1726 г.: «Вначале приходил тайный кабинет-секретарь Алексей Макаров и объявил, что е. и. в. сего дни в Верховном тайном совете быть не изволит, а намерена быть во оном завтра после полудни». Действительно, императрица участвовала в заседании 3 сентября, но присутствовала там чуть более часа. Случалось и так, что обещание присутствовать в Верховном тайном совете оставалось благим намерением. В журнале под 26 октября 1726 г. записано: «...в Верховный тайный совет приходил тайный кабинет-секретарь Макаров и объявил, что хотя е. и. в. намерение иметь изволила, чтоб сего дня пополудни высокою своею особою присутствовать в Верховном тайном совете для слушания дел, однакож е. и. в. соизволила то отложить до будущей пятницы, то есть до 28 сего октября». Смотрим журнальную запись от 28 октября, но никаких признаков присутствия Екатерины «высокою своею особою» там не обнаруживаем.

При подобном отношении императрицы к своим обязанностям неизмеримо возрос престиж Кабинета и кабинет-секретаря. К традиционным обязанностям секретаря Кабинета прибавилось несколько новых, радикально изменивших положение этого чиновника в служебной иерархии. С одной из них, едва ли не самой главной, была знакома практика работы кабинет-секретаря уже при Петре I. Речь идет о его посредничестве между царем и Сенатом. Тогда роль посредника он выполнял эпизодически, а с 1722 г. эта обязанность перешла к генерал-прокурору. Теперь посредничество кабинет-секретаря стало повседневным, причем одинаково часто он являлся передаточной инстанцией от императрицы к Верховному тайному совету и наоборот — от Верховного тайного совета к императрице.

От имени Екатерины Макаров созывал Верховный тайный совет, объявлял на его заседаниях именные указы, передавал ему на рассмотрение челобитные, адресованные императрице. «И, пришед в Верховный тайный

совет, тайный кабинет-секретарь объявил, что е. и. в. указала им собраться для того, чтобы помыслить, каким образом поступить с тайным советником Петром Бестужевым, который был в Курляндии и поныне сюды приехал, в худых его поступках, и чтоб его в том допрашивать и судить в Верховном тайном совете». Иногда кабинет-секретарь объявлял о созыве чрезвычайных заседаний. Так, 8 февраля 1727 г. Макаров предложил «верховникам» собраться еще раз в вечерние часы, «понеже он в собрание будет со объявлением е. и. в. указа о убавке подушной подати».

В свою очередь Верховный тайный совет использовал кабинет-секретаря для общения с императрицей. «Приказано те два доношения отослать для доклада е. и. в. в Кронштадт к тайному Кабинета секретарю Макарову», — читаем в журнальной записи от 12 августа 1726 г. 10 апреля 1727 г. Верховный тайный совет пригласил Макарова, для того чтобы он выслушал реляцию посла в Швеции Долгорукова и доложил императрице, что «все Верховного тайного совета персоны просят о допущении их для сих дел к ее величеству, когда е. и. в. на то соизволит». Нередко Верховный тайный совет поручал Макарову отправиться к императрице с докладом в часы заседания, с тем чтобы, вернувшись, он информировал «персон» о принятом Екатериной решении. Случалось, однако, что он возвращался от нее ни с чем. Подобное произошло 4 мая 1726 г.: «И тайный кабинет-секретарь, возвратясь от ее величества, объявил, что когда ее величеству свободное время будет оного слушать, то тогда соизволит прислать, кому с тем к ее величеству быть»².

Формально роль Макарова была будто бы пассивной, чисто механической. Но если внимательно присмотреться к деятельности Верховного тайного совета, то можно легко обнаружить, что реальное назначение кабинет-секретаря отнюдь не ограничивалось посредничеством между носительницей верховной власти и высшим правительственным учреждением. Роль Макарова трудно переоценить прежде всего потому, что он состоял кабинет-секретарем при инертной и бездеятельной императрице.

Мы имели возможность наблюдать работу кабинет-секретаря при Петре I. Но царь имел обыкновение самолично вникать во все дела, в том числе и в мелочи, и высказывал собственное суждение в каждом случае, в то время как его супруга вполне довольствовалась чужим мнением. Макаров был вторым после Меншикова человеком, к предложениям которого императрица прислушивалась и выражала готовность согласиться с ними.

Из сказанного, разумеется, не следует, что Верховный тайный совет испытывал на себе тяжелую руку Макарова и безропотно подчинялся его воле, освященной волей императрицы. Такого не было и не могло быть прежде всего потому, что в характере Алексея Васильевича отсутствовали — или во всяком случае ярко не проявлялись — черты, столь необходимые временщику, — его трудно заподозрить в коварстве, не умел он также плести сеть тонких интриг, наносить кому-либо удары исподтишка и получать ответные, словом, ему было несвойственно находиться в гуще то явной, то закулисной борьбы. Если бы даже Макаров не проявлял свойственной ему выдержки и обходительности и претендовал на роль, ущемлявшую интересы вельмож, то они — и среди них первый Меншиков — нашли бы способы быстро урезонить зарвавшегося кабинет-секретаря. Но Макаров ладил с ними, как и во времена Петра, и не проявлял ни заносчивости, ни высокомерия. Отказался он и от соперничества с Меншиковым за влияние на императрицу, что лишило князя возможности заподозрить его в честолюбивых замыслах. Во всяком случае, следов трений между Макаровым и Меншиковым источники не оставили.

Макаров часто переступал границы своих традиционных обязанностей регистратора событий. При Петре он как бы безмолвствовал: не было засвидетельствованного источником случая, когда бы он открыто вмешивался в решение какого-либо вопроса или от своего имени его оспаривал. Теперь Макаров заговорил, и эта его активность отмечена журналами и протоколами Верховного тайного совета. Макаров, например, считал, что многие ссыльные в Сибири «от безвестных злых своих обычаев» пишут доносы «на невинных людей», отчего этим людям «чинитца разорение и великая обида». Кабинет-секретарь предложил — а Верховный тайный совет согласился с его предложением — запретить вызов доносчиков и ответчиков в столицу и поручить расследование доносов губернской канцелярии³. Тем самым жертвы доносов освобождались от обременительных дорожных расходов.

Другое предложение Макарова, тоже оформленное указом, вытекало из опыта работы Кабинета, захлестываемого потоком разного рода челобитных на имя императрицы. Чтобы освободить Кабинет от обузы, Верховный тайный совет решил передать прием челобитных специально назначенному для этого должностному лицу — рекетмейстеру.

Наибольшая активность Макарова прослеживается при обсуждении вопроса об «обложении крестьян в податях». Начало его рассмотрению положила записка, поданная императрице Меншиковым, Остерманом, Макаровым и

Волковым. Ее авторы исходили из посылки, что крестьянство «в великой скудности обретается и от великих податей и непрестанных экзекуций и других не порядков в крайнее и всеконечное разорение приходит». Далее следовали рекомендации, как учинить крестьянам облегчение, среди которых на первом месте стояло предложение уменьшить размер подати и усовершенствовать приемы ее взимания: отрешить от сбора налога военные команды, половину или треть подушной подати взимать вместо денег натурой и т. д.

Интерес Макарова к способам «облечения тягости народной» не относился к числу преходящих: он возник до подачи записки и не ослабевал после ее составления. Еще в июне 1726 г. Макаров, присутствовавший в Верховном тайном совете при обсуждении вопроса об организации управления Украиной, «представлял, чтоб к тамошнему народу показать какое милосердие, а именно в убавке податей». Какие-то суждения «о тягости народной» он высказывал в Верховном тайном совете и 14 ноября 1726 г.⁴

При Екатерине Кабинет, а вместе с ним и кабинет-секретарь достигли наивысшего авторитета и влияния. В сентябре 1726 г. был разослан именной указ — составленный, надо полагать, Макаровым — о том, чтобы все учреждения и должностные лица «о всяких вновь важных делах прежде писали в Кабинет, и когда с такими письмами будут посылаться курьеры, а те б являлись прежде в Кабинете». Однако в бумагах Кабинета не сохранилось следов реализации этого указа: шесть месяцев, в течение которых он действовал, — слишком небольшой срок для регистрации экстраординарных событий. Но киевский губернатор Иван Трубецкой успел донести кабинет-секретарю, что им получен указ, «дабы, когда случатца какие новые и важные дела, например ведомости со стороны турецкой и о прочем тому подобном, о таких прежде писать вашему величеству в Кабинет»⁵.

Возможно, что этот указ, ущемлявший прерогативы Верховного тайного совета в пользу Кабинета, стоил Макарову карьеры, — он был отменен тотчас после смерти императрицы.

Одним из свидетельств укрепления позиций кабинет-секретаря, его возросшей роли и процветания было пожалование ему 24 ноября 1726 г. чина тайного советника. В табели о рангах этот чин занимал третью строку сверху — он следовал за канцлером и действительным тайным советником.

Смерть Екатерины вызвала важные перемены в жизни Макарова. Судьба как Кабинета, так и его секретаря была решена, видимо, еще в дни, когда состояние здоровья

императрицы казалось безнадежным. 10 апреля 1727 г. она «впала в горячку», после которой наступило временное облегчение и появилась надежда на выздоровление. Затем больную стал донимать кашель, и она «в большее бессильство приходиться стала». Наступил кризис: «...по великом кашле прямой гной в великом множестве почала ее величество выплевывать». Екатерина «6 дня мая с великим покоем преставилась»⁶.

Неделю спустя после похорон, 23 мая 1727 г., Верховный тайный совет принял два указа, круто изменившие налаженную жизнь Макарова и ее ритм, оставшийся неизменным свыше двух десятилетий. Один из них положил конец существованию Кабинета: Верховный тайный совет повелел составить описи дел Кабинета, а также подать сведения о наличной казне и драгоценностях. Другой указ определил новую ипостась руководителя упраздненного учреждения: Макаров был назначен президентом Камер-коллегии.

Это назначение обеспечило Макарову жалованье, в три раза превосходившее то, которое он получал, будучи кабинет-секретарем. Вместе с тем новая должность низводила Макарова до положения чиновника хотя и высокого ранга, но в общем заурядного. В те времена степень влиятельности вельможи определялась не чинами, а близостью к трону. Для Макарова новое назначение означало почетную ссылку, поскольку он, чтобы встать во главе Камер-коллегии, должен был удалиться от двора, покинуть столицу и жить в Москве.

Документы Верховного тайного совета тут же отреагировали на новое назначение Макарова. Когда Алексей Васильевич находился у подножия трона, занимая должность кабинет-секретаря, его присутствие в Верховном тайном совете отмечалось в журналах и протоколах такими почтительными словами: «При собрании всего Верховного тайного совета приходил тайный кабинет-секретарь Алексей Макаров» или «Потом пришед тайный кабинет-секретарь Алексей Макаров». Теперь же, когда по каким-либо надобностям в Верховный тайный совет вызывали Макарова в качестве президента Камер-коллегии, в журнале записывали: «Потом впущен был... тайный советник Макаров» или «...допущен был тайный советник Макаров»⁷.

Слова «впущен» и «допущен» вместо прежних «приходил» и «пришед» ярче всего отразили перемены в положении Алексея Васильевича. Обращает на себя внимание и другой факт: в журналах Верховного тайного совета кабинет-секретаря уважительно величали Алексеем Макаровым, а президента Камер-коллегии удостоивали одной лишь фамилии.

Перечисленные изменения в ипостаси Макарова на первый взгляд представляются ничтожными и не заслуживающими внимания. Подлинное значение отмеченных нюансов в отношении к Макарову состояло в том, что они обозначили конец его карьеры: он уже не только не поднимался до прежних высот, но катастрофически скатывался вниз.

Кому был обязан Макаров новым назначением, кто был заинтересован в пресечении его карьеры? На этот счет известные нам документы хранят молчание. Сохранились лишь косвенные показания источника, дающие основание считать виновником падения Алексея Васильевича не иного кого, а Меншикова.

Документ возвращает нас ко времени, когда велось следствие по делу Девиера — Толстого. Один из главных обвиняемых — Антон Мануилович Девиер 1 мая 1727 г. дал следователям любопытное показание. Однажды ему довелось ехать в одной карете с Макаровым к графу Салеге. Сначала они вели беседу о том, о сем, а затем кто-то из них (Девиер «не упомнит, он ли... или Макаров») затеял разговор о предстоявшей женитьбе Петра II на дочери Меншикова. Макаров сказал тогда Девиеру: «...светлейший-де князь паче усилитца. И так-де он на нас сердит, а потом паче сердит будет».

Хотя Макаров и не привлекался к следствию по этому делу, но для Меншикова, видимо, было достаточно приведенных весьма осторожных слов Алексея Васильевича, чтобы усмотреть в набравшем силу кабинет-секретаре своего недруга.

Можно с большой долей уверенности сказать, что Меншиков был осведомлен об этом показании Девиера, и с такой же долей уверенности заявить, что Макарову оно осталось неизвестным.

Сохранилась недатированная записка Макарова с изложением его отношения к своему новому назначению. Восторга оно у него не вызвало.

Записка начинается с часто употреблявшейся Петром I присловицы: «Лехче всякое новое дело з богом начать и окончать, нежели старое испорченное дело починивать». Под «старым испорченным делом» Макаров подразумевал Камер-коллегию, которую ему пришлось возглавить: «...посажен я бывшим Меншиковым уже к испорченным делам в Камер-коллегию в неволю». Как видим, Макаров составлял записку после падения Меншикова. Если бы Алексей Васильевич знал о признании Девиера, то он наверняка не удержался бы от слов упрека в адрес опального «полудержавного властелина», тем более что ему за них ничего не грозило. Но в записке тщетно искать даже намека на причины, побудившие светлейшего при-

бегнуть к столь скорой и суровой расправе с кабинет-секретарем.

Как прилежный ученик Петра Великого, Макаров считал, что «испорченность» дел Камер-коллегии была обусловлена ее регламентом, неразумно составленным известным камералистом того времени Фиком. Регламент, по мнению Макарова, «не на таком основании сочинен, как оному быть надлежало, и нимало не сходен с положением и правами Российской империи». В этом видел Макаров причину возникновения недоимок и полагал, что, стоит только исправить регламент, упорядочить окладные книги, и в поступлении налогов наступит полный порядок⁸.

Ход мыслей Макарова типичен для деятелей петровской школы, уповавших не столько на реальные ресурсы налогоплательщиков, сколько на «добрый порядок». Новый регламент Камер-коллегии, принятый в 1731 г., несколько не улучшил состояние финансов страны. Впрочем, при сопоставлении его с прежним регламентом 1719 г. можно обнаружить некоторые различия, но они касались преимущественно технической стороны дела. Так, по регламенту 1719 г., единицей обложения был двор, после проведения первой ревизии такой единицей стала мужская душа. Другое новшество состояло в том, что регламент 1731 г. объявил ответственными сборщиками налогов с крестьян их помещиков. С них надлежало править и недоимки. Наконец, регламент 1731 г. предполагал упорядочение книг учета налогоплательщиков по каждому населенному пункту.

Служба Макарова президентом Камер-коллегии — предмет особого изучения. Здесь мы ограничимся лишь констатацией общеизвестного факта: ни усилия Алексея Васильевича, ни новый регламент коллегии несколько не упорядочили государственных доходов и расходов. Более того, недоимки из года в год росли, несмотря на ужесточение их выколачивания.

Портрет Макарова будет выглядеть ущербным, если не осветить, хотя бы контурно, насколько позволяют сохранить источники, его хозяйственную деятельность. Алексей Васильевич принадлежал к типу помещиков, представленных такой колоритной фигурой, как Меншиков. Конечно, земельные богатства Макарова не шли ни в какое сравнение с владениями Шереметева и особенно Меншикова. Тем не менее Макарова можно отнести к помещикам выше среднего достатка.

С Меншиковым Макарова сближает не только пракτικότητα, но и происхождение вотчинного хозяйства. Оба они начинали с нуля, не имея ни земли, ни крестьян. Превращение сына вологодского посадского человека в помещи-

ка — плод собственных усилий и предприимчивости Макарова. В нем чиновник, знавший себе цену на бюрократическом поприще, бок о бок уживался с расчетливым дельцом, умевшим округлить свои богатства. К концу жизни Макаров стал довольно крупным помещиком. За его сыном Петром Алексеевичем в 1759 г. числилось 1223 крепостные души мужского пола. Эти данные нельзя считать полными. Дело в том, что у Макарова было еще и две дочери — Анна и Елизавета. Первая из них вышла замуж за статского советника Андрея Ивановича Карташева, а вторая — за главнокомандующего в Москве генерал-аншефа Михаила Николаевича Волконского. Надо полагать, что именитых женихов привлекал не только блеск чина тайного советника отца невест, но и деревеньки, полученные ими в приданое. Поэтому можно без риска ошибиться предположить, что Алексей Васильевич владел не менее чем полутора тысячами крепостных крестьян.

С Меншиковым Макарова-помещика сближала и структура хозяйства. Оно было многоотраслевым и опиралось не только на традиционное земледелие, но и на ростовщичество, торговлю и промышленное предпринимательство. Новая знать в отличие, например, от боярина Шереметева, извлекавшего доходы из стародавнего источника — эксплуатации крепостного труда на пашне, быстро усвоила ту несложную мысль, что собственный бюджет можно интенсивно пополнять путем занятий, ничего общего не имевших с патриархальной жизнью деревни. Не обремененная аристократической спесью и чванством, новая знать не гнушалась ни ростовщичеством, ни торговлей, ни тем более промышленного предпринимательства, всячески поощряемого самим царем.

Как формировалось вотчинное хозяйство кабинет-секретаря?

Известную долю его земельного богатства составили два пожалования. Первое из них царь совершил в 1709 г. Макаров тогда получил в Брянском уезде 17 дворов и 260 четвертей земли. Второе пожалование — во много крат крупнее первого — Макарову досталось много лет спустя, в 1723 г., когда происходил дележ вотчин, конфискованных у обер-фискала Нестерова и провинциал-фискала Попцова. Всего в Переславль-Залесском и Юрьевском уездах Макаров получил 110 дворов, т. е. около 440 душ, если считать, что на каждый двор в среднем приходилось по четыре мужских души.

Трудно объяснить, почему Макаров, будучи доверенным лицом Петра и особенно Екатерины, воспользовался их благосклонностью лишь дважды, и притом в столь скромных размерах. Вполне вероятно, что он не проявлял настойчивости, а возможно, и расторопности. Но о том,

что он не исключал нового пожалования, свидетельствует его недатированное письмо, адресованное, видимо, брату, в котором он просил своего корреспондента разведать, нет ли в Московской губернии выморочных вотчин, и делился с ним собственными планами: «...я бы у того, кто Московскою губернию ведает, надеялся их выпросить»⁹.

Некоторый вклад в вотчинное хозяйство Макарова, размеры которого, впрочем, в точности неизвестны, внесла вторая супруга Алексея Васильевича — княгиня Одоевская. Наверняка вдова, выходя за Макарова замуж, не была бесприданницей.

Главным источником формирования земельного фонда кабинет-секретаря была скупка крепостных и земли. Лишь дважды Макаров совершил довольно крупные сделки. В 1708 г. он купил у адмирала Апраксина село Богословское в Юрьевском уезде за 1600 руб.; в нем в 1719 г. жило 119 душ мужского пола. В 1716 г. он приобрел у жены стольника Петра Михайловича Долгорукова в Переславль-Залесском уезде село Петровское, уплатив за него 3 тыс. руб. Можно назвать еще две-три сделки, но они были помельче, и на каждую из них покупатель затрачивал от 100 до 250 руб. Остальные акты, а их несколько десятков, были оформлены на приобретение крестьянских семейств и отдельных крепостных.

Обращают на себя внимание приемы приобретения крепостных. Один из них связан с просрочкой уплаты взятой у Макарова ссуды. Капитан Сергей Федорович Костеев вместо уплаты 5 руб. должен был поступиться своим дворовым человеком Иваном Белым. Таким же путем Макаров заполучил крепостного Татьяны Шапкиной¹⁰.

Чаще всего Макаров скупал беглых крестьян, чем в какой-то степени предвосхитил гоголевского Чичикова. Возникает естественный вопрос: какую выгоду мог извлечь из таких сделок Макаров? Не была ли эта затея пустой тратой денег или авантюрой чичиковского пошиба? При ближайшем рассмотрении оказывается, что из этой нехитрой операции Макаров извлекал немалую выгоду, во всяком случае в накладе он не оставался.

Общеизвестны масштабы побегов крестьян от помещиков в первой трети XVIII в. В соответствии с законодательством тех времен сыск беглых, равно как и взыскание так называемых пожилых денег, т. е. штрафа с помещика, приютившего беглого, возлагался на местную администрацию. Однако практика сыска и возвращения беглеца, а также взыскания пожилых денег была сопряжена с такой волокитой и издержками, что заинтересованное лицо, помаявшись не один год по закоулкам различных канцелярий, в конце концов отказывалось от своих притязаний.

Вернуть беглеца было трудно даже в том случае, когда помещик знал место, где тот укрывался: то лицо, приютившее беглеца, было, как тогда говорили, «сильным», т. е. влиятельным, и оказывало неповиновение властям, а воеводская канцелярия не рисковала вступить с ним в конфликт; то местная администрация не располагала нарядом солдат для изъятия беглеца; то, наконец, укрыватель беглеца спускал исковое дело на тормозах, выдав канцелярским служащим соответствующую мзду.

Таких беглецов Макаров, судя по всему, покупал с превеликой охотой прежде всего потому, что беглец стоил значительно дешевле крестьянина, которого при купле-продаже можно было передать из рук в руки. В конечном счете для владельца крестьянина-беглеца любая сумма, полученная от покупателя, являлась своего рода манной небесной, ибо такой помещик давно распростился с мечтой восстановить утраченные права на крепостного. Макарову сделать это было во много раз легче. Попробуй какой-либо воевода не выполнить законных претензий кабинет-секретаря и послушаться указов вышестоящих инстанций!

Услужить Макарову почитали за честь не только воеводы, но и губернаторы. Письма своим приказчикам до Казани Макаров отсылал обычной почтой, а доставку таких писем в Курмышский уезд, где находились его вотчины, взял на себя казанский губернатор Петр Салтыков, отправлявший их туда с нарочным. Предупредительность Салтыкова простиралась до того, что он «и к коменданту курмышскому, чтоб он их во особливом своем хранении имел, писал». Губернатор клялся Макарову, что он «служить всегда рад», и эту свою готовность подкреплял делом: по первому требованию разрешил фискалу курить вино для выполнения подряда. Салтыков, кроме того, уведомил Макарова, что отправил ему арбузы, виноград, рыбу и икру¹¹.

Драгун Евстигней Трифонович Шишкин дважды, в 1712 и 1713 гг., бил челом о возвращении двух беглых семейств с их пожитками, и оба раза безуспешно. И вдруг драгун пофартило: в 1718 г. он продал Макарову обе семьи, правда за сущий пустяк— всего за 15 руб. Драгун указал и точный адрес, где жили беглые семьи¹².

Впрочем, иногда Макаров платил за беглецов значительные суммы. В 1729 г. он уплатил за беглого крестьянина 150 руб. На первый взгляд цена выглядит баснословной. Заметим, однако, что купленный Макаровым крестьянин находился в бегах с 1709 г., поэтому он вместе с правом собственности на купленного крестьянина автоматически приобрел право на взыскание пожилых денег. За 20 лет таких штрафных денег накопилось не менее

400 руб. Конечно же, чтобы не оказаться в убытке, приказчики Макарова, да и сам кабинет-секретарь перед оформлением акта купли наводили справки о платежеспособности лица, с которого надлежало взыскивать пожилое.

Остается выяснить источник, из которого Макаров черпал немалые суммы, чтобы покупать вотчины, землю и крестьян без земли. Ясно одно: жалованья, получаемого сначала в размере 300, а затем 600 руб., было совершенно недостаточно для столь значительных расходов. О побочных его доходах источники, как правило, молчат и лишь в некоторых случаях сообщают любопытные сведения.

Брал ли Макаров подношения? Безусловно, брал, иначе он не был бы сыном своего века. Но брал он, видимо, в таких размерах, что этого рода проступки, считавшиеся в те времена обычными, не привлекли внимания трех следственных комиссий и изветчиков, сочинявших доносы. Должность кабинет-секретаря предоставляла Макарову тысячи возможностей для получения посулов, подношений «в почесть» и т. п. Между тем источники донесли до нашего времени единственное признание самого Макарова о получении им мзды. Речь идет о попытке одного из доносчиков обвинить Макарова в расхищении конфискованного имущества Петра Андреевича Толстого, отправленного в ссылку. Алексей Васильевич отвел это обвинение так: «Оного-де жеребца подарил ему Толстой до кончины Петра года за три за то, что он, Макаров, по челобитью того Толстова докладывал о деревнях, которые-де ему, Толстому, пожалованы».

Подарки подешевле, означавшие скорее знак внимания, чем приобретение благосклонности, подносились чаще. Девиер, например, одарил Макарова «паруком» (париком), пожелав носить его «в добром здравии», а Шафиров в том же 1712 г. прислал из Адрианополя «малый мой гостинец — муштук турецкой с серебряным набором»¹³.

Макарову был доступен еще один — видимо, крайне редкий — источник доходов. Его можно назвать даже уникальным, ибо за многие десятилетия работы в архивах он встретился единственный раз. По терминологии того времени, этот доход деликатно назван «презентальными деньгами». История их возникновения такова.

В 1715 г. у царя родился сын Петр Петрович и внук Петр Алексеевич. В честь этого события, к которому, естественно, Макаров никакого отношения не имел, адмирал Федор Матвеевич Апраксин велел «отослать из губернии Воронежской кабинет-секретарю Алексею Макарову в презент 2000 рублей», собрав эту сумму с губернских чиновников всех рангов, а также с купцов. Не ожидая сбора денег, Апраксин велел вице-губернатору Степану

Андреевичу Колычеву выдать 2 тыс. руб. из губернских доходов, а потом погасить эту сумму собранными с воронежцев взносами. История с «презентальными деньгами» потому и оставила след в документах Сената, что подаяние воронежцев оказалось не столь щедрым, как предполагалось, и удалось собрать вместо 2 тыс. только 827 руб. Шесть лет спустя, в 1721 г., с Колычева было взыскано только процентов 586 руб. Колычев опротестовал это взыскание, мотивируя его неправомочность тем, что деньги надлежало взыскивать с тех плательщиков, по вине которых «учинилась оная доимка»¹⁴. Чем закончилось дело — неизвестно.

Сколь часто вельможи выступали благодетелями за чужой счет и произвольно вводили новые налоги для «презентальных» расходов, мы не знаем. Возможно, что в других случаях взимание «презентальных денег» проходило более гладко, не вызывало конфликтных ситуаций и не оставило поэтому никакого следа в архивах высших учреждений.

Девиз хозяйственной деятельности Макаров сформулировал сам: «...люди ж всякого себе добра ищут, что и нам мочно делать». Слово у него не расходилось с делом. Кабинет-секретарь, действительно, всю жизнь был озабочен поисками для себя «добра», т. е. повышения доходности вотчин. Но не во всех случаях ему сопутствовал успех.

Агротехническая мысль в то время находилась в самом зародыше и еще не вооружала помещиков рекомендациями относительно внедрения эффективных новшеств: изменений в соотношении злаковых и технических культур, разведения улучшенных пород скота, птицы и т. п. В сохранившейся черновой инструкции приказчику Макаров ориентировал его на веками складывавшиеся приемы возделывания пашни: «Також о пашне и всяком хлебном посеве, и об убрانстве, и о молодбе чинить так, как в протчих деревнях водитца, не испустя времени, как бы в чем было прибыльняе и крестьяном излишней тягости не было». Инструкция грозила приказчику суровыми карами, если «учинитца ево, прикашиковою, оплошкою в деревенских каких приплодах и прибытках утрата или иное какое худо». Напротив, приказчику, усердием учинившему изобилие, было обещано изрядное вознаграждение¹⁵.

Живя в Петербурге, вдали от вотчин, кабинет-секретарь чутко прислушивался к рыночной конъюнктуре и стремился не упустить своего шанса. «Я слышал,— писал Макаров брату в 1712 г.,— что дело там лехко мочно учредить — торг пеньковой, ибо там пенька зело дешева и мужики наши на чюжих скупают, которые скупщики отпускают в Ригу, и от того богатятца». Для

начала он рекомендовал пустить в дело 450 руб. А вот другое распоряжение, свидетельствующее, как и первое, о предприимчивости Макарова. На этот раз его взоры были устремлены не в сторону брянских вотчин, а на село Богословское. «Також вели,—советовал он брату,—там больше завести скотины рогатой, и мочно ли оную оттоль для продажи пригонять к Москве. И ежели мочно, то ис того может быть немалая прибыль».

Хватка дельца видна и в распоряжении основать винокуренный завод в селе Богословском. В 1712 г. он спрашивал брата: «Завел ли ты в Богословском винной завод?» — и тут же дал ряд советов: если есть надежда на извлечение из завода прибыли, то тогда надо соорудить и мельницу. «Также и то вам предлагаю в Богословском не вовсе переводите лес, ибо х куренью вина дров, чаю, много исходит». Вино с Богословского винокуренного завода Макаров поставлял в кабаки. В 1713 г. он подрядился поставить 5 тыс. ведер вина. Винными подрядами Макаров занимался недолго: в 1716 г. царь издал указ, запрещающий должностным лицам участвовать в подрядных операциях.

При взимании повинностей с крестьян Макаров-помещик придерживался умеренных позиций и предостерегал брата от самовольства не в меру ретивых приказчиков: «Однакож поговори ему или инак как остереги, чтоб он крестьян не разгонял з бешенства, а особливо з злости той, что крестьяне на него сказали, что он непорядочно живет». Когда приказчики обратились к Макарову с конкретным вопросом, взыскивать ли с крестьян недоимку за два года, он дал совет, из которого явствует нежелание рубить сплеча и стремление действовать осмотрительно, сообразуясь с обстановкой: «...отдаю на ваше разсуждение, или лутче дать сроку, чтоб после в том исправили».

Проявляя заботу о крестьянах, Макаров, как и всякий не лишенный здравого смысла помещик, конечно же хлопотал о собственных интересах. Будучи рационалистом, он руководствовался мыслью, что перенапряжение крестьянского хозяйства повинностями чревато нежелательными последствиями — разорением их хозяйства и побегам. Эти опасения звучат в одном из писем к брату: «Опасно, чтоб они от того не разбежались, ибо и сам ты писал, что прикащика хотели убить»¹⁶.

О торговых операциях Макарова сохранились отрывочные сведения, весьма скупо характеризующие этот вид его деятельности. Известно, что он владел в Москве лавками, а в 1728 г. в Петербург был доставлен хлеб с Гжатской пристани, предназначенный для продажи. Более обстоятельные сведения дошли до нас о ростовщических сделках Макарова.

Отдачей денег в рост Макаров начал заниматься с 1710 г. В течение 15 лет было зарегистрировано 10 сделок. Интенсивность ростовщических операций возросла после 1724 г., причем виновницей этого была, видимо, вторая супруга Алексея Васильевича. В том году финансовые возможности семьи возросли за счет ее приданого в размере 6 тыс. руб. Энергичная женщина тут же пустила их в дело. За десятилетие, заканчивавшееся 1734 г., когда семья оказалась под домашним арестом, было заключено 15 сделок, причем 11 из них падают на 1734 г. В этом году супруги Макаровы предоставили ссуд на сумму свыше 14 тыс. руб. Сам Макаров после ареста считал, что его клиенты были ему должны 16 300 руб.

Обращает на себя внимание состав клиентуры Алексея Васильевича. Среди них почти не встречается представителей крапивного семени, посадочной мелкоты, крестьян, т. е. людей, одалживающих мелкие суммы. Такого рода клиенты обращались за ссудами к брату кабинет-секретаря Ивану Васильевичу. Подавляющее большинство из них получало в кредит несколько десятков рублей, но нередко брали по рублю и по пяти¹⁷.

Супруги Макаровы ссужали знать — людей богатых, закладывавших под долг свои вотчины: князя Алексея Голицына, княгиню Марью Долгорукову, графа Андрея Матвеева, полковников, подполковников. Самая крупная ссуда была выдана княгине Анне Васильевне Щербатовой — 3400 руб.

В первой четверти XVIII в. помещики стали приобщаться и к мануфактурному производству. Правда, в петровское время они делали лишь первые шаги в этом направлении. Среди дворян, владевших мануфактурами, было несколько вельмож, и в их числе Макаров.

Заметим, что вельможи при основании предприятий не всегда руководствовались экономическими соображениями. Когда Меншиков, Апраксин и Толстой основали шелковую мануфактуру, ими двигало стремление угодить царю. А. Д. Меншикову, инициатору основания этой мануфактуры, из письма его секретаря Волкова, сопровождавшего царя во время заграничной поездки, стало известно, что Петр, будучи в 1717 г. в Париже, посетил шпалерную мануфактуру. При ее осмотре царь обронил реплику: «Дабы и у нас такая работа как наискорые завелась». Но в России «еще ничего в зачине не бывало, понеже ни инструментов, ни шерсти, ни красильщиков нет». «Зачин» решил положить Меншиков. Он обратился к находившемуся в свите царя Макарову с просьбой: «...извольте во Франции надлежащие к тому инструменты купить и сюды выслать, дабы, когда сюды мастера прибудут, могли что делать и не праздны б были»¹⁸.

Известно, что шелковая мануфактура вельмож, несмотря на грандиозные вложения в нее средств, влачила жалкое существование и приносила немалые убытки. Если бы не неумное желание потрафить царю и не огромные богатства ее владельцев, то она быстро пустила бы их по миру. Но сундуки вельмож выдерживали убытки, и эксперимент продолжался.

Макаров был не настолько богат, чтобы бросать деньги на ветер, и не настолько непрактичен, чтобы браться за сомнительные затеи. Рационалист с хозяйственной хваткой, он конечно же прикинул, чем может завершиться его предпринимательское начинание. Но столь же бесспорно, что Макаров поддался внушениям царя и пошел по стопам вельмож. В правомерности этой догадки убеждает то обстоятельство, что Алексей Васильевич встал на путь промышленного предпринимательства после возвращения из-за границы и образования компании вельмож.

Упреждая развитие событий, сообщим, что начинания Макарова были столь же бесплодными, как и начинания вельмож. Доходов он не извлек, но неприятными хлопотами был сыт по горло. Пример вельмож и самого Макарова лишний раз подтверждает ту простую истину, что предпринимательство на любом поприще требует к себе самого пристального внимания, в то время как «господа интересные», равно как и Макаров, такими возможностями не располагали и вынуждены были рассчитывать не столько на собственную распорядительность, сколько на пронырливость, опыт и честность приказчиков либо компаньонов. Макарову на компаньонов явно не везло.

Суконная мануфактура ведет свою историю с 1718 г., когда под Москвой, в Красном селе, начали работать 15 станов, выпускавших стамед и каразею, т. е. сукно низкого качества. Возникновение предприятия сопровождалось некоторой загадочностью: оно было основано на деньги Макарова, но значилось за жителем Огородной слободы Иваном Собольниковым. Макаров перевел мануфактуру на свое имя только в 1723 г. Она постепенно расширялась, и в середине 20-х годов ее оборудование состояло из 32 станов годовой производительности 10 тыс. аршин стамеда и 70 тыс. аршин каразеи.

Предприятие, видимо, приносило мизерную прибыль, а может, было и убыточным. Если бы дело обстояло иначе, то Макаров не искал бы способов избавиться от Красносельской мануфактуры. Наконец в 1731 г. он сдал ее в аренду Федору Серикову сроком на 10 лет. О далеко не блестящей постановке дела свидетельствует невысокая арендная плата — 200 руб. в год.

Получив мануфактуру на полном ходу, Сериков обя-

зался ее «содержать и производить своим коштом», а также своевременно чинить плотину, здания, оборудование и инструменты. Арендатору разрешалось расширить мануфактуру, если в том возникнет надобность.

В 1738 г. возник документ, позволяющий судить о состоянии предприятия в руках арендатора: в январе канцелярист по заданию Мануфактур-коллегии осмотрел Красносельскую мануфактуру и составил опись. Из нее следует, что Федор Сериков хищнически эксплуатировал предприятие и не ремонтировал сооружения. Повсюду видны были признаки запустения: обветшали постройки, поизносились или пришли в негодность инструменты. У трех светлиц, где стояли прядильные станы, готовы были обрушиться потолки. В ветхом состоянии находилась и красильня. Более того, обследование зарегистрировало остановку предприятия. Все это дало основание Макарову обратиться с жалобой на Серикова, беспардонно нарушившего контракт. Спустя некоторое время, в мае 1739 г., он из своего домашнего заточения подал вторую челобитную, на этот раз с жалобой на то, что при сдаче предприятия в аренду на нем было занято свыше 150 работников, а теперь осталось только 24 человека. Алексей Васильевич, кроме того, требовал от Серикова уплаты свыше 2200 руб., вырученных арендатором за продажу материалов, изготовленных на Красносельской мануфактуре.

Сериков был себе на уме. Дела у него шли не столь плачевно, как могло показаться при осмотре арендованной им мануфактуры. Подлинное состояние промышленного хозяйства этого предприимчивого купца было таким, что он в 1735 г. получил разрешение на основе собственной мануфактуры. Именно туда, радея о своекорыстных интересах, он перевел мастеровых с Красносельской мануфактуры Макарова. Более того, сам Макаров способствовал процветанию Серикова: в 1734 г. он одолжил ему 3 тыс. руб. сроком на один год. Сериков выдал ему вексель на 3300 руб.—300 руб., видимо, являлись ростовщическим процентом¹⁹.

МРАЧНОЕ ДЕСЯТИЛЕТИЕ

В самом начале царствования Анны Иоанновны карьера Макарова круто оборвалась. Жизнь его настраивалась на иной, трагический лад: бывший кабинет-секретарь и бывший президент Камер-коллегии оказался не у дел. Имя Макарова было предано забвению. О его существовании можно узнать лишь из документов, вышедших из недр следственных комиссий и Тайной канцелярии. С 1731 г. до

смерти в 1740 г. Алексей Васильевич находился под следствием, причем следствия накатывались одно на другое, подобно волнам, обрушивая на его голову непрерывные испытания. Они тянулись на протяжении томительно долгого десятилетия.

Во времена Анны Иоанновны Макарову надо было либо менять многое из того, что он впитал в себя за годы более чем 20-летнего общения с Петром, и в частности представления о ценности людей, о долге, об отношении к иноземцам; либо лицемерить и угодничать людям, не пользовавшимся его расположением в предшествующее время; либо, наконец, не утрачивая собственного достоинства, вести себя в меру возможности независимо от немецкой камарильи, окружавшей трон.

Успех сопутствовал тем, кто жил по притче, рассказанной Макарову в 1731 г. его двоюродным братом Василием Шапкиным. Самому Шапкину поведаль ея какой-то иноземец. Притча такова: старушка принесла в церковь две свечи; одну из них она зажгла перед Михаилом Архангелом, а другую — «под ногами ево, перед дьяволом». На вопрос священника, почему поставлены две свечи, бойкая старушка ответила: «не знаю, куды пойду, в рай или в муку, но, дойдя, везде надобно друзей иметь». Мораль притчи в изложении Шапкина звучит так: «...такое время пришло, надобно везде иметь друзей, как в раю, так в аде».

Макаров то ли не умел, то ли не хотел подлаживаться, ставить всем свечи. В итоге он обрел могущественных врагов: императрицу Анну Иоанновну, кабинет-министра Андрея Ивановича Остермана и президента Синода Феофана Прокоповича. Где истоки неприязни этих людей к Алексею Васильевичу?

Пока Анна Иоанновна жила в Митаве, ее отношения с Макаровым можно назвать миролюбивыми. Курляндская герцогиня, постоянно испытывая нужду, осаждала то Петра, то его супругу письмами с унижительными просьбами о выдаче денег. Средств у герцогини не было не только на содержание пристойного двора, приобретение драгоценностей и украшений, но и на соответствовавшую ее сану экипировку. Понимая, сколь зависело удовлетворение ее вымогательства от кабинет-секретаря, она заискивала не только перед ним, но и перед второй его супругой, княгиней Одоевской. В письмах герцогиня называла ее «своей любезнейшей приятельницей» и «дорогой сестрицей». Сам Макаров, как мог, помогал племяннице царя. Во всяком случае, источники не зарегистрировали ни тени недовольства курляндской герцогини его поведением.

Но вот «дорогая сестрица» волей случая возложила на свою голову императорскую корону. Вряд ли ей, женщине

грубой и мстительной, доставляли удовольствие воспоминания о жизни в Митаве и присутствие подле нее человека более всех осведомленного об этой жизни. Такие свидетели, естественно, были людьми не только лишними, но и нежелательными ни в дальнем, ни тем более в ближнем окружении императрицы.

Враждебность к Макарову Остермана, видимо, питалась теми же соками, что и враждебность императрицы. В свое время Остерман гнул спину и униженно заискивал перед Макаровым. На этот счет имеется несколько документов. Разве мог Остерман забыть, например, случай, когда Макаров его не принял. В одном из писем кабинет-секретарю Андрей Иванович сетовал на то, что «в сих днях больше десяти раз» он домогался аудиенции, но безуспешно. В этом же письме есть такие строки: «Но понеже я, ведая, что многодельство ваше не допустило меня к себе допустить, того ради я письменно сим вас, милостивого моего государя, всепокорно прошу меня в протекции своей в нынешнем моем отсутствии не оставить».

Домогательства Остермана были связаны с попыткой использовать кабинет-секретаря в качестве посредника в улаживании конфликта с Брюсом. Мелкие интриги Остермана во время переговоров на Аландском и Ништадтском мирных конгрессах, направленные на то, чтобы обратить на себя внимание царя, вывели из равновесия спокойного и рассудительного Брюса, являвшегося, как и Остерман, членом русской делегации на обоих конгрессах, и тот обратился к Петру с жалобой. Так как Остерман был уверен, что Брюс послушается совета Макарова, то и обратился к нему с просьбой: «...извольте к нему (Брюсу.—*Н. П.*) партикулярно от себя написать, чтоб он жил со мною согласно». А вот заключительная фраза этого письма: «Милостивый мой государь, не оставьте мене, бедного, хотя иноземца, а истинно верного слуги государства». Доподлинно не известны причины отказа Макарова в аудиенции. Быть может, он действительно был крайне занят, но, скорее всего, кабинет-секретарь догадывался о цели визита и не желал вмешиваться в интригу, которую плел вице-канцлер.

В дальнейшем отношения между Макаровым и Остерманом, надо полагать, улучшились. Об этом можно заключить по щедро расточаемым Остерманом благодарностям Макарову. 2 июня 1721 г. вице-канцлер благодарил кабинет-секретаря «за высокую милость, которую вы без всяких заслуг ко мне показать изволили». Два месяца спустя он вновь благодарил Макарова за «милостивое вспоможение» при оформлении пожалованных ему деревень. А сколько было клятв в верности и вечной призна-

тельности: «Я прошу и извольте и обо мне обнадежены быть, что до смерти моей верным за то рабом вашим буду и не оставлю по всей моей возможности стараться, дабы в самом деле мое истинное благодарение показать». Апофеозом клятвенных заверений стало письмо Остермана Макарову от 5 сентября 1721 г. из Ништадта: «Все, что я чинить могу, есть то, что я до смерти моей верным и одолженным вашим рабом пресбыть обещаюся и стараться буду, дабы сколько возможно в самом деле имеющую к вам великую облигацию показать»².

Ниже мы увидим, что интриган не страдал избытком благородства и отплатил Макарову черной неблагодарностью. Поведение Остермана во время следствий над Макаровым высветило еще одну черту характера этого дельца — свойственную мелким натурам мстительность.

Десятилетнее правление Анны Иоанновны вошло в историю под названием «бионовщины». Было бы правильнее именовать это время «остермановщиной». По сути фаворит императрицы Бирон — марионетка в руках Остермана. За спиной невежды, грубияна и проходимца стоял ловкий и коварный делец, не гнушавшийся никакими средствами для достижения карьеры, умевший терпеливо ждать своего часа. Он шел к власти крадучись, устраняя с пути соперников коварными приемами. Многих русских людей он отправил в ссылку и на плаху.

Отношение двора быстро уловила челядь Макарова и в прошлом близкие к нему люди. Именно от них исходили первые доносы на своего патрона, они же являлись инициаторами следствий, долгих и унижительных разбирательств.

Первый донос последовал в 1731 г., когда в ночь с 23 на 24 июля в летней резиденции Анны Иоанновны было обнаружено подметное письмо императрице и Сенату. Анна Иоанновна поручила расследование доноса Тайной канцелярии. Заметим, что в обвинениях, выдвинутых анонимными авторами доноса, не было ни одного пункта, который бы давал основание передать дело на расследование учреждения, занимавшемуся разбирательством политических преступлений. Тайной канцелярии удалось без особого труда установить авторов, подписавшихся словами «нижайшие рабы ваши». Оказалось, что под ними скрывались два лица: приказчик Макарова, его крепостной Федор Денисов, и солдат лейб-гвардии Измайловского полка Филимон Алтухов. Первый из них сочинил черновик доноса, а второй переписал его набело и затем подбросил в покои императрицы.

Доносчики обвиняли Макарова, выражаясь современным языком, в разного рода уголовных преступлениях: в хищении пожитков опальных Петра Андреевича Толстого

и обер-фискала Алексея Нестерова; в уклонении от уплаты оброчных денег за слободу Шибекину; в захвате земель и насилиях, творимых крепостными Макарова крестьянам других помещиков; в продаже вина с утайкой пошлины; в укрывательстве дворян и беглых рекрутов от службы; в покровительстве провинциал-фискалу Петру Тютчеву, выполнявшему вопреки запретительным указам винные и хлебные подряды. Все обвинения, за исключением одного, оказались чистой воды наветом.

Единственное противозаконное действие Макарова состояло в том, что он пошел на мировую «с смертоубийцами, с Васильем да Павлом Потресовыми». Оба они избili до смерти крепостного Макарова. Алексей Васильевич подал челобитную в Юстиц-коллегию, та поручила разбирательство севской провинциальной канцелярии, которая переправила дело в брянскую воеводскую канцелярию. Убедившись в том, что дело приняло затяжной характер и его исходу не видно конца, Макаров пошел на мировую с братьями Потресовыми. Денисов в извете написал, что убийцы откупились от Макарова, отдав ему «многих крестьян». Может, так оно и было, но юридически сделка была оформлена по всем правилам, и к Макарову не могли предъявить претензий никакие инстанции: братья продали Макарову крестьян, живших у него в бегах.

Получив от Макарова челобитную с обязательством не предъявлять соседям иска, брянские власти прекратили дело. Это постановление воеводской канцелярии, как и мировая челобитная Макарова, противоречило Уложению 1649 г., запрещавшему мировые по делам, связанным с убийствами. Следствие установило и побудительные мотивы написания извета.

Федор Денисов, управляя рыльскими вотчинами Макарова, пользовался тем, что у помещика не было возможности навещать их и контролировать действия приказчика, и вел себя так, что вызвал жалобы крестьян. Денисов стал выдавать себя то за отставного солдата, то за курского дворянина, женился на дочери обедневшей вдовы-дворянки и занялся скупкой земли и крестьян на имя тещи, оплачивая сделки деньгами Макарова. Хлестаковские замашки приказчика крестьяне, возможно, стерпели бы, если бы его хозяйственная прыть не обернулась для них дополнительными повинностями. Дело в том, что Денисов использовал крестьян Макарова в купленных на имя тещи вотчинах: «И за тою-де работою у крестьян ево, Макарова, хлеб в удобное время не убираетца, от чего им убыток и разорение».

Опираясь на жалобу крестьян, Макаров отправил челобитную в севскую провинциальную канцелярию. Но «Денисов против оного челобитья в роспрос не пошел, а

сказал, что-де он по тому челобитью во всем виновен, а отставным солдатом писался от незнания». В Севске Денисов подвергся суровому наказанию: он был бит вместо кнута батожем и «отдан ему, Макарову, з женою и з детьми в холопство».

Совершенно очевидно, что приказчик, лишившись неправого стяжания, затаил злобу, да и сам он признался, что написал донос, чтобы отомстить Макарову за учиненные «ему, Денисову, и теще ево обиды». Что касается Алтухова, то Денисов привлек его в сообщники потому, что слышал от Алтухова, что «многие ему, Алтухову, от Макарова чинятся обиды».

Мера наказания Денисова неизвестна. Видимо, ее должен был определить сам Макаров, поскольку Денисов был его крепостным. Что касается Алтухова, то Тайная канцелярия указом от 22 марта 1733 г. велела его «бить кнутом и послать в Сибирь на серебряные заводы вечно». Вынося суровый приговор Алтухову, канцелярия руководствовалась отнюдь не стремлением защитить Макарова и отбить охоту подавать на него изветы с ложными обвинениями. Дело в том, что во время следствия у Алтухова были обнаружены волшебные письма с заговорами и богомерзким содержанием³.

Месяц спустя императрица утвердила приговор Тайной канцелярии. Казалось бы, вопрос исчерпан — Макаров реабилитирован, пороки наказаны. Но Макарову от этого не стало легче: не успело закончиться первое следствие, как началось второе, грозившее ему куда более серьезными неприятностями.

Когда перечитываешь список лиц, привлеченных по второму следствию, то создается впечатление, что это семейная свара, ибо главные действующие лица находились между собой в родственных отношениях.

Петр Стечкин являлся племянником А. В. Макарова, а его супруга Наталья была падчерицей умершего Федора Калинина. Следовательно, Федор Калинин доводился Макарову шурином. Автор доноса Василий Калинин и его брат Лев были племянниками Федора Калинина, т. е. тоже являлись дальними родственниками Макарова.

Родственные отношения цементировались деловыми связями. «Отставной Акцизной каморы директор» Федор Калинин был своим человеком в семье Макарова. Он состоял компаньоном Алексея Васильевича в содержании суконной мануфактуры и жил в его московском доме. После смерти в 1726 г. брата кабинет-секретаря, Ивана Васильевича, Федор Калинин ведал домом и деревнями умершего. Василий Калинин был канцеляристом в Кабинете его величества, т. е. находился в подчинении Макарова. В свое время он пользовался полным доверием

кабинет-секретаря, ибо, по словам Алексея Васильевича, «несколько лет жил у него, Макарова, в доме, и домовые всякие письма были у него, Калинина, на руках». После ликвидации Кабинета и назначения Макарова на должность президента Камер-коллегии Алексей Васильевич пристроил Василия Калинина канцеляристом в это учреждение.

Во главе клана стоял Алексей Васильевич, среди всех родственников, как ближних, так и дальних, достигший в службе и чинах наивысших успехов. Прочие представители клана довольствовались более скромными достижениями и, естественно, нуждались в попечительстве своего более способного и удачливого родственника. Тот охотно помогал каждому из них. Брат Алексея Васильевича — Иван закончил жизнь дьяком, т. е. достиг довольно высокой должности на бюрократической стезе.

Опекал Макаров и двоюродных братьев. Один из них, Петр Шапкин, во время Прутского похода оказался в османском плену. Алексей Васильевич принял энергичные меры, чтобы вызволить родственника из беды. Он подключил к делу двух влиятельных людей, располагавших возможностями помочь кабинет-секретарю: вице-канцлера П. П. Шафирова, отправленного царем в османский лагерь в качестве заложника выполнения Россией условий Прутского мирного договора, и фельдмаршала Б. П. Шереметева, командовавшего русской армией, размещавшейся после выхода из окружения на Пруте в пределах Украины.

Шереметев и Шафиров откликнулись на просьбу Макарова и приняли живейшее участие в освобождении пленника. Не прошло и трех недель со дня, когда Шафиров отправился в османский обоз, как Макаров получил от него письмо с извещением о судьбе двоюродного брата: «Оной подлинно обретается в Бендере за караулом». Далее вице-канцлер сообщил, что ему удалось связаться с османскими министрами, которые его заверили в том, что «о свободе его (Шапкина.— Н. П.) писать в Бендёр к паше будут и сюда отпустить велят». Утешительные известия были получены и от Шереметева. В конце 1711 г. фельдмаршал уведомил Макарова, что для обмена на Петра Шапкина сыскал «здесь турченина и послал в Белую Церковь».

Хлопоты, однако, не увенчались успехом. В августе следующего года Шафиров отправил Макарову письмо с печальным известием: он, Шафиров, «яко о своем присном старался... но за неописанными здешних господ поступками того сперва учинить не мог. А потом, в июле месяце, оной ваш брат, сидя в заключении, умре моровую язвою, которая здесь зело умножилась»⁴.

Другого двоюродного брата Макарова — Василия Шапкина судьба забросила в Лондон. Там он обучался, как упоминалось выше, кораблестроению и помогал Федору Салтыкову в закупке кораблей для русского флота. Судя по всему, Шапкину жилось в Лондоне несладко, и он осаждал брата жалобами на материальные затруднения: докучать Салтыкову он больше не мог, так как, сетовал братец, у него «много дела и без моей доуки». Несколько месяцев спустя, в августе 1713 г., он повторил просьбу о назначении ему жалованья, подкрепив ее таким доводом: «ево братья вся у дела», т. е. обучается в Лондоне ремеслам и наукам, а он тратит время бесполезно. В конце письма имеется текст загадочного содержания. Шапкин просил Макарова отозвать его «от сего дела, ежели в вашей возможности будет, понеже я опасен весьма, чтоб не прильнуло ко мне в корабельном деле, о чем я пространно писать не могу».

Не свидетельствуют ли эти зашифрованные строки об осведомленности Василия Шапкина о расходовании Салтыковым казенных денег на личные нужды и о его опасениях в этой связи за свою судьбу?

Заботой о жалованьи проникнуто еще одно письмо Шапкина, в котором он опять просил об освобождении от службы у Салтыкова. Шапкин претендовал на маленькое, но самостоятельное дело, выполняя которое он располагал бы временем для обучения механике, архитектуре, инженерству и т. д.

Макаров, надо полагать, внял просьбам брата. Во всяком случае, в сентябре того же 1713 г. Василий Шапкин находился уже в Ревеле. Об этом говорит письмо Василия Зотова Макарову, в котором Шапкин аттестован не лучшим образом: «Вашей милости брат господин Шапкин обретается в Ревеле в добром здравии, только Каневский приносит мне на него о нерадетельном ево учении и о непорядочном обхождении жалобы...» И далее: «...благоволите отписать, какому наказанию за противности позволите приводить. Однако же инако унять невозможно, кроме того как обстоит в солдацком обхождении». Был ли подвергнут непутевый Шапкин экзекуции, мы не знаем. Известно только, что после Ревеля он оказался в Казани, оттуда в недатированном письме он извещал кабинет-секретаря о постройке 100 буеров⁵.

Племянник Макарова Петр Стечкин выбился в потомственные дворяне, надо полагать, тоже не без помощи дяди. Шурина Федору Климентовичу Калинину Макаров помог стать Акцизной каморы директором. Протезировал Макаров, как уже отмечалось, и Василию Калинину.

Отношения между родственниками до смерти Федора Калинина в конце 1731 г. не представляли, по всей

видимости, ничего заслуживающего внимания. Но уход из жизни одинокого человека, не оставившего завещания, посеял среди них раздор. Инициатором ссоры был Василий Калинин, претендовавший на получение дома умершего. Другой племянник — Лев Калинин пребывал в Кирилло-Белозерском монастыре и, надо думать, проявлял меньшее рвение к мирским заботам и к наследованию имущества дяди.

Изучение следственного дела не прояснило вопроса, чем руководствовался Алексей Васильевич Макаров, когда посчитал, что наследовать имущество должен был не Василий, а Лев Калинин. Возможно, что между Макаровым и Василием Калининным к тому времени установились неприязненные отношения, вылившиеся в жестокою вражду. Но столь же вероятно объяснить поведение Макарова воздействием падчерицы покойного Натальи Стечкиной, женщины, по всему видно, энергичной и властной, делавшей все от нее зависящее, чтобы воспрепятствовать удовлетворению алчных намерений Василия Калинина. Возможно, именно она своей настойчивостью вовлекла в свару дядю, которому, быть может, было глубоко безразлично, кому достанется дом и скарб умершего. Наконец, не лишено оснований предположение, что чувства Макарова и его племянницы к Василию Калинину — человеку, как увидим ниже, весьма несимпатичному — вполне совпадали, но поскольку тайному советнику было непрестижно втягиваться в свару с канцеляристом, то с его молчаливого согласия, а может быть и высказанного в осторожной форме поощрения, активной силой выступила Наталья Стечкина. От гаданий перейдем к описанию событий, развернувшихся в марте 1732 г.

12 марта Наталья Стечкина в сопровождении Льва Калинина и знакомых канцелярских служителей прибыла в дом Федора Калинина, чтобы выполнить повеление Макарова изъять те письма и деловые бумаги из архива умершего, которые имели прямое касательство к Макарову. Еще раз напомним, что таких бумаг после Федора Калинина осталось немало, так как умерший был компаньоном Алексея Васильевича и душеприказчиком его брата Ивана.

Василий Калинин был опытным сутяжником и решил воспрепятствовать выполнению этого намерения многозначительным заявлением:

— Макаров в оных письмах власти не имеет. Разбирать их надлежит при отце духовном и при посторонних.

Довод показался Стечкиной настолько неотразимым, что она смутилась и вместе с сопровождавшими ее лицами отправилась в дом неподалеку жившего подьячего Шлякова. Смятение прошло, и полчаса спустя вся компания, но

без Стечкиной вновь прибыла в дом Калинина с хитроумным планом. Клевреты Макарова заявили:

— Надобно вышеписанное все разбирать, Алексей Васильевич приказал все к себе принести.

Калинин стоял на своем:

— Без отца духовного и без посторонних разбирать не дам.

— Подите до отца духовного, мы подождем,— ответили непрошенные визитеры.

В то время как Василий Калинин разъезжал по Москве в поисках отца духовного, исполнители поручения Макарова, не ожидая его возвращения, сорвали замок и стали рыться в бумагах. Уложив то, что их интересовало, в два кулья, они отправились в дом Макарова.

После этого посещения клеветы Макарова в марте—апреле 1732 г. нанесли еще десять визитов в дом Федора Калинина, причем в отсутствие Василия Калинина, и каждый раз, согласно его версии, открывали чулан и рылись в сундуках. Иногда визитеры являлись ночью и грозились утопить Василия Калинина в Москве-реке.

— Я и ночевать дома завсегда весьма опасуюсь,— скажет позже Калинин.

Василий Калинин понял, что наследство, на которое он претендовал, уплывает из рук и ему не получить его до тех пор, пока в силе Макаров. Он решил свалить влиятельного соперника, нанеся ему удар, после которого он не мог бы оправиться. Так у Калинина созрела мысль настрочить донос.

В один из августовских дней 1732 г. Калинин явился к графу Семену Андреевичу Салтыкову, руководителю московской конторы Тайной канцелярии, и подал ему доношение. Читая его, недруги Макарова, очевидно, потирали руки от удовольствия: теперь уже ему не сдобровать. Обвинений в адрес Макарова было выдвинуто столько и таких серьезных, что достаточно было подтверждения только одного из них, чтобы навсегда покончить с бывшим кабинет-секретарем.

Как только ни чистил Макарова Василий Калинин: «кабинетных дел похищатель», «интересов ее императорского величества подложник», «ее императорского величества нарядной губитель», «ее императорского величества явной корысник или интересант и обидчик люцкой...». Опытный представитель крапивного семени, человек с сомнительной репутацией в моральном плане, Калинин знал, как рассеять у начальства все сомнения относительно достоверности всего изложенного в доносе. Он закончил донос заботой о своей безопасности: «Также прошу придать мне для охранения лейб-гвардии солдат двух или трех человек для того: Алексей Макаров и Петр Стечкин

завсегда всезлые и вымышленно коварные свои происки имеют всякое мне избытельство учинить, что я — человек беспомощной, от чего я опасаюсь от них за вышепоказанные их, Макарова и Стечкина, противные дела и смертного убийства». Столь же интригующими были и первые строки доноса. «Повели, государь, — обращался Калинин к Салтыкову, — для обстоятельного вашему превосходительству известия взять меня к себе в аудиенцию, чтоб другие того не знали, о чем пространно донесу вашему превосходительству»⁶.

В точности неизвестно, поддался ли Салтыков воздействию окутанного таинственностью начала и конца доноса и согласился ли дать просимую Калининным аудиенцию или велел принять его донос своим подчиненным, но последующие события развивались молниеносно. Тотчас после ознакомления с содержанием доноса в столицу полетела депеша. Ответа на нее Салтыкову долго ждать не довелось. Через шесть дней, 18 сентября 1732 г., он получил именной указ, предписывавший учредить «особливую комиссию» из гвардейских офицеров, которой поручить «без всякого послабления» расследовать донос Калинина. Через пару дней такая комиссия была создана. В ее состав вошли шесть офицеров, от поручика до подполковника. В распоряжение комиссии «для посылок» были назначены гвардии капрал и восемь рядовых, а также десять канцелярских служителей. Главную дирекцию над комиссией именной указ возложил на Салтыкова.

Из многочисленных обвинений Калинина, изложенных на 16 листах убористого текста, состоявшего из 17 пунктов, Макарова могли погубить те из них, где ему ставились в вину утайка прихода-расходных тетрадей Кабинета, а также писем Петра, царевича Алексея, князя Меншикова и, наконец, казнокрадство. Конечно же Остермана и императрицу менее всего интересовали наследственные права Василия Калинина на дом умершего дяди, захват Макаровым вотчин Лутковского и прочие мелкие обвинения.

Чтобы не утомить читателя подробностями следствия, изложением содержания допросов Макарова и многочисленных свидетелей, а также дополнительных показаний Калинина, коротко остановимся на самом важном. Начнем с обвинения, которое и Калинин, и комиссия считали совершенно бесспорным.

Согласно версии Калинина, Макаров в 1728 г. вел с ним следующий разговор:

— В курмышской моей вотчине много вина и водки на винокуренном заводе изготовлено, не знамо, куды девать: в Нижнем винный подряд дешев, а в Москву нельзя подрядиться — я в Камер-коллегии президент. Напиши

письмо к костромским бурмистрам от себя в такой силе, чтоб они обратились с просьбой в Камер-коллегию обеспечить вином кружечные дворы.

«И я по тому ево, Макарова, приказу,—каялся Калинин,—к костромским бурмистрам никакими от него отговорками отойтить не мог. Во оной силе письмо от себя и написал и отдал ему, Макарову». Тот отредактировал письмо и вернул его Калинин для переписки набело.

Обращаясь с доносом к Салтыкову, Калинин полагал, что имеет против Макарова неотразимую улику: предусмотрительно припрятав черновик письма костромским бурмистрам с правкой Алексея Васильевича, он теперь, четыре года спустя, изъявил готовность предъявить его комиссии. Действительно, в делах следственной комиссии и поныне хранится этот черновик, на который так рассчитывал Калинин.

Макаров ответил: относительно отправки письма «за долгопрошедшим временем сказать не упомнит», но в точности знает, что «на костромской кружечный двор вина своего собою и ничьим именем подрядом не ставливал и денег ис Костромской провинции, ис кружечного двора, ни за что он, Макаров, не бировал и брать никому не приказывал».

В случае если бы дело обстояло именно так, как его изобразил Калинин, Макарову грозило, употребляя современную терминологию, обвинение в злоупотреблении служебным положением. Дело в том, что еще при Петре I был издан указ, запрещающий чиновникам всех рангов под страхом смертной казни заключать контракты на поставку в казну продовольствия, промысловых изделий и вина.

Итак, следствие располагало двумя исключавшими друг друга версиями. Решить спор, кто прав — обвинитель или обвиняемый, могла костромская провинциальная канцелярия, куда и обратилась комиссия. Из Костромы ответили: жители города, бывшие в 1728 г. бурмистрами, показали, что они в том году никаких писем ни от Калинина, ни от Макарова не получали. Равным образом они отрицали и факт поставки вина с курмышской вотчины Макаровым или каким-либо подставным лицом. Обвинение, как видим, оказалось несостоятельным.

Калинин, далее, обвинял Макарова в обманном получении в аренду Шибекиной слободы, что находилась в Белгородской губернии. Согласно доносу, Макаров в челобитной, поданной Сенату еще в 1720 г., изобразил дело так, что слобода являлась выморочной. По сведениям же Калинина, у слободы есть законная наследница — сестра умершего полковника Шибеки, которой якобы был выдан указ на право владения ею, подписанный графом Петром Матвеевичем Апраксиным. Если верить Калинин,

Макаров не только незаконно пользовался слободой, но вдобавок к тому 13-й год «оброчных денег ни копейки не плачивал».

Макаров отвел и это обвинение. С присущим ему спокойствием он показал, что ему ничего не известно о челобитной сестры Шибеки, как не известен ему и указ о передаче ей слободы. Что касается оброчных денег, то он их ежегодно вносил в белгородскую губернскую канцелярию.

Калинин, однако, стоял на своем. Он упрямо твердил, что Макаров «никаких оброчных денег не плачивал», что слободка не выморочна, что «Макаров тою деревнею, слободкою Шибекиной, владеет силою своею и, утая законную наследницу, напрасно».

Наведенные справки обнаружили полную несостоятельность обвинения: указа о передаче слободки сестре полковника не существовало в природе. Ложным оказалось и утверждение о неуплате оброчных денег: они, как ответила белгородская губернская канцелярия, «плачены в Белгороде сполна по вся годы».

Не выдержало проверки и обвинение Макарова в том, что он самостоятельно, без ведома Сената, повысил оклады подьячим, составлявшим в 1727 и 1728 гг. описи кабинетных дел и участвовавшим в переписывании набело «Истории Свейской войны». Согласно наведенным справкам, было установлено, что им выплачивалось жалованье, определенное сенатским указом.

На нескольких страницах доноса Василий Калинин живописал о произволе Макарова. Под его пером Макаров предстает человеком зловещим и коварным. Оставаясь в тени, он якобы науськивал то своих служителей, то родственников, чтобы те врвались в дом, на наследование которым претендовал Калинин, и под покровом ночи хозяйничали в нем: изымали документы, письма, растаскивали имущество покойного, избивали или угрожали избиванием домочадцам и слугам Василия Калинина.

Макаров, естественно, все это отвергал и признал только одно: лишь однажды он приехал вместе со Стечкиным и его сужругой в дом умершего Калинина, чтобы «собрать и запереть платье и протчей скарб в чулан и, заперши, ключ от чулана к себе ей взять». Макаров объяснял свои действия стремлением выполнить волю покойного: «Он, Федор Калинин, еще будучи живой, просил ево, Макарова, чтоб он по смерти ево ис пожитков ево помянул и церковь достроил». Интерес к деловым бумагам умершего Макаров мотивировал тем, что Федор Калинин «ведал дом ево, Макарова, и деревни, також и завод суконный в небытие ево, Макарова, в Москве»⁷.

В искренности показаний Макарова можно было бы

усомниться, если бы они не были подтверждены теми, кто, по словам Василия Калинина, тайно навещал дом покойного дяди и множество раз, нагрузившись бумагами, отвозил их Макарову. Заметим, что каждый из клеветов Макарова был заинтересован в том, чтобы, обеляя себя, взвалить вину за свой визит в дом Калинина на Макарова: они, дескать, действовали не «собою», а по наущению бывшего кабинет-секретаря. Допрошенные, однако, показали, что они доставили Макарову лишь документы хозяйственного содержания за те годы, когда Федор Калинин выполнял обязанности его приказчика.

Самую серьезную угрозу для Макарова представляли обвинения в утайке служебных писем Петра, царевича Алексея и князя Меншикова, а также деловых бумаг Кабинета, в том числе приходо-расходных книг. Последнее, согласно версии Калинина, Макаров скрыл, чтобы замести следы своего казнокрадства.

Оправдываться Макарову было непросто хотя бы потому, что дела имели 20-летнюю, а иногда и 30-летнюю давность и он, даже напрягая свою память, не всегда мог припомнить мотивы, которыми руководствовался, оставляя те или иные документы не в кабинетском, а в личном архиве. Тем не менее каждый непредубежденный следователь мог бы убедиться в искренности показаний Макарова.

Алексей Васильевич признал наличие у него писем царя, царевича Алексея и Меншикова, но тут же объяснил, что не сдал их в архив Кабинета потому, что все они носили сугубо личный характер и не имели отношения к Кабинету. О приходо-расходных тетрадах Макаров показал, что это черновики, которые он вел для памяти во время походов, и с них «как приход, так и расход внесен в настоящие расходные книги». Кстати, следственная комиссия располагала справкой, что приходо-расходные книги за 12 лет, с 1705 по 1716 г., обривизованы и в них никаких неисправностей не обнаружено. Журнальные записки с правкой царя тоже были черновыми. По терминологии Макарова, вариант записки, хранившийся в его архиве, «был черной несостоятельной», а в архиве Кабинета хранятся белой экземпляр и «два или три черненья его же императорского величества». Кстати, «несостоятельной» черновик исчез из архива Макарова, и тот высказал предположение: «...может-де быть, оной журнал похитил означенный же доноситель Калинин»⁸. Таким образом, и это обвинение не выдержало проверки.

Для самого Алексея Васильевича еще в начале следствия была очевидной совершенная необоснованность обвинений. Он, надо полагать, считал происходившее неприятным недоразумением, а рвение следственной комис-

сии — плодом инициативы, о которой там, в Петербурге, понятия не имели. Только подобным ходом мыслей можно объяснить поступок Макарова: во второй половине октября 1732 г. он обратился к Остерману с просьбой подать руку помощи.

Нашел же Макаров, к кому обращаться за помощью! Современники, похоже, так его и не раскусили. Андрей Иванович обладал удивительной способностью прикидываться доброжелательным человеком и ловко скрывать свое подлинное отношение к людям. Он охотно расточал комплименты с медоточивой улыбкой, умел терпеливо и искусно плести интригу, сеять вражду между своими противниками и сталкивать их лбами. Тяжело больной Меншиков из своего подневольного путешествия в Раннебург обращался с просьбой не к Головкину и Апраксину, а именно к Остерману, не подозревая, что именно Андрей Иванович сыграл роковую роль в его судьбе. Точно так же и Макаров, не подозревавший, что все нити следствия находились в руках Остермана и что прежде всего он, а не кто иной, рыл ему яму, обратился к нему со словами мольбы, чтобы тот вызволил его из беды.

Макаров писал Остерману, что «плут и подозрительный человек» Василий Калинин клеветнически обвинил его во многих прегрешениях, жаловался на то, что комиссия «спрашивала» с него «лет за двадцать за пять и больше», т. е. о делах, им забытых, и просил: «...в сущей моей невинности предстательствовать и от оного злоковарного злодея мене оборонить». Письмо заканчивалось собственноручной припиской Макарова: «Государь мой милостивой, бога ради, сотворите со мною бедным свою высокую милость, чтоб я от такой безвременной печали не умер, за что господь бог и самих вас не оставит».

Остерман остался глухим к мольбам бывшего кабинет-секретаря. Без всякой надежды на помощь оставил Макарова и канцлер Головкин. В конечном счете Макаров, лишенный влиятельных заступников, оказался окруженным равнодушным молчанием.

Между тем следствие подходило к завершению. Одно-го за другим выпускали на свободу привлеченных к дознанию и находившихся под стражей. Вынесен был и приговор — точнее, определение «со мнением», т. е. своего рода проект приговора, переданный на утверждение Салтыкову.

Комиссия не признала доказательным объяснение Макаровым причин хранения у себя приходно-расходных тетрадей, а затем и их исчезновения и предложила держать его под арестом до тех пор, пока он не представит убедительных доказательств. С Макарова, кроме того, решено было взыскивать в двойном размере

сумму, о расходовании которой он не отчитался. Относительно этих денег Макаров заявил: брал их «на разные расходы, а на государевы или на собственные ево, Макарова, расходы—то он не упомнит». Комиссия тоже не располагала данными о том, что 174 р. 10 к. Макаров издержал на собственные нужды, однако это не удержало ее от определения взыскать с Макарова 348 р. 20 к., что было не чем иным, как проявлением ее произвола.

А что случилось с Калининым?

С ним произошла метаморфоза: из обвинителя он превратился в обвиняемого. Комиссия была вынуждена признать донос Калинина «неправым», ибо не подтвердилось ни одно из выдвинутых им обвинений. Мера наказания Калинину была такова—бить кнутом, но тут же имелась оговорка, придававшая приговору своего рода условный характер: «Токмо, по мнению следственной комиссии, до того времени, как от тайного советника Макарова положены будут приходные и расходные тетради и учинено по них по следствию окончание, оное наказание чинить ему, доносителю, опасно».

Итак, следствие показало, что донос Калинина был сработан настолько топорно, что комиссия не нашла возможным предъявить на его основе серьезные обвинения Макарову. Правда, Остерман еще предпринимал попытки спасти процесс и подбросил комиссии дополнительные вопросы для расследования, но, даже если бы комиссии удалось добыть компрометирующие Макарова данные, они уже не могли ничего изменить. Интерес к следствию у власть предержащих иссяк. Забыт был и инициатор возникновения следственного дела Василий Калинин—он еще многие годы томился в тюрьме.

Канцелярия Кабинета министров зарегистрировала следующее доношение Салтыкова: «Он многими доношениями с 736 года представлял и требовал указа, что чинить с содержащемся там в Москве под караулом доносителе канцеляристе Василии Калинине, который доносил на тайного советника Алексея Макарова, на которые доношения и поныне указу не получил, и требует, что с ним чинить, указу». Доношение было внесено в журнал входящих документов 18 октября 1738 г.⁹ Таким образом, после прекращения следствия Калинина еще пять лет держали в заключении. Это обстоятельство можно воспринять как возмездие.

Первое следствие не давало повода для безнадежного уныния. Без существенного ущерба для Макарова закончилось и второе. Но вот третье... Оно было настолько зловещим, что взбаламутило жизнь Макарова и его семьи: благополучное прошлое осталось лишь в воспоминаниях; что касается будущего, то оно не сулило никаких радо-

стей. Потянулись дни, месяцы и годы беспросветной тоски и вынужденного безделья.

На этот раз обвинения не имели никакого отношения ни к злоупотреблениям властью, ни к казнокрадству, ни к службе Макарова вообще. Эпицентром событий были подмосковные Берлюковская и Саровская пустыни, а главными действующими лицами — монахи этих пустынь.

Какая, однако, могла быть связь между монахами и сугубо светским человеком Макаровым, за которым, кажется, ранее не водилось никаких грешков касательно твердости в вере? Чтобы разобраться в сложных переплетениях следствия, вернемся к событиям, происшедшим ровно за год до рокового дня, когда Макаров оказался под надзором тюремщиков.

13 декабря 1733 г. в московскую синодальную контору явился саровский монах Георгий с доношением, в котором объявлял себя богоотступником и просил архиепископа ростовского Иоакима, управлявшего пустынью, рассеять все его сомнения. Архиепископ отправил просителя в синодальную канцелярию, и там Григорий Зворыкин — так в миру звали доносителя — показал на себя множество прегрешений: он общался с нечистым духом во плоти немца Вейца и его двух слуг-бесов, отрекся от веры, перестал посещать церковь. За богоотступничество Вейц обещал Зворыкину почести и богатство. Зворыкин, однако, не поддался соблазну. Напротив, ради искупления своих грехов он решил постричься, и это свое намерение осуществил в Саровской пустыне. Но преследования Вейца не прекратились: он возобновил требование отречься от Христа, бесы истязали новоиспеченного монаха, сбрасывали его с лестницы, поднимали ввысь. Обо всем этом он рассказал на исповеди своему духовнику Иосии, у которого просил разрешения переселиться в Берлюковскую пустынь, где, по его сведениям, монахи вели суровый образ жизни.

Простой перечень наговоренных на себя обвинений свидетельствовал, что Зворыкин был психически больным человеком, подверженным галлюцинациям. И тем не менее поведение Зворыкина крайне взволновало монашествующих Берлюковской пустыни и ее строителя Иосию. Дело в том, что еще в августе 1732 г. Синод издал указ, вводивший множество строгостей в жизнь монахов. Указом, в частности, велено было произвести чистку монастырей, для того чтобы освободить их от всех незаконно постриженных или самовольно переселившихся из других обителей. Монастыри напоминали потревоженный улей: беды ожидали как самовольно принявшие монашеский чин, так и настоятели, незаконно державшие монахов.

Слухи о том, что Зворыкин подал доношение, внесли еще большее смятение.

Иосия терзался сомнениями: не донести на Георгия опасно, ибо Зворыкин во время дознания мог наболтать много лишнего и тогда ему, Иосии, не сдобровать, но и донести тоже риск. А вдруг, рассуждал Иосия, «Зворыкин по тому ево доношению в вышепоказанной важности запрется, то ево, Самгина (фамилия Иосии до пострижения.— Н. П.), станут пытать».

Доподлинно не известно, сколь долго Самгин—Иосия находился в плену сомнений. В конце концов он все более склонялся к мысли о необходимости подать донос. Самгин рассчитывал, что Зворыкину не сносить головы, ибо на исповеди тот признался, что вместе со своими приятелями хотел известить царя Петра. Перед тем как снести донос графу Салтыкову, Самгин все же решил посоветоваться со сведущими людьми. Отправился он к князю Ивану Одоевскому, но тот не дал удобного ему совета: Одоевский счел неудобным использовать для доноса признание на исповеди. От Одоевского Самгин пошел к Макарову, но не застал того дома. Настало время принимать решение, и Самгин сделал шаг, ставший роковым: он-таки подал донос Салтыкову, правда изъяв из него обвинение в намерении совершить цареубийство. В доносе речь шла о безбожии и чародействе Зворыкина.

Синодальная канцелярия передала донос ктитора Тайной канцелярии, а та распорядилась немедленно арестовать Зворыкина, Самгина и других монахов. Отправленные в Саровскую пустынь нарочные обнаружили там компрометирующие монахов материалы, в том числе тетради с рассуждениями о монашестве и сочинение Родышевского. Оказалось, что Иосия придерживался взглядов, близких к высказываниям Родышевского. Иосия говаривал, что в России подобает быть вместо Синода патриарху, или: «А что вотчины вклад в монастырь давать запрещено, и то весьма противно воле божией учинено».

Дело представлялось настолько важным, что Тайная канцелярия велела своей московской конторе доставить всех арестованных в Петербург и сама взялась за следствие. К нему был привлечен и Феофан Прокопович. Свое участие в следствии Прокопович начал с подачи императрице критического разбора сочинения Родышевского.

Архимандрит Маркелл Родышевский долгое время был приятелем Прокоповича. Но в 1732 г. было найдено подметное письмо с осуждением церковной реформы Петра и отмены патриаршества. Феофан Прокопович заподозрил Родышевского в причастности к сочинению письма. Этого было достаточно, чтобы между приятелями

появилась размолвка, быстро переросшая во вражду.

Феофан ревниво следил как за своей репутацией человека беспредельно преданного трону, так и за чистотой веры и не стеснялся в выборе средств борьбы со своими противниками. Великолепно владея пером, он умел придать какому-либо пустячку характер государственного преступления и обвинить своих противников в дерзновенных планах вызвать в стране мятеж против Анны Иоанновны. Изучив характер императрицы и обнаружив в нем крайнюю подозрительность, он ловко использовал эту черту в своих интересах, пугая Анну Иоанновну призраком заговоров.

В сочинении Прокоповича Родышевский изображен опасным бунтовщиком. Полемическое перо Феофана вывело следующие слова, обращенные к императрице: «Но чего я без ужаса видеть не мог, наполнено оно письмишко нестерпимых ругательств и лаев на царствовавших в России блаженные и вечнодостоинные памяти вашего величества предков. Славные и благотворные их, государей, некие указы, уставы, узаконения явственно порочит и, яко богопротивные, отмечает». Далее следует общая оценка труда Родышевского, столь же прозрачная по своим целям, как и содержащая натяжку: «...письмо сие не ино что есть, только готовый и нарочитый факел к зажжению смуты, мятежа и бунта».

Подобным заключением нетрудно было загнать в угол даже Тайную канцелярию и стимулировать активность в угодном направлении самого кнутабойца Андрея Ивановича Ушакова.

Репутация шефа Тайной розыскных дел канцелярии Ушакова хорошо известна. Он не нуждался в понуканиях и сам проявлял изощренную изобретательность, чтобы принудить жертву, попавшую в его лапы, к любым признаниям. Тем не менее даже Ушаков был несколько смущен программой действий Тайной канцелярии, начертанной «смирненным богомольцем»: «Мнение мое на вторую потребу состоит в исследовании советников, указчиков и помощников и о других в деле сем сообщавшихся ему, також и неких обстоятельстве, которые к ясиному затеек показанию надобны». Прокопович был убежден, что у Родышевского «были некие прилежные наустители, которые плутца сего к тому привели, отворяя ему страх показанием новой некоей имеющей быть перемены, нового в государстве состояния, и обнадеживая дурака великим высоким чина за таковой его труд награждением»¹⁰.

Итак, Прокопович нацеливал Тайную канцелярию на привлечение к следствию лиц, которые, оставаясь пока в неизвестности, являлись фактическими подстрекателями и руководителями Родышевского. Последний, по отзыву

Феофана, «по природе своей зело труслив» и «скуден в рассуждении». Так была подведена база под преследование Макарова и привлечение его к новому следствию.

У Прокоповича с Макаровым сложились напряженные отношения еще в годы, когда Алексей Васильевич был кабинет-секретарем. При Петре I Феофан гасил свою неприязнь, но при Анне Иоанновне осмеливался заявлять о ней открыто. В доношении, поданном императрице в ноябре 1731 г., об уплате жалованья синодальным членам он писал, что этот вопрос рассматривался еще Петром I в 1724 г. и был решен им положительно: царь велел Макарову сочинить соответствующий указ. «Но,— читаем в доношении,— господин Макаров, слышав тот его императорского величества именной про нас указ, никогда нигде не изволил объявить, хотя мы неоднократно о том стужали ему. А для чего не изволил того делать оный господин— совесть его знает, и на суде божии оправдит или осудит его»¹¹.

Прокопович, однако, не стал ожидать «суда божия» и воспользовался судом Тайной канцелярии. Согласно концепции Прокоповича, действиями Родышевского руководили опытные интриганы, рассчитывавшие на «перемены» в правительстве. Роль такого советника Прокопович отвел Макарову. Кстати, не лишена оснований догадка, что Прокопович и сочинил свою концепцию с целью свести счеты с Алексеем Васильевичем.

Как бы там ни было, но 29 ноября 1734 г. конной гвардии адъютанту Алексею Извольскому был вручен именной указ, обязывавший его немедленно отправиться во главе восьми рейтар и одного унтер-офицера в Москву. Прибыв в старую столицу, «не заезжая никуда», надлежало держать путь к дому бывшего президента Камер-коллегии Макарова и тут же расставить караул, «чтоб никого не выпускали и пожитков никаких увезено быть не могло». Тюремщику предписывалось все письма и имущество, «ничего не выключая, и положи письма в особливый сундук, а пожитки и вещи в другие, собрав все то в одной палате, запечатать своею и его, Макарова, печатью и приставить пристойный от себя караул, и накрепко смотреть, чтоб ничего утаено или на сторону увезено и утрачено не было». Пожитки велено было оставить в доме Макарова, а письма и документы— доставить в Петербург. Ни Макарову, ни членам его семьи не разрешалось выходить за пределы двора, им запрещалось и кого-либо принимать.

Таким образом, для Макарова, его жены и детей устанавливался режим домашнего заключения. Забегая вперед, сообщим, что он продолжался вплоть до смерти Макарова, т. е. около пяти лет¹².

У Алексея Васильевича началась жизнь, полная волнений и тревог. Он, естественно, не мог знать, когда и как закончится следствие, какие планы имела Тайная канцелярия. Быть может, покои собственного дома придется сменить на каземат Петропавловской крепости, а может статься, показания доведется давать вздернутым на дыбу. Сам он, не чувствуя за собой вины, возможно, томительно ожидал, что вот-вот прискачет курьер с извещением, что все обвинения с него сняты, и драгуны, несшие караул у его дома, будут отправлены в гвардейские казармы. Но проходили дни, месяцы и годы, а положение его оставалось прежним.

Причастность Макарова к процессу монахов Саровской и Берлюковской пустынь вызывает ряд недоуменных вопросов. Какие обстоятельства свели Макарова с монахами, стоявшими в социальной иерархии неизмеримо ниже, чем он сам? Как Иосия стал своим человеком в доме Макарова?

В 1733 г. у Макаровых умерла дочь. Парчу, покрывавшую гроб, супруга Макарова намеревалась поднести какой-либо убогой церкви. Прослышав об этом, Авдотья Одоевская, родная сестра супруги Макарова, посоветовала:

— Есть Берлюковская пустынь. Она бедна. Тое парчу надобно отдать в пустынь.

Анастасия Ивановна согласилась с мнением сестры, но заметила:

— Я в той пустыни никого не знаю.

Авдотья обещала помочь:

— Я пришло к тебе той пустыни строителя.

Так Иосия стал вхож в дом Макарова. Связи упрочились после того, как по совету той же Авдотьи Иосия стал духовником семьи Макаровых. С тех пор Иосия либо один, либо в сопровождении кого-либо из монахов частенько заезжал к Макаровым то с просьбой похлопотать о монастырских нуждах, то для получения милостыни, то, наконец, для исповеди. Супруга Макарова тоже однажды навестила Берлюковскую пустынь.

Теперь становятся понятными действия Самгина — Иосия, отправившегося в критическую минуту, т. е. перед тем, как подать донос, за советом к Макарову: более влиятельного и сведущего консультанта у него не было.

Упоминание имени Макарова в первом же допросе Самгина дало Тайной канцелярии, как говорится, зацепку, путеводную нить. В дальнейшем ей удалось выудить кое-какие дополнительные сведения, благо общительный и словоохотливый Самгин во время своих визитов в дом Макарова вел с главой семьи оживленные беседы на самые разные темы. После таких визитов Иосия делился

впечатлениями от бесед с другими монахами, непосредственно с Макаровым не общавшимися.

Как только к следствию в качестве эксперта был привлечен Феофан Прокопович, он постарался придать процессу политическую окраску. Такой вывод напрашивается при изучении вопросных пунктов, предъявленных обвиняемым. Тайную канцелярию интересовало отношение Макарова к иноземцам и императрице, к ликвидации патриаршества и положению крестьян, пашни которых были в течение нескольких лет поражены неурожаем.

Известна неприязнь русских к иноземному засилью в правление Анны Иоанновны. Эта неприязненность проникла и во дворцы вельмож, и в хижины пахарей, не миновала она и монашеской кельи. У Якова Самгина настойчиво допытывались, как следует понимать его слова о том, что нашествие немцев в Россию — божье наказание, и кого он имел в виду, когда говорил, что «бóльшие при дворце иноземцы».

В некоторых вопросах просматривается попытка инкриминировать Макарову неуважительное отношение к императрице. Следователи выясняли, действительно ли Макаров сетовал на изменение отношения к себе Анны Иоанновны: когда она «не соизволила еще быть в России, то соизволила-де писать ко оному Макарову просительные письма, и оный-де Макаров надеялся быть, как ее императорское величество прибудет в Россию, при ней», но этого не случилось.

Насколько шаткой была эта попытка и сколь слабым обличительным материалом против Макарова располагала Тайная канцелярия, можно судить по вопросу, заданному Самгину: «Тогда, как оные Макаров и жена ево о вышеобъявленном говорили, какую в них злобу и свирепость по лицу ты их присмотрел и с великого ль сердца о вышеозначенном Макаров и жена ево говорили?»

Самгин поначалу уклонялся от ответов, ссылаясь на то, что «того не упомнит». Категорический ответ он дал лишь на один вопрос: «Только-де злобы и свирепства от оного Макарова и от жены ево по лицу их ни при каких разговорах никогда он, Самгин, не видал».

После допроса Самгин «вспомнил» одну существенную деталь. Сначала он заявлял, что запомнил, кто отзывался о Макарове как о человеке «умном и добром», а затем «восстановил» в памяти важный эпизод. Трудно сказать, какими были подлинные мотивы «забывчивости» Самгина.

На основании показаний Самгина во время следствия можно сделать вывод, что он вел себя по отношению к Макарову по-рыцарски. Во всяком случае, он не вооружил Тайную канцелярию ни одной уликой против Макарова.

Вполне вероятно, что он и в данном случае пытался выгородить Алексея Васильевича, отвести от него обвинение в произнесении слов, косвенно осуждающих поведение императрицы и изобличающих ее неблагодарность. Он «припомнил», что как-то имел разговор с князем Путятиным. Князь, узнав, что Самгин являлся духовником Макарова, обратился к нему за посредничеством, чтобы тот уладил небольшой конфликт с Алексеем Васильевичем.

По свидетельству Самгина, во время беседы князь Путятин произнес следующий монолог: «Оной Макаров, человек умный и милостивой, был приступен, когда-де в силе был, а ныне-де ему не так, как прежде. Мы-де надеялись, и ныне быть ему в прежней же силе. Когда-де государыня еще не воцарилась, писывала ко оному Макарову милостивые письма (а какие имянно — не выговорил). А как-де государыня воцарилась, то у одного Макарова взяли к государыне письма, а какие имянно — не выговорил же... Мы-де думали, что государыня, увидя те милостивые письма, велит-де оному Макарову быть при доме своем, а ныне-де зделалось не так, и он-де, Самгин, спросил, для чего-де не так, и Путятин-де сказал: «Ныне при доме ее величества более все иноземцы»».

Самгин, как видим, переложил всю вину на плечи князя Путятина, справедливо полагая, что князь выдержит любые обвинения: к тому времени он был уже мертв.

Старался Иосия, видимо, зря, ибо Макаров признал, что говаривал ему и о получении милостивых писем от курляндской герцогини, и об изъятии этих писем комиссией Салтыкова, и, наконец, поделился с ним своей печалью: рассчитывал быть «при ее величестве, ан-де вот оставили при Камор-коллегии». Всеми этими мыслями Макаров, по собственному его признанию, делился с Иосией «спроста, яко отцу тогда духовному»¹³.

Супруга Макарова тоже призналась, что она в разговоре с Иосией сетовала на изъятие писем, потому что «он ей был отец духовной, чтоб об них помолился, что они по оному, Калинина, доношению имеют печаль; что-де присылаемые от ее императорского величества письма в комиссию отобраны у них». На это Иосия ответил:

— Молиться о том я рад, вы не печальтесь.

Макаров, однако, отрицал свою осведомленность о подробностях дела Зворыкина. Отвергал Макаров и обвинение в заступничестве за Самгина.

27 июня 1735 г. Тайная канцелярия получила доношение Феофана Прокоповича с разбором показаний Макарова и его супруги. Каждая фраза этого документа пышет подозрительностью и откровенной враждебностью к Макарову. «По моему мнению,— подчеркивал Феофан,—

неправо, и не по совести, и не так, как делалось, он, Алексей, ответственал». Он обнаружил в показаниях супругов разного рода разногласия и на этом основании считал их плодом неискренности, называя их «плутнями», «сказками, веры недостойными», «ложью». Феофан был убежден — точнее, делал вид, что убежден, — в существовании заговора, возглавляемого Макаровым, и требовал ответов от него и его супруги на новые вопросы: «Что с Иосиею говорили (или с другим кем) о воинстве российском, якобы уже слабом, и в какой силе? Что о скудости народа в недороде хлебном? Что о смерти и погребении государя Петра Первого? Что о титуле императорском? Что о возке по Волге корабельных материалов?» и т. п.

На все эти вопросы Макаров и его родственники дали ответы, исключавшие возможность состряпать обвинение. Все они отреклись от разговоров о войне с Польшей, о наследовании престола Анной Иоанновной, об осуждении проводившейся денежной реформы.

Выяснить, сколь откровенны были показания Макарова, и ответить на вопрос, имел ли Прокопович основание не доверять этим показаниям, источники не позволяют. Можно лишь с уверенностью сказать, что разговоры на рискованные политические темы в доме Макарова происходили и что отзвуки этих разговоров попали на страницы следственных документов. С такой же уверенностью можно утверждать, что Макаров в своих показаниях стремился придать этим разговорам лояльную либо невинную окраску. О денежной реформе, например, Макаров дал такие показания: «О переделе-де малых серебряных денег в рублевики и якобы то делаетца от иноземцов ко вреду государства, с Самгиным и з другими ни с кем никогда не говаривали». Более того, Макаров, по его словам, с похвалой отозвался о реформе: «И то-де изрядно для того, что-де мелкая монета тратитца».

Макаров и его супруга отрицали разговоры с кем-либо о преимуществе «иноземцов над российскими, о патриаршестве и Синоде». Что касается хлебного недорода и последовавшей за ним «скудости народной» (речь идет о неурожаях, поразивших огромную территорию Европейской России в 1733—1736 гг.), то Макаров об этом «говаривал, сожалея о крестьянх, что хлеб не родился».

Как ни стремился Прокопович — а вместе с ним и Остерман — придать процессу политический характер и представить Макарова главой заговора, этого ему сделать не удалось, что, однако, не помешало держать Макарова и его семью под домашним арестом. В 1736 г. умер главный обвинитель Макарова в этом процессе — Феофан Прокопович, но это обстоятельство не принесло облегчения Алексею Васильевичу и его семье. Сказывалась, видимо,

сила инерции, свойственная бюрократическому механизму,—его колесики продолжали вращаться в направлении, раз им приданном. Кроме того, и это главное, у кормила правления оставались два грозных противника Макарова—императрица и Остерман. Пройдет еще несколько лет, пока над его головой разразится возмездие.

3 апреля 1736 г. Алексей Васильевич подал императрице челобитную: год и пять месяцев он с семьей содержится «за крепким караулом, и пожитки не токмо мои и детей моих и платьишка, но и племянников моих, умершего брата пожитченки ж, платье и прочее тленное в нижней палате запечатаны и от сырости гниют»; без писем и вотчинных документов «деревеннишки мои от посторонних разоряютца, и оправдатца без крепостей нечем». Макаров просил императрицу: «...из-за караула нас освободить, также и пожитченки наши распечатать, а по делу моему милостивое решение учинить».

Ответа на челобитную не последовало. Прошло еще восемь месяцев, и Макаров обратился с новой жалобой на суровые условия заточения: «...и не только к нам кого, но и нас до церкви божии не допускают». Великодушные императрицы не простерлось дальше разрешения пользоваться опечатанными вещами, но без права их продажи и посещать церковь: «...по особливому нашему милосердию указали мы его, Макарова, арест таким образом облегчить, чтоб ему в церковь божию ехать и прочие домашние нужды исправлять позволено»¹⁴.

Видимо, с этой же челобитной были связаны изменения в судьбе конфискованных писем и прочих документов Макарова. Вопреки инструкции Извольскому немедленно доставить опечатанные бумаги Макарова в столицу они почти три года покоились в Москве. Лишь в сентябре 1737 г. четыре сундука, две скрини и две коробки с документами были привезены в Петербург. Понадобилось еще пять месяцев, чтобы Остерман удосужился повелеть Тайной канцелярии разобрать их, разделив на две категории: в первую включать «сумнительные» материалы, т. е. те, которые, возможно, пригодятся следствию; во вторую—документы, в которых «важности никакой не явилось»: крепости, векселя, ведомости, купчие и прочие бумаги хозяйственного содержания.

Медлительность Остермана красноречива. Она свидетельствует о том, что следствие не располагало обличительным материалом, чтобы отправить Макарова в ссылку или на эшафот. Отметим в этой связи, что приговор по делу монахов, к которому был привлечен Макаров, вынесли и привели в исполнение еще в конце 1738 г.: Яков Самгин и Григорий Зворыкин после вырезания ноздрей были сосланы—первый на Камчатку, второй в Охотск.

Понесли наказание и прочие подследственные. Только у одного Алексея Васильевича никаких перемен: его продолжали держать под домашним арестом, правда несколько ослабив режим.

Остается предположить, что у Остермана и императрицы были какие-то надежды привлечь Макарова к громкому процессу бывших «верховников», пытавшихся ограничить самодержавную власть Анны Иоанновны еще в 1730 г. В 1739 г. подвергся мучительной казни Артемий Петрович Вольтинский, первым осмелившийся решительно выступить против засилья немцев при дворе и громогласно заявивший: «Государыня у нас дура». Быть может, тюремщики Макарова надеялись, что кто-либо из Долгоруковых или Голицыных либо Вольтинский с сообщниками под жестокими пытками назовут и его имя. Этого не случилось.

Существует мнение, что Макаров был помилован. Оно основано на челобитной, поданной в 1741 г. сыном Алексея Васильевича Петром. В ней он писал, что по именному указу «показанной отец мой всемилостивейше освобожден, а в прошлом 740 году волею божиею умре». Однако из справки Тайной канцелярии следует, что указа «о свободе оного Макарова ис под караула» не было. В июне 1740 г., т. е. накануне смерти, Макаров подал челобитную Кабинету министров «о сотворении с ним милости», но она осталась без последствий¹⁵.

Таким образом, Алексей Васильевич Макаров испытал в полной мере жестокость мрачного времени, когда трон занимала Анна Иоанновна, а страной правил Остерман. В последнее десятилетие своей жизни он стал жертвой «остермановщины» и предстает как трагическая личность. Макаров принадлежал к числу первых русских людей, поднявших голос против немецкого засилья. Этот голос был еще глухим и робким, но спустя несколько лет его подхватил решительный и энергичный Артемий Петрович Вольтинский.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Подведем итоги. Сразу же оговоримся, что они являются предварительными, ибо опираются на изучение биографии не всех сподвижников Петра Великого. Будем надеяться, что продолжение работы над темой позволит в иных случаях уточнить, а в других — дополнить наши выводы.

Известный историк первой четверти прошлого столетия Н. М. Карамзин писал о людях, боровшихся за власть после смерти Петра: «...пигмеи спорили о наследии великана»¹. Тем самым он выразил негативное отношение к сподвижникам царя. Вряд ли можно согласиться с подобной оценкой тех, кто сотрудничал с Петром в годы тяжелой Северной войны и одерживал в ней победы, участвовал в административных реформах и поднимал культурный уровень страны, закладывал основы регулярной армии и создавал военно-морской флот, утверждал величие России на международной арене.

Три очерка, составляющие данную книгу, посвящены биографиям трех несхожих людей. Самой яркой фигурой среди них был, бесспорно, Петр Андреевич Толстой. Он вызывал чувство глубокой неприязни у Андрея Артамоновича Матвеева, сына боярина Артамона Сергеевича, убитого стрельцами во время бунта 15—17 мая 1682 г. Одним из виновников гибели его отца был Толстой, действовавший в интересах Милославских. И тем не менее Матвеев-младший характеризовал Петра Андреевича как человека острого ума. Репутацию умного, ловкого и проницательного деятеля Толстой сохранил и к исходу своей жизни. Французский посол Кампредон не жалел хвалебных эпитетов в его адрес: «Это человек даровитый, скромный и опытный»; «Это лучшая голова в России»; «Толстой самый доверенный и бесспорно самый искусный из министров царицы»; «Это человек тонкого ума, твердого характера и умеющий давать ловкий оборот делам, которым жelaет успеха»².

Кампредона можно было бы заподозрить в предвзятости, ибо он, как и прочие иностранные послы в Петербурге, не скупился на похвалы тем русским государственным деятелям, которые охотно шли ему на уступки. Но из очерка о Толстом нам известно, что дела Петра Андреевича подтверждают, а не опровергают характеристику Кампредона. Толстой служил делу Петра верно и преданно и без оглядки отдавал этой службе все свои недюжинные дарования.

Впрочем, один из младших современников Толстого — родоначальник русской исторической науки В. Н. Татищев придерживался противоположного мнения. Он осуждал Петра Андреевича за лицемерие, жестокость, способность губить людей «украдкой», т. е. тайно, исподтишка. Татищев поставил Толстого рядом с Иваном Михайловичем Милославским и Андреем Ивановичем Остерманом, почитая их всех за людей, «весьма хитро свое коварство закрывать и погубление на других отводить умеющих. Да где их все ухищрение, не все ли с их жизнью, славою и честью погибло, а поношение вовек пребудет»³.

Татищев не сообщает фактов, давших ему основание выдвинуть столь суровое обвинение против Толстого, равно как против Милославского и проходимца Остермана. Вероятно, он имел в виду факты, зарегистрированные источниками. Но быть может, Татищеву были известны и другие такого же рода грехи Петра Андреевича, не оставившие никаких следов в сохранившихся документах. Дело в конечном счете не в том, прибавится ли к известным нам фактам вероломства Толстого еще один-два, а в том, что нравственные критерии не применимы ни к дипломатам, ни к государственным деятелям тех времен.

Поле деятельности Петра Андреевича — дипломатия. Занятие этим ремеслом не всегда предполагало наличие чистых рук. В ход пускалось все, что обеспечивало успех: обман, шантаж, подкупы, вероломство, лицемерие и даже убийство. После чтения донесений Толстого о том, как он использовал все рычаги давления на царевича Алексея, чтобы добиться от него согласия вернуться в Россию, или о том, как он скупал оптом и в розницу османских министров, у читателя может создаться впечатление, что Толстой был злодеем или, во всяком случае, человеком, лишенным элементарной нравственности. Нельзя, однако, игнорировать то обстоятельство, что Толстой-дипломат, как и русская дипломатия в целом, всего лишь постигал азы европейской дипломатической службы, весьма неразборчивой в средствах достижения цели. Петр Андреевич руководствовался не своекорыстными, а государственными интересами, и его действия вознаграждались в той мере, в какой они способствовали укреплению либо мощи государства, либо позиции монархов.

В ином ракурсе выглядит Толстой в общении с Петром и его министрами, а также в семейном кругу. Здесь он предстает и преданным слугой, и добрым порядочным семьянином, заботливым супругом и отцом.

Иные черты были присущи Борису Петровичу Шереметеву. По своему мироощущению, привычкам это был человек XVII в., волей судьбы заброшенный в бурное время петровских преобразований. Он и не порвал с

прошлым, и полностью не воспринял настоящее, точнее, не смог превозмочь себя, чтобы органически слиться с этим настоящим. Из XVII в. он прихватил черты патриархального воеводы и представления о военном искусстве, определяющим признаком которого являлось не умение, а число. В петровское время он приобрел навыки в создании и управлении регулярным войском, более мобильным и боеспособным, чем поместная конница прошедшего века. В сплаве этих двух качеств и формировался полководец Шереметев. Его главная сфера деятельности — поле брани, и Россия ему была обязана первыми военными победами.

Присущее Шереметеву сочетание названных выше качеств определяло отношение царя к своему фельдмаршалу. Оно никогда не было теплым, и в то же время его нельзя назвать враждебным. Борис Петрович с завидным терпением переносил постоянные понукания Петра, чаще всего являвшиеся результатом его медлительности, иногда брюзжал, но никогда не уклонялся от любых поручений царя и с чувством долга их выполнял. Последнее обстоятельство необходимо подчеркнуть в связи с тем, что в литературе бытует пущенная князем М. М. Щербатовым молва о словах, будто бы сказанных Борисом Петровичем, когда он отказался участвовать в суде над царевичем Алексеем: «...служить своим государям, а не судить его кровь моя есть должность».

Письма Шереметева кабинет-секретарю Макарову, князю Меншикову, адмиралу Апраксину и самому царю дают основание отклонить версию Щербатова: на подобную демонстрацию фельдмаршал был не способен не только на исходе своих сил, но и в годы их расцвета.

В отличие от Толстого и Шереметева, пользовавшихся большей или меньшей самостоятельностью и силой обстоятельств вынужденных иногда принимать собственные решения, Алексей Васильевич Макаров подобных трудностей не испытывал: он всегда был при Петре, неукоснительно следовал за ним, куда бы тот ни направлялся, хотя бы на курорт.

Конечно же могучая фигура Петра заслоняла Макарова, но, присмотревшись к деятельности его кабинет-секретаря, можно без риска ошибиться сказать, что Алексей Васильевич принадлежал к числу самых доверенных лиц царя и был неременным его помощником во всех преобразовательных начинаниях. Если Петра можно сравнить с маховым колесом, приводящим в движение весь правительственный механизм, то Макаров выполнял функции приводного ремня.

Через руки Макарова проходили все донесения Петру, равно как и указы, исходившие от царя, каких бы вопросов они ни касались: военных, дипломатических или

относившихся к внутренней жизни страны. И все же главным поприщем, где Макаров, проявляя необыкновенное трудолюбие, феноменальную работоспособность и высочайшую степень организованности, значительно облегчал титанический труд Петра Великого, был «распорядок».

Петр, поучая как-то своего сына, заявил, что управление страной складывается из двух забот: «распорядка и обороны». Шереметев и Толстой подвизались в области «обороны», полем деятельности Макарова был «распорядок». Яркие и непохожие индивидуальности, они дополняли друг друга, создавая, выражаясь спортивным языком, единую команду. В конечном счете деятельность каждого из них, направляемая твердой рукой Петра, была подчинена его воле.

Но вот Петра не стало. При нем они блистали, после его смерти блеск потускнел, и создается впечатление, что вместо личностей выдающихся у трона стали копошиться заурядные люди, лишённые государственной мудрости. Они продолжали дело Петра скорее в силу инерции, чем вследствие творческого восприятия полученного наследия и четких представлений, как им распорядиться. Более того, современники стали свидетелями острого соперничества за власть, начавшегося у еще не остывшего тела Петра и продолжавшегося свыше полутора десятков лет.

Эта метаморфоза была обусловлена абсолютистским режимом, признававшим покорность и слепое повиновение и ограничивавшим проявление у соратников Петра инициативы, воли и самостоятельности не только в действиях, но и в мышлении. Режим воспитывал деятелей особого рода, главным достоинством которых являлась исполнительность. Петр умел подавить соперничество и противоречия между своими соратниками в самом их зародыше. Свары выносились наружу лишь изредка, как это, например, случилось в Сенате в 1722 г., когда царь, предводительствуя войсками, отправился в Каспийский поход. После смерти Петра соперничество в борьбе за власть стало нормой жизни его сподвижников.

Абсолютистский режим уготовил сподвижникам Петра еще одну общность, относящуюся к их судьбам: почти все они плохо кончили. Вспомним трагическую судьбу Меншикова, коротавшего последние месяцы своей жизни в глухом Березове, или Толстого, скончавшегося ссылкой на Соловках, опалу Макарова и завершение жизненного пути на эшафоте Голицыными и Долгоруковыми. По трупам соперников уверенно и медленно продвигался к вершинам власти лишь ловкий Остерман. Система правления имела самое прямое отношение к этим падениям, ибо самодержавный строй ставил как возвышение, так и опалу

государственных деятелей в прямую зависимость от личных качеств монархов: их способностей, вкусов, представлений о своей роли в государстве и т. п. Совершенно очевидно, что бездарным наследникам Петра оказались не ко двору его незаурядные сподвижники.

При Петре никто из них не осмеливался навязывать ему свою волю и править страной его именем. При ничтожных преемниках Петра Великого такие возможности появились. Короче, с соратниками Петра, многих из которых можно назвать людьми одаренными, произошло то же самое, что и с маршалами Наполеона, низведенными до положения заурядных людей после того, как их гениальный повелитель сошел с исторической сцены.

«...История вся слагается именно из действий личностей, представляющих из себя несомненно деятелей»⁴, — писал В. И. Ленин. В настоящих очерках мы проследили жизненный путь трех «несомненно деятелей». Их жизнеописание поучительно в нескольких аспектах. С одной стороны, каждый из них — аристократ Шереметев, представитель посада Макаров и потомок помещиков средней руки Толстой — служил одному классу — дворянству, точнее, средним его слоям, вождем которых являлся Петр Великий. Само собою разумеется, что их служба в условиях того времени укрепляла позиции этого класса в феодальном обществе России.

С другой стороны, надобно подчеркнуть социальную среду, из которой царь рекрутировал сподвижников. То, что она была разнородной, мы отмечали в начале книги. Здесь отметим способность царя привлекать на службу одаренных представителей «подлых» сословий, таких, как Макаров, Курбатов и др. В связи с этим вспомним вещице слова К. Маркса: «Чем более способен господствующий класс принимать в свою среду самых выдающихся людей из угнетенных классов, тем прочнее и опаснее его господство»⁵.

Важный итог деятельности «птенцов гнезда Петрова» состоит в том, что каждый из них вносил свою лепту в укрепление могущества России и превращение ее в великую европейскую державу.

ИСТОЧНИКИ И ЛИТЕРАТУРА

ВВЕДЕНИЕ (с. 5—10)

¹ *Шафиров П. П.* Разсуждение о причинах Свейской войны. СПб., 1722, с. 205.

² *Прокопович Феофан.* Слова и речи, ч. II. СПб., 1761, с. 139.

³ *Посошков И. Т.* Книга о скудости и богатстве. М., 1951, с. 96, 99.

⁴ Песни, собранные П. В. Киреевским, вып. 8. М., 1870, с. 173.

⁵ Письма русских государей и других особ царского семейства, вып. 1. М., 1861, с. 21.

⁶ *Пушкин А. С.* Полн. собр. соч., т. IV. Л., 1977, с. 214.

⁷ Записки путешествия Б. П. Шереметева. М., 1773; Переписка фельдмаршалов Ф. А. Головина и Б. П. Шереметева в 1705—1706 гг. М., 1851; Сб. РИО, т. 25. СПб., 1878; Фельдмаршал граф Б. П. Шереметев. Военно-походный журнал 1711 и 1712 гг. СПб., 1898; Архив села Вошажникова, вып. 1. М., 1901; Постепенное развитие русской регулярной конницы в эпоху Великого Петра (далее—Постепенное развитие...), вып. 1—3. СПб., 1912; Письма и бумаги императора Петра Великого (далее—П и Б), т. I—VII. СПб., 1887—1917; т. VIII—XII. М., 1946—1975; *Мышлаевский А. З.* Северная война 1708. СПб., 1901; *Шереметев С.* Схимонахиня Нектария. М., 1909.

⁸ Жизнь, анекдоты, военные и политические деяния российского генерал-фельдмаршала графа Бориса Петровича Шереметева. СПб., 1808; *Заозерский А. И.* Фельдмаршал Шереметев и правительственная среда Петровского времени.—Россия в период реформ Петра I. М., 1973.

⁹ *Толстой П. А.* Дневник, писанный им во время путешествия в Италию и на остров Мальту в 1697—1698 гг.—Русский архив, 1888, кн. 2—8; *Тальман И. М.* Турция накануне и после Полтавской битвы. М., 1977; *Сергеев А. А.* Состояние народа турецкого, описанное графом П. А. Толстым. Симферополь, 1914; *Попов Н. А.* Путешествие в Италию и на остров Мальту стольника П. А. Толстого.—Атеней, т. 2. М., 1859; *его же.* Из жизни П. А. Толстого, одного из следователей по делу царевича Алексея Петровича.—Русский вестник, 1860, № 11; *Ковалевский Е. П.* Суд над графом Девиером и его соучастниками.—Соч., т. 1. СПб., 1871; *Павлов-Сильванский Н. П.* Граф Петр Андреевич Толстой.—Соч., т. II. СПб., 1910.

¹⁰ *Крылова Т. К.* Русско-турецкие отношения во время Северной войны.—Исторические записки, т. 10. М., 1941; *ее же.* Полтавская победа и русская дипломатия.—Петр Великий. М., 1947; *ее же.* Русская дипломатия на Босфоре в начале XVIII в. (1700—1709).—Исторические записки, т. 65. М., 1959; *Глаголева А. П.* Русско-турецкие отношения

перед Полтавским сражением.—Сб. Полтава. М., 1959; *Орешкова С. Ф.* Русско-турецкие отношения в начале XVIII в. М., 1971; *Устрялов Н. Г.* История царствования императора Петра Великого, т. VI. СПб., 1863.

¹¹ *Шереметевский В. В.* Дело следственной о кабинет-секретаре Петра I А. В. Макарове комиссии (1732—1734).—Описание документов и бумаг, хранящихся в Московском архиве Министерства юстиции, кн. 6. М., 1889; 200-летие Кабинета е. и. в. 1704—1904. СПб., 1911; *Чистович И. А.* Феофан Прокопович и его время. СПб., 1868.

¹² *Маркс К., Энгельс Ф.* Соч., т. 7, с. 280.

БОРИС ПЕТРОВИЧ ШЕРЕМЕТЕВ

НАЧАЛО ПУТИ (с. 12—21)

¹ Сб. РИО, т. 25. СПб., 1878, с. 310, 312.

² ЛОИИ, ф. Походная канцелярия князя Меншикова (далее—ф. 83), оп. 1, карт. 4, д. 42, л. 1.

³ *Корб И. Г.* Дневник путешествий в Московию 1698 и 1699 гг. СПб., 1906, с. 254.

⁴ *Невиль.* Записки.—Русская старина, 1891, т. 72, с. 245.

⁵ Записки путешествия Б. П. Шереметева. М., 1773, с. 1, 21.

⁶ *Корб И. Г.* Указ. соч., с. 98.

⁷ *Шереметев Б. П.* Указ. соч., с. 25, 42, 74, 81, 49, 54, 39, 67, 34.

⁸ *Корб И. Г.* Указ. соч., с. 127.

ПЕРВЫЕ ПОБЕДЫ (с. 21—39)

¹ *Устрялов Н. Г.* История царствования императора Петра Великого, т. IV, ч. 2. СПб., 1863, с. 168.

² П и Б, т. I. СПб., 1887, с. 407.

³ История Свейской войны.—Журнал, или Поденная записка императора Петра Великого, ч. 1. М., 1770, с. 25, 26.

⁴ П и Б, т. I, с. 423.

⁵ *Устрялов Н. Г.* Указ. соч., с. 167.

⁶ Записки И. А. Желябужского.—Записки русских людей. СПб., 1841, с. 81, 82.

⁷ Постепенное развитие..., вып. 1, кн. 1. СПб., 1912, с. 50; кн. 3. СПб., 1912, с. 237, 238.

⁸ Журнал, или Поденная записка императора Петра Великого, с. 38.

⁹ Постепенное развитие..., вып. 1, кн. 3, с. 341.

¹⁰ Военно-походный журнал Шереметева.—Материалы военного архива Главного штаба. СПб., 1871, с. 90.

¹¹ Записки русских людей, с. 84.

¹² Постепенное развитие..., вып. 1, кн. 1, с. 89, 78, 79.

¹³ П и Б, т. II. СПб., 1889, с. 79.

¹⁴ Постепенное развитие..., вып. 1, кн. 1, с. 110, 111.

¹⁵ П и Б, т. II, с. 84.

¹⁶ *Соловьев С. М.* История России с древнейших времен, кн. IX. М., 1963, с. 644.

¹⁷ *Устрялов Н. Г.* Указ. соч., т. IV, ч. 1. СПб., 1863, с. 132.

¹⁸ П и Б, т. II, с. 75.

¹⁹ Там же, с. 82, 83.

²⁰ Там же, с. 92.

²¹ Там же, с. 451.

²² ЦГАДА, ф. Сношения России со Швецией, 1706 г., д. 6, л. 66. Пользуюсь случаем, чтобы поблагодарить Р. В. Овчинникова, указавшего это дело.

²³ П и Б., т. II, с. 138.

²⁴ Там же, с. 140.

²⁵ *Устрялов Н. Г.* Указ. соч., т. IV, ч. 1, с. 277.

НОВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ (с. 39—58)

¹ П и Б, т. III. СПб., 1893, с. 53, 69, 613, 71.

² Постепенное развитие..., вып. 1, кн. 1, с. 266; кн. 3, с. 372.

³ П и Б, т. III, с. 94.

⁴ *Палли Х. Э.* Между двумя боями за Нарву.—Эстония в первые годы Северной войны 1701—1704. Таллин, 1966, с. 237.

⁵ П и Б, т. III, с. 112, 657.

⁶ Там же, с. 192, 711.

⁷ Там же, т. I, с. 771, 113.

⁸ П и Б, т. II, с. 485.

⁹ ЦГАДА, Госархив, Разряд IX, 2-е отд., кн. 24, л. 833; Русский архив, 1909, кн. 2, с. 173, 174.

¹⁰ П и Б, т. II, с. 79, 170.

¹¹ Постепенное развитие..., вып. 1, кн. 2. СПб., 1912, с. 64, 86, 286.

¹² П и Б, т. III, с. 296.

¹³ Там же, с. 391.

¹⁴ *Голикова Н. Б.* Из истории классовых противоречий в русской армии.—Полтава, М., 1959, с. 271.

¹⁵ *Устрялов Н. Г.* Указ. соч., т. IV, ч. 2, с. 425.

¹⁶ П и Б, т. III, с. 449.

¹⁷ *Голикова Н. Б.* Астраханское восстание 1705—1706 гг. М., 1975, с. 207.

¹⁸ Переписка фельдмаршалов Ф. А. Головина и Б. П. Шереметева в 1705—1706 гг. М., 1851, с. 7, 10.

¹⁹ П и Б, т. IV, вып. 1. СПб., 1900, с. 7.

²⁰ *Устрялов Н. Г.* Указ. соч., т. IV, ч. 1, с. 504.

²¹ П и Б, т. IV, вып. 1, с. 406.

²² Переписка фельдмаршалов..., с. 21.

²³ П и Б, т. III, с. 449; т. IV, вып. 2. СПб., 1900, с. 623.

²⁴ П и Б, т. III, с. 527; т. IV, вып. 1, с. 91, 189.

²⁵ П и Б, т. IV, вып. 1, с. 189.

²⁶ *Голикова Н. Б.* Астраханское восстание..., с. 291, 298, 299.

²⁷ *Устрялов Н. Г.* Указ. соч., т. IV, ч. 2, с. 404.

²⁸ П и Б, т. IV, вып. 2, с. 770—771, 758.

²⁹ Устрялов Н. Г. Указ. соч., т. IV, ч. 2, с. 427.

ВНОВЬ В ДЕЙСТВУЮЩЕЙ АРМИИ (с. 58—90)

¹ ЦГАДА, ф. Сношения России со Швецией, 1706 г., д. 6, л. 78.

² Мышлаевский А. З. Северная война 1708. СПб., 1901, с. 2, 16.

³ П и Б, т. VII, вып. 1. Пг., 1918, с. 85.

⁴ Гилленкрок А. Современные сказания о походе Карла XII в Россию.—Военный журнал, 1844, № 6, с. 26—28.

⁵ П и Б, т. VII, вып. 1, с. 45, 72; ЦГАДА, ф. Сношения России с Турцией (далее—ф. 89), 1713 г., оп. 1, д. 7, л. 213.

⁶ ЛОИИ, ф. 83, оп. 1, карт. 4, д. 58, л. 1; д. 76, л. 1.

⁷ ЛОИИ, ф. 83, оп. 1, карт. 2, д. 251, л. 1; д. 222-а, л. 1; карт. 4, д. 83, л. 2; карт. 7, д. 113, л. 1.

⁸ ЛОИИ, ф. 83, оп. 1, карт. 2, д. 282, л. 2; карт. 5, д. 160-а, л. 2; карт. 4, д. 189-а, л. 1; карт. 2, д. 251, л. 1; карт. 4, д. 93, л. 3.

⁹ Мышлаевский А. З. Указ. соч. Приложение, с. 3, 4.

¹⁰ Сб. РИО, т. 39. СПб., 1884, с. 457, 458.

¹¹ Мышлаевский А. З. Указ. соч., с. 37, 78, 79.

¹² Гилленкрок А. Указ. соч.—Военный журнал, 1844, № 6, с. 32.

¹³ Мышлаевский А. З. Указ. соч. Приложение, с. 32, 33.

¹⁴ П и Б, т. VIII, вып. 1, с. 15.

¹⁵ Журнал, или Поденная записка императора Петра Великого, ч. I, с. 184—185, 200.

¹⁶ П и Б, т. IX, вып. 1. М., 1950, с. 103.

¹⁷ Гилленкрок А. Указ. соч.—Военный журнал, 1844, № 6, с. 82—85.

¹⁸ Труды русского военно-исторического общества, т. IV. СПб., 1909, с. 117; т. III. СПб., 1909, с. 269.

¹⁹ П и Б, т. IX, вып. 1, с. 287, 333; вып. 2, с. 1163.

²⁰ Там же, т. X. М., 1956, с. 95.

²¹ Сб. РИО, т. 25, с. 192, 194.

²² Гельмс И. А. Достоверное описание города Риги.—Сборник материалов и статей по истории Прибалтийского края, т. II. Рига, 1879, с. 437, 438.

²³ П и Б, т. X, с. 222, 229, 247.

²⁴ Сб. РИО, т. 25, с. 312.

²⁵ П и Б, т. X, с. 442.

²⁶ П и Б, т. XI, вып. 1. М., 1962, с. 43, 44, 177.

²⁷ Мышлаевский А. З. Война с Турцией 1711 г. СПб., 1898, с. 34.

²⁸ П и Б, т. XI, вып. 1, с. 178, 285, 287.

²⁹ ЛОИИ, ф. 83, оп. 1, карт. 16, д. 4-б, л. 1.

³⁰ ЦГАВМФ, ф. Канцелярия графа Апраксина, кн. 12, л. 162.

³¹ П и Б, т. XI, вып. 1, с. 285, 286, 547.

³² Мышлаевский А. З. Война с Турцией 1711 г., с. 123, 124, 26.

³³ Юст Юль. Записки. М., 1910, с. 372.

³⁴ Мышлаевский А. З. Война с Турцией 1711 г., с. 112, 120, 127, 132, 260.

- ³⁵ П и Б., т. XI, вып. 1, с. 190.
³⁶ Там же, с. 317, 583.
³⁷ Там же, вып. 2. М., 1964, с. 616.
³⁸ Военно-походный журнал фельдмаршала графа Б. П. Шереметева, СПб., 1898, с. 82—94.
³⁹ Сб. РИО, т. 25, с. 330, 343, 344, 328, 329.

СЕМЕЙНЫЕ РАДОСТИ И ПЕЧАЛИ (с. 90—108)

- ¹ Сб. РИО, т. 25, с. 329.
² ЦГАДА, Госархив, Разряд IX, 1-е отд. Тетради записные, 1713 г., л. 28; 2-е отд., кн. 24, л. 805.
³ Долгорукова Н. Б. Своеручные записки. СПб., 1912, с. 17.
⁴ Военно-походный журнал фельдмаршала графа Б. П. Шереметева 1711 и 1712 гг. СПб., 1898, с. 189.
⁵ Соловьев С. М. Указ. соч., кн. VIII. М., 1962, с. 409, 410; ЦГАДА, ф. 89, 1713 г., д. 1, л. 13, 14.
⁶ ЦГАДА, Госархив, Разряд IX, 2-е отд., кн. 22, л. 457.
⁷ Сб. РИО, т. 25, с. 386.
⁸ ЦГАДА, Госархив, Разряд IX, 2-е отд., кн. 22, л. 705.
⁹ Сб. РИО, т. 61, СПб., 1888, с. 354.
¹⁰ Шереметев С. Схимонахиня Нектария. М., 1909, с. 15.
¹¹ ЛОИИ, ф. 83, оп. 3, д. 12, л. 4, 13, 10.
¹² Сб. РИО, т. 25, с. 399.
¹³ ЛОИИ, ф. 83, оп. 3, д. 12, л. 105, 111, 112.
¹⁴ Там же, л. 122, 135.
¹⁵ Шереметев С. Указ. соч., с. 15.
¹⁶ Устрялов Н. Г. Указ. соч., т. VI. СПб., 1859, с. 508.
¹⁷ ЦГАДА, Госархив, Разряд IX, 2-е отд., кн. 37, л. 72, 73; ф. 198, д. 1046, л. 22.
¹⁸ Шереметев С. Указ. соч., с. 18.
¹⁹ ЦГАДА, ф. Сношения России со Швецией, 1706 г., д. 6, л. 40; Переписка фельдмаршалов..., с. 53.
²⁰ ЛОИИ, ф. 83, оп. 1, карт. 11, д. 288, л. 1; карт. 12, д. 7, л. 1.
²¹ Сб. РИО, т. 25, с. 325.
²² Архив села Вожажникова, вып. 1. М., 1901, с. 35, 36, 21, 27.
²³ Шереметев С. Указ. соч., с. 45, 69.
²⁴ Архив села Вожажникова, вып. 1, с. 96, 99, 11, 16, 26.
²⁵ Голиков И. И. Деяния Петра Великого, т. VII. М., 1838, с. 386.
²⁶ ЦГАДА, Госархив, Разряд IX, 2-е отд., кн. 37, л. 71, 76; кн. 36, л. 174, 176, 198.
²⁷ Песни, собранные П. В. Киреевским, вып. 8, с. 131—132.

ПЕТР АНДРЕЕВИЧ ТОЛСТОЙ

ДЕДУШКА В ВОЛОНТЕРАХ (с. 110—128)

¹ Берхгольц Ф. В. Дневник камер-юнкера, ч. 4. М., 1903, с. 25, 42.

² Архив внешней политики России (далее — АВПР), ф. Внутренние коллежские дела, 1729 г., д. 4173, л. 8—10.

³ ЦГАДА, ф. Разрядный приказ, Московский стол, д. 532, л. 103; д. 551, л. 69; д. 596, л. 153.

⁴ АВПР, ф. Сношения России с Францией, 1729 г., д. 1, л. 1.

⁵ История о невинном заточении ближнего боярина Артамона Сергеевича Матвеева. СПб., 1776, с. 380, 381.

⁶ Записки Андрея Артамоновича Матвеева.— Записки русских людей. СПб., 1841, с. 19, 21.

⁷ Толстой П. А. Дневник, писанный им во время путешествия в Италию и на остров Мальту в 1697—1698 гг.—Русский архив, 1888, кн. 2, с. 174; кн. 3, с. 334, 336, 338. См. также: Шереметев П. Владимир Петрович Шереметев, ч. 1. М., 1913, с. 130—152; Попов Н. А. Из жизни П. А. Толстого, одного из следователей по делу царевича Алексея Петровича.—Русский вестник, 1860, № 11; его же. Путешествие в Италию и на остров Мальту стольника П. А. Толстого.—Атеней, т. 2. М., 1859.

⁸ Толстой П. А. Указ. соч.—Русский архив, 1888, кн. 5, с. 25, 37; кн. 6, с. 147, 148, 151, 118.

⁹ Русский архив, 1888, кн. 3, с. 340, 341; кн. 6, с. 120, 135.

¹⁰ Русский архив, 1888, кн. 7, с. 236, 259, 235—237.

¹¹ Русский архив, 1888, кн. 6, с. 118; кн. 7, с. 264.

¹² Русский архив, 1888, кн. 4, с. 532, 541, 547, 549; кн. 7, с. 380.

¹³ Русский архив, 1888, кн. 4, с. 547, 550; кн. 5, с. 50; кн. 7, с. 260; кн. 8, с. 380.

¹⁴ Русский архив, 1888, кн. 5, с. 29.

¹⁵ Русский архив, 1888, кн. 4, с. 529; кн. 5, с. 42, 47.

¹⁶ Русский архив, 1888, кн. 4, с. 527, 528.

¹⁷ Русский архив, 1888, кн. 3, с. 350, 352.

¹⁸ Русский архив, 1888, кн. 5, с. 28, 29, 35, 46, 50.

¹⁹ Там же, с. 16—19, 26, 36; кн. 6, с. 129—132; кн. 7, с. 231—233.

²⁰ Русский архив, 1888, кн. 3, с. 367; кн. 4, с. 510, 514.

²¹ Русский архив, 1888, кн. 8, с. 390, 400.

В СТАМБУЛЕ (с. 128—178)

¹ П и Б, т. II. СПб., 1889, с. 53.

² ЦГАДА, ф. 89, 1702 г., д. 1, л. 49; 84, 105.

³ П и Б., т. II, с. 55; ЦГАДА, ф. 89, 1705 г., д. 4, л. 53.

⁴ ЦГАДА, ф. 89, 1703 г., д. 3, л. 492; 1702 г., д. 2, л. 172.

⁵ ЦГАДА, ф. 89, 1707 г., д. 3, л. 169; 1708 г., д. 2, л. 196.

⁶ ЦГАДА, ф. 89, 1706 г., д. 3, л. 292.

⁷ ЦГАДА, ф. 89, 1704 г., д. 3, л. 31, 32, 37, 38, 79.

⁸ ЦГАДА, ф. 89, 1706 г., д. 3, л. 133, 137, 206, 223, 224, 293.

⁹ *Сергеев А. А.* Состояние народа турецкого, описанное графом П. А. Толстым. Симферополь, 1914.

¹⁰ ЦГАДА, ф. 89, 1702 г., д. 2, л. 112, 115, 148.

¹¹ ЦГАДА, ф. 89, 1703 г., д. 3, л. 40—42, 58, 205, 238, 423, 430.

¹² Там же, л. 448, 462, 484, 493.

¹³ *Сергеев А. А.* Указ. соч., с. 12—15, 28, 29 и сл.

¹⁴ ЦГАДА, ф. 89, 1704 г., д. 3, л. 409, 477; 1705 г. д. 4, л. 119, 130.

¹⁵ *Соловьев С. М.* История России с древнейших времен, кн. 8. М., 1962, с. 61—66.

¹⁶ АВПР, ф. Сношения России с Францией, 1729 г., д. 1, л. 3. См. также: *Толстой М.* Краткое описание жизни Петра Андреевича Толстого. Сочинение французского резидента Виллардо.—Русский архив, 1896, кн. 1. с. 20—28. В «Кратком описании жизни Петра Андреевича Толстого» названа сумма не 200 тыс. золотых, а 20 тыс. руб.

¹⁷ ЦГАДА, ф. 89, 1702 г., д. 1, л. 4, 268; 1703 г., д. 3, л. 188; 1704 г., д. 3, л. 73.

¹⁸ ЦГАДА, ф. 89, 1705 г., д. 4, л. 169; 1706 г., д. 3, л. 16.

¹⁹ ЦГАДА, ф. 89, 1705 г., д. 4, л. 131, 203; 1704 г., д. 3, л. 126; 1707 г., д. 3, л. 355.

²⁰ ЦГАДА, ф. 89, 1703 г., д. 2, л. 194; д. 3, л. 459, 460, 44, 484; 1705 г., д. 4, л. 2, 153.

²¹ ЦГАДА, ф. 89, 1705 г., д. 4, л. 3; 1708 г., д. 2, л. 134—137.

²² ЦГАДА, ф. 89, 1704 г., д. 3, л. 44, 127.

²³ ЦГАДА, ф. 89, 1702 г., д. 2, л. 373.

²⁴ ЦГАДА, ф. 89, 1703 г., д. 3, л. 45, 201, 208.

²⁵ ЦГАДА, ф. 89, 1704 г., д. 3, л. 42; 1705 г., д. 4, л. 167.

²⁶ ЦГАДА, ф. 89, 1704 г., д. 3, л. 327, 329.

²⁷ ЦГАДА, ф. 89, 1707 г., д. 3, л. 96, 72, 73, 90, 96, 106.

²⁸ ЦГАДА, ф. 89, 1708 г., д. 2, л. 13—16, 19, 76.

²⁹ Там же, л. 90, 174, 266, 272, 287.

³⁰ ЦГАДА, ф. 89, 1709 г., д. 1, л. 58, 65, 81, 100, 121, 141.

³¹ Там же, л. 450, 494, 495; *Глаголева А. П.* Русско-турецкие отношения перед Полтавским сражением.—Сб. Полтава. М., 1959; *Тальман И. М.* Турция накануне и после Полтавской битвы. М., 1977, с. 42.

³² ЦГАДА, ф. 89, 1710 г., д. 5, л. 1—5; *Тальман И. М.* Указ. соч., с. 43, 57 и сл.

³³ ЦГАДА, ф. 89, 1704 г., д. 3, л. 336.

³⁴ ЦГАДА, ф. 89, 1704 г., д. 3, л. 372.

³⁵ ЦГАДА, ф. 89, 1703 г., д. 3, л. 390; 1704 г., д. 3, л. 309; 1706 г., д. 3, л. 96, 113, 126.

³⁶ ЦГАДА, ф. 89, 1703 г., д. 3, л. 385, 440.

³⁷ Там же, л. 380; 1704 г., д. 3, л. 42, 191—193, 342, 343.

³⁸ ЦГАДА, ф. 89, 1705 г., д. 4, л. 61, 261, 43.

³⁹ ЦГАДА, ф. 89, 1704 г., д. 3, л. 191, 343, 375; 1705 г., д. 4, л. 79.

⁴⁰ ЦГАДА, ф. 89, 1702 г., д. 2, л. 363, 371; 1704 г., д. 3, л. 29.

⁴¹ ЦГАДА, ф. 89, 1706 г., д. 3, л. 227; 1704 г., д. 3, л. 166.

⁴² ЦГАДА, ф. 89, 1702 г., д. 2, л. 126; 1703 г., д. 3, л. 1, 12; 1705 г., д. 4, л. 167; 1707 г., д. 3, л. 179.

⁴³ ЦГАДА, ф. 89, 1706 г., д. 3, л. 301; 1703 г., д. 3, л. 252.

- ¹ ЦГАДА, ф. 198, д. 963, л. 27—29, 32, 33.
- ² Устрялов Н. Г. История царствования Петра Великого, т. VI. СПб., 1859, с. 358, 359, 88, 383—387.
- ³ Там же, с. 388—389.
- ⁴ Там же, с. 402—406, 411.
- ⁵ Там же, с. 420, 421.
- ⁶ ЦГАДА, Госархив, Разряд VI, д. 24, л. 3.
- ⁷ Устрялов Н. Г. Указ. соч., т. VI, с. 416, 418, 421, 422.
- ⁸ АВПР, ф. Сношения России с Францией, 1729 г., д. 1, л. 5.
- ⁹ Устрялов Н. Г. Указ. соч., т. VI, с. 422, 423, 437, 501.
- ¹⁰ Там же, с. 425, 427, 429, 489.
- ¹¹ Там же, с. 445, 516, 523, 532, 537.
- ¹² Там же, с. 578, 612, 613.
- ¹³ Веретенников В. И. История Тайной канцелярии петровского времени. Харьков, 1910, с. 118, 112, 195, 196, 124, 222.
- ¹⁴ Павлов-Сильванский Н. П. Граф Петр Андреевич Толстой.— Очерки по русской истории XVIII—XIX вв. СПб., 1910, с. 32; Никифоров Л. А. Внешняя политика России в последние годы Северной войны. Ништадтский мир. М., 1959, с. 103—119.

В ЗАТОЧЕНИИ (с. 202—232)

- ¹ Толстой Л. Н. Полн. собр. соч., т. 61. М., 1953, с. 290—291.
- ² Ковалевский Е. П. Собр. соч., т. I. СПб., 1871. См. также: Попов Н. А. Сведения о пребывании гр. П. А. Толстого в ссылке.— Древняя и Новая Россия, 1875, № 11; Елископ Макарий. Последние дни графов Петра и Ивана Толстых.— ЧОИДР, 1880, кн. III.
- ³ ЦГАДА, Госархив, Разряд VI, д. 159, ч. 5, л. 3.
- ⁴ ЦГАДА, Госархив, Разряд XI, д. 53, ч. 6, л. 56; Сб. РИО, т. 3. СПб., 1868, с. 471.
- ⁵ ЦГАДА, Госархив, Разряд XI, д. 53, ч. 6, л. 56—62.
- ⁶ ЦГАДА, ф. Походной и домовою канцелярии А. Д. Меншикова, д. 242, л. 6, 9.
- ⁷ ЦГАДА, Госархив, Разряд VI, д. 159, ч. 5, л. 7—12, 22, 49.
- ⁸ Там же, л. 40, 30, 77, 53.
- ⁹ Там же, л. 78, 80, 128, 117, 118.
- ¹⁰ Там же, л. 123—126.
- ¹¹ Там же, л. 134; ч. 1, л. 63, 66; ч. 5, л. 207, 208, 175; ПСЗ, т. VII № 5084, с. 798—800.
- ¹² ЦГАДА, Госархив, Разряд VI, д. 159, ч. 5, л. 124, 125.
- ¹³ Там же, л. 33, 23, 26, 52.
- ¹⁴ АВПР, ф. Сношения России с Францией, 1729 г., д. 1, л. 9.
- ¹⁵ ЦГАДА, Госархив, Разряд VI, д. 159, ч. 5, л. 20, 21.
- ¹⁶ Там же, л. 258, 260.
- ¹⁷ Там же, л. 137, 246; ч. 2, л. 57.
- ¹⁸ Там же, ч. 4, л. 190—193.
- ¹⁹ Там же, ч. 2, л. 55, 54, 59; ч. 4, л. 196.

²⁰ Там же, ч. 2, л. 60, 61, 77, 78.

²¹ Там же, л. 35, 36; ч. 3, л. 136.

АЛЕКСЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ МАКАРОВ

КАБИНЕТ ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА (с. 234—248)

¹ Голиков И. И. Деяния Петра Великого, т. XIII. М., 1840, с. 371; *Helbig*. Russische Gunstlinge. Tübingen, 1809, S. 125.

² РО ГПБ им. Салтыкова-Щедрина, ф. Макарова, д. 3, л. 6; ЦГАДА, ф. Следственная комиссия о кабинет-секретаре Макарове (далее — ф. 307), д. 1, л. 121.

³ П и Б, т. VIII. М., 1948, с. 90; ЦГАДА, Госархив, Разряд IX, 2-е отд., кн. 7, л. 197; *Пекарский П. П.* Наука и литература в России при Петре Великом, т. I. СПб., 1862, с. 58 и сл.

⁴ 200-летие Кабинета е.и.в. 1704—1904. СПб., 1911, с. 73, 74; ЦГАДА, Госархив, Разряд IX, 2-е отд., кн. 21, л. 11; кн. 32, л. 847, 848; кн. 60, л. 892, 893, 905; кн. 35, л. 237; ф. Походная канцелярия А. Д. Меншикова (далее — ф. 198), д. 64, л. 283.

⁵ ЦГАДА, Госархив, Разряд IX, 2-е отд., кн. 47, л. 238, 239; кн. 59, л. 1050—1052; кн. 62, л. 1315, 1316; кн. 68, л. 1107—1115.

⁶ ЦГАДА, Госархив, Разряд IX, 2-е отд., кн. 13, л. 626, 627.

⁷ 200-летие Кабинета е.и.в., с. 60.

⁸ ЦГАДА, Госархив, Разряд IX, 2-е отд., кн. 32, л. 391—392; кн. 59, л. 82—92; кн. 62, л. 1115; 200-летие кабинета е.и.в., с. 59.

⁹ ЦГАВМФ, ф. Канцелярия графа Апраксина, кн. 199, л. 166, 187; ЦГАДА, Госархив, Разряд IX, 2-е отд., кн. 51, л. 425; кн. 56, л. 296; кн. 63, л. 840; кн. 72, л. 401.

¹⁰ ЦГАДА, ф. Исторические сочинения, д. 46, л. 1, 4, 7; Госархив, Разряд IX, 2-е отд., кн. 61, л. 797.

¹¹ 200-летие Кабинета е.и.в., с. 175, 176.

КАБИНЕТ-СЕКРЕТАРЬ (с. 248—266)

¹ ЦГАДА, Госархив, Разряд IX, 2-е отд., кн. 5, л. 21.

² ЦГАДА, ф. 198, д. 963, л. 174.

³ ЦГАДА, Госархив, Разряд IX, 2-е отд., кн. 64, л. 905; кн. 68, л. 1099.

⁴ Там же, кн. 68, л. 1099; кн. 61, л. 807, 809, 810.

⁵ Там же, кн. 21, л. 23, 306, 307; кн. 28, л. 115.

⁶ Там же, кн. 40, л. 330, 331.

⁷ Там же, кн. 26, л. 4; кн. 24, л. 298; кн. 27, л. 116.

⁸ Там же, кн. 21, л. 740, 247; кн. 26, л. 892; кн. 13, л. 345; кн. 28, л. 17, 18; кн. 64, л. 1055; кн. 15, л. 124, 125.

⁹ Там же, кн. 28, л. 86, 88; кн. 63, л. 579, 580; кн. 32, л. 185.

¹⁰ Там же, кн. 33, л. 851—853; кн. 37, л. 308, 413.

¹¹ Там же, кн. 17, л. 164, 165; кн. 15, л. 436; кн. 18, л. 641; кн. 35, л. 251.

¹² Там же, кн. 27, л. 14.

¹³ *Соловьев С. М.* История России с древнейших времен, т. VIII. М., 1962, с. 500.

¹⁴ ЦГАДА, Госархив, Разряд IX, 2-е отд., кн. 18, л. 167; кн. 17, л. 110, 111, 90, 92, 779; кн. 23, л. 845.

¹⁵ Там же, кн. 30, л. 252; кн. 53, л. 453.

¹⁶ Там же, кн. 52, л. 817, 818; кн. 56, л. 229—231.

¹⁷ Там же, кн. 17, л. 767, 784; кн. 15, л. 454, 455 448, 449; кн. 30, л. 10, 11.

¹⁸ Там же, кн. 12, л. 615; кн. 23, л. 847, 852; кн. 41, л. 222.

¹⁹ Там же, кн. 57, л. 1057—1067; кн. 61, л. 797; *Берхгольц Ф. Г.* Дневник камер-юнкера, ч. 1. М., 1902, с. 98.

ЗВЕЗДНЫЙ ЧАС (с. 266—283)

¹ ЦГАДА, Госархив, Разряд XI, д. 53, ч. 5, л. 4, 6.

² Сб. РИО, т. 55. СПб., 1886, с. 118, 489, 490, 259; т. 56. СПб., 1887, с. 62, 63, 300, 305, 33; т. 63. СПб., 1888, с. 98, 440.

³ Сб. РИО, т. 63, с. 197.

⁴ 200-летие Кабинета е.и.в. Приложение, с. 45; Сб., РИО, т. 55, с. 325; т. 56, с. 374, 375.

⁵ Сб. РИО, т. 63, с. 559; ЦГАДА, Госархив, Разряд IX, 2-е отд., кн. 81, л. 3.

⁶ *Арсеньев К. И.* Царствование Екатерины I. СПб., 1856, с. 91.

⁷ Сб. РИО, т. 55, с. 87 и сл.; т. 63, с. 624, 656.

⁸ ЦГАДА, Госархив, Разряд VI, д. 159, ч. 5, л. 25; Разряд XIX, оп. 1, д. 8, л. 1.

⁹ ЦГАДА, Госархив, Разряд IX, 2-е отд., кн. 14, л. 29; Разряд XI, д. 124, л. 45.

¹⁰ РО ГПБ им. Салтыкова-Щедрина, ф. Макарова, д. 9; д. 17, л. 1; д. 35, л. 1; д. 85, л. 1; д. 12, л. 1; д. 5, л. 1.

¹¹ ЦГАДА, Госархив, Разряд IX, 2-е отд., кн. 18, л. 5.

¹² РО ГПБ им. Салтыкова-Щедрина, ф. Макарова, д. 53, л. 1.

¹³ ЦГАДА, Госархив, Разряд VII, д. 294, л. 53; Разряд IX, 2-е отд., кн. 11, л. 162; кн. 12, л. 72.

¹⁴ ЦГАДА, ф. Сената, кн. 768, л. 24—26.

¹⁵ ЦГАДА, Госархив, Разряд XI, д. 125, л. 16; д. 124, л. 38.

¹⁶ ЦГАДА, Госархив, Разряд XI, д. 125, л. 16, 9, 4, 7.

¹⁷ ЦГАДА, ф. 307, д. 1, л. 164, 165.

¹⁸ ЦГАДА, Госархив, Разряд IX, 2-е отд., кн. 33, л. 76.

¹⁹ ЦГАДА, ф. Мануфактур-коллегии, оп. 4, д. 50, л. 3—5, 10, 16, 29, 30; д. 81, л. 1, 12—15, 16, 29.

МРАЧНОЕ ДЕСЯТИЛЕТИЕ (с. 283—308)

¹ ЦГАДА, Госархив, Разряд XI, д. 134, л. 2.

² ЦГАДА, Госархив, Разряд IX, 2-е отд., кн. 56, л. 607 616, 617, 627.

³ ЦГАДА, Госархив, Разряд VII, д. 294, л. 53—69.

⁴ ЦГАДА, Госархив, Разряд IX, 2-е отд., кн. 14, л. 151; кн. 13, л. 1153; кн. 12, л. 69.

⁵ Там же, кн. 18, л. 369, 370; кн. 17, л. 499.

⁶ ЦГАДА, ф. 307, д. 1, л. 4—16. См. также: *Шереметевский В. В.* Дело следственной о кабинет-секретаре Петра I А. В. Макарове комиссии (1732—1734).—Описание документов и бумаг, хранящихся в Московском архиве Министерства юстиции, кн. 6. М., 1889.

⁷ ЦГАДА, ф. 307, д. 1, л. 15, 121, 326, 124, 327—329, 112, 115.

⁸ Там же, л. 394, 120.

⁹ ЦГАДА, ф. 307, д. 4, л. 32—37; Сб. РИО, т. 130. СПб., 1910, с. 389.

¹⁰ *Чистович И. А.* Феофан Прокопович и его время. СПб., 1868, с. 524, 528, 531.

¹¹ Сб. РИО, т. 104, СПб., 1897, с. 19.

¹² ЦГАДА, Госархив, Разряд VII, д. 294, л. 315.

¹³ ЦГАДА, Госархив, Разряд VII, д. 370, ч. 2, л. 333, 339, 341, 344, 345; ч. 4, л. 75—82.

¹⁴ Сб. РИО, т. 117. Юрьев, 1904, с. 573.

¹⁵ ЦГАДА, Госархив, Разряд VII, д. 294, л. 248—250; Сб. РИО, т. 46. Юрьев, 1915, с. 33.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ (с. 309—313)

¹ *Карамзин Н. М.* Записка о древней и новой России. СПб., 1914, с. 32.

² Сб. РИО, т. 58. СПб., 1887, с. 8, 33, 179, 255.

³ *Татищев В. Н.* История Российская, т. VII. Л., 1968, с. 385.

⁴ *Ленин В. И.* ПСС, т. 1, с. 159.

⁵ *Маркс К., Энгельс Ф.* Соч., т. 25, ч. II, с. 150.

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН

Специально не отмечались Б. П. Шереметев, П. А. Толстой и А. В. Марков в главах, им посвященных, а также Петр I.

- Август II 16, 18, 25, 30, 42, 58, 75, 98, 99, 129, 152, 157
Аверкиев Степан 229
Алексей 205
Алексей Михайлович 112, 113
Алексей Петрович 10, 34, 87, 98, 101, 107, 178—201, 209, 214, 231, 265, 293, 296, 310, 311, 314, 319
Али-паша 176
Алларт (Аларт) Людвиг Николай 79, 82
Алтухов Филимон 286, 288
Анна Иоанновна 92, 199, 283, 284, 286, 288, 301, 302, 304—308
Анна Петровна 205, 211, 212, 214, 219, 222
Аннибал Иван Петрович 242, 243
Апраксин Петр Матвеевич 31, 44, 247
Апраксин Федор Матвеевич 32, 43, 51, 68, 78, 81, 83, 90, 101, 102, 179, 197, 198, 209, 210, 215, 236, 244, 245, 249—251, 253, 267, 276, 278, 281, 297
Арсеньев Василий Михайлович 253
Асан-паша 143, 172, 177
Ахмед III 140, 147, 148, 150
Ахмед-паша 143
Балтаджи Мехмед-паша 84, 85, 88
Барка Лука 135
Барятинский 241
Беклемишев Петр 191, 241
Белый Иван 276
Берхгольц Ф. В. 110, 111, 265, 319, 323
Бестужев Петр 269
Бидлоо Николай 238, 243
Бирон Эрнст Иоганн 286
Блюментрост Лаврентий Лаврентьевич 240, 243
Богданов 228
Боур Родион Христианович 8, 9, 59
Брюс Яков Вилимович 8, 9, 12, 67, 74, 78, 249, 250, 254, 255, 285
Брюховецкий Иван Мартынович 111
Булавин Кондратий Афанасьевич 61
Бурже Николай 238
Бутурлин Иван Иванович 197, 198, 208—213, 215, 217—219, 222
Варсонофий 225, 226
Вейде Адам Адамович 43, 84, 180
Вейц 299

- Веретенников В. И. 198, 200, 321
 Веселовский Авраам Павлович 180, 181, 185, 186, 189, 190
 Веселовский Федор Павлович 258
 Виллардо 113, 114, 144, 145, 190, 191, 222, 223, 320
 Витвер 213
 Витворт Чарлз 66
 Владиславич (Рагузинский) Савва Лукич 44, 80, 134—136, 145, 169, 241
 Волков Алексей 202, 203, 271
 Волконская Аграфена Петровна 207, 208, 215, 222, 223
 Волконский 64
 Волконский Михаил 260—263
 Волконский Михаил Николаевич 275
 Вольнский Артемий Петрович 239, 253, 308
 Воробьев Григорий 229, 230
- Гагарин Матвей Петрович 249, 251, 265, 266
 Газин (Казин)-Гирей 153
 Ганчиков Гавриил Ларионович 50
 Гассан-паша 88
 Гельбиг 236
 Гельмс И. А. 317
 Гендрих-Леонтий 112
 Георгий 299
 Гилленкрок Аксель 60, 73, 317
 Глаголева А. П. 162, 314, 320
 Глебов 45
 Глебов, гардемарин 241
 Глебов Степан 196
 Глюк Эрнст 32
 Голиков И. И. 235, 318, 322
 Голикова Нина Борисовна 7, 316
 Голицын Алексей Борисович 281
 Голицын Борис Алексеевич 49
 Голицын Василий Васильевич 13, 14, 112
 Голицын Дмитрий Михайлович 80, 90, 202, 203, 212, 213, 215, 267
 Голицын Михаил Михайлович 212, 249
 Голицын Петр Алексеевич 247, 249, 254, 256, 258
- Головин Автамон Михайлович 115
 Головин Федор Алексеевич 15, 17, 22, 34, 37, 43, 47, 51—53, 57—58, 65, 103, 115, 134, 140, 143, 145, 147, 151, 168—171, 174, 249, 316
 Головкин Гавриил Иванович 43, 44, 79, 83, 90, 99, 101, 147, 153, 155, 156, 158, 160, 161, 164, 168, 170, 198, 202, 203, 206, 209, 225, 258, 267, 297
 Головкин Александр Гаврилович 200
 Гольц Генрих 69
 Гольц Никита 61
 Гордон Александр 71, 115
 Гордон Патрик 34, 115
 Горн Геннин Рудольф 40
 Гурьев Василий 253
- Далтабан Мустафа-паша 138
 Даун Леопольд Иозеф Мария 183, 185—187
 Дашков Алексей Иванович 254, 255
 Девиер Александр Антонович 220
 Девиер Анна Даниловна 218, 220
 Девиер Антон Антонович 220
 Девиер Антон Мануилович 202—214, 217—223, 235, 240, 249, 273, 278, 314
 Девиер Иван Антонович 220
 Дезальер Пьер Пюшо 167
 Денисов Федор 286—288
 Дестре 241
 Дмитриев-Мамонов Иван Ильич 202, 203
 Докучаев Константин 106
 Долгоруков Василий Владимирович 80, 81, 83, 96, 100, 197, 232, 242, 249, 254, 258
 Долгоруков Василий Лукич 103, 232, 269
 Долгоруков Григорий Федорович 79, 98
 Долгоруков Иван Алексеевич 92, 209, 211, 213, 217

- Долгоруков Петр Михайлович 276
Долгоруков Яков Федорович 197, 198
Долгорукова Екатерина 92
Долгорукова Мария 281
Долгорукова Наталия Борисовна 92, 318
Досифей, патриарх 133—136, 150, 156, 159, 176, 195
Досифей, епископ 196
Драный Семен 61
Дубровский Федор 196
- Евфросинья см. Федорова Е. Ф.
Екатерина I Алексеевна 32, 33, 81, 110, 199—201, 204—223, 232, 238, 240, 241, 245, 252, 264—266, 268—272, 275, 284, 293, 323
Елизавета Петровна 205, 211, 212, 214, 215
Еншау 238
Епископ Макарий 321
Ершов Василий Семенович 249, 250, 259, 263, 264
- Жданов Михаил 30
Желябужский Иван Афанасьевич 29, 315
- Заозерский А. И. 10, 314
Зворыкин Григорий 299, 300, 305, 307
Зенцов 227, 229
Зорин Дмитрий 228
Зотов Василий Никитич 250, 290
Зотов Конон Никитич 241, 253, 259
Зотов Никита Моисеевич 44, 254, 259
- Иван V Алексеевич 112, 115
Извольский Алексей 302, 307
Измайлов Иван 220, 224, 227, 229, 259
Иоаким, патриарх 113
Иоаким, архиепископ 299
Иона 199
Иосия (Самгин) 299, 300, 303—307
- Калинин Василий Климонтович 288—298, 305
Калинин Лев Климонтович 288, 291
Калинин Федор Климонтович 288—290, 292, 295
Кампредон 309
Каневский 290
Кантемир Дмитрий 82, 83
Каплан-Гирей 153
Карамзин Н. М. 309, 324
Карл XII 22, 23, 25—27, 29, 30, 33, 39, 58—61, 67, 68, 70—73, 85—88, 92—94, 98, 99, 128, 129, 152, 153, 155, 157, 159, 161, 163—167, 179
Карл VI 180—182, 185, 187, 189, 192, 193
Карл-Фридрих 208, 211, 218, 219, 222
Карташов Андрей Иванович 275
Катерина 206
Кёпрюлю Нуман-паша 166
Кикин Александр Васильевич 197, 249, 250, 259, 264, 265
Кикин Иван Васильевич 265
Кинггоузен 179
Кисельников Иван Григорьевич 54, 55
Киреевский П. В. 314, 318
Ковалевский Е. П. 202, 314, 321
Колоредо 192, 193
Кольчев Степан Андреевич 279
Корб Иоганн Георг 15, 17, 20, 315
Корчмин Василий 213
Костеев Сергей Федорович 276
Костромитинов 199
Кошелев Герасим Иванович 254
Крассау Эрнст Детлоф 73
Круи (Кроа) фон, Карл Евгений 23, 24, 34
Кропотов 47
Крылова Т. К. 10, 314
Кудрявцев Никита Алферьевич 47, 257
Кудрявцев Федор 240
Куракин Борис Иванович 232, 250
Курбатов Алексей Александрович

- вич 18, 235, 249, 250, 259, 260—264
- Леблон Жан Батист Александр 243
- Левенгаупт Адам Людвиг 47, 48, 59, 61, 70
- Ленин В. И. 313, 324
- Лесси (Ласси) Петр Петрович 44
- Лефорт Франц Яковлевич 15, 34, 115
- Лефорт Яган 203
- Лещинский Станислав 58, 78, 87, 98, 152—159
- Лихарев Иван 229
- Лопухин Авраам Федорович 195, 196, 197, 265
- Лопухина Евдокия Федоровна 193, 196, 212, 214, 227
- Лосс фон, Иоганн Адольф 96, 100
- Лутковский 293
- Львов 241
- Львов Иван 30
- Любекер (Либекер) Георг 59
- Мазепа Иван Степанович 61, 71, 152, 155, 158—165
- Макаров Алексей Васильевич 8—10, 27, 81, 95, 102, 107, 200, 311, 312, 313, 314, 324
- Макаров Иван Васильевич 280, 281, 288, 289
- Макаров Петр Алексеевич 275, 308
- Макарова Анастасия Ивановна 276, 284, 303, 305
- Макарова Анна Алексеевна 275
- Макарова Елизавета Алексеевна 275
- Маркс К. 10, 313, 315, 324
- Матвеев Андрей Артамонович 114, 281, 309, 318
- Матвеев Артамон Сергеевич 114, 309, 318
- Машков 240
- Меншиков Александр Данилович 8, 12—14, 24, 32, 34, 42—44, 46, 47, 51, 52, 58, 59, 61—69, 71, 72, 74—76, 81, 90, 97, 101, 102, 104, 145, 170, 179, 197, 200—223, 226, 232, 235, 236, 239, 245, 248—250, 255, 256, 259, 260, 266, 267, 269, 270, 273—275, 281, 293, 296, 312
- Меншикова Мария Александровна 210, 215, 220
- Мехмед-эфенди 178
- Мещерский Никита 30
- Милославская Мария Ильинична 112
- Милославский Александр Ильич 114
- Милославский Иван Михайлович 113, 114, 310
- Молоствов 254, 255
- Мусин-Пушкин Иван Алексеевич 198
- Мусин-Пушкин Платон Иванович 243
- Мустафа II 139
- Мустафа-ага 144, 172—175
- Мышлаевский А. З. 314, 317
- Наполеон I Бонапарт 313
- Нарышкин Александр Львович 209, 211, 215, 217
- Нарышкин Кирилл Алексеевич 250
- Нарышкин Лев Кириллович 91
- Нарышкин Михаил 263
- Нарышкин Семен Григорьевич 252
- Нарышкина Наталия Кирилловна 112
- Небогатов Иван 88
- Нестеров Алексей Яковлевич 275, 287
- Никифоров Л. А. 321
- Новиков Федор 30
- Носов Яков Иванович 50
- Овчинников Р. В. 316
- Огильви Георг Бенедикт 47, 51
- Одоевская Авдотья 303
- Одоевская Анастасия Ивановна см. Макарова А. И.
- Одоевский Иван 300

- Орешкова С. Ф. 10, 315
 Остерман Андрей Иванович 204, 266, 267, 270, 284—286, 293, 297, 306—308, 310, 312
- Павлов Осип 240
 Павлов-Сильванский Н. П. 314, 321
 Палли Х. Э. 41, 316
 Пальчиков 240
 Пахомий 230
 Пашков Егор Иванович 207, 208
 Пекарский П. П. 322
 Перфильев Лука 224—230
 Петр II Алексеевич 205, 209, 210, 212, 214, 215, 217, 220, 223, 227, 232, 278
 Петр Петрович 44, 278
 Пипер Карл 161, 162
 Погодин Н. П. 202
 Поликарпов Федор Поликарпович 246
 Попов Кирилл 223
 Попов Н. А. 314, 319, 321
 Попцов Савва 275
 Посошков Иван Тихонович 6, 7, 314
 Потанин Михаил 229
 Потресов Василий 287
 Потресов Павел 287
 Прокопович Феодан 6, 243, 244, 284, 300, 301, 302, 304—306, 314, 322
 Путятин 305
 Пушкин А. С. 8, 9, 314
- Рагузинский см. Владиславич С. Л.
 Растрелли Карло Бартоломео 243
 Репнин Аникита Иванович 8, 9, 44, 45, 67—69, 75, 76, 84, 242, 245, 253—255
 Репнин Василий Аникитович 242
 Репнин Юрий Аникитович 242
 Родышевский Маркелл 300—302
 Рожнов Григорий Селиверстович 94, 95, 102
- Розен 65
 Ромодановский Иван Федорович 200
 Ромодановский Федор Юрьевич 17, 43, 51, 55, 58, 75, 237
 Румянцев Александр Иванович 181, 182, 184—189, 192
- Савелов Петр 95
 Салтыков Петр Петрович 254, 257, 277, 294, 298, 300, 305
 Салтыков Семен Андреевич 292, 293
 Салтыков Федор Степанович 241, 290
 Самгин Яков см. Иосия
 Сапега Ян Казимир 273
 Семенниковы купцы 243
 Сергеев А. А. 314, 320
 Сериков Федор 282, 283
 Скорняков-Писарев Григорий Григорьевич 197, 198, 209, 211, 213, 214, 218—221
 Скорнякова-Писарева Екатерина Ивановна 220
 Собольников Иван 282
 Соловьев Дмитрий Осипович 259—261
 Соловьев С. М. 202, 316, 318, 320, 323
 Софья Алексеевна 13—15, 20, 113—115, 213
 Софья Карлусовна 205
 Спилиот 134—136, 138
 Степанов Борис Пахомович 253
 Степанов Василий Васильевич 246, 252, 253
 Стечкин Петр 288, 290, 292, 293
 Стечкина Наталья 288, 291, 292
 Стрешнев Тихон Никитич 43, 198, 237
 Строганова Мария 252
- Тальман Иоганн Михаль 164—166, 314, 320
 Татищев Афанасий 252
 Татищев В. Н. 310, 324
 Толстой Андрей 112

- Толстой Андрей Васильевич 111, 112
- Толстой Иван Андреевич 169, 202
- Толстой Иван Петрович 211, 219, 220, 224, 225, 228—230, 320
- Толстой Л. Н. 8, 202, 321
- Толстой М. 320
- Толстой Петр Андреевич 8—10, 20, 232, 249, 265, 273, 278, 281, 286, 309, 311, 312, 313, 314, 318—321
- Трезини Доменико 243
- Трубецкая Арина 252
- Трубецкой Иван Юрьевич 252, 271
- Трубецкой Никита 205
- Тургенев 75
- Тютчев Петр 287
- Украинцев Емельян Игнатьевич 132
- Устрялов Н. Г. 10, 202, 315—318, 321
- Ушаков Андрей Иванович 197—199, 211, 217, 218, 301
- Фаминцын (Фамендин) 202, 203, 205
- Федор Алексеевич 112—114
- Федоров Иван Федорович 179
- Федорова Евфросинья Федоровна 179, 186, 188, 190, 191, 194, 195
- Ферриоль Шарль 146, 149, 152, 153
- Хрипунов Иван 260
- Христина Луиза 183, 184
- Цыклер Иван Елисеевич 115
- Чеботаев Степан 241
- Чечел 71
- Черкасов Иван Антонович 245, 252, 262
- Черкасский Алексей Михайлович 91
- Чистович И. А. 315, 324
- Чичиков 276
- Чорлулу Али-паша 166
- Шанбек 65
- Шапкин Василий 242, 284, 290
- Шапкин Петр 289
- Шапкина Татьяна 276
- Шарлотта Христина София 183
- Шарф Александр Вилимович 44
- Шафиров Петр Павлович 6, 83, 85, 86, 88—90, 97, 165, 197, 198, 209, 232, 236, 243, 244—246, 248, 249, 265, 266, 278, 289, 314
- Шеин Алексей Семенович 15, 34, 115
- Шенборн 180
- Шепелев Агей 25
- Шереметев Борис Петрович 8—10, 115, 116, 118, 245, 249, 252, 256, 257, 263, 274, 275, 289, 310—318
- Шереметев Борис Петрович, внук фельдмаршала 91
- Шереметев Василий Петрович 75
- Шереметев Михаил Борисович 26, 27, 76, 86, 88, 89, 97, 115, 165
- Шереметев П. 319
- Шереметев Петр Борисович 91,
- Шереметев С. 314, 318
- Шереметева Анна Петровна 91, 252
- Шереметева Екатерина Борисовна 91
- Шереметева Наталия Борисовна см. Долгорукова Н. Б.
- Шереметевский В. В. 315, 324
- Шибека 294, 295
- Шишкин Евстигней Трифонович 277
- Шкарлат Александр 154, 177, 178
- Шлиппенбах Вольмар Антон 26—31, 35, 39
- Шляков 291
- Шхонбек Адриан 115
- Шютте 40, 41
- Щепотев Михаил Иванович 53, 54, 80
- Щербатов М. М. 311
- Щербатова Анна Васильевна 281

Энгельс Ф. 5, 324

Юль Юст 82, 317

Юрьев Иван 246

Юсупов Григорий Дмитриевич

202, 203

Юсуф-паша 159, 160, 162

Ягужинский Павел Иванович 254

Яковлев Андрей 215

Яковлев Василий Иванович 253

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение — 5

БОРИС ПЕТРОВИЧ ШЕРЕМЕТЕВ — 11

Начало пути — 12

Первые победы — 21

Новое назначение — 39

Вновь в действующей армии — 58

Семейные радости и печали — 90

ПЕТР АНДРЕЕВИЧ ТОЛСТОЙ — 109

Дедушка в волонтерах — 110

В Стамбуле — 128

Облава — 178

В заточении — 202

АЛЕКСЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ МАКАРОВ — 233

Кабинет его величества — 234

Кабинет-секретарь — 248

Звездный час — 266

Мрачное десятилетие — 283

Заключение — 309

Источники и литература — 314

Указатель имен — 325

Павленко Н. И.

П12 Птенцы гнезда Петрова.—М.: Мысль, 1985.—
332 с., 16 л. ил.

В пер.: 2 р.

Новая книга доктора исторических наук Н. И. Павленко — продолжение его популярных публикаций «Петр I», «А. Д. Меншиков» и включает исторические портреты трех сподвижников Петра I — первого боевого фельдмаршала Б. П. Шереметева, дипломата и государственного деятеля П. А. Толстого, предка великого писателя, и кабинет-секретаря Петра I А. В. Макарова. Каждый из них внес свой вклад в укрепление могущества России. Книга основана на новых архивных материалах, носит научно-художественный характер и адресуется как специалистам, так и широкой читательской аудитории.

П 0505010000-086 **160-84**
004(01)-85

ББК 63.3(2)46
9(С)14

Н. И. ПАВЛЕНКО

ЛТЕНЦЫ
ГНЕЗДА ПЕТРОВА

Заведующий редакцией В. С. АНТОНОВ
Редактор С. С. ИГНАТОВА
Младший редактор Ю. В. СОКОРТОВА
Оформление художника И. А. ДУТОВА
Художественный редактор А. М. ПАВЛОВ
Технический редактор Т. В. ЕЛМАНОВА
Корректоры Ч. А. СКРУЛЬ, В. С. МАТВЕЕВА

ИБ № 2403

Сдано в набор 19.10.83. Подписано в печать 15.02.85. А03933. Формат 84×108¹/₃₂. Бумага книжно-журнальная. «Таймс» гарнитура. Печать высокая. Усл. печатных листов 19,32 (с вкл.). Усл. кр.-отг. 24,78. Учетно-издательских листов 22,98 (с вкл.). Доп. тираж 100 000 экз. Заказ № 793. Цена 2 р.

Издательство «Мысль». 117071. Москва, В-71, Ленинский проспект, 15.

МПО «Первая Образцовая типография» Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 113054, Москва, Валовая, 28.

НОВАЯ КНИГА

**В 1985 г. издательство «Мысль»
выпускает в свет:**

Скрынников Р. Г. Россия накануне «смутного времени». — 2-е изд. — 17 л. — 2 р. 80 к.

Книга посвящена переломному периоду русской истории, подготовившему «смуту». Тщательный анализ источников позволяет автору раскрыть механизм закрепощения крестьян и воссоздать политические коллизии, сопутствовавшие рождению крепостного режима. В центре повествования — противоречивая фигура Бориса Годунова, неразрывно связанная с событиями тех лет. Текст хорошо дополняют красочные иллюстрации.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Книги издательства «Мысль» продаются в магазинах, распространяющих общественно-политическую литературу.

Подробную информацию о литературе, готовящейся к выходу в свет, и о порядке ее распространения Вы можете получить из ежегодных аннотированных планов издательства «Мысль».

